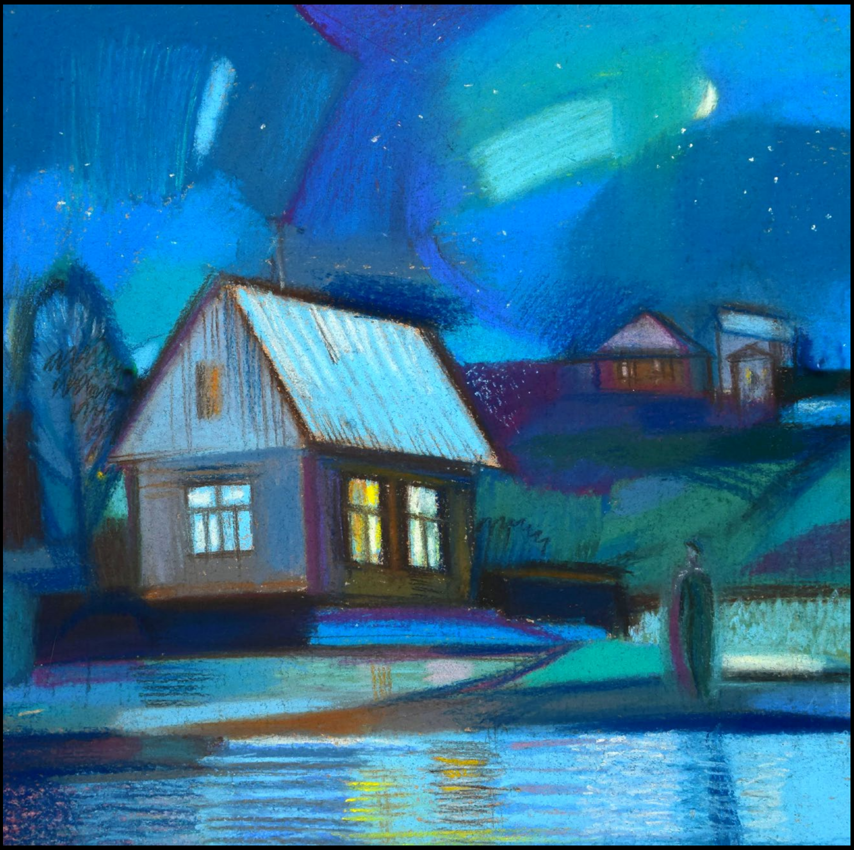
ДЕНЬ *и* НОЧЬ

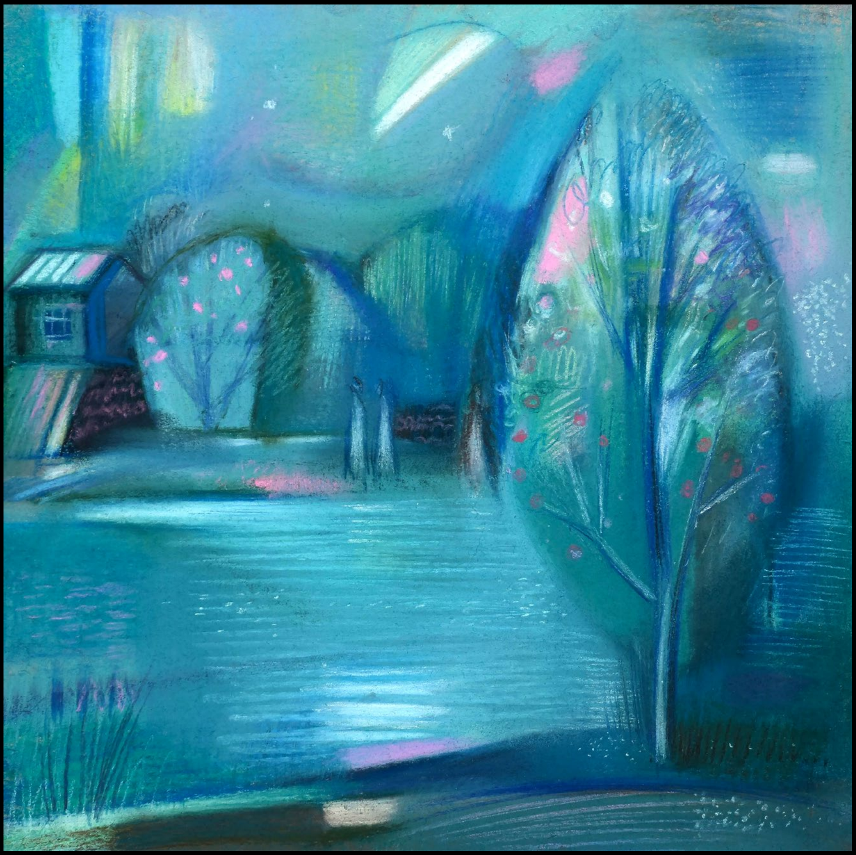
Литературный журнал для семейного чтения **№ 2 | 2021**



Румяна Внукова

Дом у реки

2018



На обложке:

Виктория Исаенкова

Стихия Вода

из серии «Дети Земли»

2020

На обороте обложки:

Румяна Внукова

Розы

Румяна Внукова

Дерево у реки

ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения **№2 | 2021**

В номере

ДиН публицистика

Александр Щербаков
3 Время и случай

ДиН память

Марина Саввиных
6 Памяти Сергея Курганова

Александр Чернявский
19 Три беседы с Галиной Шлёнской

ДиН время

Яков Фрейдин
7 Из дня в ночь и обратно

ДиН диалог

Юрий Беликов, Исраэль Шамир
14 Не самый маленький, или Как остановить сороконожку

Синяя тетрадь

Полина Войт
23 Любимый город
32 Самое ценное

Иван Харчёнок
36 Моя семья

Мария Грошева
86 Моя малая родина

Дарья Яшина
125 Тропка новая

Анна Михайлова
131 Здравствуй, солнце!

Маргарита Плотникова
193 Розыгрыш

Марина Демьянова
194 Самое лучшее место на земле

ДиН поэма

Николай Бурляев
24 Иван Вольнов

ДиН стихи

Анатолий Вершинский
33 Мгновенья века золотого

Виталий Молчанов
35 У речки памяти моей…

Александр Гутов
37 Обстоятельства выше нас

Алексей Чернец
39 Оплечь небо, в ногах дорога

Борис Бергин
41 На краю

Анатолий Арефьев
112 Остров Детства

Юрий Кравцов
115 Друг за другом мы шли

Андрей Ардашев
118 Нет границ у вселенной мысли

Артём Комаров
119 В месте глухом, но с лирою

Александр Тихонов
120 Простуженное небо надо мной

МОСТЫ НАД ОБЛАКАМИ
Артур Варданян
43 Адажио

ДиН ПЕРЕВОД
Алёна Шомысова
45 Сквозь межени и половодья

ДиН ПОВЕСТЬ
Евгений Долматович
49 Калейдоскоп

ДиН ПРОЗА
Сергей Кузичкин
74 Оператор грибной волны
Виктор Баканович
87 Месть
Кирилл Фролов
101 Надежда

БИБЛИОТЕКА СОВРЕМЕННОГО РАССКАЗА
Анатолий Матвеев
122 Счёт
Анатолий Левенец
126 Феска
Андрей Пучков
132 Я тебя помню…
Юлия Бочарова
139 Чем дальше в лес

ДиН ИРОНИЯ
Дмитрий Кадочников
144 Сказ, как Алёшка-караульный на войну ходил да с победой вернулся

ДиН РЕВЮ
Николай Тимченко
73 Жизнь глубинки без прикрас
Николай Ерёмин
138 Пение на бис
Асламбек Тугузов
150 Пленник пламенных звёзд

ДиН АРТ
Максим Кузнецов
151 Два киносценария

КЛУБ ЧИТАТЕЛЕЙ
Елена Крюкова
173 Нелинейный Михаил Стригин

ДиН ДЕТЯМ
Елена Жарикова
175 Печкины сказки

195 ДиН АВТОРЫ

Александр Щербаков

Время и случай

«Не проворным достаётся успешный бег, не храбрым — победа… но время и случай для всех их», — сказал Экклезиаст (он же Соломон). Другой мудрец выразился более определённо: «Случайности — непознанные закономерности». А третий вообще «дело случая» возвёл до проявления воли вышних сил, заявив, что «случайность — это Бог»…

Насчёт закономерности у меня, признаться, большие сомнения, а вот против присутствия «Божьего промысла» я бы особо возражать не стал. Уж слишком судьбоносными бывают иные случайности, чтобы оставаться просто таковыми, то есть произвольными, никем не управляемыми. Иной разговор, что случаями, дарованными нам свыше, мы не всегда умели разумно распорядиться. С этим, наверное, согласится каждый, особенно из доживших до седин и наделавших в жизни уйму ошибок. Кстати, если б случайности были твёрдо закономерными, то этих ошибок допускалось бы куда меньше. В том-то и штука, что случаи нам только предоставляются по «Божьей воле», а далее уже всё зависит от нашей с вами воли. И не напрасно наряду с выражением «воспользовался случаем» существует противоположное — «упустил случай», обычно с горьковатой добавкой: «значит — не судьба»…

И мне в сегодняшнем мемуаре как раз хотелось привести примеры того и другого их проявления в собственной жизни, или собственной судьбе, если угодно. Притом, простите за нескромность, в судьбе творческой, литературной. Подобных случаев было, конечно, больше, но менее значительных, что ли, по своим последствиям, чем эти два, доныне живущие в моей памяти. По крайней мере, они первыми пришли на ум.

Где-то в середине семидесятых годов минувшего века довелось мне побывать на иркутском семинаре молодых писателей. Я был тогда уже не очень-то молод, по уши погружён в журналистику и не особо стремился на тот семинар, едва ли суливший мне успешное участие в нём, но всё же поехал. Перевесили советы писательской организации, издательства, да и понятное любопытство. Меня приписали к секции поэзии, но, кроме дубликата отосланной стихотворной рукописи, я прихватил с собой полуготовую повесть «Свет всю ночь». Довольно солидную, под девять авторских листов, примерно «равную» пушкинской «Капитанской дочке», как я шутил в кругу приятелей, скромно уточняя: «По объёму». Прихватил, как говорится, на всякий случай. И этот случай действительно представился, но…

Впрочем, сначала вкратце о моём участии в поэтическом семинаре, где тоже не обошлось без своего рода «случайно случившегося случая».

Семинар наш вели московский поэт Марк Соболь, ленинградский — Вадим Кузнецов, ещё кто-то, чьих имён уж не вспомню. В зале, кроме семинаристов, было немало гостей — литераторов, библиотекарей, книголюбов из Иркутска и окрестных городов и селений. «Разбирали» нас, молодых пиитов, по очереди, то есть по алфавиту. И до моей буквы «ща» добрались только лишь к исходу не то второго, не то третьего дня. Как уже сказано выше, особых похвал я по своему адресу не ждал. Тем более что теперь учитывал настрой разогретого собрания. Однако всё же был неприятно удивлён многим из того, что мне пришлось выслушать. Первые выступления взыскательных руководителей, открывших обсуждение, были сдержанно критическими, вполне терпимыми. Речь Марка Соболя свелась примерно к тому, что я, дескать, мало продвинулся в мастерстве за четыре года, минувших после краевого дивногорского семинара, по которому он запомнил меня как подававшего более серьёзные надежды. А Вадим Кузнецов посетовал на то, что при наличии отдельных удачных строф и строчек он не нашёл и десятка готовых стихотворений, до конца проработанных, без сучка и задоринки…

Затем было предложено выступать участникам и гостям семинара. И вот тут началось уже не обсуждение, а форменное потрошение написанного вашим покорным. От сучков и задоринок иные аналитики перешли к огульным обобщениям, к упрёкам в сомнительной узко деревенской тематике и идейной ущербности моих творений. Особенно упражнялся в сарказмах на сей счёт напористый сахалинский стихотворец со скромным псевдонимом Слава Пушкин и ещё некий иркутский критик Рапопорт, увидевший в стихах сугубо городского индивида фальшиво-сентиментальные подделки под деревенскую патриархальность. Были, правда, и редкие защитники.

К примеру, пыталась поддержать меня пожилая местная поэтесса Елена Жилкина, даже цитировала какие-то строки, но её голос убедил немногих. А спас меня от полного разгрома его величество случай, явившийся в облике известного столичного поэта-лирика Владимира Соколова.

Ещё накануне среди семинаристов прошёл слух, что он тоже прилетел для ведения семинара, но на заседаниях пока не появлялся. По намёкам остряков, прибаливал «после вчерашнего». И только в завершающий день, как раз когда начался разбор моей рукописи, он вдруг вышел из-за кулис и скромно подсел к столу рядом с Марком Соболем. Марк тотчас с пиететом представил его залу, ответившему уважительными хлопками. Владимир Николаевич, и вправду бледноватый и осунувшийся, извинился за невольное опоздание, некоторое время послушал выступавших, а потом попросил слова. И, начав речь, неожиданно для меня, да и, думается, для многих, обронил, что он пришёл, собственно говоря, «специально на этого парня». Услышав из уст мэтра такую фразу, дословно памятную мне поныне, я внутренне сжался и опустил глаза долу. «Наверное, пришёл меня добивать»,—мелькнула невесёлая мысль.

А живой классик пояснил далее, что «этот парень» привлёк его внимание своей приверженностью к народно-поэтической традиции, что он во многом идёт от фольклорных мотивов; если же искать прямые истоки в современной поэзии, то «идёт от Николая Тряпкина»... И тут я уже не просто напрягся, но невольно стал озираться—не видят ли коллеги, как у меня, матёрого мужика, «городского индивида», точно у провинциальной девицы, краснеют уши. Дело в том, что я тогда лишь мельком слышал о таком поэте-деревенщике с довольно экзотичной фамилией, но, к стыду своему, произведений его не читал, не почитал и, значит, никак не мог следовать ему.

Хотя, забегая вперёд, отмечу, что после того семинара разыскал в магазинах несколько его книжек и действительно нашёл в них много стихотворений, с которыми словно бы перекликался в ряде своих опусов. Притом не только по темам, но и по манере, по ритмам, по образной системе. И с той поры впрямь считаю Николая Ивановича одним из наиболее близких мне поэтов.

Не скажу, чтобы Владимир Соколов, в продолжение разговора о моей рукописи, напрямую хвалил меня, скорее наоборот—больше говорил о недостатках, но стремился поддержать и поощрить во мне это «тряпкинское», а вернее, народно-поэтическое тяготение к ясности, напевности, живописности. Зачитывая отдельные строфы и строки, он тут же наглядно высвобождал их от наносных и, на его взгляд, не органичных для меня «примесей», да и просто от всего несовершенного и безвкусного. А ещё, помнится, заметил, что многие мои стихотворения, особенно в концовках, излишне затянуты, и показал на примерах, где их можно остановить, элементарно пресечь, отбросив ненужные фразы. «Лирическое стихотворение не должно быть длинным»,—с этой заповедью, услышанной от него, я солидарен и поныне.

Но строго-доброжелательным разбором и советами мэтра тогда дело не ограничилось. Вечером того же дня, когда семинаристы и руководители собрались на встречу с читателями в одном из театров, ко мне, одиноко стоявшему у стенки в фойе, вдруг подошёл незнакомый мужчина и скромно представился... редактором издательства «Современник», чуть ли не главным. Жаль, забыл его фамилию. Он посоветовал мне особо не обижаться на критику коллег, не унывать, а серьёзно поработать над рукописью с учётом здравых замечаний, прежде всего Владимира Соколова, и к концу будущего года прислать её в редакцию издательства.

— Основа для книжки там есть,—добавил он, на прощанье пожав мне руку.

Я, конечно же, обрадовался такому нежданному заманчивому предложению. И хотя, признаться, был несколько смущён оговорёнными сроками представления сборника, показавшимися мне долгим ящиком, но действительно после той случайной встречи более года занимался упорным шлифованием своей иркутской рукописи. Буквально от слова к слову и, как говорится, денно и нощно. В особенности—«нощно», когда, уткнувшись в подушку, крутил в голове свои неуклюжие строки, пока они не превращались в более ладные и складные, по моим ощущениям. А если иные из них не поддавались «мукам творчества», то я, как ни стыдно признаться в этом, даже всхлипывал от чувства бессилия и кусал зубами углы мокрой подушки. И, между прочим, зачастую именно в такие минуты крайнего отчаяния всплывали, наконец, искомые слова, будто их впрямь нашёптывал кто-то «свыше».

Короче говоря, через год-полтора я и вправду послал подремонтированную рукопись в «Современник», а ещё через год-другой (неторопки да извилисты издательские пути) получил письмо от литературного консультанта, что мой сборник включён в план редакторской подготовки... будущего года. И, наконец, в 1981-м вышла в Москве моя первая поэтическая книжка «Трубачи весны», названная по одноимённому стихотворению:

Трубачи весны

Опять весна.
И где-то глухари,
Устав ловить тревожно каждый шорох,
Устав держать себя всё время в шорах,
На всю тайгу трубят восход зари.

Гудит тайга.
Что ни глухарь—трубач!
Смотрите, как он шею вскинул гордо.
И, пламенея, крошечный кумач
Трепещет у клокочущего горла.

О нет,
Глухарь совсем не он, а те,
Которые ему прозванье дали,
Глухие к первозданной красоте
Таёжных просыпающихся далей.

Опять весна
Крушит снега и льды,
И торжествуют трубачи рассветов,
И снится даль искателям руды,
И мучает бессонница поэтов.

Книжка отдельная, не «кассетная». Десятитысячным тиражом. И вскоре появилась в магазинах по всей стране, в том числе—в наших сибирских городах и даже сёлах. Это было одно из советских чудес, невозможных в нынешние цифровые и рыночные времена. Среди авторов внутренних рецензий на сборник значились видные поэты Евгений Винокуров, Игорь Грудев, другие, давшие «добро» (был даже некий Н. Соколов), однако всё же судьбу его решил отзыв Владимира Соколова, пятилетку назад «неожиданно» прозвучавший на иркутском семинаре в «случайном» присутствии редактора «Современника».

Но, как уже замечено мною, это было не единственное и даже, пожалуй, не главное для меня событие из разряда «время и случай» на том памятном семинаре. Когда мои стихи уже разобрали по косточкам и приговорили к «исправительным работам» на затянувшемся заседании, я решил выйти на улицу, чтобы отдышаться и покурить. В коридоре, недалеко от двери, стояли, о чём-то оживлённо беседуя, наш красноярский писатель Иван Пантелеев и высокий сутуловатый мужик в тёмно-сером костюме, с крупными чертами лица и волной русых волос, зачёсанных назад, в котором я тотчас узнал замечательного курского прозаика Евгения Носова. Его книги я читал и любил, тем более что некоторые издавались даже у нас в Красноярске. Особенно нравились мне сборники «Шумит луговая овсяница», «Храм Афродиты», «Красное вино победы», а одноимённый рассказ я считал (до выхода повести «Усвятские шлемоносцы») вообще одним из лучших произведений на военную тему. Мне было известно, что Евгений Иванович тоже присутствует на семинаре и вместе с Виктором Астафьевым и Валентином Распутиным ведёт секцию прозы, но вживую я встретил его впервые.

Проходя мимо маститых собеседников, я молча поклонился им и проследовал было далее, но Иван Иванович махнул мне, приглашая подойти поближе. Он представил меня Носову как ещё одного семинариста-«деревенщика» и, кивнув на папку в моих руках, вдруг спросил:

— У тебя повесть с собой?

— Со мной,—ответил я, пока не понимая цели вопроса.

Речь шла об упомянутой «полуготовой» рукописи повести «Свет всю ночь». Накануне я показывал её некоторым нашим писателям, и, видимо, Иван Иванович слышал о ней. Она действительно оказалась «со мной» даже и на занятиях семинара. Я носил её в папке вместе со стихотворной, на всякий случай. И вот он вроде как замаячил… Иван Иванович предложил Носову посмотреть эту «любопытную» рукопись «на досуге». Тот непроизвольно поморщился от нежданного предложения и вздохнул:

— Ох, мужики, не знаю, боюсь, не успею… Впереди подведение итогов семинара. А там ещё обещают поездку на Байкал…

— Да вам достаточно будет полистать… поймёте с двух страниц… по слогу, по живописи, по лирическому тону,—продолжал настаивать Иван Пантелеев, и в Евгении Ивановиче, похоже, затеплилось, шевельнулось какое-то сочувствие молодому автору.

— Ну, пожалуй… только если что…—начал было он раздумчиво.

— Да уж ладно, Евгений Иванович, как-нибудь в другой раз,—поспешил я прервать его смущённые колебания и, с поклоном подняв руку в знак прощания, решительно направился к двери.

«Случайный случай» был упущен навсегда.

Хотя он всё же имел некоторое продолжение. Где-то лет через пятнадцать после той встречи, незадолго до переворотных событий в стране, я в составе красноярской делегации прибыл в Москву для участия в съезде Союза писателей России. Поселили нас, провинциальных делегатов, аж в общежитии Академии общественных наук, с шиком, в одноместные номера. И случайно моим соседом оказался Евгений Носов. Съезд был бурным, длился несколько дней. И в первое же утро, когда я замыкал свой номер, чтобы отправиться на завтрак в общежитскую столовую, вдруг открылась соседняя дверь, и из неё вышел Евгений Иванович, без парада, в спортивном костюме и, кажется, даже в домашних тапках. Он поприветствовал меня по-соседски и пожелал познакомиться со мной. Я не без удовольствия пожал ему большую крепкую руку, но оговорился, что вообще-то мы уже знакомы, и напомнил, как однажды спас его от чтения дополнительной рукописи на семинаре в Иркутске. Евгений Иванович рассмеялся, тоже припоминая ту иркутскую историю, между прочим, заметил, что напрасно я тогда заупрямился, проявил излишнюю деликатность, и процитировал те самые слова Экклезиаста насчёт «времени

и случая», которые не следует упускать в жизни, особенно молодым авторам.

Беседу мы продолжили по пути в столовую и потом, с подносами в руках, перед выбором блюд. Евгений Иванович великодушно высказал готовность «исправиться» и посмотреть задним числом «ту» мою повесть. Но у меня на сей раз её «при себе» не оказалось. И я подарил ему сборник стихотворений «Вербное воскресенье», только что вышедший в красноярском издательстве, намекнув в дарственной надписи на игру и превратности времён и случаев.

Не буду утверждать, что моя стезя в литературе легла бы как-то иначе, прояви я настойчивость при вручении рукописи большому писателю, близкому по духу, но возможная поддержка или просто подсказка мастера слова, пожалуй, не помешали бы моему профессиональному росту. Да и судьбе той повести, которая вскоре привела меня в Союз писателей, а позднее победила в Международном конкурсе имени А. Н. Толстого на лучшее произведение для юношества, после чего была переиздана (с дополнениями) солидным православным издательством при Московской патриархии.

Впрочем, случилось так, как случилось, а случайность — это непознанная закономерность и, может, даже сам промысел Божий.

Марина Саввиных

Памяти Сергея Курганова

В начале февраля 2021 года оборвалась земная жизнь выдающегося педагога-исследователя, публициста, постоянного автора нашего журнала Сергея Юрьевича Курганова.

Сын и внук выдающихся учёных, входивших в круг самых известных людей России начала — середины XX века, Сергей Юрьевич скрупулёзно собирал, архивировал, обрабатывал и публиковал их рукописи. Оба его прадеда, профессор, основатель Пастеровского прививочного института и бактериологической станции в Харькове (ныне Институт микробиологии, вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова), прозаик, драматург, друг Мечникова и ученик Пастера Виктор Иванович Недригайлов, и философ и художник Пётр Петрович Николаев поддерживали активную переписку с Львом Толстым. Бабушка, Ольга Викторовна Недригайлова, была незаурядным художником, врачом, учёным-антропологом, профессором, ортопедом-травматологом, доктором медицинских наук, автором монографий и множества статей.

Не удивительно, что Серёжа Курганов с раннего детства проявлял недюжинные способности практически ко всем ветвям человеческого знания — от математики до поэзии и театра.

Но выбрал он путь учителя, причём в таком его развороте, который исключал судьбу спокойную, внешне успешную и отмеченную прижизненными лаврами. Наверное, не удастся вот так, с разбегу, перечислить все «большие имена», которые состоялись в науке благодаря Сергею Курганову. А сам он… не защитил даже кандидатской. На его публикации существует необозримое количество ссылок в педагогических и философских журналах на разных языках по всему миру. Но он с огромным удовольствием печатал свои удивительные эссе, диалоги и переводы в литературном журнале «День и ночь» и всегда искренне был благодарен редакции за это.

Он разработал и воплотил в практику множество оригинальных авторских программ в русле бахтинско-библеровской Школы диалога культур, в том числе и в качестве соавтора проекта Красноярского литературного лицея, который был открыт в 1998 году и показал свою эффективность как образовательная площадка для школьников, проявляющих способности к художественной литературе.

Человек фантастической многогранности и, как, пожалуй, все гениальные люди, сложный, противоречивый, артистический и ранимый, он остался в памяти друзей и недругов ярчайшим ориентиром. Таких можно не любить, можно сторониться, но, даже случайно столкнувшись, не заметить — невозможно.

Наследие Сергея Курганова — огромно. Его ещё предстоит собрать, систематизировать и опубликовать. Последние годы жизни он сам мечтал это сделать. Увы. Не хватило сил.

Теперь это задача друзей и учеников. Наша задача.

Царствие Небесное, Сергей Юрьевич. Или, как сейчас принято говорить, — «лёгкой дороги»…

Яков Фрейдин

Из дня в ночь и обратно

Поезд остановился у деревянного перрона старинного белорусского городка Полоцка. Из мягкого вагона вышли два молодых человека довольно необычного для этих мест вида. В глаза бросались их короткие клетчатые брюки английского покроя с застёжками ниже колена, яркие модные рубашки западного стиля и широкополые шляпы, а главное — открытые и улыбчивые лица. Такие лица в Советской стране к тому 1936 году уже не встречались вовсе. Одному из этих иностранцев было девятнадцать лет, а другому — восемнадцать. В руках они держали по небольшому баульчику. Выйдя из вагона, ребята неуверенно стали озираться вокруг, но их растерянность была недолгой. К ним сразу бросилась маленькая старушка с криком:
— Лёвочка! Наночка!

Они оба обхватили её руками:
— Здравствуй, бабушка! Вот и мы!

Бабушка жила недалеко от вокзала, в маленьком покосившимся домике с огородом, прямо у реки Даугава. Приезд внуков стал для неё самым ярким событием за многие годы, с тех пор как её дочери и сыновья разлетелись по всему свету — от Америки до Китая. Это была её первая и последняя встреча с внуками. Мальчики родились и выросли в далёком русско-китайском городе Харбине и лишь месяц назад переехали в СССР — страну, откуда ещё до революции эмигрировали их родители и где пока ещё жили многие родственники. А в последний раз они виделись потому, что этих двух ребят ждали впереди страшные испытания, а сама бабушка, когда через несколько лет ей станет трудно жить одной, переберётся к дочерям в Ленинград, где и умрёт от голода в 1942 году.

Но пока это лето 1936 года было для неё временем счастья. Внуки гостили у неё целый месяц, она их поила парным молоком, что покупала у соседки, и кормила изумительным борщом своего приготовления. Ребята помогали ей в огороде, рыбачили на реке, а вечерами рассказывали про свою жизнь в далёкой стране. Особенно ярким рассказчиком был младший внук Нана:
— У нас в Харбине был большущий дом, с верандой, мама работала с Лёвиным отцом в его аптеке. В доме была китайская прислуга, убирала, готовила еду. Когда мы ещё были детьми, мы с Лёвой всегда были вместе. Вместе в школу ходили, только в разные классы, жили рядом. Когда его стали учить на скрипке, моя мама сказала: «А мой сын будет играть на рояле, чтобы дети могли выступать вместе!» Вот так и получилось: я стал пианистом, а Лёва — скрипачом. Мы играли вместе почти каждый день, давали концерты в разных городах Китая, про нас в газетах писали. У нас были хорошие учителя, а потом Лёвин учитель уехал в Токио и забрал его с собой. Лёва жил в Японии четыре года у него в доме, много выступал с концертами и даже стал знаменитым. Этой весной советский посол в Японии пригласил Лёву переехать в Москву, чтобы учиться в консерватории. А Лёва ему сказал: «Я поеду только вместе с Наной!» Тогда посол связался с вашим правительством, и они ответили: «Хорошо, вместе так вместе, пусть приезжают оба». Мы и приехали. Нас сразу приняли в Московскую консерваторию, даже без экзаменов, но сейчас лето, и занятия начнутся только в сентябре. Вот мы и решили приехать к тебе в гости, бабушка.

Нана и Лев в Харбине (1927 г.)

Так действительно оно и было. Двоюродные братья-вундеркинды только в июне приехали из Харбина в Москву по приглашению советского правительства. Трудно сказать наверняка, почему в те годы Советской стране, а вернее, Сталину, вдруг понадобились талантливые музыканты. Видать, была у него идея фикс стать «впереди планеты всей» в самых разных областях культуры. В 1936 году М. Ботвинник стал чемпионом мира по шахматам (поделил первое место с Х. Р. Капабланкой), в 1937 году должен был состояться конкурс скрипачей и пианистов в Брюсселе. Музыкальные таланты стали нужны позарез. Хватало, разумеется, и своих, но на всякий случай, про запас, собирали и за бугром: кто знает, вдруг пригодятся? Потому советский посол в Токио Юренев и консульство в Харбине получили приказ Сталина организовать переезд в Москву Льва Тышкова и его двоюродного брата Анания (Нану)

Шварцбурга, детей ещё дореволюционных эмигрантов. Когда они приехали, их отдали в учёбу к лучшим педагогам Московской консерватории: Лев стал студентом А. И. Ямпольского, а Ананий учился у К. Н. Игумнова.

Поскольку в те страшные годы молодых людей готовили для показа за границей, на их явно западный облик, свободомыслие и раскрепощённое поведение пока закрывали глаза. Пусть себе порезвятся до поры до времени. И они резвились во всю силу своего молодого темперамента. Особенно Нана. Будучи блестящим пианистом, он ещё обладал прекрасным актёрским талантом; несмотря на свои восемнадцать лет, был уже широко эрудирован, начитан, писал стихи и эпиграммы и слыл душой любой компании. Вокруг него всегда собирались друзья, он прекрасно рассказывал анекдоты, рисовал шаржи, знал массу интересных историй, особенно о Китае и других станах, где хотя и не бывал сам, но слышал о них от своих харбинских приятелей, поездивших по свету. В то время такое свободное поведение в стране, где стало жить «лучше и веселее», мягко говоря, было хождением по острию ножа.

Однако в 1937 году на международный конкурс имени Эжена Изаи в Брюсселе Льва и Нану решили не посылать. То ли их уровень сочли ниже, чем у Ойстраха и Гилельса, но, скорее всего, начинало раздражать их независимое поведение свободных людей, и вождь решил, что пришла пора пустить друзей «под нож». И в самом деле, зачем стране рабочих и крестьян лишние музыканты?

Лёву арестовали в Москве первого декабря 1937 года. Нана в это время жил в Ленинграде, куда он переехал к родителям и перевёлся на учёбу в Ленинградскую консерваторию. За ним пришли через два месяца. Вытащили прямо из постели среди ночи, под безумный плач его матери Рахили связали руки, запихали в чёрный воронок и увезли в Большой Дом. Продержали какое-то время в общей камере, а потом ночью привели на допрос. Не сказав ни слова, следователь и его помощник стали его жестоко избивать. Били по голове, пинали ногами, стараясь угодить по почкам. Потом усадили на стул, облили водой, чтобы в себя пришёл, и следователь сказал:
— Давай рассказывай: как же тебя сподобило стать японским шпионом? А может, и английским? Нам ведь всё известно. Твой двоюродный брат Лев Тышков признался, что сам шпионил на Японию и тебя вовлёк для собирания секретной информации. Вот тут протокол готов, давай подписывай и не трать наше время.

Разумеется, говорил он вовсе не так вежливо, как тут написано, а перемежал слова площадным матом. Ещё не понимая обстановку, Ананий сказал:
— Да никакой я не шпион, и мне не в чем признаваться. Всё это неправда!

Но тут дверь открылась, и вошёл другой следователь, видимо начальник, совсем молодой, с густыми русыми волосами, пышными усами и холодными рыбьими глазами. Следователь сразу вскочил и к нему обращается:
— Вот, товарищ капитан, японский шпион. Не желает признаваться. Уж протокол готов, а он не признаётся.
— А вы что,— тихо сказал усатый,— забыли про указание товарища Ежова? Бить, бить и бить, пока не сознается! Вот смотрите, я вам покажу, как надо.

Он подошёл к Нане и спросил, чем он занимался до ареста. Нана с трудом выговорил:
— Я пианист.
— Ах вот как!— улыбнулся тот.— Значит, на рояле играете? А вот скажите-ка мне: какая рука для игры на рояле важнее, правая или левая?

Нана пробормотал, что обе важны, но для правой партия может быть сложнее.
— А пишете вы ведь правой рукой?

Нана кивнул. На что начальник опять улыбнулся, взял его за левое запястье и сказал:
— Ну тогда мы правую руку пока побережём. Пойдёмте-ка со мной.

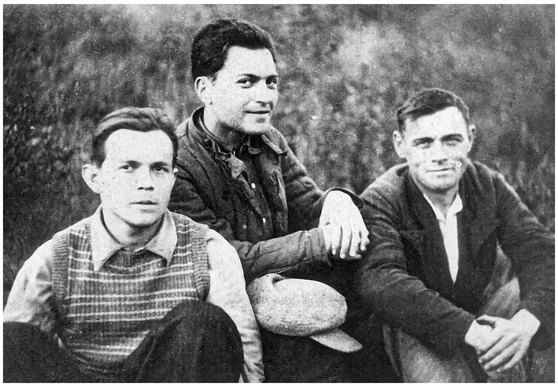
Затем подвёл Нану к входной двери, открыл, положил его левую ладонь в проём у дверных петель и со всей силы дверь захлопнул. Как лучины, хрустнули поломанные кости. Нана закричал, потом задохнулся от ужасающей боли и осел на пол. Кожа на пальцах лопнула, кровь потекла на пол, а палач мягко сказал:
— Вот теперь можно и продолжить. Правая рука пока что действует, возьмите-ка в неё ручку и подписывайте протокол, а не то мы и с ней повторим то же самое.

Взял он Нану теперь за правое запястье, подволок его, обмякшего, к столу, вложил ему в пальцы ручку, обмакнул в чернильницу и ткнул в лист бумаги на столе:
— Пишите.

Нана нарисовал закорючку и потерял сознание.

Очнулся он в камере. Рука ныла, но резкой боли не было. Кто-то хлопал его по щекам и лил в рот воду из алюминиевой кружки. Старичок с бородкой клинышком, Нана уже знал, что был он профессор из медицинского института, тоже «шпион», сказал сокамерникам, которые собрались вокруг раненого:
— Переломы довольно серьёзные, но чтобы кости правильно срослись, надо их сразу зафиксировать. Вы, уважаемые, подержите парнишку, ему сейчас будет опять больно, но выхода нет, надо кости сложить.

Он снял с себя рубашку, закрутил её в тугой жгут и вложил Нане в рот меж зубов. Кто-то из зэков отодрал каблук от ботинка и подал доктору, потом все вместе прижали Нану к полу, и доктор



А. Е. Шварцбург (в центре) на лесоповале (начало 40-х)

принялся за работу. Повезло Нане — он опять потерял сознание от невыносимой боли, а когда очнулся — разглядел, что рука замотана тряпкой так, что сломанные пальцы плотно уложены на каблук, и даже перевязь через шею сделана из куска рубахи. Пролежал он в забытьи до утра, и даже чуткие вертухаи его не беспокоили.

Вскоре его опять вызвали к следователю и объявили приговор — десять лет лагерей, а ещё через неделю отправили на этап. В первой пересыльной тюрьме была больничка, там фельдшер руку перевязал, почистил нагноение и подивился, как мастерски были кости уложены. Каблук выбросил и даже сделал новую шину из дощечки. Повезло шпиону — может, будет ещё на рояле играть.

Ехали на восток долго, и в конце марта привезли его на свердловскую пересылку. Завели в камеру, где народу было не так уж много, человек пятнадцать, и вдруг крик:

— Нана!

Оглянулся — Лёва! Вот радость-то! Двоюродные братья обнялись, кто-то из зэков место уступил в углу, чтобы присесть, и проговорили они до отбоя. Ночью правило — должны лежать, руки вытянув поверх одеяла, и разговаривать нельзя. Встреча была недолгой, и через два дня развели их на многие годы. Впереди у каждого был главный этап: Лёве — на Северный Урал, а Нане — намного дальше. Этап для зэков — это крестный ход, его ещё выжить надо. И молитва у них была такая: «Господи, упаси меня от лесоповалов Норильска, от торфяных болот Мордовии и от золотых шахт Колымы». Вот эта Колыма пианисту с поломанными пальцами и выпала.

На владивостокской пересылке его обрили наголо, одежду от вшей прожарили, в баню сводили и погрузили с сотнями таких же несчастных в трюм парохода. В Магадан, столицу Колымы, этап пришёл к лету, выгрузили зэков с парохода в бухте Нагаева и развезли по лагерям. Анания Шварцбурга отправили на работу в шахту добывать руду, не то оловянную, не то золотую — для зэка какая разница? Рука болела меньше, кости медленно, но срастались. Дощечку он снял, хотя на всякий случай спрятал её в бушлате. Стал понемногу разрабатывать суставы на руках и мог уже рукоять от тачки обхватывать.

Через полгода перевели его на лесоповал в далёкий лагерь, километров за сто на север от Магадана. Попался на его пути хороший человек — бригадир Николай Копцов, который опекал молодого парнишку с поломанными пальцами и, чтобы не травмировать руку, давал ему более щадящую работу. Разминал Нана пальцы постоянно, а по ночам на нарах вообще беззвучные гаммы играл. На лесопилке со своим напарником пилил он брёвна под бесконечный припев: «Мне-тебе-начальнику-мне-тебе…» — и так далее без конца.

Короткое колымское лето сменилось сначала хлёсткими дождями, а затем лютыми морозами. Мела пурга, и драный бушлат был плохой защитой от северной зимы. В лагере свирепствовали цинга и дизентерия, но умерших хоронить в мерзлоте было невозможно. Стаскивали их за лагерь и зарывали в снег до весны. Не стоит здесь подробнее писать об аде Колымы — лучше Шаламова никто этого не сделал и, думаю, уже не сделает.

Мать его, Рахиль, после того как Нану арестовали, какими-то правдами и неправдами умудрялась узнавать все перегибы его крестного пути и ехала вслед за этапом, чтобы к сыну быть поближе. В первое время с дороги писала она письма своему брату, Лёвиному отцу, а потом письма прекратились. Сгинула она навсегда где-то на бескрайних просторах Сибири.

В лагере выжить на общих работах редко кому везло, но судьба сжалилась над молодым пианистом. В лагерях Дальстроя, так называлась эта империя рабского труда, для поднятия настроения зэков при выводе на работу играл духовой оркестр. Нацисты эту чудную идею позже переняли в своих концлагерях. Культурные всё же страны Россия и Германия! На счастье Наны, у начальника конвоя оказался музыкальный слух. Его постоянно злила фальшь духовиков-любителей, что ежедневно в пять утра провожали своей музыкой зэков на работу. Однажды доложили ему: пилит брёвна бывший студент консерватории. Вызвал его начальник и спрашивает, может ли он с духовиками поработать, чтобы их дудки не терзали уши культурного вертухая. Нана сказал, что сможет. Тогда с общих работ его сняли, и стал он с трубачами заниматься. Зазвучали они куда лучше — многие дудари играли по слуху, так он их нотной грамоте научил.

Однажды, году где-то в 1943-м, решили создавать по лагерям культбригады, не столько чтобы зэкам интереснее жить стало, но главное — начальству скуку развеять. Нану в одну такую бригаду забрали, чтобы он там музыку делал. Пальцы он

уже совсем разработал, только при переменах погоды болели сросшиеся переломы. Достали для Наны аккордеон, он на нём быстро научился, а в некоторых КВЧ (культурно-воспитательных частях) были даже пианино, так что он стал играть по памяти уже и пьесы классического репертуара. Как-то на одном таком выступлении в Магадане вдруг вбежали охранники, всех зрителей на ноги подняли и концерт остановили: приехала и со своей свитой в зал вошла сама царица!

Здесь надо пояснить. В тридцать девятом году по комсомольской путёвке приехала в Магадан двадцатичетырёхлетняя женщина довольно привлекательной наружности и очень неравнодушная к противоположному полу. Имя ей было Александра Романовна Гридасова. Сначала работала она в какой-то конторе, но однажды попалась на глаза всесильному хозяину Дальстроя генералу Ивану Фёдоровичу Никишову. Увидел её этот царь-генерал — и не стало у него с той минуты покоя, пока не отправил он свою жену и детей на «материк» (так называлась вся страна за Колымой, ибо добраться туда можно было только самолётом или морем). Как от семьи отделался, так сразу на Гридасовой женился, вернее — назначил её своей женой. Дал он ей сначала звание лейтенанта, а потом чины посыпались на неё один за другим. И должности стали у Гридасовой одна важнее другой, пока не назначил её муж на самый высокий после себя пост — начальницей Маглага, самого большого лагеря в Дальстрое. Была у неё личная машина «студебекер» с шофёром, слуги. Жили царь с царицей в шикарном особняке с садом (сад в Магадане!). Парочка эта отличалась самодурством и жестокостью, и жизнь любого, хоть зэка, хоть вольнонаёмного, целиком зависела от их прихотей. Кличку Гридасовой в Магадане дали Екатерина Четвёртая — всё же по отчеству была Романовна, непонятно только, почему «четвёртая». Кроме мужчин, была у царицы ещё одна страсть — обожала артистов и искусство, хотя абсолютно ничего в нём не понимала. Образование у неё было никакое, но когда-то, ещё девчонкой, попала она в Тамбове на спектакль, с тех пор влюбилась в театр и теперь решила: быть в её империи придворному театру. Стала она по лагерям собирать актёров, музыкантов, певцов, художников, и вскоре появился в Магадане музыкально-драматический театр имени Горького под руководством бывшего режиссёра МХАТа Л. В. Варпаховского, со своей труппой и оркестром из зэков.

Зашла царица в КВЧ, где Нана играл Шопена, все вскочили, уступили ей место в первом ряду, она милостиво позволила продолжать. Когда концерт кончился, она Нану к себе призвала и сказала, что он ей понравился, а потому она забирает его к себе в театр. Вот так стал он музыкантом в крепостном театре. Занимался Ананий с актёрами — готовил их к оперным спектаклям, аккомпанировал драматическим постановкам и часто солировал с оркестром, которым руководил талантливый дирижёр и композитор Пётр Ладирдо, тоже зэк, разумеется. Спектакли и концерты в этом полюсе лютости были на самом высоком профессиональном уровне. Хотел я написать, что работали те актёры и музыканты не за страх, а за совесть, а потом подумал: всё же за страх! Мадам Гридасова часто приходила на репетиции, со своим мнением не лезла и советов не давала, но следила, чтобы была полная отдача.

Однажды, когда репетировали оперу «Кармен», заметила царица, что дирижёр чем-то недоволен и выговаривает концертмейстеру духовой группы. Подошла она к сцене и спрашивает:

— Что тут у вас стряслось? Ты чем недоволен?

— Александра Романовна, — отвечает дирижёр, — здесь у Бизе есть соло фагота. У нас в оркестре нет фаготиста, и я прошу, чтобы эту часть сыграли кларнеты, а у них не получается как надо.

— Сам знаешь, я в этих тонкостях не понимаю, но ты мне, Петя, напиши-ка на бумажке, в чём проблема, какой тебе музыкант нужен, я поищу.

Дирижёр написал, и недели не прошло — во время очередной репетиции заводят в зал насмерть перепуганного очкарика с фаготом в руках. Посадили его в оркестр; оказался этот новенький чудным музыкантом. Потом выяснилось, что царица сначала по своим лагерям поискала, но фаготиста не нашла. Тогда она мужу сказала: «Достань мне фаготиста!» Связался генерал с Москвой, и той же ночью арестовали фаготиста из одного московского оркестра и доставили самолётом в Магадан. Ничего не поделаешь — искусство требует жертв. Только почему-то жертвам это не в радость. Таким поворотом дел маэстро Ладирдо потом долго мучился: знал бы, что так получится, слова ей бы не сказал.

В 1944 году в Магадан прилетела американская правительственная делегация во главе с вице-президентом Генри Уоллесом. По приказу Берии устроили для них «потёмкинскую деревню». Магаданские магазины ломились от свежих фруктов и овощей, счастливые шахтёры-стахановцы приветствовали дорогих гостей, а вечером им показали концерт в Доме культуры. По возвращении в Америку этот наивный вице писал, что больше всего его потряс первоклассный оркестр в такой глуши. Америке в этом плане надо бы поучиться у России.

Пришёл как-то к ним в театр вольнонаёмный актёр. Оттрубил он семь лет зэком на золотых приисках Колымы, а после освобождения уехать на «материк» ему не позволили, и устроился он играть в магаданский театр. Там он близко сдружился с Наной, и длилась эта дружба потом многие годы. Звали того парня Георгий Жжёнов, и стал он впоследствии известным киноактёром.

Разумеется, жизнь артистов и музыкантов в театре была несравненно легче, чем у зэков в лагерях, и потому многие не только выжили, но даже жизнь свою пытались устроить. Нана в театре встретил свою старую знакомую по Харбину Инну Рудинскую, работавшую костюмершей, и вскоре с позволения и благословения царицы на ней женился. Там же, в Магадане, и дочь родилась.

Бывали в их жизни и забавные моменты. Вот один такой случай. Ставили в театре оперу «Мадам Баттерфляй» Пуччини. В одной сцене Пинкертон должен зайти в комнату к Чио-Чио-сан и увидеть у неё ребёнка. Ну где взять для спектакля в Магадане ребёнка? Тут вспомнил кто-то, что у вольнонаёмной костюмерши Розы Исааковны есть пятилетний внучек. Родители его сидели по колымским лагерям, а костюмерша с внучком сама сюда приехала, чтобы быть поближе к его папе и маме. Привели этого малыша, одели в нарядный костюмчик и велели во время спектакля просто стоять на сцене и ничего не делать. На премьере во втором акте Пинкертон выходит на сцену, видит Чио-Чио-сан с мальчиком и поёт, указывая на него рукой: «Чей это ребёнок?» И тут неожиданно вежливый малыш решил ответить красивому дяде в белом кителе и крикнул на весь зал:

— Я внук Розы Исааковны!

Спектакль пришлось остановить. Сердобольная царица от смеха даже расплакалась и подарила малышу невиданный заморский фрукт — яблоко.

В сорок седьмом году, когда близился у Наны к концу его десятилетний срок, все мысли были о скорой воле, о встрече с отцом, с матерью (не знал он, что её уж нет). В начале августа, после репетиции с оркестром, к нему подошёл конвойный и сказал:

— Александра Романовна приказала вам срочно к ней явиться.

Отвели его к ней в управление, она дверь за ним плотно прикрыла и говорит:

— Ананий, слушай меня внимательно. У тебя через полгода срок кончается. Но радоваться не спеши. Муж вчера бумагу из Москвы получил, где приказ дан, чтобы всех, у кого срок кончается, не выпускать, а намотать ещё пять лет в довесок. Иван этот приказ в силу пока не ввёл, а потому сделаем вот что. Я приготовила документы о твоём освобождении и вот тут пропуска́ на «материк» для тебя и твоей жены с ребёнком. Сейчас же и уезжайте, да так далеко, как можете. Когда приказ в силу войдёт — будьте на «материке».

Поблагодарил её Нана, и тем же вечером уплыли они на пароходе во Владивосток, а оттуда поездами — по диагонали через всю страну. Как и советовала Екатерина Четвёртая, уехали так далеко, как только возможно.

Через два месяца добрались они до Сухуми, сняли комнату. Нана устроился преподавателем в музыкальное училище — вот, казалось, можно снова начать жить.

Но не тут-то было. Приказ об отмене освобождения зэков действовал по всей стране, и в январе 1949 года Нану в Сухуми нашли, опять арестовали и отправили в тюрьму в Тбилиси. Пробыл он в тюрьме несколько месяцев уже в качестве английского шпиона — Япония к тому времени была побеждена, и шпионы ей были ни к чему. За те несколько месяцев, что провёл он в тюрьме, умудрился даже прилично выучить грузинский язык. В Тбилиси особое совещание постановило в лагерь его не заключать, всё же отсидел он уже свою «десятку», а отправить в ссылку на пять лет в посёлок Мотыгино в Красноярском крае. Если не знаете, что такое Мотыгино, лучше вам и не знать! И поехали Шварцбурги под конвоем опять на восток, в сибирскую ссылку.

Сняли они в этом посёлке комнатку, кое-как жили, но работы не было никакой, и стали с голода и тоски доходить. Было ему там совсем невмоготу, много хуже, чем в Магадане, — без денег, без зимней одежды, нечем ребёнка кормить, да и без музыки не мог он жить. Написал тогда Ананий прошение начальству, чтобы позволили ему отбывать ссылку ну хоть чуть-чуть в более культурном месте. Сжалились и разрешили ему переехать в Енисейск, что на север от Красноярска. Тоже не Рио-де-Жанейро, но там хоть были клуб и музыкальное училище.

Буквально на следующий день после переезда в Енисейск пошёл Ананий разыскивать этот клуб. Клуб оказался в добротном особняке ещё старой кирпичной постройки. Дверь была не заперта, побродил по безлюдным коридорам и зашёл в зал. Там было пусто, только лежали расстеленные по полу красные полотнища, и какая-то измождённая старуха рисовала на них лозунги к первомайским праздникам. Но главное — в дальнем углу стоял настоящий рояль, поцарапанный, пыльный, заваленный каким-то хламом. Но рояль! Нана подошёл к нему, скинул на пол мусор, отёр рукавом пыль и открыл крышку. Сначала нежно погладил клавиши, как ребёнка по голове, потом уселся на стул, посидел молча, вздохнул и заиграл рапсодию Листа. Вскоре заметил он, что та старуха, которая рисовала лозунги на полу, подошла к роялю, стоит рядом и слушает, прикрыв рот руками. Она, не мигая, смотрела на его руки, и по щекам её текли слёзы. Когда он кончил играть, она, слегка картавя, зашептала:

— Ещё, ещё, пожалуйста, играйте ещё. Прошу вас, я так много лет этого не слышала…

Играл он для неё долго, а главное — для себя. Потом разговорились, и сказала она, что зовут её Анна Васильевна и вот уж три десятка лет как носит её судьба-злодейка по тюрьмам, лагерям и ссылкам. За что сидела, он её не спрашивал,

А. Шварцбург после переезда в Красноярск

а она — его. Такие вопросы задавать было не принято, да и смысла не было — и так ясно: ни за что. Анна Васильевна жила в Енисейске в ссылке одна, неподалёку от Шварцбургов, и Нана пригласил её к ним зайти в тот же вечер. Когда познакомились поближе, она коротко про себя рассказала:

— Я из очень музыкальной семьи. Можно сказать — выросла в музыке. Мой отец был прекрасный пианист, звали его Василий Ильич Сафонов. По рекомендации Чайковского его назначили сначала профессором, а потом директором Московской консерватории. Петра Ильича я, конечно, знать не могла — он умер в тот год, когда я родилась. В нашем доме постоянно звучала музыка, часто бывали у нас Танеев, Рахманинов, Скрябин, да вообще все лучшие музыканты начала века. После Гражданской войны так сложилось, что я на воле была мало, и музыки у меня в жизни не стало на многие годы. А теперь вот, Ананий Ефимович, мне вас Бог послал за мои мучения. Кроме вас, нет у меня никого. Вернее, есть где-то в лагерях мой сын, но я ничего о нём не знаю…

С тех пор Анна Васильевна часто к ним приходила, нянчила их дочку Наташу, всегда засиживалась за полночь, за что Нана с женой прозвали её «Каменный гость».

Ананий устроился преподавателем в музыкальное училище, давал концерты и руководил городским хором. Совсем скоро вся культурная жизнь в этом сибирском городке стала вращаться вокруг Шварцбурга.

Когда после смерти Сталина закончился у него срок ссылки, позволили ему переехать в Красноярск, а в 1954 году полностью реабилитировали. Устроился он на работу в Красноярскую филармонию, сначала концертмейстером, а в 1960 году стал её художественным руководителем.

Природа щедро одарила талантами этого человека. Он был одарён во всём — блестящий пианист, великолепный рассказчик, поэт, мастер рисовать карикатуры и шаржи, обладал приятным баритоном, был красив, умён, обаятелен и, как магнит, притягивал к себе самых разных людей. Он вёл постоянные музыкальные передачи на красноярском радио и телевидении, часто выступал с лекциями. Его друзьями стали многие выдающиеся музыканты того времени — А. Хачатурян, М. Ростропович, Д. Ойстрах, друг детства ещё по Харбину О. Лундстрем, — да разве всех перечислишь?! Для многих из них гастроли в Красноярске часто были лишь поводом встретиться и побыть с Ананием Ефимовичем.

Казалось, пришёл, наконец, к нему покой и настала нормальная жизнь, но умерла жена, и остался он один с дочкой. А ещё в глубине души его жил леденящий страх. Нана вздрагивал при каждом стуке в дверь, скрипе тормозов за окном, звуке шагов на лестничной клетке или шуме лифта. По ночам снились кошмары, что вот опять его арестовывают, бьют по почкам, ломают пальцы, везут по этапу и пилит он дрова под шарманочный напев: «Мне-тебе-начальнику…» Он просыпался в холодном поту и долго не мог снова уснуть. Когда видел на улице милиционера или просто человека в военной форме, сердце замирало и холодели руки.

Будучи одним из самых известных и популярных в Красноярске людей, получил он квартиру в доме для большого начальства. Соседом по лестничной клетке был генерал КГБ, начальник краевого управления. Когда генерал по-соседски заходил, у Наны пропадал голос и деревенели ноги. Сосед не мог понять, почему у такого блестящего лектора и самого общительного человека в городе вдруг заплетается язык и дрожат руки. После смерти Сталина и с наступлением «вегетарианских» времён уже не арестовывали людей без всякой на то причины, но память продолжала нашёптывать ему: «Не верь им. Было это раньше, будет опять. Берегись и будь начеку».

Когда у Анны Васильевны закончился срок очередной ссылки, позволили ей уехать из Енисейска, и она поселилась в Красноярске, хотела быть ближе к Нане. Опять, как и раньше, она часто засиживалась у него допоздна, нянчила Наташу, наряжала её кукол, ходила за покупками, убирала в доме. Буквально стала членом семьи. Нана много работал, почти каждый вечер проводил в филармонии или на телевидении, так что «Каменный гость» была даже кстати.

Однажды, когда пили чай и смотрели телевизор, она ему сказала:

— Ананий Ефимович, я, кажется, не говорила вам, кто был мой первый муж? Могу сказать: звали его Сергей Николаевич Тимирёв. Моя фамилия и сегодня по нему — Тимирёва. Был он героем

Русско-японской войны, до семнадцатого года служил старшим офицером у императора Николая Второго на его личной яхте «Штандарт», а уже после нашего развода в восемнадцатом году стал он контр-адмиралом белого движения на Дальнем Востоке.

Как услышал Ананий эти слова—страх сжал его горло когтистой лапой: в его доме днюет и ночует жена, хоть и бывшая, белого контр-адмирала, да ещё офицера Николая Второго! За такую связь—вдруг опять арестуют и новый срок намотают? Нашёптывал ему страх: надо эту Анну Васильевну Тимирёву от дома отвадить, она может накликать беду. Но как это сделать, он не представлял. Всё же дружили они уже пять лет, и природная деликатность и порядочность не позволяли ему сказать: «Больше ко мне не ходите». Она не понимала его чувств и продолжала приходить.

Прошло время. Страх от общения с Тимирёвой как-то притупился, и Анна Васильевна бывала у него почти каждый день. Однажды, когда пили они чай и смотрели телевизор, как и пару лет назад, она сказала:
— Ананий Ефимович, я, кажется, не говорила вам, кто был мой второй муж? Могу сказать. Мужем моим был адмирал Колчак. Я из-за него Сергея Тимирёва оставила. У нас с Колчаком была безумная любовь, и хоть мы не были венчаны, я стала его гражданской женой. Когда его арестовали в Иркутске, я сама в тюрьму пошла, чтобы его поддержать и быть рядом. Мы там с ним в разных камерах сидели, но нам удавалось обмениваться записками. А после того, как они его убили, с тех пор вот уж тридцать пять лет я всё по тюрьмам да по лагерям и ссылкам. Только за то, что я его любила. Только за это… Как-то я следователя на допросе спросила: «За что?»—а он мне отвечает: «Советская власть вам столько горя принесла, что вы не можете не быть её врагом». Вот так…

Тут у бедного Анания Ефимовича чуть сердце не остановилось, и опять, как раньше, страх сжал ему горло, и он твёрдо решил: надо, надо её отвадить! Кто знает, какие ещё были у неё мужья? Стал он к ней нарочито холоден, менее приветлив—может, сама поймёт? Но не понимала и продолжала приходить.

Одним вечером, когда Анна Васильевна укладывала Наташку спать, к Нане зашёл его приятель, писатель Марк Юдалевич. Он сказал:
— Ананий, ты знаешь всех, и все знают тебя. Может, ты мне поможешь найти одного человека? Я сейчас пишу книгу «Адмиральской час». Это про адмирала Колчака. Мне дали доступ к архивам, но в них ничего нет о нём как о человеке, а без этого книга будет сухой и казённой. В документах я вычитал, что была с ним в той же тюрьме в Иркутске его жена, Анна Тимирёва. Мне даже удалось разыскать не дошедшее письмо Колчака к ней. Там, в архиве, мне сказали, что она сейчас живёт где-то в Красноярском крае, но я не представляю, как мне её найти!

Нана усмехнулся: знал бы он, что прямо сейчас жена Колчака в соседней комнате укладывает его дочку спать! Он попросил писателя подождать, а сам зашёл к Анне Васильевне и рассказал, что её разыскивает писатель-историк и хочет с ней поговорить о Колчаке. Она ответила:
— Я не знаю этого человека. Может, он такой, как они все, а может, у него есть совесть. Передайте ему моё условие: если он напишет, что Колчак был враг советской власти, и это всё, что там будет сказано, я с ним говорить не стану. Но если он ещё добавит к этому, что был Александр Васильевич отважным моряком, крупным учёным, полярным исследователем, в высшей степени культурным и исключительно порядочным человеком, я с ним поговорю.

Нана вернулся к гостю и сказал, что познакомит его с женой Колчака, но только на её условиях. Тот согласился и дал слово. Когда они познакомились, он отдал ей то письмо, что нашёл в архиве. Она взяла его дрожащими руками, вгляделась в знакомый почерк и прошептала:
— Не думала я, что получу от Саши весточку через столько лет.

Потом ушла в другую комнату, дверь прикрыла, и услышал писатель оттуда сдержанные рыдания. К его чести, слово, данное Тимирёвой, он сдержал: книгу написал правдивую и даже при советской цензуре смог в ней сказать правду про «Верховного правителя России».

В 1956 году сообщили Анне Васильевне, что её единственный сын Владимир Тимирёв был расстрелян ещё в 1938 году и теперь реабилитирован. В шестидесятом её саму, наконец, реабилитировали, и она решила переехать в Москву—город своей юности. По просьбе Наны Д. Шостакович и Д. Ойстрах смогли выхлопотать для неё крохотную комнатку в коммуналке на Плющихе и мизерную пенсию в сорок пять рублей. Там она и прожила в нищете последние пятнадцать лет своей жизни.

Через полвека после первого ареста она писала стихи, обращаясь к своему Колчаку:

> Но если я ещё жива
> Наперекор судьбе,
> То только как любовь твоя
> И память о тебе.

С её отъездом Нана несколько успокоился, много работал, ездил по стране, встречался с друзьями. Часто бывал в Москве, останавливался там у своего старого друга Георгия Жжёнова.

Шли годы, но прошлое не хотело отпускать его, и страх возврата в былое жил в нём помимо его воли. Всё чаще щемило сердце, всё чаще приходили ночные кошмары, и со стоном просыпался он в холодном поту. А однажды не проснулся.

Юрий Беликов, Исраэль Шамир

Не самый маленький, или Как остановить сороконожку

Подвижный, как ртуть, Исраэль Шамир может сегодня быть в Индии, завтра—в Японии, послезавтра—в Израиле, послепослезавтра—в Стокгольме, а далее—в Москве… Но в одночасье, по весне, его потянуло на Урал.

—Хочу,—сказал,—ледоход на здешних реках посмотреть!

Спро́сите: при чём тут «Русские встречи» в Перми—и Исраэль Шамир? А при том, что как только мы на полном выдохе произносим слово «русский», так нас сразу (не замечали?) начинают обвинять в антисемитизме. Видимо, один «неразрешённый вопрос» без другого, такого же «неразрешённого», существовать не может…

Во всех своих книгах, в том числе таких как «Страна сосны и оливы», «Цветы Галилеи», «Каббала власти», принявший православие Исраэль выступает как антисионист и—если шире—как человек, убеждённый, что у мирового еврейства нет никаких прерогатив, дабы числить себя истиной в последней инстанции. Разве это не ледоход?..

Впрочем, мой собеседник смог лицезреть его воочию, оказавшись сначала в Чусовском этнографическом парке Леонарда Постникова, а затем—на берегу легендарной Чусовой. И, хотя шествовал по владениям Леонарда в чёрной ковбойской шляпе и палестинском шарфике, в этот момент совсем не походил на «еврейского Че Гевару».

Бывший солдат воздушно-десантных войск государства Израиль, войдя в крестьянский дом-музей, первым делом решил «утонуть» в огромном овчинном тулупе, висящем на одной из стен, на мгновение преобразившись в Емельяна Пугачёва. Однако в торговой лавке из деревни Антыбары Шамир весьма органично смотрелся на фоне магазинного убранства, особенно—за костяшками счётов. Он то и дело приговаривал:

—Здо́рово! Как интересно!

Ни намёка на высоковыйность. Может, высоковыйность евреев—из разряда тех же мифов? Хотя, как считает израильский писатель и культуролог Марк Котляревский, евреями, особенно представляющими нынешнюю российскую оппозицию, часто движет ген самоуничтожения, когда «революционные настроения инициируются троцкими, а отдуваться будут бронштейны». Но Шамир, находясь на моей малой родине, не производил впечатления «еврейского Че Гевары», как принято его величать не то друзьями, не то недругами.

Я тогда подумал: Исраэль вслед за ныне покойным философом и культурологом Георгием Гачевым, некогда тоже побывавшим на этой «улочке русского сопротивления», каковой давно кличут Чусовской этнопарк, мог бы воскликнуть: «Кипит мой разум восхищённый!» И уж никак не наоборот.

Пока всемирно востребованный Шамир давал очередное разъяснение по мобильному телефону настигшим его и здесь интервьюерам, оторвалась первая льдина и задорно двинулась по знаменитой уральской реке. Я жестом обратил его внимание на ожидаемое им чудо. Не отрываясь от телефонного монолога, мой собеседник поднял большой палец: ура, вижу первую льдину!

—Исраэль, так или иначе, но когда мы касаемся «сакральной» и «табуированной» темы… видишь, даже я спотыкаюсь, чтобы её огласить… темы еврейства, тут же, как джинн из бутылки, вырастает разговор о «Протоколах сионских мудрецов». А что ты сам думаешь по этому поводу?

—Это очень интересная книга! И почитать-то её надо. Независимо—русскому, еврею или китайцу. Но у Ницше есть довольно известная фраза: «Если слишком долго всматриваться в бездну, бездна начинает всматриваться в тебя». И «Протоколы…»—та самая книжка, где это ощущение присутствует. Если много ею зачитываться, это бесследно для психики не проходит…

Возьмём то, что, с точки зрения автора, якобы считается общееврейской парадигмой. Предположим, можете вы завтра в журнале «День и ночь» или в любом ином издании поставить колонку о том, что́ Путин пишет своему пресс-секретарю Пескову? Почему бы и нет? Запросто! Но вы же не будете иметь в виду, что Путин в действительности пишет. Речь о том, что́ он предположительно думает, когда даёт какие-то инструкции. Это распространённый авторский приём, когда человек с помощью прямой речи пытается раскрыть то, что происходит.

То же самое, если говорить о жанре «Протоколов…». Тот, кто их написал, именно так видел еврейскую парадигму и таким манером её изложил. Известно, что «Протоколы…»—это фальшивка. Но когда так говорят, обычно забывают, что на самом деле был и подлинный документ. Не такой грубый и резкий. Но, в принципе, с теми же заключениями…

— Тогда как ты относишься к нынешней трактовке Холокоста?

— К этому культу я отношусь резко отрицательно. Кроме того, тема эта криминализирована. Если на совсем простом языке, за это могут посадить. А у меня одна из главных амбиций—не сесть. И если бы я стал заниматься фактурой Холокоста, может быть, эта моя мечта не осуществилась бы.

— Время от времени в нашей стране проводится «Тотальный диктант». Устроители берут тексты тех или иных писателей и по воспроизведённым результатам делают выводы, насколько Россия соответствует идее всеобщей грамотности населения. Помнится, взяли за основу прозу Дины Рубиной. Это вызвало разночтения в интеллектуальном российском сообществе. Союз писателей России выступил с заявлением (цитирую): «И почему в страну Валентина Распутина и Владимира Личутина… звать на диктант по русскому языку писательницу, родившуюся в Средней Азии, а затем переехавшую на свою историческую родину—Израиль?» Каково на сей счёт мнение Исраэля Шамира? И хотел бы ты сам что-нибудь предложить из своих произведений для «Тотального диктанта»?

— У меня очень мало симпатий к Дине Рубиной. Не на личном уровне. Мы с ней, как говорится, детей вместе не крестили и свечку не держали. Даже—не вставляли. Просто она мне глубоко несимпатична как личность. Приведу пример, чтобы было понятно почему. Не так давно в России вышли переводы книжек израильского автора Шломо Занда «Кто придумал еврейский народ», «Кто придумал страну Израиль» и «Почему я перестал быть евреем». Так вот, когда вышла первая книга…

—…ты понял, что Шамир—не один такой?

— *(Смеётся.)* Не только я не один такой! Таких-то уже стало большинство. Другой вопрос, что не все это озвучивают. Что касается Дины Рубиной, это бестселлерный автор. У неё—большие продажи книг. И она совершенно не поленилась написать очень гнусное письмо в издательство «Эксмо», где требовала, чтобы книжки Занда зарубили. Чтобы его вообще не печатали! Она пыталась даже раздуть некую кампанию, притянув других авторов «Эксмо», чтобы перекрыть кислород Занду. И это выглядело очень не по-товарищески. В нашей гильдии так не поступают.

Но до этого она много раз писала совершенно возмутительные и настолько грубые вещи о палестинцах, за которые в России просто сажают, если бы это прозвучало в адрес не палестинцев, а евреев. То есть как автор Рубина, на мой взгляд,—националистическая и даже шовинистическая фигура. Книжки же её… Это всё дамская беллетристика. Кому нравится, пускай читают. А идея «Тотального диктанта»… Почему бы и нет? Пожалуй, я бы мог найти для него кусок из своей прозы.

— Кто же из авторов, пишущих на русском, тебе симпатичен?

— Допустим, ваш Алексей Иванов. Я считаю его одним из интересных современных писателей. В этом же ряду—Владимир Сорокин. На мой взгляд, одна из его лучших, я бы даже сказал—потрясающих, книг—«Голубое сало». Сорокин—мастер стиля. При этом я очень-очень люблю Проханова и Куняева. У меня с ними личные близкие отношения. Куняев—страстный публицист, талантливый поэт. И человек задушевный. Проханов пишет бесконечно много. Это прямо-таки какой-то вулкан. Везувий! Например, у него есть удивительно хорошо написанная книга «Надпись», которая вышла в свет где-то ещё в конце шестидесятых. Так что не оскудела талантами русская земля. И книги хорошие пишут, и фильмы замечательные снимают. Один из таких—«Орда». На Западе подобных фильмов-то, пожалуй что, и нет. Современный русский кинематограф—в той же высшей лиге, что и кинематограф Ирана. А иранское кино, наверное, сегодня лучшее в мире. В Америке сносные фильмы снимают крайне редко. В основном—коммерческий мусор. Да и в Европе кино погибло, а в России оно ещё живое.

— Ты настолько быстро перемещаешься по миру, что у кого-то может невольно возникнуть вопрос: «Каков же уровень связей Шамира с Моссадом или Ликудом? И что же за должность он там занимает, если ему позволено существовать в таком качестве и, по сути, „наступать на пятки“ интересов разведки мощного государства, каковым является Израиль?» Кстати, когда подобный же вопрос я задал Евгению Евтушенко, тот великолепно отшутился: «Учитывая мои передвижения по миру, я должен быть как минимум полковником КГБ!»

— *(Смеётся.)* На этот вопрос Александр Галич ответил в стихах:

> Сколько раз на меня стучали
> И дивились, что я на воле.
> Ну а если б я гнил в Сучане,
> Вам бы легче дышалось, что ли?..

Говоря более простыми словами русской пословицы: «Всех-то не перевешаешь!» И ты, как и другие мои коллеги-журналисты, должен это понимать.

Вообще, это иллюзия, что можно замолчать какие-то вещи! И такой иллюзии, наверное, у разведок нет. Но если ещё более просто, я бы сказал так: мы все живы, пока Господь нас терпит. Я не раз думал о том, что если я, наоборот, заткнусь и утихну, тогда действительно за мою жизнь не дадут и дохлой сухой мухи.

— Многие живущие в России деятели культуры, литературы и науки еврейского происхождения меняют свои фамилии на русские. Каково твоё отношение к таким подменам? Чем они психологически продиктованы? И какое имя было у тебя, когда ты жил в Новосибирске?

— Начну с последнего. У меня в Новосибирске было такое имя, какое и сейчас. Моя мама — оголтелая и пылкая сионистка и ею оставалась и впоследствии. А родился я за год до образования Израиля как государства. Не знаю, может, годом позже она бы ещё насчёт моего имени и подумала. А тогда такой проблемы не возникало. Тем более деда моего тоже звали Исраэль. Что касается смены имён, о которых ты спросил, то, в принципе, я эту вещь одобряю. Потому что имя — это идентификатор. Если человек ощущает, что да, имя у него еврейское, но никакой еврейской сущности-то за этим не стоит и на самом-то деле он — русский и по языку, и по культуре, и, может, даже и по вере, так нужно ли ему ходить с именем Хаим Рабинович? Другой вопрос, я считаю, чтобы человек это делал не из соображений замаскироваться, а чтобы, напротив, раскрыть свой человеческий и творческий потенциал.

— Но национальную-то психологию при этом никуда не спрячешь!

— У Станислава Лема есть на эту тему один очень смешной фантастический рассказ, как пытались разные силы повлиять на воспитание молодого принца. Например, силы соседней Океании старались внушить ему любовь к рыбкам. Ну, внушили. Но в последний момент оказалось, что он этих рыбок любил есть. Иными словами, психология психологией, но это вещи не настолько однозначные. И то, что у кого-то бабушка еврейка, вовсе не значит, что он уже обязан жить по «Протоколам сионских мудрецов». Свободу воли-то у нас никто не отнимал. При этом заметь: есть люди, у которых нет ни капли еврейской крови, но которые включаются в еврейскую парадигму самым активным образом.

Возьмём Умберто Эко, автора романа «Пражское кладбище». Нет, он итальянец, а не еврей, но работает, как может, в этом направлении. Знаешь, я сталкиваюсь с таким количеством людей, которые считают, что они евреи! Один человек пишет мне об этом с острова Цейлон. Дескать, его предки в пятнадцатом веке были португальскими евреями. И фотографию присылает — типичный такой темнолицый сингалез. Спрашивает: не надо ли ему принять иудейскую веру и перебраться в Израиль? Я ему говорю: «Успокойся. Не надо!» Помнишь, у Лермонтова: «В горах Шотландии моей…»? Ну, написал. Но он же юбку-то не надел и в Шотландию не поехал! Или — ссылка Набокова на Набока-мурзу, который прискакал из Орды. Ну, прискакал. И что? Никогда не надо преувеличивать.

— То есть ты согласен со строчками Юнны Мориц: «Как мало еврея в России осталось, как много жида развелось»?

— Евреев-то, конечно, немного, а насчёт ожидовления… Но это же — всеобщая проблема. О ней ещё в девятнадцатом веке Карл Маркс писал. В том смысле, что этот процесс охватывает весь западный мир своим подчинением золотому тельцу и мамоне…

— Накануне твоего приезда в Пермь местная хасидская община «Хабад-Любавич» выступила с письменными протестами, направленными в ряд инстанций. Могут ли такие провокации способствовать росту антисемитских настроений?

— Это — нормально. Я к этому давно привык. Какое-то желание в этом направлении у них, бесспорно, есть: несколько сгустить страсти, чтобы те, кто колеблется — быть им евреями или не быть, качнулись в их сторону. Если мы говорим о хасидах «Хабад-Любавич», то это своего рода секта, которая хочет привлечь к себе людей еврейского происхождения. Поэтому, конечно, немножко антисемитизма — это для них неплохо. Если уж совсем тишь да гладь — иди потом до людей достучись.

Знаешь, были когда-то евреи в Китае. Из Израиля, из США направлялись туда эмиссары в большом количестве и приставали со своими идеями к этим людям. Те говорили: «Да, действительно, наши предки были евреями, но мы-то уже давно — нет». Допустим, в Израиле есть община потомков субботников. То есть жидовствующих русских. Они все из-под Саратова. Где-то в конце девятнадцатого столетия несколько больших русских семей из одной или двух деревень неожиданно воодушевились мыслью, что они — народ Израиля, и переехали в Палестину. И укоренились там. Фамилии свои сохранили, образовали несколько мощных кланов. Они абсолютно интегрированы в Израиль, по-русски же мало кто из них говорит. Они уже даже не субботники — обычные израильские евреи.

Я когда-то, будучи молодым журналистом, записал интервью с начальником генштаба израильской армии Рафаэлем Эйтаном Рафулем. Это легендарная личность. На тот момент он уже был в отставке, гусей разводил. Он мне признавался: «Знаешь, я русский по крови, потомок тех самых

субботников…» Я это напечатал. Тогда это прошло бесследно. А после его смерти семья начала возражать: якобы это всё неправда, что у них не чистая еврейская кровь и что они русские…

Вообще, Израиль даёт необычные ответы на обычные вопросы. Израильтяне, которые чуточку более коренные, смогли никуда не пустить русских евреев. Русские евреи, которые, предположим, на пермской земле были сплошные начальники, на Земле обетованной — исключительно «подай-принеси».

— А Натан Щаранский?

— Всегда есть исключения. Но по большому счёту Израиль для русских евреев стал разочарованием.

— Почему у евреев признание крови происходит по линии матери? Любой отец, наверное, хочет, чтобы дети были продолжателями его традиций?

— Это один из тех мифов, которые не моя задача разоблачать. Но раз у нас пошла такая пьянка, давай разрежем и этот огурец. До середины девятнадцатого века никто ещё и не думал о том, что якобы ребёнок от смешанного брака, где мать еврейка, является евреем. Эта мысль была совершенно евреям чужда чуть ли не до наступления двадцатого столетия. И сегодня — тоже. Если кто-то захочет отвечать на твой вопрос серьёзно (я подчёркиваю), то отношение будет таким: евреи не признают брака между еврейкой и гоем. Иными словами, ребёнок, которого родила еврейская женщина от этого брака, просто приблудный. Она его нагуляла. И в данном случае он — еврей третьего сорта. Это — если говорить совсем по строгости. Другой вопрос, что со временем приходит мысль: «Этих-то людей, наверное, тоже было бы хорошо задействовать в помощь общине?» Не обязательно расписывать прямо так, как я сказал. Гораздо лучше подтвердить: «Вы — тоже еврей!» В какой степени? В очень и очень ограниченной.

Поэтому нет никакой такой силы еврейских матерей, которая бы это дело пересиливала, а есть миф, работающий на благо еврейской общины. Просто людям, обладающим толикой еврейской крови, втюхивают в головы, что вот-де им хорошо было бы включиться в данную организацию. Но эти люди, сразу или не сразу, начинают понимать, что в этой организации они — не на очень-то высоком холме…

— У тебя — интересный шарфик. Напоминает накидку Ясира Арафата. А в одном из твоих высказываний прозвучало: «Палестинцы — потомки древних евреев». Выходит, идёт война между сородичами?

— Я на этот вопрос отвечаю так: есть евреи, которые потомки древних евреев. Есть евреи, которые не потомки древних евреев. Многие считают, что современные евреи — в основном потомки хазар или каких-то других племён, обращённых в иудаизм. Это всё на уровне легенд. Я не против легенд. Если легенда ведёт к чему-нибудь доброму, это хорошо. И идея, что палестинцы и современные израильские евреи — потомки древних евреев, если ведёт к примирению, то — слава Богу! Но если она ведёт к лишней заносчивости, тогда не надо.

— Согласись, что на теле Земли современное еврейство — достаточно уникальное явление. «Где вы, грядущие гунны…» — вопрошал Валерий Брюсов. А гуннов нет. Многие народы, гремевшие в истории ранее, прекратили своё существование. В чём причина жизнестойкости еврейского народа, который, проходя сквозь тысячелетия, как бы нарушает общие законы прочих этносов?

— Сохранилась религиозная община. Но ведь и другие религиозные общины сохранились с тех же времён. Христиан-то, слава Богу, сколько стало! Ещё больше за то же время. Когда мы говорим о религиозных общинах, то они живут тысячи лет. То есть это не то чтобы какой-то этнос взял и сохранился, хотя и этносы живут долго. Но религиозные общины живут гораздо дольше. Так что, я думаю, идея еврейской исключительности (её, конечно, евреи очень любят) — не более чем выдумки и мечтания. По-еврейски говоря, халоймес.

— Однажды один не последний человек с российского Первого телеканала, имя которого по понятным причинам оглашать не буду, сказал мне буквально следующее: «Наше сионизированное телевидение». Согласен ли ты с таким определением?

— Ну конечно! И телевидение, и газеты, и журналы. Сионизация в России — просто безумная! Думаю, всё-таки этот процесс управляемый. Не хотели бы — этого бы не было. Бороться-то с этим могли бы. Но мы наблюдаем картину прямо противоположную. И от этого грустно.

— На твой взгляд, степень антисемитских настроений в СССР и нынешней России чем-то принципиально отличается?

— Никакого антисемитизма не было, нет и, наверное, не будет! Это всё выдумки.

— Но на бытовом-то уровне?

— Я ни разу не сталкивался. Антисемитизм придумали. Кто? Вопрос отдельный.

— А если взять такие явления из нашей новейшей истории, как семибанкирщина, и даже такие мелочи, как формирование в недавнем прошлом участников ежегодного фестиваля в Перми «Белые ночи» в составе Мильграма, Гурфинкеля, Гельмана, Вайсман и прочих?.. Это же примерно то же, что и семибанкирщина! Разве такая явная

избирательность не может вызвать ответную реакцию?

— Могла бы вызвать, но не вызывает.

— Архиепископ Иоанн (Шаховской), довольно известный богослов и философ, как-то заметил: «Главный грех евреев в том, что они подражают плохим христианам, сбрасывающим с себя вину пред Христом»…

— Когда сравнивают евреев и христиан, я говорю, что в этом мире всё устроено с некоторой компенсационной силой. В реальности евреи немножко лучше, чем их установка и парадигма. А христиане немножко хуже, чем их установка и парадигма. Разница не гигантская.

— А если речь о взаимоотношении евреев и мусульман?

— Евреи и мусульмане жили вместе многие века. Жили очень хорошо и беспроблемно. К исламу еврейство относится лучше, чем к христианам. Так что страха со стороны еврейства по этому поводу нет ни малейшего. Более того, на эту тему есть притча, что если предстоит выбор — креститься или умереть, еврей должен умереть. А если выбор — перейти в ислам или умереть, то, конечно, перейти в ислам! И не задумываться.

— При твоей наблюдательности и вживлении в российское бытие ты не можешь не видеть, как здесь набирает силу русское национальное движение. Этот непреложный факт вполне объясним: государственным деятелям негоже делать вид, что русских не существует или что они, напротив, есть некая сверхнация, а посему может позволить не обращать сама на себя внимания. Каковы, на твой взгляд, перспективы русского национального движения?

— Сначала надо разобраться, о чём разговор. О движении русском этническом? Или — о русском культурно-православном? Если — о русском этническом, я к этому делу отношусь отрицательно. Да и не свойствен, мне кажется, русским такой вот этнически еврейский подход. Это в моём понимании будет последняя форма ожидовления. Если же мы говорим о развитии православной русской традиции, это, по моему разумению, было бы то, что очень нужно. Однако сие не означает, что культурно-православное направление надо противопоставить этническому подходу. Но и выпячивать этнический подход, мне кажется, было бы неправильным.

— Ты дружил с Александром Даниэлем и Вадимом Делоне. С теми, кто в тысяча девятьсот шестьдесят восьмом году протестовал против ввода советских войск в Чехословакию. И ты протестовал — в том числе. Повторил бы ты этот ваш протест сегодня, с высоты прожитых лет?

— А что мне оставалось делать? Пойти и выразить поддержку интернациональному долгу? Страна ведь была совсем другой в те времена. Тогда такие волеизъявления — в поддержку или в осуждение, и те, и другие — не очень-то были людям понятны.

— Но ты жалеешь о том, что разрушена советская империя?

— Что погиб Советский Союз — конечно, жалею. Ну кто ж об этом не жалеет?! Таких людей просто мало.

— У нас в России отбор в десантуру очень строгий — по росту, по массе, по всему. Как тебе удалось оказаться в воздушно-десантных войсках Израиля при твоём… наполеоновском росте?

— Я даже был не самым маленьким в своей роте. Ещё два человека были меня поменьше. Так что не такой уж я… Наполеон! В принципе, очень высоких-то у нас в десантники и не брали. Не то что у нас десант состоял из двухметровых, как у вас там, может быть, есть. В десантных частях что важно? Желание. Воля. Настойчивость. Выдержка. Прыгать с парашютом — небольшое дело. Работа десантника начинается после приземления…

— Ты, наверное, уже привык к сильным эпитетам в свой адрес? Как только тебя не кличут: и еврейским Че Геварой, и лучшим другом палестинского народа, и пламенным антисионистом. Всё-таки кто ты? Как ты сам себя идентифицируешь?

— Я совсем даже не задумываюсь на эту тему, потому что чем меньше мы о себе думаем, тем лучше получается. Иными словами, меня этот вопрос совершенно не беспокоит. Я стараюсь делать то, что нужно делать, стараюсь сказать людям то, что у меня есть сказать, а задумываться на предмет, кто я и с чем меня едят, — это вещи, которые лучше избежать. И — для писателя, и для журналиста. Кто мы? Мы же — просто канал. Между высшими силами и людьми. А если мы будем шибко задумываться, кто мы есть на самом деле, это будет как с сороконожкой… Знаешь, как сороконожку остановить? Чтобы она задумалась, какой ногой она сначала ступает. И — всё! Никогда больше с места не стронется.

Александр Чернявский

Три беседы с Галиной Шлёнской

Александр Чернявский, Галина Шлёнская

Впервые о Галине Максимовне я услышал в августе 1985 года. Только что были успешно сданы экзамены в Красноярский государственный университет, через пару недель мы должны были войти в аудитории филологического факультета, который тогда находился на Маерчака, 6. Мы — вчерашние абитуриенты, а ныне почти что студенты — внимали на скамейке рассказам бывалых второкурсников.

— *У нас самые лучшие преподаватели во всём университете!* — безапелляционно утверждал второкурсник с модной бородой. — *Самая интересная из них — Галина Максимовна Шлёнская. Она вам расскажет о литературе то, что никто не расскажет. Узнаете и о Солженицыне, и о других эмигрантах. А как она рассказывает!..*

Напомню, на дворе стоял 1985 год. Горбачёв только-только пришёл к власти, и никто ещё знать не ведал, чем закончится объявленная им перестройка, которую впоследствии философ Александр Зиновьев не без оснований переименовал в «катастройку». Но про Солженицына кое-кто из нас слышал и в 1985 году. Знали, что его выслали из страны за антикоммунистические произведения. И подозревали, что вряд ли его имя есть в учебниках отечественной словесности. Одним словом, бородатый студент нас изрядно заинтриговал. Но в тот год с Галиной Максимовной познакомиться не довелось. В 1985 году её пригласили работать заместителем директора в филиал Института русского языка имени А. С. Пушкина в Праге.

Узнал Галину Максимовну я, только вернувшись из Советской Армии. Моё возвращение из Братска совпало с её возвращением из Чехословакии. В начале девяностых она вновь начала читать лекции о русской литературе двадцатого века в нашем университете. Это были вдохновенные рассказы о литературе Серебряного века, о трагических судьбах писателей, о том, как «век-волкодав» перемалывал всё и вся. Безусловно, многое мы уже знали, целые материки запрещённой в советское время литературы, словно град Китеж, уже показались из-под вод забвения. Но от этого знания её лекции не становились скучнее. Мало знать — надо ещё и осмыслить, и понять! Стройные концепции соцреализма рушились на глазах, в головах у многих начинающих филологов тогда царила смута, и, конечно же, слова Галины Максимовны были в какой-то степени прививкой от этого смыслового хаоса.

О её отношениях со студентами нужно сказать особо. Она умела быть с ними на равных, с огромным энтузиазмом поддерживала тех, в ком видела хотя бы искорку способностей. От неё можно было нередко услышать жёсткие оценки по поводу известных людей, но студентов при мне она в основном хвалила. Не знаю уж почему, но вскоре я попал в её любимчики. Может быть, за беззаветную любовь к литературе.

На последнем курсе Галина Максимовна неожиданно предложила писать диплом под её руководством. Вообще-то я учился на журналиста и дипломную работу должен был предоставить согласно специализации, но Шлёнская настояла на своём (она умела это делать). В результате я погрузился в творчество Корнея Чуковского и написал работу про его литературные портреты. В этот период (1991–1992 годы) мы с ней особенно часто встречались, и разговоры наши были не только о литературе. Жизнь Галины Максимовны была богата событиями, часто драматическими.

Диплом я успешно защитил в 1992 году. Галина Максимовна сильно хотела, чтобы я остался на её кафедре, но время для этого было неудачное. Я как раз женился, родился сын, и, честно говоря, в эпоху «шоковой терапии» прожить на абитуриентскую зарплату было просто нереально. Пришлось пойти другими жизненными дорогами. Но наша дружба не закончилась с получением диплома.

В августе 1992 года на радиостанции «Местное время» ежедневно стала выходить часовая программа «Слово народное». Этот патриотический проект придумал Олег Анатольевич Пащенко, который предложил мне возглавить редакцию «Слова…». Через какое-то время среди острых политических программ «Слова народного» появилась и наша совместная с Галиной Максимовной литературная передача—немного камерная и домашняя. Я выступал в качестве ведущего, но главное слово было, конечно же, за моей гостьей. Она дарила слушателям блестящие рассказы о Шукшине, Распутине, Цветаевой, Астафьеве—всех тех, кто был ей близок и дорог. До сих пор жалею, что не сохранились записи тех передач. Уверен, многие из них были бы интересны и сегодня.

Вскоре наступило время и для печатных материалов. В середине 1992 года Олег Пащенко решил издать литературный альманах «Светлица». Под одной обложкой он собрал произведения красноярских литераторов из патриотического лагеря. Задумка удалась. Альманах интересно почитать и сейчас. В нём появилось и моё первое печатное интервью с Галиной Шлёнской под примечательным названием «Верьте в Россию!». Признаться, в 1992 году, стоя на руинах дымящейся советской империи, верить в будущее нашей страны было непросто. Но мы—верили! Беседа была о Марине Цветаевой. Интерес Шлёнской к этому поэту был не случаен. Её всегда привлекали личности с трагической судьбой, люди, в чьём творчестве отразилась судьба народа.

Следующее наше интервью появилось почти через десять лет в «Аргументах и фактах на Енисее». Повод для него был печальный—в ноябре 2001 года скончался Виктор Петрович Астафьев. Наша беседа вышла в январе 2002 года, на сороковой день после его смерти. Но это были не литературные поминки. Беседа получилась живой. Шлёнская дружила с Астафьевым с начала восьмидесятых годов. Их отношения, судя по её рассказам, были непростыми. И ругались они, и расходились, и сближались. Это нормально для личностей такого масштаба. Но в том интервью личных историй мы решили избежать. Разговор о творчестве нашего классика шёл скорее философский и литературоведческий.

Третье и последнее интервью с Галиной Максимовной я сделал в 2006 году по просьбе Александра Синищука, издававшего в то время журнал «Кто». Это интервью отличалось от предыдущих бесед широтой тем. Говорили и о плачевной ситуации в современной литературе, и о мироощущении студенчества, и о будущем русского языка, и даже о снах.

—Вот что удивительно—многие из тех, кто хорошо знал Астафьева, после его смерти стали видеть сны о нём. И сны поразительно интересные,—рассказывала Шлёнская.—Однажды мне приснилась комната, в которой стояли большие напольные часы. Виктор Петрович вдруг открывает дверцы часов и заходит внутрь. Я говорю: «Что же вы делаете? Ведь часы остановятся!» Но маятник продолжает двигаться… Такая у Астафьева была мощная духовная энергетика, что его влияние на нас чувствуется до сих пор даже на таком иррациональном уровне.

Мощная энергетика была и у Шлёнской. Её влияние чувствуется и сейчас—спустя годы после ухода из этого бренного мира. Она часто говорила мне: «Саша, давайте напишем книжку. У меня столько идей, столько задумок!..» Увы, не сбылось. Она была великая труженица—работала почти до самого ухода, но при этом каким-то чудесным образом к ней не прилипало суетное. Не прилипало, потому что, на мой взгляд, Галине Максимовне было не слишком интересно иметь дело с будничной повседневностью. Её стезя—напряжённый диалог с Вечностью и с теми, кто её воплощал,—большими художниками. С кем-то из них она была знакома лично. С другими созвучными ей душами она разговаривала через эпохи и пространства. Разговаривает, наверное, и сейчас.

В эту подборку, составленную из фрагментов наших бесед, мы постарались включить самые заветные мысли выдающегося сибирского литературоведа.

Из интервью 1992 года

(журнал «Светлица»)

Марина Цветаева и судьба России

—Творчество Марины Цветаевой—действительно живое явление духовной жизни современности. Оно и повод, и аргумент в напряжённых поисках ответа на самые мучительные вопросы, которые поставило перед нами время. И когда мы пытаемся понять судьбы русской культуры и интеллигенции после Октября, и когда размышляем о путях развития отечественной поэзии, и когда говорим о необходимости возрождения России и национального самосознания.

Конечно, о Марине Цветаевой как о национальном поэте говорят «русские» темы и сюжеты. Но не менее важно то внутреннее, глубинное, непроизвольно высказавшееся в душевном жесте, из чего ткётся её поэтический характер: «Не для

тысячи судеб — для единой родимся…» Мне здесь вспоминается Настёна из повести Распутина, которая знала: русская баба только один раз себе судьбу лепит. Не напрасно кто-то сказал о Марине Цветаевой: «Все русские женщины были в ней».

Назвав Распутина, я, конечно, не имела в виду близости художественных манер его и Цветаевой. Тут одна национальная почва и, может быть, равной силы чувство своих корней в этой почве. Я думаю, что творчество Цветаевой могло бы тоже дать материал для составления расширительного словаря русского языка, подобного тому, который издал Солженицын.

Лучшее в глубинах народа всегда находится в гармонии с тем подлинным, что выработано в его образованных верхах.

Время поэзии

— Маленький томик «Избранного» Марины Цветаевой появился в 1961 году. Возвращению её стихов на родину помогли события 1956 года и сложившаяся под их влиянием общественно-литературная ситуация. Это было время пробуждения интереса к поэзии действительно массового читателя («множества», о котором мечтала Марина Цветаева). Вечера поэзии в Лужниках собирали тысячные аудитории. Не столь многочисленные, они тогда постоянно проходили и в провинции — Дни поэзии, Вечера поэзии, Декады поэзии…

Я помню, как тогда мы, ещё начинающие преподаватели вуза, ночи напролёт обсуждали какой-нибудь только что вышедший сборник стихов современного или «возвращённого» поэта, слушали магнитофонные записи песен Булата Окуджавы, Новеллы Матвеевой, позже — Владимира Высоцкого. То же было в студенческих общежитиях. Иногда мы собирались вместе. Общее увлечение стихами дополнительно объединяло нас в какое-то братство, которое сегодня в вузах, к сожалению, и непредставимо.

Это было время стихов. Поэты, без преувеличения, стали героями времени, властителями дум. И как бы кто-либо из нас позже ни изменил своё отношение к отдельным из них, было бы очередным предательством забыть о том, что они нам дали тогда.

О «гробокопательстве»

— В преувеличенном внимании к фактам личной жизни поэтессы бывают порой перехлёсты… Я испытываю большое внутреннее отталкивание от истерии, которая создаётся порой вокруг имени Марины Цветаевой некоторыми чрезмерно ярыми её поклонниками, претендующими подчас попасть в её интерпретаторы. За этой истерией угадывается нескромное желание отождествиться с поэтессой без всякого на то духовного права. Только поклонение не может быть позицией исследователя. А слепое настаивание на абсолютной несопоставимости поэтессы и отказа от осмысления её места в отечественном литературном процессе неизбежно ведёт к попиранию принципа историзма, то есть к литературоведческому манкуртизму.

Из интервью 2002 года
(газета «Аргументы и факты на Енисее»)

Последняя глава классической прозы

— Я оцениваю творчество Астафьева, Распутина и Солженицына как последнюю главу русской классической прозы. Даже для великой и многообразной русской литературы Астафьев — феноменальное явление. И этот феномен ещё ждёт своего раскрытия. Нам ещё предстоит оценить и его дар, и личность, и его гражданский масштаб, и поразительную творческую энергию. У меня есть ощущение, что нам предстоит его ещё открыть. Это для меня совершенно ясно. Сможем мы ли его открыть? Если сможем вернуться к своей исконной русской натуре, русской ментальности, то да.

Сам его жизненный путь от беспризорника до вершин мировой славы феноменален. Конечно, он был сыном своего времени, но критика так и не смогла затолкать его ни в одну из своих любимых ниш, хотя с редким упорством и пыталась это сделать. Ему приклеивали ярлык деревенщика, традиционалиста, почвенника, эколога… Сам Виктор Петрович относился к этим потугам критики совершенно равнодушно. Это и понятно — он не стереотипен в постановке и решении общих в его творчестве с другими писателями-современниками проблем. Уникальны его жанровые формы, а язык астафьевских творений способен и восхищать (порой целые страницы воспринимаются как стихотворения в прозе!), а иногда и обескураживать…

Астафьев и его предшественники

— Любой громадный талант всегда разрушает все рамки и ограничения. При этом он, находя новые пути в искусстве, впитывает в себя многие традиции. Если говорить о предшественниках Астафьева, то я хотела бы обратить внимание на писателя, которого с его именем критика никогда не связывала. Это Иван Бунин. Для меня абсолютно очевидна их литературная перекличка. Вслед за автором «Окаянных дней» Астафьев мог бы обратить к своим оппонентам полный достоинства вопрос: «Россия! Кто смеет учить меня любви к ней?» Бунинская традиция в творчестве Астафьева прежде всего — в боли за нереализованные возможности и талантливость русского человека, за так и не состоявшийся в его жизни ожидаемый праздник.

Несомненное разрушение отечественной литературы, конечно, ударяет по нашей ментальности.

Причём это удар по тому, где мы были наиболее сильны, ярки и самобытны и в чём нас мир признавал. И всё же я верю, что сегодняшняя кич-культура не вытеснит из нашей жизни настоящую русскую литературу. Ведь вся наша философия и понимание русской жизни в подтексте литературы заключена. И Астафьев прежде всего интересен как писатель, выступающий в русле этой традиции. Без соотнесения прозы Астафьева с русской философской мыслью невозможно проникнуть в глубинные смыслы его творчества.

Ответственность художника

— Виктор Петрович всегда строго оценивал своё творчество. Он считал, что когда за нами возвышаются такие гиганты, как Толстой и Пушкин, каждый должен сто раз подумать: имеет ли он право отнимать время своими вещицами у читателей? Я была свидетелем одной очень показательной истории, случившейся лет двадцать назад. Ко мне обратились представители крайкома комсомола и попросили принять участие в семинаре, где собирают всех поэтов-строителей. Я была обескуражена. Мне это напомнило времена РАППа, когда был выдвинут лозунг: «Ударников от станка — в литературу». Но мне сказали, что на семинаре будет Астафьев, и я всё же туда пошла. Встреча проходила в Студгородке. В зале, предоставленном под семинар, было, наверное, человек сто. Виктор Петрович какое-то время внимательно, но всё более недоумевающе слушал оратора, а потом вдруг встал и резко выступил: «Если из всех вас получится хотя бы один писатель, то это будет самый лучший итог семинара. Писательское ремесло — это колоссальный труд плюс талант, от Бога данный». Бедный организатор этого семинара сидел и во время этих слов обливался пóтом.

Из интервью 2006 года

(журнал «Кто»)

Нищета постмодернизма

— Законодатели литературной моды называют Ерофеева, Пелевина и Сорокина. Утверждают, что их имена останутся в истории русской литературы. Эти авторы, бесспорно, талантливы, но когда я читаю их книги, у меня возникает вопрос: во имя чего они это пишут? Русские писатели всегда были не только литераторами, но и духовными лидерами нации. Писатели были «со-виновниками времени». Вопросы «Кто виноват?», «Что делать?», шукшинский вопрос «Что с нами происходит?» большинство нынешних литераторов, увы, не волнуют. И они уже перестали быть властителями дум. Это не может не удручать. «Как слово наше отзовётся?» — этот вопрос, увы, кажется, уже не волнует современных писателей.

Нынешняя литература изменила эстетике реализма. В ней слишком много пересмешничества, натурализма и даже порнографии. Ловкие литераторы привыкли паразитировать на чужих сюжетах. Постмодернизм ушёл от духовности. Искусство отвернулось от нравственной проблематики. Это не моя литература. Поэтому сегодня я предпочитаю читать мемуары и книги-биографии.

О нравственной деградации

— Менталитет современного читателя сильно изменился. И не в лучшую сторону. Я недавно с печалью для себя открыла, что из набора обязательных позитивных характеристик личности исчезла такая важная вещь, как «начитанность». Язык стал примитивным. Речь современного человека заштампована, сера и убога. Ненормативная лексика считается шиком. А внутренние дефекты ведь наиболее отчётливо проступают именно в языке — зеркале души. Это фактически диагностика нравственного состояния общества. И трудно сказать, что мы утратили раньше — благородство языка или благородство души.

Как-то я встретила на улице одну заплаканную выпускницу нашего факультета. Говорит, что ушла из газеты, где от неё требовали даже о смерти писать цинично. Цинизм — духовный рак нашей эпохи. В литературоведение его метастазы, к сожалению, тоже проникли. Попала мне недавно в руки книга некоей Катаевой об Анне Ахматовой, в которой автор попыталась буквально уничтожить великого поэта якобы компроматом и собственными измышлениями. Что двигает такими «литературоведами»? Уж явно не стремление к истине.

Солженицын и номенклатура

— С Солженицыным связана одна драматическая история моей жизни. В одном из сибирских городов я после окончания аспирантуры возглавляла кафедру, и у нас в курсе современной литературы были лекции по творчеству Солженицына. Как раз в этот момент его выдворяли из СССР. Нас обвинили в утрате политической бдительности, кафедру разгромили. Я переехала в Красноярск, и даже здесь меня вызывали в крайком для бесед, потому что за мной тянулся шлейф «неблагонадёжности». Парадокс! — когда Солженицына в перестройку разрешили, первыми его книгами завладела та самая номенклатура, которая когда-то его выдворяла с Родины! То, что власть читает Александра Исаевича, конечно, хорошо, вот только почему-то его советам следовать не спешит.

В поисках новых героев

— Студенты во все времена дарят мне много приятных неожиданностей. Например, сегодняшние студенты заставили меня по-новому взглянуть

на литературу соцреализма. Им это вдруг стало интересно. В частности, творчество Маяковского сейчас начинает пользоваться большой популярностью у молодых. Или роман «Как закалялась сталь». Астафьев неоднократно резко отзывался об этом романе. В отличие от него, я всегда считала, что это произведение, уникально отразившее эпоху, ни в коем случае нельзя выбрасывать из школьной программы. Это наша история: в фанатичном герое Николая Островского воплощён трагичный, но где-то и романтичный дух той сложной эпохи. Не надо быть манкуртами и Иванами, родства не помнящими. Одна студентка на семинаре заявила, что она завидует Павлу Корчагину, потому что у того поколения была высокая цель. «А у нас?»—задала она риторический вопрос. Думаю, нынешним молодым ещё долго придётся искать на него ответ.

Постоять за Россию!

— Только сейчас мне открылось—как Астафьев спешил писать! Огромный жизненный материал буквально давил его… Он никогда не вспоминается на одной ноте—всегда по-разному. Это как фильм «Андрей Рублёв»—столько там пластов!..

Это место ещё долго будет пустовать… Астафьевы появляются раз в столетие. Духовные авторитеты рождаются не на «Фабрике звёзд». Слава Богу, есть ещё Распутин—одна из самых притягательных для меня фигур в современной литературе. Это тот случай, когда от самых скорбных повестей русского писателя веет необыкновенным внутренним светом, верой в человека. Валентин Григорьевич в своё время написал, что ждёт появления в литературе Героя, который мог бы постоять за Человека, за Россию. Потребность эта не утолена до сих пор.

Литературное Красноярье ∴ СИНЯЯ ТЕТРАДЬ

Полина Войт (9 лет)

Любимый город

Город Красноярск—мой родной любимый город. Он находится в Восточной Сибири в очень живописном месте, на великой и прекрасной реке Енисей, в кольце Саянских гор.

Красноярск—большой город. В нём проживает более миллиона жителей. А Красноярский край такой огромный, что превышает площадь многих европейских государств в десятки раз: к примеру, Франция меньше в четыре раза.

В Красноярске много интересных мест и достопримечательностей: музеи, театры, парки, дворцы культуры, стадионы, детские площадки и многое другое. Когда я была маленькая, любила играть с друзьями на детских площадках недалеко от дома, кататься с горок, качаться на качелях. Качели мне и сейчас нравятся, а горки уже кажутся не такими весёлыми, как раньше, зато теперь я люблю большие аттракционы в парках. Очень жду лета, когда можно будет покататься на любимых аттракционах в Центральном парке и в парке «Троя». Ещё я люблю ходить в парк флоры и фауны «Роев ручей», там много удивительных животных: тигры, рыси, медведи, верблюды, зубры, зебры, олени, волки, лисы, обезьянки, разные птицы, в том числе великолепные фазаны и павлины. А летом и осенью в парке ещё и очень красиво, потому что там много клумб со всевозможными цветами, садовые группы из удивительных кустарников и деревьев.

Недалеко от парка «Роев ручей» располагается вход на территорию самой знаменитой достопримечательности Красноярска—«Красноярские Столбы». «Столбы»—это скалы на вершинах гор, у каждого есть имя, самые популярные—«Слоник», «Первый столб», «Дед», «Перья», «Такмак». На «Столбах» хорошо в любое время года.

Зимы в Красноярске холодные и снежные. В этом году особенно много снега. И это здорово, потому что можно играть в снежки, лепить снеговиков, кататься на санках и плюшках со снежных гор. А лето у нас бывает разным: иногда прохладное, иногда жаркое. В жаркую погоду хочется купаться. Жаль, что в Красноярске так мало пляжей, пригодных для купания, но я надеюсь, что скоро их станет больше, ведь Абаканская протока очень тёплая, в ней можно было бы купаться, если бы не знаки, запрещающие это делать. А пока в ней разрешено плавать только уточкам, бобрам, ондатрам и рыбкам, за ними интересно наблюдать.

Я люблю мой город Красноярск! Он большой, красивый и перспективный!

Николай Бурляев

Иван Вольнов

Чтоб в наши дни писать поэмы,
Наивность нужно сохранять:
В стихи, возвышенные темы
Кому теперь досуг вникать?
К тому же эрудит-читатель
Заметит: «Автор—подражатель,
Он графоман или нахал,
Размер „Онегина“ украл».
Но не спеши бранить сурово,
В грехе я сам признаться рад:
Здесь—только формы плагиат,
А содержанье будет ново.

Я никогда, признаюсь, прежде
Поэм пространных не писал
И строй классический в надежде,
Что он поможет мне, избрал.
Но, взором внутренним объяв
Поэмы будущей состав,
Увидел, что не удержусь—
Не раз размером поступлюсь.
Скажи, возможно ль в наше время
Покой душевный сохранять?..
Жить в рамках и не бунтовать
Не может суетное племя.
Итак, поэмы план готов.
Название—«Иван Вольнов».

Глава первая

1.

Начнём с Иванова рожденья.
Вольнов открыл мне свой секрет,
Что будто помнит он явленье
В пронзительный, кричащий свет,—
Как потекли перед глазами,
Размыты первыми слезами,
Тазы, халаты и столы,
Кружились стены и полы,
Мелькали лица, руки, стёкла,
Предметов хаос бушевал
И новым гулом удивлял:
За окнами Россия мокла...
Лечила раны вся страна:
Год как закончилась война.

2.

Назвали в честь отца Иваном.
Поскольку он четвёртым стал
Ребёнком, в общем-то, нежданным,
«Поскрёбышем» отец прозвал.
Семья и так недоедала.
«Поскрёбышу» и горя мало:
Ел богатырски, был здоров
Иван Иванович Вольнов.
Семья на лето поселялась
В старинный загородный дом
С туманным полем и прудом.
Здесь сердце Вани пробуждалось.
Кто с первых дней природой жил,
Навечно сердце ей открыл.

3.

Хотя спроси теперь Ивана:
«Ты помнишь детство?»—скажет: «Сон...
Мне память, полная тумана,
Детали открывает в нём:
Как босиком по глине топал,
Как брата-забияку шлёпал,
С соседкой ползал нагишом
В сарае, от отца тайком...
И тайну охранял обманом...
А там, когда постарше стал,
Вино из рюмок допивал...
Но вряд ли был я хулиганом...
Я с одногодком не дружил,
Но дружбой старших дорожил.

4.

В пять лет казалось: я—частица
Всего-всего большого дня...
Я должен в Мире раствориться,
Чтоб Вечность вновь вошла в меня...
Где сон, где явь—ещё не видя,
Но, мнилось мне, судьбу предвидя,
Я вдумывался, вспоминал,
Бессмертье жизни понимал.
Себя считал я Богом или
Некоронованным царём,
Который вступит в бой со злом—
И победит! Чтоб люди жили
В согласье, мире и любви—
Ведь нет спасенья на крови...»

5.

В Москве, в квартире коммунальной,
Вольновы жили целый век.
То мирно жили, то скандально
Соседи—двадцать человек.
Обобществлённая квартира:
Чреда у ванной и сортира,
Брань и смешение полов
На кухне у пяти столов…
Исчадье стирок в свете тусклом,
Застолия по вечерам,
Симфонья звуков—шум и гам
Армян, цыган, евреев, русских…
Смеялся, плакал, правил бал
И жил «интернационал».

6.

Огромным замком в центре бойком
До революции владел
Богатый человек—Ханжонков,
Российский первый кинодел.
Многоэтажная громада,
Украшенная вдоль фасада
Аркадой, башнями, резьбой
И керамической плитой.
Когда-то здесь подворье было
Древнейшего монастыря.
Изгнав монахов и царя,
Власть коммуналку заселила.
Но в этом доме каждый знал,
Что здесь Распутин проживал.

7.

В разноплеменном хороводе
Иван уж начинал взрослеть,
Когда узнал он, что в природе
Есть странное понятье—«смерть».
Внезапно бабушки не стало,
Той, что Ивана целовала,
Ласкала больше всех внучат;
И вот—уста её молчат.
Кругом все плачут, а Ивану
Обряд трагический смешон.
Он думал: «Прах лишь погребён,
А бабушка незримой станет!
И если помнить и любить,
То будет она вечно жить!»

8.

А вот в толпе, в Колонном зале,
Куда с отцом с трудом попал,
Иван, поскольку все рыдали,
Над гробом Сталина рыдал.
Пришла и радость вслед за горем:
Отцовский брат вернулся вскоре,
Седой, худющий, как скелет,—
Он дома не был десять лет.
Иван же справил семилетье.
Тянулись в школе без труда
Пятидесятые года—
Зигзаг двадцатого столетья.
Здесь бег рассказа замедлю.
Не бойтесь—вас не утомлю.

9.

Уже развитие сюжета
Диктует, что руке писать.
Как сладко, несказанно это—
Художник сможет лишь понять.
Уходит робость начинанья.
Приходит радость созиданья.
Душа парит, забыв про сон.
Поймёшь, коль был и ты влюблён.
Теперь, я это твёрдо знаю,
Свою поэму сотворю!
Я вкус почувствовал, парю,
План вдохновеньем уточняю.
Поверьте—не отвлёкся я.
Итак, Иванова семья:

10.

Иван Вольнов, отец Ивана,—
Князей потомок и купцов,
Дитя российских балаганов
И запорожских удальцов.
Дед с бабушкой служили сцене
И при царе, и в наше время:
Отец отца был комик, мать
Могла в трагическом блистать.
Наследник русского артиста
В душе о творчестве мечтал,
О музыке, но нарожал
Детей… И стал экономистом:
Он нарукавники надел,
Век за конторкой проскрипел.

11.

Всю жизнь трудилась мать Ивана,
Российская святая мать:
Смогла шестнадцать душ сверх плана
Детей и внуков воспитать.
Мужик и красный комиссар,
Её отец низвергнул бар,
Цыганку вольную познал,
Украл её и в жёны взял…
И появилась мать Ивана.
Россию стала возрождать:
Любить, творить, терпеть, рожать—
И верить! Вот—Вольнова мама…
Однажды мне признался он,
Что матерью своей силён.

12.

Ивана старший брат талантом
Уже в младенчестве блистал:
Был вундеркиндом-музыкантом,
С большим оркестром выступал.
Здесь перечень семьи вольновской
Закончим шуткою отцовской:
«Мой средний был—и так и сяк,
А младший вовсе был дурак…»
Пред музыкой и скрипкой нежной
«Поскрёбыш» наш благоговел.
На людях взять смычка не смел,
Но при оказии прилежно
Со скрипкой брата на чердак
Влезал тайком «Иван-дурак».

13.

И там в безмолвном упоенье
Он экзерсисы вспоминал:
Не зная устали и лени,
С восторгом брата повторял.
Обнявши скрипку, с антресоли
Он уносился ввысь, на волю,
И суету не различал,
Коснувшись вечности начал.
Однажды дирижёр услышал
Пассаж, посильный Паганини,
Который отродясь доныне
У итальянца только вышел.
Маэстро Ваню вниз спустил
И в свой оркестр пригласил.

14.

С тех пор Иван уж всенародно
Искусством души ворожил.
В консерваторию свободно
Он без экзаменов вступил.
Яд лести лился в уши Вани:
«Ты гений! Баловень! Избранник!
Ты Божьей искрой одарён!
Не писан гениям закон!..»
Испивши яд хвалы бесплодной,
Художник гибнет иногда.
Ах, если б знали то всегда
Творцы гармонии свободной!..
Благодарю: прочли главу.
Кто не устал—вперёд зову.

Глава вторая

15.

Художник, если ты поэму
До этих пор не отшвырнёшь,
То над главой про жизнь богемы,
Я обещаю, не уснёшь.
Да, впрочем, только ли художник?
Сапожник… железнодорожник…
Да кто ж из нас не отдал дань
Вину, красавицам, «друзьям»?
В богеме многие тонули:
Пьянит и манит глубина,
И нежно сладострастье дна…
Со дна не многие вернулись.
И я там был. Мёд-пиво пил,
Но, право, я ещё не всплыл.

16.

Но я—не в счёт. Речь о Вольнове.
Для многих он кумиром стал.
Нужды не ведал в «добром слове»
И к «дружбе» льстивой привыкал.
Один музыковед-приятель,
Услужливый банкетодатель,
Вольнова в гости затащил,
Флейтистку также пригласил.
Спасаться поздно было бегством:
Иван с флейтисткой сел юнцом…
Поднялся—бравым молодцом
И навсегда простился с детством.
Текли в познанье без труда
Шестидесятые года.

17.

Ивану часто говорили:
«Гляди-ка—Лермонтов живой!»
Похожестью Ивану льстили:
Поэта он любил душой.
Надменным, колким, озлобимым,
С душой ранимой, нелюбимым,
Себя он гордым почитал
И чуть не «Демоном» считал.
В любом пиру был нелюдимым.
Он только правду признавал.
Лгунов на дух не принимал,
За что прозвался «нетерпимым».
Иван не признавал лишь месть.
И было Ване—двадцать шесть.

18.

Пустое времяпровожденье
С «элитой» в дымных кабаках:
До тошноты ночные бденья,
Застолья в «творческих домах».
Компаний пошлое веселье,
Постель чужая, боль похмелья,
Но обожали пикники
Советских классиков сынки.
Один любитель куропаток
Легкодоступных чредовал,
Легко и Родину сменял,
Как пару папиных перчаток.
Один ли он удрал «пожить»,
Не Родине—себе служить?

19.

Где вы, сображники-ребята?
Володя… Гена… где Олег?..
История шестидесятых…
Хмельной, гитарный человек…
Петлю и раннюю могилу
Судьба Геннадию судила.
И гневный бард под землю лёг,
Блокаду тьмы прорвать не смог.
Отряд на марше расчленялся.
Кто крикнул: «Зло не одолеть!» —
Кто слабостью упился в смерть,
Кто дезертировал, кто сдался,
Кто подкрепления не ждал,
Но верил в Свет и наступал.

20.

Плетя интригу разрушенья,
Уже который век подряд
Враги спасенья, дети тленья:
«In vino veritas!» — кричат.
Чтоб богатырь не смел подняться,
С нечистой силой расквитаться
И с мировым сразиться злом,
Россию залили вином.
И там, где прежде медовуху
Вкушали в праздные деньки,
Пришелец насаждал шинки
И разум разрушал сивухой.
Так Бахус, грязный винодел,
Без боя Русью овладел.

21.

С рожденья знают даже дети,
Что в мире есть добро и зло.
Но всем ли взрослым на планете
Понять различье повезло?..
Ах, если б в школе нас учили:
Мол, так и так, вот злая сила —
Хаос, вражда, безверие,
Разъединенье, тление…
Зло безысходностью пугает,
Твердит, что счастье лишь в деньгах,
Во власти, низменных страстях,
Усладой плоти развращает.
Коснёмся и добра примет:
Любовь и Вера, Радость, Свет.

22.

Ночь проведя в богемном блуде,
Кто сможет чистоте служить
И в мрачной комнате Иуды
О светлом Спасе говорить?
Обжорство, пьянство и похмелье,
Греха нечистое веселье…
Связь расторгая с Красотой,
Художник платит немотой.
Он звуки неба забывает —
И крылья в путах суеты
Не достигают высоты.
Гармония в душе смолкает…
И в сердце тления печать
Вольнов уж начал примечать.

23.

Иван мечтал остановиться,
Унять бесовский жизни круг:
Или долой с него свалиться,
Или душой проснуться вдруг.
Неотменим закон Вселенной:
Иль к Свету, ввысь, — иль в бездну тлена,
И каждый должен выбирать —
Тьме или свету присягать.
Но, к счастью, можем мы послушать,
Что в эти дни Иван писал:
Бедняга тоже сочинял,
Оберегал стихами душу.
Вот исповедь его, друзья.
Размер сменить грозился я.

24.

«Простите, что я слаб, несовершенен,
Что ни себя, ни вас я не спасу,
Что вас так мало я люблю,
Что ни оков не разорву,
Не встану на колени.
Что, видно, так и проживу —
Покуда не сгорю в геенне
Или предчувствие души осуществлю:
Когда начнёт без плоти длиться время
В Пространстве, в то последнее мгновенье.
Простите мне, что я уже старею,
Дерзаю мало и ленив душой,
Что больше благ других люблю покой,
Что Это, тайное, открыть вам не умею,
Что, как и вы, я — умерщвляю плоть,
Что не бегу греха и полного паденья,
Но пью за праздник, за гармонию, любовь,
Что за паденьем жду я возрожденья,
Что эту исповедь пред зеркалом писал,
Но отраженья так и не познал.
Я крал, прелюбодействовал и лгал,
Я пил вино, и я творил кумиров.
Отца и мать я мало почитал,
И я, быть может, многих убивал,
Хотя, поверьте, всем добра желал.
Познать паденье человека в мире,
Испить до дна… и заплатить собой.
Простите, если вас я обманул.
Я верен был лишь Истине одной».

25.

Не раз я слышал от Вольнова:
«Поверь мне, в жизни я любил
Лишь мать, Россию, правды слово…»
Он истину боготворил.

Поди проверь… Легко ль занятье…
Туманно истины понятье.
Быть может, истин—миллион
И в каждом сердце свой закон?..
Я лично—неуч в этой теме:
По мне, светило далеко…
А так как солнце высоко,
Вдруг Истина—одна над всеми?
Кто скажет правду нам, друзья,—
Быть может, Вечный Судия?..

26.

Иван дивился жизни в свете,
Так как с оркестром «выезжал»,
И мир—в трагическом балете
Он с болью в сердце познавал:
Потеря веры, культ наживы,
Гоненье Правды, буйство лживых,
Души забвенье, войны, стон,
Паденье, ад—со всех сторон.
Мир приближал своё крушенье.
Однажды с корабля на бал
В курортный город он попал.
Но, чтобы описать смятенье,
В котором пребывал Вольнов,
Приложим лист его же слов:

27.

«Манят женские шафраны.
Сняты лифчики для страсти.
Дев заезжих караваны
Взором знойным ищут счастья.
Ницца—Мекка сладострастья,
Шанс последний на везенье,
Женский вопль о несчастье
И не-у-до-вле-тво-ренье.
Разнобой магнитофонов,
Шлягер пошлый ресторанный,
Жернова аттракционов,
Чад агоньи полупьяной.
Взоры алчущие беса
Жалят встречного собрата.
Насыщает поднебесье
Смрад всемирного разврата.
Где единство и родство?..
Ненаглядный идеал?..
В лицах—плоти торжество,
Сатана в них правит бал!
И вершит грехопаденье
В откровенный взор блудниц,
Позабывших, что спасенье—
Стыд опущенных ресниц.
В погибающем Содоме,
В восхитительной Помпее,
У вулкана на ладони
Люди так же сатанели…»

Теперь нам не унять Вольнова—
Назрело откровенья слова!
От исповеди грех бежать…
Вот что он хочет нам сказать:

28.

«…Я неправедно живу:
Мясо ем, курю и пью,
Обольстительниц люблю,
Рамок—не терплю.
Недозволенно живу:
В празднике тону,
И не знаю—я всплыву
Иль пойду ко дну.
Независимо живу:
Изредка творю,
Гнёт судьбы—не признаю,
Свою песнь пою.
Возмутительно живу:
Лживым не служу,
Нетерпимым я слыву,
Брата не щажу.
Но зато, как я живу,
Сотню раз на дню
Сам себя в душе распну,
Горестно вздохну…
И—наполню светом грудь,
Разгоняя тьму:
Все грехи свои сожгу
Я когда-нибудь!
Несказанно заживу,
Сердце утолю,
Не обижу, не пролью
Я слезу ничью.
Верю я в свою звезду.
Жизнь благодарю.
Чистоту боготворю.
Возрожденья жду…»

29.

Не ожиданье, а усилье—
Помощник истине, дружок:
Положишь камень—и бессилен
Преодолеть его поток.
Но час потехе—делу время:
Пора бы, братец, сбросить бремя,
Всем сердцем светлому служить,
Когда во тьме несносно жить.
Один ленивец собирался:
«Вот завтра—баньку истоплю!
Сегодня же чуток посплю!..»
Он так грязнулей и скончался.
И чтоб пример не повторить,
Пора бы баньку истопить.

30.

Глава падения Ивана
Даётся мне не без труда:
Ведь нужно избежать обмана
Для чистых сердцем без вреда.
Двадцатый век плодит «поэтов»,
Которым наплевать на это,
Что будут дети их читать
И грязь их к сердцу приобщать.
Пусть каждый в меру развращенья
Припомнит все грехи свои
И облегчит труды мои
По описанию паденья.
Быть может, лишний раз вздохнёшь,
Раскаешься—и жизнь спасёшь.

31.

Как блудный сын Иван являлся
В старинный загородный дом.
Здесь мать жила, здесь исцелялся
Вольнов родительским теплом.
Здесь всё ему напоминало
Рожденье—дивное начало…
Когда себя осознавал,
Бессмертной жизнь свою считал.
Здесь мама пела ночью длинной…
Черёмухой он пачкал рот…
Лес… соловьи… и огород…
И шишки в самоваре дымном…
Пруды… туманы… и поля…
Россия… Родина моя.

32.

Стоял… смотрел… припоминая,
Один средь голубых полей.
Недвижим, сердцем замирая,
Вникал в слова души своей.
Освобождённое сознанье
Готово было мирозданье
Всё-всё до капельки вместить,
И всё вокруг он мог—любить!
И был он лёгок и свободен,
И голос сердца воскрешал
Слова возвышенных начал;
Вновь был он чист и благороден.
С тех пор прогулки принял он
Как ежедневный моцион.

Глава третья

33.

В Москве, в Коломенском старинном
И вдоль Москва-реки бродил…
Герой тут в кооперативном
Крупнопанельном доме жил.
Гудел шестиподъездный улей
Ветрами, сотнями кастрюлей,
Дрожал, дивил контрастом он:
То—лифта гром, то—страстный стон.
И дом, раскрашенный огнями,
Смеялся, пил, аккорды брал,
Скандалил и детей качал…
Плыл, как корабль в океане.
Корабль Иван увидеть мог,
Нырнув за борт, через порог.

34.

Свои прогулки-монологи
Он год уже не пропускал:
Смирял волненья и тревоги,
Под звёздным небом размышлял,
Беседовал с восторгом тайным
С самим собой и мирозданьем…
Учился рифы проплывать,
Свой чёлн волнам не дать швырять,
Срывал с пороков покрывало
И с беспощадностью судьи
Казнил провинности свои,
Чтоб Правда лишь торжествовала.
А дома, выпив чай, вздыхал
И, улыбнувшись, засыпал…

35.

…И снился дивный сон Ивану:
Он свой корабль оставлял…
И Золотому Океану
Спокойно душу доверял…
Струились радужные блики…
Всплывали солнечные лики…
Здесь были все, кого он знал…
А знал он—всех!.. Всё понимал!..
Сиянием восторг разлился…
И в нём торжествовал Иван,
Безмерный, словно Океан!..
…Он, полный Света, пробудился
И радостным назвал тот Сон.
Та радость и поныне в нём.

36.

С тех пор герой наш изменился,
И это каждый отмечал.
Он и лицом преобразился—
В глазах его огонь сиял.
По лестнице метро однажды
Он ехал, а куда—неважно,
В чреде сограждан вниз он плыл,
За вверх плывущими следил.
…Скользили, проплывали лица…
Задумчивая череда…
Спросил себя: «Люблю их?.. Да…
И я цепи этой частица…
И все мы—целое, одно:
И те, кто ввысь, и кто на дно.

37.

В счастливый миг Вольнов родился.
Счастливей «Демона» поэта:
Он возродился. Он—влюбился!
И речь теперь пойдёт об этом.
В концертном зале это было:
Ивану сердце защемило,
Когда её увидел он.
Взгляд!.. Вспышка!.. И уже влюблён!
Иван во все глаза из зала
За новым божеством следил.
Он слёз восторга полон был—
Так она Моцарта играла!
Иван, не зная, кто она,
Сказал в душе: «Моя жена!»

38.

И даже коль она другому
Принадлежит, и тёща-мать
Не думает о зяте новом,
Вольнов не мыслил отступать.
В крови бродили гены дедов,
«Цыганокрадов» и поэтов.
Уж гороскоп-то знает всяк:
Иван был «Лев»—то царский знак.
Кто скажет—случай свёл Ивана
С Марией в парке у пруда,
Иль это Божьего труда
Благословенная программа?..
Гулял он с ней, взглянуть не смев,
За руку взять боялся «Лев».

39.

И вот они спустились к пруду.
Случилось это в третий день.
Ночь, звёзды, тишина повсюду...
Присели у воды на пень...
Касались спинами... Дрожали...
Признанья вспышки ожидали...
Луна струилась, бушевал
Вокруг лягушечий хорал...
И наконец «храбрец» решился:
Ведь раньше, позже—всё равно,
Уж всё судьбою решено.
Сказал—как в бездну повалился:
«Должны мы быть с тобой всегда...»
Мария отвечала: «Да».

40.

Москва в тот год изнемогала:
Ты помнишь—семьдесят второй?..
Жару и дым превозмогала—
Леса горели под Москвой.
Медовый месяц нашу пару
Унёс далёко от пожара.
В Кижах, на островах Онеги,
Они испили чашу неги.
В избе друзей жилось им просто.
Дом плотнику принадлежал.
Искусно резал, воскрешал
Он церкви Кижского погоста.
Кто в том краю из вас бывал,
Тот, верно, Ёлупова знал.

41.

Под скрипы вёсел открывали
Места, которых нету краше.
Два ближних острова назвали:
Тот—остров Вани, этот—Маши.
Они с порожка бани ярой
В Онегу кувыркались парой
И плавали на острова,
Где гнулась сочная трава...
Нам жизнь полна, когда—вдвоём!
Тогда и вечность не страшна,
Возня крысиная смешна...
Как сладко потонуть в родном...
Ночь со свечою коротать,
Обнявшись крепко, засыпать.

42.

И знали оба, не пугаясь,
Что жить—не поле перейти,
Но что, плечом к плечу сражаясь,
Сумеют свой союз спасти.
И как бы там враги ни злились,
Плоды бессмертья появились:
Сначала сын, а следом—дочь:
Иван да Мария точь-в-точь.
Мне, право, тяжкий труд достался—
Любовь их в слове воплотить.
Шекспира мне не повторить,
И как бы я тут ни старался,
А лучше сам Иван сказал,
Вот что герой в стихах писал:

43.

«...Сгорело лето.
В лесу так тихо.
Бредём тропою.
Немного солнца.
Вороны... Ветер...
Да мы с тобою.
Вечерний вызвезд
Пленён до срока
Голубизною.
Вдыхаю запах
Смолы и хвои
С твоих ладоней.
Лесной орешек
Разгрыз зубами—
Какой упругий!
Две белых дольки
Жуём, губами
Прильнув друг к другу.

Печная магия…
Стол сосновый…
Дымится ужин…
Вино из солнца…
И нам на свете
Никто не нужен.
Два карих глаза—
Два бирюзовых…
В лесу ненастье…
Покой меж нами,
И каждый день нам
Приносит счастье».

44.

И, чередуясь тьмой и светом,
Стезёй духовного труда
Текли двадцатого столетья
Семидесятые года.
Крепчал Иван. Росли детишки.
Злодеи набивали шишки,
Пытаясь разорвать союз.
Врагов бесила крепость уз.
Дуэт Ивана и Марии
Восторгом ду́ши окрылял,
К добру и Свету призывал,
За что в народе их любили.
Иван да Марья и в быту
Являли ту же красоту.

45.

По мелочам бывали ссоры—
Без диалектики нельзя.
Себя крепит цементом спора
Лихая русская семья.
У нас все мужики—гусары,
У нас все бабы—комиссары.
Но лишь согласие штабов
Сметёт с дороги всех врагов,
Разъединяющих супругов.
А если в «штабе» брань, содом,
Гусары тешутся вином
В компании «гусара-друга».
Построже быть к себе умей—
Потомство будет здоровей.

46.

Иван однажды в откровенье
Признался, что без Марьи он
Не дожил бы до возрожденья,
Увял бы во пиру чумном.
Он попросил меня героем
Его не делать. Значит, скроем,
Как он не раз людей спасал
И втайне ближним помогал,
Любил, творил, боролся, верил,
Что будет по делам дано
Подняться ввысь иль пасть на дно
И долю Вечности отмерить.
Вот строки из его труда
В восьмидесятые года:

47.

Очнуться вновь средь синих гор,
Над горным озером проснуться.
Своей виной вчерашний спор
Признать—и сердцем улыбнуться.
Вдохнуть лаванды фиолет
И жёлтый зверобой пьянящий
И не дослушать, сколько лет
Приговорит мне птица в чаще.
Вздохнуть… Ведь углублённый вздох—
Причастие Творящим Светом…
Ах, если б в горе горьком мог,
Вздыхая, не забыть об этом!..
Покой средь молний сохранять,
Огонь отеческих заветов,
Смерть постигая, сознавать
Нетленность сущности предметов.
Средь боя зоркость не терять
В клубящемся чаду распада
И в сердце радость сохранять—
А больше ничего не надо.
Ведь даже если триста лет
Мой век стремительный продлится,
Мне не допеть про Белый Свет,
Не долюбить, не утолиться.
Я буду каждый вздох и миг,
Пока живу, благословлять,
И ткать из сердца Света нить,
И не устану повторять:
«Люблю… Спасибо… Хорошо…»
Минуй меня дурные чувства.
Всё, что пришло и отошло,—
Фрагменты Божьего искусства.

48.

Вот и конец поэмы видно.
Я не любитель докучать.
Хотя, не скрою, мне обидно
Весёлый труд свой завершать.
Я слышу, кое-кто зевает
И умудрённо упрекает:
«А где ж измены, страсти, кровь?
Где безысходная любовь
И гибель вашего героя,
Не одолевшего судьбу?..»
Утешить вас я не могу.
Поэмы суть—иного строя:
Век безысходности угас,
И время—тьме, и Свету—час!

49.

Настало время возрожденья
И веры в светлый идеал.
А если ты иного мненья,
Мне жаль тебя, но ты отстал.
Тогда воспользуйся советом:
Дерзай и наполняйся Светом.
На злобу злом не отвечай,
С улыбкой пей, и лучше — чай,
И перечитывай «Вольнова».
Отвечу вам, кого смутил
Тем, что героя не убил:
Мир и без этого суровый.
Живи, твори и будь здоров,
Иван Иванович Вольнов.

P. S.

Мой труд с онегинским размером
Стал наслажденьем для меня.
Я, вдохновлён его примером,
Скроил поэму за три дня.
При этом трижды в день питался,
С женой и сыном занимался,
Играл с собакою, читал
И сотни вёдер натаскал
Для поливанья огорода.
В закате по полям блуждал,
За лес светило провожал
И любовался на природу.
Теперь готов на сто поэм,
И, право, мне достанет тем,
Но нету времени совсем.

2–5 июня 1983

Литературное Красноярье ∴ СИНЯЯ ТЕТРАДЬ

Самое ценное

Анна Майорова

17 лет

Тяжёлые тучи и трубы заводов,
Уставшие люди и сотни машин.
Серое небо теснят небосводы,
Восставшие из драгоценных глубин.
Зимой минус сорок, и летом плюс пять…
Переливы сиянья, грибы и морошка.
Хочешь — не хочешь, а надо гулять
И привыкать к холодам понемножку.
Это Талнах — наша малая родина.
Полярные ночи и танцы небес.
В тундре горит огоньками смородина.
Сколько ещё тут великих чудес?!
Холод и вьюга, пурга и ненастье…
Жизнь — вереница дней и ночей.
Но здесь в каждом доме
Живёт своё счастье,
Тихое счастье уставших людей.

Богдан Ефимов

8 лет

Солнце и воздух, еда и вода
Очень важны для меня всегда.
Огонь тепло мне даёт… Несомненно,
Для жизни нашей это бесценно!
Друзья, которые меня окружают,
Мне весело время скоротать помогают.
Лошадка красивая, любимый котёнок,
Щенок озорной, пятнистый телёнок,
Игровая приставка, свет, Интернет —
Без этого жизни практически нет.
Но прожить без мамы и папы
Будет совсем невозможно, ребята!
Самое ценное в жизни моей —
То, что не купишь за миллионы рублей!

Анатолий Вершинский

Мгновенья века золотого

Фестиваль

В сентябре на воле, на краю села,
на Словенском поле[1] роза расцвела.

Рокот многозвучный струн и голосов
наполнял «Нескучный садик» пять часов.

Складны ли куплеты? Строфы строги ли?..
Барды и поэты мимо розы шли.

Как в минуту жажды никнут к роднику,
наклонялся каждый к алому цветку.

Всяк дивился чуду, дух его вдыхал:
песенному люду он милей похвал.

Шли домой, согреты верою в успех,
барды и поэты—каждый лучше всех!

Мёртвое и живое

Ржавое железо уязвляет взор,
будто кровь с пореза раненый не стёр.
Жёсткости мерило—мертвенный металл—
ржавчина смирила: сущим тленом стал.

К соснам порыжелым льнёт кукушкин лён,
деревом замшелым взгляд не оскорблён.
Срубу вековому тоже личит мох—
как живой к живому, прикипел-присох.

Жизни нет предела—тем и хороша.
Лишь бы не ржавела с возрастом душа.
Скрыт конец дороги в сумраке глухом,
где свои ожоги лес бинтует мхом…

Время

Пускай тебя любовь твоя обидой ранит за обиду,
как ранят острые края осоки, беззащитной с виду,—
вернись на сто обид назад и хоть по пальцам перечисли
те дни, когда звучали в лад, казалось, даже ваши мысли.

Пускай провалам счёту нет и полагаешь виноватым
в недостижимости побед не слабодушие, а фатум,—
представь историю страны в её рубежные моменты:
в большом огне обретены цвета георгиевской ленты.

Пускай сознанье тяготят в песок посеянные годы
и топит опыт, как котят, надежды на благие всходы—
с мостков, разрушенных до свай, забыв, что время нефартово,
из ила жизни вымывай мгновенья века золотого.

Красота

Цветок исполнен чар; залётная пчела,
приняв его нектар, взамен передала
желанную пыльцу от сродного цветка.
Земле цветы к лицу; без них она горька.

Закон природы прост: обмен, а не обман.
У сада певчий дрозд—в разносчиках семян:
он ягодки клюёт, а косточки плодов
пускает в оборот для завтрашних садов.

С реальностью вразрез придумано людьми,
что на земле чудес не более семи.
Диковин полон свет; заметь их, назови—
раскроются в ответ признанию в любви.

Венцом земных красот замыслен человек,
и красота спасёт межзвёздный наш ковчег.
Уйти с душой пустой не смею, не могу:
я перед красотой пожизненно в долгу.

Зоркость

Развалины древней постройки
вросли в островной краснозём…
Лишь оттиски времени стойки
на камне, на глине—на всём.

Руины у кромки лощины
сливаются с рыхлой скалой.
Скалу испещрили морщины,
как патина красочный слой.

А сверху на что же похожи
долины, предгорья, хребты?
На складки стареющей кожи
походят они с высоты.

Но, с юности помня о чуде
и в небо взлетая за ним,
любуются зоркие люди
морщинистым ликом земным.

1. Словенское поле—обширный луг близ Изборска, исторически значимое место.

Артефакты

Меж трёх морей возвысившийся остров,
ты чем привлёк меня издалека?
Не тем же, что пополнил свору монстров
гибридом человека и быка.

Не пляжами, где даже и без кремов
сентябрьский ветер обгореть не даст.
Не тем, что чтил тебя Иван Ефремов,
любимый в пору юности фантаст.

Но тем, что люди, вечно занятые,
взрастили здесь плоды (им нет числа),
которые Эллада—Византии,
а та уже—Руси передала.

Но, через третьи руки принимая
наследие державы островной,
я чувствую, что есть и связь прямая
меж древностью чужою и родной.

Сличите артефакты на досуге:
от Кносса до Тобольского кремля
одно лицо—богиня-Мать на юге
и северная Мать Сыра Земля.

Секрет

Тысяча снимков из краткой поездки.
Лишь на одном—драгоценный кулон.
Вынесло золото древней подвески
то, что не выдержал камень колонн…

Мастер из Малии[2] сканью и зернью
выложил пчёл над цветком луговым,
чтобы гордилась пред знатью и чернью
царская дочь амулетом своим.

Символ слиянья природного дара
с бережным знанием тайн ремесла:
пчёлке-приёмщице каплю нектара
передаёт полевая пчела…

Боги явили последнюю милость:
память о царстве Минойском жива.
Сто пятьдесят поколений сменилось,
лишь неизменна цена мастерства.

Вижу в музее земли закордонной,
залы которого редко пусты:
мастер из Малии ждёт за колонной.
—Брат, передай мне секрет красоты!

Ночлег

До чего сильна природа! Полновесная луна
от заката до восхода полстраны лишает сна.
И задолго до прогноза в запоздалых новостях
буря, вечная угроза, отзывается в костях.

Но и малости земные впечатляют, как и встарь:
веселят цветы лесные; огорчает в роще гарь;
перелётная пичуга, неприметная на вид,
песнопениями юга северянина дивит…

Всё заметнее сутулость, всё растеряннее взгляд.
А родная улыбнулась—и напасти меньше злят.
На успех надежды зыбки, но душа опять легка
от сочувственной улыбки, от согласного кивка.

Как дрозды верны гнездовью, верен дому человек.
Согревается любовью лишь единственный ночлег.
Вот и я за эти годы убедился, что она
если не сильней природы, то по силе ей равна.

Смена

Ценители минойского искусства
уверены, что образам его,
будь это человек иль божество,
предписано смягчать людские чувства.

От ужаса, от низменных страстей
избавлен созерцатель артефакта,
в котором откровенность чувством такта
уравновесил мастер-чудодей.

На фреске, на керамике, на глипте[3]—
в любом творенье критском не найти
брутальных сцен, которые в чести
и в Междуречье были, и в Египте.

Сюжеты «настоящих мужиков»,
ценимые в художническом цехе:
война, охота, плотские утехи,—
не трогали минойских мастаков.

Иль был на то запрет? И я представил
уклад, где волей Матери-Земли
закон и нравы женщины блюли,
мужчины лишь придерживались правил.

Ослушник оставался не у дел…
Не думал, что секрет критян раскрою,
пока в Афинах, рядом с агорою[4],
художниц молодых не углядел.

Они вдвоём расписывали стену.
Ещё вчера стена была сера…
Когда со сцены сходят мастера,
приходят мастерицы им на смену.

2. Ма́лия—городок на севере Крита. Близ Малии находятся руины минойского города, с дворцом, сравнимым с Кносским.
3. Глипт—камень с резным художественным изображением на нём; камея, гемма.
4. Афинская агора́—городская площадь Афин, в древности являвшаяся местом общегражданских собраний.

Виталий Молчанов

У речки памяти моей…

Кепка

Тулья — блин без единого клина,
Козырёк заслонил пол-лица.
Сказку, пахнущую нафталином,
Вынимаю из кепки отца.
Пусть сгоревшие годы, как спички,
Ветер осени сдул на асфальт,
Вряд ли возраст забудет привычки
И остудит ребячий азарт
Пробежать со всех ног вдоль перрона
И запрыгнуть в случайный вагон,
Занавеску по нити капрона
Сдвинуть вбок и увидеть, как сон,
Возвращенье чудесное в детство,
Я бы лучше придумать не смог:
Вот к столу пододвинуто кресло,
Светит лампа, и чистый листок —
Мальчик пишет заветные строки,
Процитировать их не боюсь
После краха великой эпохи:
«Я люблю мой Советский Союз!»

Затаившись на дне антресолей,
Постаревшая кепка отца
Вся скукожилась, словно от боли,
Шепчет сказку одну без конца
О стране, всех любимей и краше,
Перестройки развеявшей дым,
Цельной, мощной, без пафосной фальши,
Где отец ожил вдруг молодым,
Набекрень сдвинул кепку привычно
И пошёл нефть искать по земле.
Слово «Ленин» крылато и зычно
Мчится к Марсу в космической мгле,
И к врагам не ушла Украина,
Олигархов исчез подлый класс,
Пасть войны, отнимающей сына,
Не дотянется больше до нас.
Мальчик пишет заветные строки,
Процитировать их не боюсь
После краха великой эпохи:
«Я люблю мой Советский Союз!»

Кепка, кепочка… Горше потеря
С каждым годом, сгоревшим дотла.
Поезд прошлого мчится сквозь время,
Окна — словно в себя зеркала.
Промелькнули берёзы и ели,
Полустанки, стада на лугу…
Ту страну, что мы все проглядели,
Никогда я забыть не смогу.
Кочегар, наполняй щедро топку,
Угольками пусть вспыхнет вина.
Кепку старую спрячу в коробку,
Где отцовские спят ордена.
У надежды нет времени скрыться
И взлететь за мечтой в облака,
Просто верю, что всё повторится
И вернётся на кру́ги, пока
Мальчик старый вновь выпишет строки,
Процитировать их не боюсь
После краха великой эпохи:
«Я люблю мой Советский Союз!»

● ● ●

Л. П. Сковородко

Уходит к Богу книжный человек,
Перелистнув последнюю страницу, —
Крылом как будто взмахивает птица
И в небе растворяется навек.

Игрушечными предстают дома
Пред зорким взглядом облачных скитальцев.
Заботу и тепло волшебных пальцев
Хранят на полках толстые тома.

Мне близок и далёк твой мир теперь:
Ты — вечность, а людские жизни — миги.
Мне кажется, что ты по зову книги
Лишь отошла, не закрывая дверь.

В чертогах Бога книжный человек.

Свиристель

С. Н. Хомутову

Скоро тополиные метели
Позабавят снегом детвору.
На рябину сели свиристели,
Наклевались ягод не к добру.

Пьяный сок под кожицей таится,
Горечь послезимняя сладка,
И летит земля навстречу птице,
Отражая в лужах облака.

Гулкий стук, поломанное тело…
В свиристеля превратился ты,
Мой приятель, и шагнул несмело
С недоступной птичьей высоты.

Отуманен хмелем, одурманен.
Облака, застывшие в глазах,
Горним светом попрощались с нами,
Был живой, крылатый, ныне — прах.

Дочек не порадуют метели
Тополиным снегом поутру.
Как же мы, приятель, проглядели
Ягоды, опасные нутру?

В сладости — лишь горе расставанья,
Земляная на века постель.
Гроздь рябины принесла страданья
Всем, тебя любившим, свиристель.

Косички

Порхают бантики, как птички,—
То вверх, то вниз, чаруя взгляд.
Они на веточках-косичках
Сидеть спокойно не хотят.

Зеленоглазая девчонка
Стремглав бежит, не чуя ног,
И на бегу хохочет звонко,
Взметая вверх речной песок.

Она смешна, рыжеволоса,
Нам вместе нет и тридцати,
Вот сиганула вниз с откоса,
Вот речку хочет перейти.

Я — птицелов довольно юный,
Зато стремителен в броске:
Наискосок утюжу дюны,
Косичку чувствуя в руке.

Ещё чуть-чуть — поймаю птичку,
Осталось только поднажать…
Не схватишь счастье за косичку,
Схватив — не сможешь удержать.

Перевернёт судьба странички
От юных лет до наших дней.
Порхают бантики, как птички,
У речки памяти моей.

Литературное Красноярье ∴ СИНЯЯ ТЕТРАДЬ

Иван Харчёнок (9 лет)

Моя семья

Всех дороже для меня
Моя дружная семья.
Папа — сварщик мой от Бога,
У него работы много:
Есть работушка в совхозе —
Он со сваркой на извозе.
А зимой, конечно, вахта —
Без работы туговато.
Мама в школе убирает,
Всё усердно намывает.
Мама моет очень чисто,
В чистоте чтоб нам учиться.
У меня сестра Алёнка —
Очень добрая девчонка.
Ну а я ей — брат Иван
Вроде тоже без изъян.
Маме с папой помогаем,
Во дворе снег убираем.
Гоним скот на водопой,
А потом опять домой!
В общем, дружно мы живём
Нашей славною семьёй!

Александр Гутов

Обстоятельства выше нас

Слова

Если жизнь — пространство для ловитвы,
чем спастись? Любое слово — блеф.
Шепчешь зря подобие молитвы,
и что крест, что треф?

Равнодушно, как для князя ханство,
радости не даст ни на микрон,
серое небесное пространство
с четырёх сторон.

Ощущаешь: жизнь идёт на убыль,
обманула, как искусный тать,
пару слов — смочить сухие губы —
надо б прошептать.

Да, мираж — поток ультрамарина
и прозрачно-золотой родник,
да, всего лишь смятая перина —
тонкая подделка из Турина.
И в словах нарушена доктрина.
Но куда без них?

Обстоятельства выше нас

Незаметно растаял наст
в отбелевшем фрагменте двора;
обстоятельства выше нас,
сколько странных забот с утра.

Ты меняешь рубашки фасон,
чтоб торжественно вынести хлам;
мог бы быть и другой резон.
Тебе кажется: это сон,
затянувшийся наш бедлам.

Надо только найти, где створ,
и — наружу, в полёт, в весну;
тебя встретит там птичий хор,
твоей «Шкоды» взревёт мотор,
равный дикому табуну.

Собирай же скорей пакет —
свой предел для удачных дел.
Над тобой потолка багет.
Сжалась Русь, что музейный макет
или княжеский малый удел.

Ворона

Прилетев сюда подобьем дрона,
щупом клюва обыскав гнильё,
всполохнулась чёрная ворона,
слыша приближение моё.

Знать бы ей, какие нынче рамки:
каждый шаг, куда велит компас,
каждый шаг затвержен по программке.
Не летим, куда там! Мы — подранки,
как в любимом фильме не про нас.

Присмотрись: на хищнице — корона.
Царствует средь мусорных вершин
крупная, тревожная ворона,
чёрная, как цвет сменённых шин.

Курсант

Уже коричневат и золотист,
в каком-то пируэте, как артист,
с нависшей ветки оторвался лист
не без бравады.
Помедлил над панбархатным ковром,
сверкнул в луче изогнутым ребром;
за ним уже другие — вчетвером —
перелетели низкий борт ограды.

Как будто бы другого дела нет,
как в старом вальсе выпускник-кадет,
невидимым потоком чуть задет,
снижался с блеском.
Был невесомым золотым кружком —
и стал личинкой, куколкой, мальком;
в обыденном пейзаже городском —
стотысячным довеском.

Я оторвался от ненужных дел,
смотрел в окно, пока он так летел.
Стать перегноем — весь его предел,
так их гласят уставы.
Он лёг, слегка задев асфальта кант,
отчаянный и смелый, как курсант,
как за Днепром расстрелянный десант
за день до переправы.

Операция

Внезапно сообщила рация:
«Готовьтесь, немец у порога!»
Готовлюсь — завтра операция,
и я опять в руце у Бога.
Туман задёрнул речку полностью,
венозной набухают вены;
два погранца в прибрежной поросли.
Всего лишь час до их замены.
Вот-вот взревут аэродромы,
минут за тридцать до вторжения.
В отсеках бомбы-костоломы
почти дрожат от напряжения.
Я слышу краткий спор о дозе,
я на столе каком-то длинном,
распластанный в нелепой позе,
кукую под новокаином.
Я не усну от этих капель,
пристёгнутый к такому ложу.
Чуть полоснуло — это скальпель
в два лепестка разрезал кожу.

Заштопан, я сейчас воскресну:
лишь день один — и мне обратно.

Груз смертоносный рухнул в бездну,
усиливая вой стократно.
Два погранца исчезли в пламени,
погибли взводы и заставы.
Зачем ненужный спор о знамени?
Все, кто там был, — навеки правы.
Всё это сон, ушло, заштопано,
зарубцевались злые шрамы,
под многослойный грунт закопано
да стало частью диорамы.
Подлог, обманка, аберрация, —
мой современник судит строго.
Готовьтесь — завтра операция,
и мы опять в руце у Бога.

Вечер на В…кове

После их печального осмотра
к арке в тёплой охристой стене
подхожу, чуть хорохорясь бодро,
им же — оставаться в тишине.

Чьё-то фото, мрамор, бронза, камень —
маленький гранитный мавзолей.
Вы, при жизни бывшие богами,
прячетесь в густой тени аллей.

Вечность коротать теперь в соседстве,
словно кто-то все преграды стёр.
Этого — когда-то видел в детстве,
тот — навек любимейший актёр.

Сорок лет назад был чёрен волос,
сорок дней как бард закрыл уста.
«Протопи!..» — рвал воздух хриплый голос,
словно из могилы без креста.

Сахарный, улыбчивая маска,
за Окой, в Мещёре, твои га.
Может быть, при жизни чуть заласкан,
провалился в землю, под снега.

Споры, чьё пристанище престижней, —
суета, тщеславья тонкий яд.
Тот, кто к вам пришёл, — он самый ближний.
Только пусть задержит дольше взгляд.

Не отъедет маленькая барка,
но вступает что-то с нею в спор.
За спиной — приземистая арка —
вечности замаскирован створ.

Алексей Чернец

Оплечь небо, в ногах дорога

• • •

Чужого горя легче жёрнов,
Как ни прикидывай извне,
И ту шинель с плеча чужого,
С дырой, с кровищей на сукне,

Не примеряй — не будут впору
Ни та война, ни тот устав.
Вот маму с полпути на скорой —
Сегодняшний, реальный страх!

Да нет же, обойдётся, что мы,
И прежде знали пневмоний.
Вот дети вырастут без школы,
Без книг, в беспамятстве — одни!

И в день какого там парада —
Хоть самому себе не верь…
Наверно, Господи, так надо —
Проснуться в этот майский день.

Переосмыслишь то, чужое,
Пока щетинишься, как ёж:
Ну, это, с Днём Победы, что ли! —
И вспомнишь будто, и поймёшь.

• • •

Я ради красного словца
Спешил добраться до конца,
До той безлюдной станции.
А где тут выход? Нет как нет.
Нет ни газет, ни сигарет,
И бесполезны санкции.

Теперь назад спешу — туда,
Где день — какой? — ах да, среда,
Делюсь бесценным опытом.
Там тело скучное, как воск,
Там чей-то шёпотом вопрос:
«Ты слышишь, слышишь? Кто-то там!»

Тут я на нерве: «Слышь, кончай.
А как же жизнь? А как же чай?»
Блин, из огня да в полымя…
А тот, покорствуя судьбе,
Лежит и думает себе:
«Всё надо делать вовремя!»

• • •

Откопали мёртвого поэта:
Гикнулся от степа ли, от нэпа,
Или просто шлёпнулся с карниза, —
В общем, докатился ниже низа,

В общем, прицепился, как репей.
Интересно, как бы он теперь?

Как ему сегодняшние наши
Скифство, так сказать, да милость к падшим?
Не мудри, выкладывай навскидку —
И получишь скидку за отсидку,

Ладно, за отлёжку — всё равно.
Оказалось, всё давно дано.

Нужно лишь в тиши вперёд и с песней
Принимать заложенное в тексте:
Ближнего любите, идиоты, —
Как лекарство, до последней ноты.

Только Он, наведавшись в бедлам,
Всех рассортирует по делам.

А поэта хоронили снова,
Зарывали бережно, как слово,
Позабывшись, клянчили, как дети:
Как ты там пред вечностью в ответе?

Жизнь такая, Бог тебя храни!
Остальное — глупости одни.

• • •

Отойди от меня — не дрогнут
Ни рука, ни слепая вера.
Я не спятил — я весь подобран,
Обращён до зубного нерва.

У меня заболела мама —
Я в аптеку, купить лекарства.
А сомнений во мне ни грана,
Только нервы: чуть тронь — искрятся.

Оплечь небо, в ногах дорога,
Да вода по спине как с гуся.
Сколько есть — мы одни у Бога.
Отойди, говорят, не суйся.

● ● ●

Говори, говори мне, золотце,
Как летят по дефолту деньги!
Печенеги тебе не половцы,
Половцы—не печенеги.

И сказал бы—не знали: знали же,
Не напрасно гуляли слухи.
Говорят «жалюзи́»—не «жа́люзи»,
Как от стенки отскок от скуки.

Отчестив негодяев загодя,
Гогоча, омываем длани,
И журчит загово́р, как за́говор
Между ухарством и Уханем.

● ● ●

Цельсий жжёт, и в летней форме
В пункт онлайновой доставки
Я прошёл вон там, вдоль свалки,
Как у Бога по ладони.

Словно вынырнув из рая:
Ну а крайний кто—не вы ли?—
Мы ли—просто приуныли,
Сколько ждать ещё, не зная.

Но стоим вполне дистантно,
Просто щуримся от света—
Не апрель, а прямо лето!
А чего без маски сам-то?—

Вырос из комбинезона…
Не смешно, зато понятно:
Никакого нет порядка,
Хохот ширится до звона.

Едет «оставайтесьдома»,
Тянет скорбную тянучку.
Дверь уводит в одиночку—
Не привыкнет, неудобно.

● ● ●

Мне сказали: смени пластинку!
Я завис, подводя итог.
Куи боно и зигу с фигу
Выдаёт современный слог.

И зловещая тень ковида—
Не иначе как на века,
Словно кто-то врубил корриду
Для невидимого быка.

И смятенье то лезет сбоку,
То вперёд на лихом коне,

Ты прости, я соврал, ей-богу,
Ничего не сказали мне.

● ● ●

И понял человек про заговор вселенский,
И в сердце у него погиб Владимир Ленский,
Теперь из глубины сибирских руд
По громкой связи демоны ревут.

То мерит коридор—подобие хайвея,
То грезит что-то там из Брэдбери из Рэя,
А то вскричит: какой, к чертям, ремонт,
Когда не разберёшь, где тыл, где фронт?!

Присядет, постучит, как пианист по «клаве»:
На, выкуси, «фейсбук», мы тут, чай, не в Китае.
Скажи-ка, дядя, дело наше—дрянь?
А Швабрин, слышь, реально негодяй!

● ● ●

Крикливым, нервным стал Харон:
Вы у меня вот здесь, в печёнках!
От ваших грёбаных корон
Потонет утлая лодчонка!

Иль это боги, мстится мне,
Иль это подослал сам чёрт их?
Но сколько ж их, живых царей,
Когда припёрло столько мёртвых!

Иль каждый сам себе колпак—
Вознёсся, хряснулся о купол?
Со смертью можно разве так—
Не по-товарищески, грубо?..

Задетый за живое, дед
Табличку накорябал: «Клосед».
Вас, мол, ко мне—а смерти нет.
Бастует и не перевозит.

● ● ●

Как ни дели на «до» и «после»,
Трамбуя в памяти руинки,
Он всё-таки нагрянет в гости:
«Привет, я родич твой, Глубинкин!»

Толкнёт про детство охи-вздохи,
Про времени необратимость,
Разложит хлипкие вещдоки,
Чтоб атмосфера возродилась.

Всю душу вытянет из тела
В тот край безбожных аберраций,
Чтоб тело больше не старело.
А тело станет препираться,

Таращась в пустоту, как юзер:
«Цыть, дура, я те пофеерю!
Живи—и чтобы без иллюзий!
А клоун тот ошибся дверью».

Борис Бергин

На краю

Пост

Прости мне, Господи, что я ушёл с поста.
Я отступил, придумал, что устал.
Мне показалось—больше не могу.
Да что держать? Всё отдано врагу.

Куда ни глянешь—гарь да бурьяны́,
И мира нет, ни мира, ни войны.
С тем, что я видел, Боже, не живут.
Зачем же Ты меня оставил тут?

Да, я не выдержал, я перестал смотреть—
И смерть вчера, и завтра тоже смерть.
Они убиты, слышишь ли, Господь?
И сколько жерновам Твоим молоть?

Зачем стоять, зачем смотреть на свет?—
В селе Весёлом целой хаты нет.
Да что могу я, Боже, средь руин?
Ведь я один, на этом месте я один.

И я ушёл, я в Твой не верю рай,
Там вместо сердца у меня дыра.
И я забыл слова все, Отче наш,
И я не брат, и брату я не страж.

Прости, хотелось тишины глоток,
Я низко пал, не устоял, не смог.

Так почему окликнул Ты меня:
«Вернись и встань туда, где ты стоял»?

Зимний день

Коптит, коптит завод без устали
Зимы недолгие снега,
Клюют синицы златоустые
То, что для них я сберегал.

Немного крошек, горстка семечек—
И день морозный пережит…
А я на них смотрю—а чем ещё
Растопишь наледи души?

А чем себя ещё побалую,
Чем удержу себя в беде?..
Господь питает птаху малую
С моей ладони в стылый день.

За звездой

Крест будет потом, а пока за звездой волхвы
идут на восток, и верблюды везут дары,
и можно увидеть из каждой почти дыры
у края небес иные совсем холмы.

Там греют пещеру дыханьем своим волы
и воздух уже наполняет благая весть,
крест будет потом, а сегодня мы все вольны
идти за звездою или остаться здесь.

Днесь Дева рождает Того, Кто до всех времён,
Кто держит в ладони, как бусину, целый мир.
Спускаются Ангелы—слышишь их крыльев звон?
Идут пастухи, звезда перешла надир.

Ты можешь остаться—зачем тебе этот путь?
Тем более знаешь о том, что грядёт потом.
Пусть луч не разрежет тебя удержавших пут,
зато можешь думать, что прочен покуда дом.

Но, только идя за звездой, ты поймёшь, в чём суть,
а значит, разделишь и чашу потом, и крест.
И ладан, и смирну верблюды уже везут,
и ёлка в шарах хрустальных и серебре.

Поминальное

Они приходят смотреть: всё так же мне больно?
Всё оплакиваю руины и тени павших?
Так ли гвоздь ещё в моём сердце колет?
И ждут: а что он теперь о горе скажет?

Нет кровавых костей, к весне засадил цветами
Все могилы и убираю осколки.
На моём горизонте медленно, но светает.
Я дышу, хоть не знаю, отпущено сколько.

Если герои убиты, а победа не наступает,
Остаётся держать свой окоп, свой участок неба.
Пуля—дура, а боль, когда привыкаешь,—тупая.
И давно всё взвешено—брутто, нетто.

И не то чтобы… а просто устал, устал—и точка.
«Точка У» нелепая, гром, что всегда со мною.
Поминальный лист—список кораблей бессрочный.
Журавлиный поезд заклинило над землёю.

На краю

Доживём до Пасхи, а там и Троица—
Отец Александр не благословил умирать.
Закрылась дверь, говорят, что другая откроется.
Когда стоишь один на краю, думай: «За нами рать».

Там и Троица—будут склоны круч все лиловые,
Чабреца у нас—аж до самого Неба дух.
На ветру стоять—это быть и битым, и ломаным,
Но за битого здесь небитых дают сразу двух.

Доживём, конечно,—куда мы денемся?
Кому, кроме нас, нужна эта степь да степь?
Простояли ночь—это значит, что день еси.
А вокруг всё могилы—Саур ли, Острая,
И здесь плавится сталь, а живое убить непросто же:
В каждом раненом дереве—тень Спасителя на кресте.

И кому боронить эту землю рыжую—
В ней ведь столько крови, ни в какой другой больше нет,
Защищать и пахать?—потому мы, конечно, выживем.
Степь да степь, если смерть кругом, жизнь особенно здесь в цене.

Как называть

Был бы моложе—назвал бы тебя джульеттой,
был бы испанцем—точно тогда дульсинеей,
а здесь у нас такое адское лето,
и васильки смертельно синеют.

Жил бы я в сочи, не помню уже что знал бы,
где она, правда, и кто ещё носит прада,
а здесь опять через сердце проходят залпы—
сто двадцать второго калибра мины и «грады».

Звать бы тебя голубкой, да снова сносит…
Драму не эту, заглядывать бы к макбету,
но сводки читаю, повёрнуты сумрака оси,
врут договоры, к чёрту летят обеты.

Кем бы я был, если бы звал тебя дарлинг,
на берегу темзы какой мёрз бы?..
Всё нам дают взаймы, ничего не дарят,
здесь и река—если донец, то мёртвый.

Звать эсмеральдой?—тесен для нас париж-то.
У нас бесконечен цыганский размах дороги,
небо бездонно, в котором легко паришь ты—
можно тебя крыльями только трогать.

Всё, что не смерть и война, здесь кажется книжным;
помню, когда-то наоборот было.
Как мне тебя называть, чтобы просто выжить
в лето шестое без берегов и тыла?

Артур Варданян

Адажио

Пушинка

Отец до боли крепко сжимал мою руку. Но я был рад… Не тому, что до боли, а тому, что идём в цирк. Я ничего не слышал. Словно бы оглох и… летаю. Отец крепко сжимал мою руку и шёл вперёд, а я парил над его головой и ещё крепче держался за его ладонь. Чтоб не оторваться. Руки у отца были большущие, очень крепкие и вкусно пахли. Помню, в день моего крещения он дал мне в ладонях воды из родника. И в тот день тоже я ничего не слышал, да и почти ничего не помню. Только то, что из багажника машины, что стояла во дворе церкви, доносилось жалобное блеяние ягнёнка. Да, и ещё были какие-то страшные бородатые люди в женской одежде (очень поздно я понял, что это — слуги Бога). И ещё помню дерево, у которого вместо листьев были какие-то рваные лоскуты. Это было дерево мечты, и каждый лоскуток был чьей-то мечтой. Отец сказал, чтоб и я привязал платок к ветке и загадал желание. Это был мой любимый платок. Другие лоскутки давно уже выцвели на солнце, и мой новый платок стал самым ярким пятном в кроне, а мне казалось, что моя мечта — самая, самая… Но плохо то, что не помню, что́ я тогда загадал, и не знаю, радоваться ли мне или огорчаться, ведь не знаю, исполнилось ли моё желание.

Круг цирка мне понравился. Откуда-то сверху доносилась музыка, и я её слушал. И очень хотелось туда, наверх, встать рядом с барабанщиком. Но я понимал, что пятилетнему мальчику это ну уж никак не будет дозволено. В первый раз увидел слона. И слон в первый раз увидел меня… И опять оглох. Даже музыку не слышал. Они играли, но звуков не было. Вернее, какие-то звуки были, звуки трепещущих от ветра лоскутков. В тот день, когда возвращались домой, всё было по-другому. Даже комната моя казалась другой… Спать не хотелось. Я повернулся к стене, чертил на ней пальцем. Глаза стали слипаться, я опять оглох и… Я в цирке.

Утром был дождь на всём белом свете. Слышен был только его звук. Я снаружи видел, как стою у окна и смотрю во двор. Я дышал, и окно помутнело. Я начал чертить пальцем… Слон был на стекле, и дождь тёк прямо по нему. Вернее, даже не тёк, а прыгал сверху вниз, или снизу вверх… Не важно. Важно то, что он, дождь, прыгал. Дождь прекратился, и я, задрав голову, смотрел на голубое умытое небо. В голове крутилась музыка, которую услышал в цирке. В голове крутилось всё, что я там увидел. Очень хотелось стать клоуном, потому что клоун может и умеет всё, хоть и делает вид, что не умеет. Хотелось дрессировать животных, но их не было.

Во дворе был только я — и больше никого. И окна дома тоже были пусты. Только в одном, на втором этаже, виднелась голова человека. Этот дядя всегда сидел перед окном и смотрел наружу. Я знал его. Как-то открылись двери лифта, и я увидел его, сидящего на коляске… И убежал. Мне казалось, что сейчас он на меня смотрит, потому что больше никого во дворе не было. Одиночество бы утомило, если бы не вчерашние «цирковые» впечатления.

Сидя на краю песочницы, черчу каким-то прутиком линии. Вдруг увидел у ног муравья, который суетливо бегал туда-сюда, словно что-то потерял и не находит. Стал дрессировать муравья — начертил прутиком на песке круг, как в цирке. Потом подтолкнул муравья в круг. От прикосновения он забегал быстрее. Но меня не слушался. Я ставил какие-то преграды, камни, чтоб он лез на них, но муравей не слушался. Просто обходил препятствия. Нет, он не ленился, просто не подчинялся, потому что никогда не был в цирке и не знал, что это такое. И всё время вылезал за контуры круга. Я увеличил арену, но он всё равно норовил выйти из круга. Я увеличил круг настолько, что там бы поместился и слон. Муравей ушёл из цирка. И в цирке остались лишь я да дядя, смотрящий во двор из окна на третьем этаже. В момент постигло разочарование, просто потому, что я не знал, не догадывался, насколько всё будет хорошо. Если б догадывался, то не разочаровывался бы. Но не знал. Думаю, вообще никто не знает. Даже отец мой не знал. И он тоже разочаровывался. И он, и слон, и муравей, и дядя с третьего этажа. И вдруг стало хорошо, просто великолепно.

…Жаль просто, что не помню того момента, не запомнилось. Наверное, просто не заметил, откуда вдруг прилетела ко мне пушинка. Ко мне. Ко мне в цирк. Я сразу же вскочил и протянул к ней руку. Пушинка спокойно села на неё. Я приблизил её

вплотную к лицу, чтобы лучше разглядеть, и она неожиданно взлетела, сделала круг над моей головой. И вновь возвратилась мне на руку… И я опять оглох. Ничего не слышал. Совершенно ничего. Ни цирковой музыки, ни шороха ветра в лоскутах. Я просто смотрел на пушинку, которая хохотала в голос и летала. Я, как заправский цирковой дрессировщик, вытянул палочку, а пушинка летала над ней. Я смотрел на неё и был счастлив, и мне казалось, что это я летаю. Я тогда не видел, но сейчас уверен, что дядя с третьего этажа смотрел на меня, на пушинку и улыбался. А пушинка продолжала летать. Солнца поубавилось, и вдруг мне показалось, что стали слышны звуки лоскутков, но это был всего лишь шорох листьев. Пушинка вместе с шорохом, кружась, взмыла в небо. Но за пределы очерченного мной круга не вышла. Просто летела вверх до тех пор, пока не исчезла. А я смотрел вслед и улыбался. Я был почти клоуном. И шорох рваных лоскутов доносился с неба…

Адажио

Мужчина с потёртой коричневой сумкой на короткой широкой лямке через плечо и чемоданами в руках, тяжело дыша, прошёл мимо меня. Я затаил дыхание. Я всегда так делаю, когда рядом вплотную проходят люди. Полоса стала белой. Снег продолжал идти. Задержали рейс. Вылет—через два часа. Придётся подождать. А может, это и к лучшему…

Я направился в зал ожидания и сел на единственное свободное кресло, рядом с беременной женщиной. Эхом звучал неразборчивый, погружающий в транс голос диспетчера. Я надел наушники. Вдруг откуда-то сверху возникли кленовые листья, как расплывчатые жёлто-красные пятна, тихо вздрагивая на ветру, стали кружить и парить по всему залу. Медленно моргающие сотни глаз, устремлённые в просторы вечности, растворились в небытие. Я слушал Адажио Альбинони. Тела, отделённые от душ, пребывали во всеобъемлющей монотонной гармонии. Душа была одна, единая на всех. Силуэты… Лица, будто ждущие приговора. В странном замешательстве обнимающиеся тела. Сдержанные слёзы. Полудействия, полужесты, полуулыбки… Пластика во всей её простоте и правде, без малейших прикрас, напоминающая фигуры, сошедшие с полотна старого голландского мастера.

Беременная женщина светилась. Рядом с ней меня охватило чувство вины, мне казалось, что я в чём-то ошибся, промахнулся, согрешил. После того как на площади снесли памятник великому вождю, я всегда представлял себе на этом месте статую беременной, ведь она в этом состоянии прекрасна, божественна, целая вселенная разворачивается у неё внутри, это символ любви, продолжения жизни на земле. Это тепло.

Адажио продолжало звучать. В углу стоял старик в сером плаще, среднего роста, с белыми волосами, с застенчивой улыбкой и прекрасными глубокими чёрными глазами. Люди приезжали, уезжали, прилетали, улетали, а он ждал и внимательно следил за происходящим. Вдруг подходил к очередному пассажиру и с нежной улыбкой что-то говорил, а в конце, провожая его взглядом, махал вслед дрожащей рукой… И снова, прищурившись, пристально продолжал искать людей в толпе. Он подходил к тем, кто был один, кого не пришли встречать в аэропорту, и провожал тех, кого никто не провожал. Ведь это важно, когда тебя ждут. Важно кому-то быть нужным. Важно на прощание сказать: «Береги себя. Возвращайся. Я буду ждать».

Музыка закончилась. Адажио перестало звучать. Диспетчер объявил регистрацию на рейс. Старика не было… Может, это плод моего воображения? А женщина, что сидела рядом, оказалась вовсе и не беременна, а просто слегка полновата, но светилась. В самолёте около меня сидел мужчина с потёртой коричневой сумкой на короткой широкой лямке.

Алёна Шомысова

Сквозь межени и половодья

Перевёл с коми Андрей Расторгуев

Моя Чехия

Из цикла стихотворений

1.

Мостовая,
точно река,
вьётся по городу.
Идёшь не спеша,
словно по дну
прежнего русла
и времени,
из памяти камня
переливая
отзвуки тихого шёпота
давней воды.

2.

Меж валунами с бегущей водой
пробивается время.
Чувствуя жажду,
подносишь пригоршню—
сотни ладоней тянутся,
точно ковши.
Не иссякает поток ледяной:
каждую пригоршню—доверху,
времени дух в каждом глотке…
А оглядишься—
души ни единой в округе:
скрыты за дымкой веков.
Ты—в одиночестве полном.

3.

Пение жаворонка
к самому небу взлетает,
делает круг по орбите
и льётся грибными дождями.
В шорохе капель,
светящихся золотом солнечным,
дедов и прадедов эхом
отдаются в душе голоса…
Но только жаворонок
песней своею способен
их воскрешать
и возвышать.

Верба

Верба в лёгкой дымчатой рубашке
веткой помахала мне когда-то,
а на ней—пушистые барашки,
как новорождённые цыплята.

Показалось, большего не надо:
отщипну—от вербы не убудет,
золотого радостнее клада
мне барашек на ладони будет…

За отцовским домом на пригорке
так полдня за ними и скакала—
до изнеможения, да в горстке
счастья всё равно недоставало.

А порой осеннею однажды
взял отец и рубанул по вербе—
и на счастье детская надежда
золотыми листьями померкла…

Как во сне увижу те барашки—
глажу их, не пробуя проснуться,
и до вербы в дымчатой рубашке,
как до счастья, силюсь дотянуться.

Сигудэк

Фото, снятое в прежнем веке,
отзывается акварелью—
то мой прадед на сигудэке
под высокой играет елью.

Эта музыка—словно друга
долгожданные отголоски.
Плещет на стороны округа
родникового сердца брызги…

Он, едва попадая в руки,
оборачивается птицей,
вместо гальки клюющей звуки
ручьевые над половицей.

И на взлёте иного века
сквозь межени и половодья
душу леса и человека
открывает его мелодия.

Чесалка

Снова бабушке стричь овцу помогаю—
в коробе облаком шерсть вырастает белым.
Не углядишь—подхватит неба пригоршня голубая,
и потому придавливаю всем телом.

Зимний рассвет будит повизгиванием усердным—
это чесалка космы запутанные раздирает.
Словно тяжёлые частые грабли сухое сено
на кочковатом лугу расчёсывают, разбирают.

Чистую шерсть раскладывает бабушка по газетам
и прижимает сверху для тяжести табуретом.
Сто раз на дню гляжу: отлежались уже комочки?
Так я весной слежу, как набухают почки…

Снова чесалке на полке маяться не при деле,
длинные ночи и дни считая до новой стрижки.
Очередь прялки—и ворохам лежащей в углу кудели
долгой не стоит ждать от бабушки передышки.

Оркестр

Под гармошку в детстве песни я распевала,
как меня отец учил, не журя за промахи.
Помню, платье белое лёгкое надевала
и качалась, как цветущая гроздь черёмухи.

А как выросла да сама меха растянула,
на одну лишь песню и вытянулось терпение.
Так душа моя, дорога ли повернула
на другую музыку да на иное пение.

Всем у нас в роду была дудка дадена—
задудят, глядишь, и дальше до удивления…
У отца гармошка, да сигудэк у прадеда,
я с гитарой—вот и оркестр через поколения.

Половик

Ткать половик начать—точно выйти в путь:
льются в земной узор лоскутки, как в реку,
через века привычную выплетать
жизнь по основе, суженой человеку.

Вот на станке ложатся за рядом ряд
северные края чередой цветною:
луг травяной, малиновая заря,
бор золотой с небесною синевою.

В тёплой избе застелем скоблёный пол
новой дорожкой—пёстрая, как живая.
И погляди: ребёнок уже пошёл—
волны взбивая, падая, но вставая…

Вырастет—не удержишь. Но в свой черёд
тот половик незримо—клубок и тропка—
тоже вперёд покатится, понесёт
ниточку жизни бережно, неторопко.

Решето

Словно хранились в амбаре небесном
свежего солнца цвета—
снежные хлопья в полёте отвесном
сыплют как из решета.

Издавна так, через мелкие сита
перепуская слова,
россыпями драгоценного света
их собирает молва.

Не изо всякого разговора,
ссоры и толчеи—
не пропускают худого сора
частые ячеи.

И, в пересуды войдя земные,
мёртвые, как зола,
перетлевают слова иные—
холодно и дотла.

А разгоревшемуся за годы
слову живому—лечь,
словно зерну золотой породы,
в сердце. О том и речь.

Лодка

Лодка битым камнем полна.
Горка—словно чья-то спина.

Сгрузит и обратно на круг—
пашет реку лемехом плуг.

Возит целый год напролёт—
ни секунды не отдохнёт…

Чёрные гнилые борта
точит ледяная вода.

Починить бы, да одного
не хватает—нет никого.

По деревне здешней давно
не горит окно ни одно,

и повис в непамятных днях
над обрывом сад на корнях.

Буйный ветер, силою рьян,
валит иван-чай да бурьян.

А звучит над ними один
эхом от церковных руин

колокольный сдавленный звон
в медленном качании волн…

Искупая тягостный грех,
возит камни лодка за всех.

Прялка

Помню, бабушка пряла медленно у оконца,
поправляя изредка чёсаную кудель.
Так зима лучи вытягивает из солнца,
чтобы в ясный день морозный согреть людей.

Эта прялка служит с какого незнамо года:
с ней ещё прабабушка до́ свету не спала,
а потом как верный знак ремесла и рода
по наследству старшей дочери отдала.

Потускнела роспись лопасти, что икона.
Как морщинки—трещинки: миг—и пойдут слова.
Может, прапрабабушка наша во время о́но
отразилась в древе хранительницей мастерства…

Дочерей у бабушки не было—точно про́пасть,
и совсем почернела прялка на чердаке…
Не умею прясть, но шершавую трону лопасть—
будто прикасаюсь к бабушкиной щеке.

крестовый клевер

сестре

крестовый клевер—к счастью, говорят.
ты помнишь, как, найдя его однажды,
кузнечиком к тебе я прискакала?
от радости тогда я окрылилась,
а ты их находила каждый день…
но правда ли, что он приносит счастье?
всё так, ты говоришь,—когда-нибудь
тебе он счастье принесёт большое.
да сколько для того ещё придётся
таких зелёных крестиков собрать…
но если веришь, можно собирать
диковины—растения и камни.
а можно ничего не собирать:
когда-нибудь одна большая вера
в одно большое счастье обернётся—
диковинное, как крестовый клевер,
да на ухабах вряд ли различишь.

Пояс

В горнице не скрипнет половица—
из цветной кудели нитяной
лёгкий начинает мастерица
ткать узорный пояс шерстяной.

Вновь переплетутся, как впервые,
алая и снеговая нить
в знаки родовые, вековые—
от судьбы недоброй охранить.

Ровной получается дорога
каждой нити—нет ни узелка.
Полнится притоком понемногу
женской доли вечная река.

● ● ●

Даже одалью, в стороне,
ты ещё заодно со мною,
но сегодня—ни слова: мне
надо свыкнуться с тишиною.

Горе слышится в глубине—
незалеченное, живое.
Расступились, а боль—вдвойне,
несвободы обоим—вдвое.

Расцветало—да отцвело,
наливалось—да помельчало…
Всё, что сердце вчера свело,
отпустило. Живу сначала.

● ● ●

С детства самого не приучена
быть я ласковою,
открытою.
Только в этом стихотворении
напишу тебе:
«Мама, милая,—
я люблю тебя!..

Помнишь,
как в больнице оказалась ты,
и тогда я,
маленькая девочка,
осыпала платья поцелуями,
плакала навзрыд,
моля Всевышнего,
чтобы поскорее ты поправилась?
Как теперь сама домой наведаюсь,
выйдешь ты навстречу, долгожданная,—
сердце разрывается от нежности…»

А в глаза не сумею вымолвить:
«Я люблю тебя…»

Гармонь

Расщепляясь напополам,
откликается: пик-пилик…
Так полено под топором
издаёт мимолётный вскрик.

Пальцы ловкие в ход пойдут,
кнопки мелкие шевеля,—
и мелодии побегут,
словно юркие соболя.

Полной грудью поёт гармонь,
веселит летовой зенит.
И в отцовских глазах июнь
колокольчиками звенит…

* * *

Уцепись за небо, держись его,
не отпускай его,
чтобы вьюга не замела
тебя посреди дорог.
На земле пускай следа
не оставишь ни одного—
всё равно искать не начнёт никто,
если ты одинок.

Горизонт обходи неспешно,
не задевая звёзд,
научись различать
знаки неба, леса и голосов,
чтобы жизнь распахнулась настежь,
как глухариный хвост,
отведя навсегда прикипевший
к сердечной двери засов.

В самый центр небесный выйди,
дороги свои верша,
как меха гармони, сердце раскрой,
не боясь стыда,—
станет воздуха легче,
воды прозрачней твоя душа…
И тогда, наконец, я тебе поверю—
но лишь тогда.

Коромысло

Девушка грустно поёт—
не громче ветра,
на коромысле несёт
полные вёдра.
Жизнью налиты самой,
вот и таскает
их напролёт под луной—
не опускает…

Левое по́лно лучей:
если качнётся—
брызжущий светом ручей
в сердце очнётся.
Правое—льда ледяней:
если наклонит—
ноющей болью людей
горе накроет.
Оба до дна разольёт,
если запнётся,—
наземь падёт небосвод,
перевернётся…

Наше житьё да бытьё
держит плечами.
Словно ракиту, её
время качает,
ведая—времени нет,
медлит с ответом,
чем напитается свет—
тьмой или светом.

* * *

Не раздвину рукою я облачного свинца,
не порадую взгляд небесною синевою—
ледяной тоскою день пронизывает сердца,
точно ветер северный—улицу, завывая.

Но я верю, что за пеленою свинцовой той
ангел мой летит бездонною высотою,
чтобы душу мне высветить искрою золотой
и её запалить словесною красотою.

А очистится небо—и снова преграды нет:
омываюсь я миром, как будто водой проточной.
И когда ниспадает на сердце небесный свет,
становлюсь на миг, точно воздух земной, прозрачной.

крылья стрекозы

в жёлтом песке увидела
стрекозы слюдяные крылышки—
так они на ветру трепетали,
словно дальше без тела хотели
жить вопреки всему.
может, просто ещё не поняли,
что теперь их направить некому.
синие-синие—ясного неба синée.
жилки на них поперёк—точно вены речные,
что память её последнего дня
растворили в себе.

она захлебнулась потоками долгого ливня,
что и меня отгонял от свежей могилы
бабушки мужниной: я не смогла попрощаться
вместе со всеми, когда её хоронили,—
слишком была далеко.
только к девятому дню прилетела,
но ощущала её постоянно рядом—
точно кадры кино, мелькали перед глазами
наши мгновения с ней…

с креста она пристально так на меня глядела,
как будто оттуда мягко меня жалела,
и мне тяжело было вынести в первый раз
пронзительный взгляд улыбчивых добрых глаз.
а я ощущала себя стрекозой бескрылой,
что к встрече последней летела что было силы,
да вот—опоздала, и крылья опали с плеч,
подобно листве осенней, чьё время лечь
и в тесном дворе затоптанной быть ногами…

тогда ни единого звука не проронила—
слова облаками ваты застряли в горле…
на сороковины я принесу те крылья—
быть может, в дороге они пригодятся ей.

Евгений Долматович

Калейдоскоп

Натали, здесь есть частичка той правды, которую ты так хотела узнать. А может, и нет. Может, всё это я выдумал.

Глубокую старину,
То, что давно минуло,
Стану я вспоминать,
Даже если луну этой ночью
Затуманят вдруг облака.
Сайгё

В детстве мама частенько пела мне колыбельную. Песню ту я не совсем понимал: несмотря на явную простоту, она казалась мне странной, временами запутывающей. Но меня зачаровывали мамин голос, её ровное дыхание, едва уловимый аромат её духов… Так я лежал в своей словно бы залитой темнотой комнате, кутался в одеяло и, почти уже засыпая, слушал, как мама тихо-тихо поёт. Можно даже сказать, мурлычет. И всё было хорошо, спокойно. Ничего больше не пугало и не тревожило. Мама была рядом, а её голос творил невозможное — он рисовал яркие, порой фантастические картины у меня в голове. Я видел величественные и таинственные пейзажи Востока из старинных сказок. Видел живописные оазисы и подрагивающие в знойном воздухе, увлекающие к горизонту миражи. Видел гружённый изысканными яствами, тончайшими тканями и мягкими коврами, золотой посудой и драгоценными камнями караван, что тянулся по барханам заколдованной пустыни, пески которой по ночам перемешивались со звёздами, днём же вздымались навстречу солнцу. Тот караван неспешно двигался в направлении далёкого и прекрасного города, чьё название было запретно и потому сокрыто от меня. Но я знал, что в дивном городе этом всегда царит весна; знал, что там текут древние реки, подарившие жизнь всему живому, и с края мира низвергаются шумные водопады. И я верил, что где-то в тени деревьев, в одном из множества живописных садов, меня ждёт не дождётся красивая девушка с тёмными, будто южная ночь, глазами…

Знаете, этот текст не является рассказом в привычном смысле слова; этот текст — лишь шальные мысли, отдельные образы из памяти и, конечно же, грёзы засыпающего уже человека. Этот текст ещё не откровение, но предчувствие откровения, его ожидание…

Ныне, перед тем как погрузиться в сон, я нередко вспоминаю полуночные перелёты в грозу — что-то необыкновенное есть во всём этом, хотя, быть может, и идеализирую. Точной уверенности у меня нет, ведь я так давно не летал, пусть небо и снится порой. Впрочем, как и океан… Не важно. Пока что всего этого я лишён. Может быть, там, в будущем, когда-нибудь… Всё может быть. Сейчас же, увы, как-то статично, обыкновенно, размеренно… аж дрожь пробирает от этих слов! Но тогда всё казалось вполне естественным, даже закономерным. Ценить начал лишь много позже — не когда лишился, а когда стал понимать. Мистика обыкновенная по цене пачки сигарет или человеческой жизни. Всякое случается.

В полёте меня укачивало. Я сидел у иллюминатора, сосал конфетки «Земля-воздух» (будто название класса ракет) и отрешённо поглядывал на небо. Оно разделилось. Наш самолёт оказался где-то между слоями облаков — словно бы в иной реальности. И получилось, что облака были одновременно сверху и снизу. А в середине — сплошное ничто. Над нами простиралась архаичная тьма, под нами — нечто сюрреалистическое: размеренные движения кистью гениального художника; густые мазки тёмно-синей краски, за которыми скрывался ландшафт, методично поделённый урбанизацией на части. Израненная земля, покрытая заплатками, — свидетельство многовекового хозяйничанья человека.

Самолёт то и дело проваливался в воздушные ямы, его потряхивало. Сморённые такой качкой, многие из пассажиров дремали. А я вот уснуть не мог, хотя очень того хотел. Я мучился, даже молился, чтобы скорее уже закончилась эта проклятая тряска и изматывающая тошнота, этот пробирающий гул и болезненное закладывание ушей. При этом я то и дело поглядывал в иллюминатор, любовался кроящими пространство молниями. Вспышки ломаных линий — бессильный гнев древнего божества, преданного и забытого — между верхним и нижним слоями облаков. Прекрасные и пугающие. Это было захватывающее зрелище! Оно отвлекало и от тряски, и от тошноты. Даже от мысли, что где-то по другую сторону времени

меня ждёт холодный Комсомольск. Чужой город, которого я очень боялся. Явных причин тому не было, но… ведь мне едва исполнилось девять лет! Я оставил знакомый двор, родной класс, друзей и свою первую любовь, чтобы отправиться едва ли не на самый край света — к месту службы отца. Тогда это казалось довольно-таки устрашающим. Уж поверьте.

Сейчас о том времени я вспоминаю с улыбкой.

Наивная вера ребёнка в чудеса: в сокрытую меж туч и облаков страну драконов, храбрых героев и коварных богов, обрушивающих на простых смертных громы и молнии; вера в первый поцелуй, способный пробудить красавицу от забытья; вера в то, что жизнь есть сплошное путешествие по неведомым землям в поисках Золотого руна. И сдаётся мне, что истинная прелесть жизни кроется в непонимании её законов — этих основ, на которых и держится весь наш быт. Незнание порой дарует надежду, а частенько и веру. Может, это не так уж и плохо? Я верил и надеялся, и мир, населённый грёзами и фантазиями, открывался мне. И нет, там не было ни богов, ни драконов, лишь самые обычные истории. Но… может, не такие уж и обычные?

Ныне далеко позади, где-то в тумане прожитых лет, остались старая лодка «Энтерпрайз», Ведьмина гора и призраки Жуткого дома, а ещё болота, кишмя кишащие жуками-плавунцами, и друзья — верные, родные…

И, конечно же, первая любовь.

Её звали Надя. Худая русоволосая девочка с задатками лидера, готового пробудиться в ней с минуты на минуту.

Ответьте: а вы верите в любовь с первого взгляда? Я, например, нет. В принципе, сейчас я вообще мало во что верю. Не только в любовь, но и в дружбу как таковую, или что в одной из заброшенных девятиэтажек Завитинска взаправду водились привидения (которых, естественно, многие из моих друзей «видели» вживую). Но не верить — это удел меня теперешнего: лысеющего, ворчливого, повсюду выискивающего некие скрытые смыслы, насмехающегося над людьми с их примитивными желаниями и убеждениями, прочее в том же духе. Тогда — в том времени — был всего-навсего мальчишка. И то, что по обыкновению именуют «взрослением», ещё не испортило его. Всего лишь ребёнок, осваивающий такие святые истины, как мечты и противостоящая им реальность, как дружба, неумолимый ход времени или же пресловутая любовь с первого взгляда.

Надя.

Что я могу рассказать о ней? Да ничего особенного! Повстречайся она мне где-нибудь на улице или в очереди за хлебом, я бы на неё даже не взглянул. Не то чтобы она подурнела, просто, скорее… очеловечилась, что ли. Её образ в моей голове утратил всякие краски, растерял флёр волшебства, сладострастную недостижимость и наивное желание защищать её от дракона — от всех драконов, что воруют принцесс и тем самым служат отличным испытанием любви и храбрости принца. В общем, её образ лишился всего, чем я некогда её наделил. Так Надя сделалась неприметной частью прохожих, превратилась в очередную тень на асфальте жизни, мелькнувшую среди множества других теней.

Но тогда…

Да, в то время она была для меня всем. Думаю, вы понимаете.

Третий класс столь ненавистной мне школы номер три Ленинского района города Ярославля. Сам я был пухлым, закомплексованным, с проблемами в плане учёбы и спорта, словоохотливым и вместе с тем скрытным мальчуганом. А ещё я смешно одевался. Попытаюсь объяснить. Как и всякому мечтателю с чересчур развитым воображением, мне постоянно мерещились всевозможные приключения в лучших традициях Индианы Джонса. Я грезил наяву, жил в выдуманном мире и свято верил, что вот сегодня обязательно что-нибудь да произойдёт — что-то невероятное и дух захватывающее. И был у меня небольшой пунктик: вся моя одежда подразделялась на два типа — так называемая «гуляночная» и школьная, «парадная». Последнюю я, естественно, терпеть не мог. Она казалась мне до ужаса неудобной, вычурной, дурацкой. А вот с «гуляночной» всё обстояло иначе. Эти несколько затасканных до дыр футболок и парочку старых, изодранных на коленках джинсов я, можно сказать, боготворил. Отправляться на бой с драконами требовалось исключительно в этом, а никак не в глупой «парадной» одёжке. Пунктик же заключался в том, что в ожидании мифических приключений я всегда пытался оставаться готовым, облачённым в «сияющие рыцарские доспехи». Даже в школе. Тем более в школе. И для этого мне приходилось надевать свои драненькие джинсы под обычные «парадные» штаны…

В общем, как сами можете судить, я оказался не совсем тем мальчишкой, кого большинство девчонок избирает объектом своих первых любовных воздыханий. Никакой не принц, даже не герой — так, просто Женька.

Что касается Нади — она была новенькой в нашем классе. Её семья приехала откуда-то издалека и поселилась в двухэтажном доме (их ещё называли немецкими), в паре кварталов от меня. У Нади имелась старшая сестра, и их обеих тут же определили в ближайшую школу. Первый раз Надя пришла в класс с небольшим опозданием. Урок уже начался, и не было типичного шума и гама, поэтому все обратили внимание на новенькую девочку ещё до того, как учительница её представила. Надю посадили на одну из задних

парт (все остальные попросту были заняты), и она затравленно озиралась по сторонам, чувствуя себя явно не в своей тарелке. В принципе, я прекрасно её понимал: быть новеньким в школе — задача отнюдь не из лёгких. День выдался тёплым, и на ней были светлый летний сарафан, который очень ей шёл, и в тон сандальки. Дождавшись, когда все любопытствующие носы отвернутся, и немного освоившись, Надя разложила письменные принадлежности, нехотя открыла тетрадь с учебником и без особого интереса уставилась на доску.

Спустя какое-то время я обернулся и глянул на неё. Надя покачивалась на стуле и откровенно скучала. Она перехватила мой взгляд, и я невольно улыбнулся. Как-то деликатно, даже по-своему жеманно, она подняла руку и показала мне средний палец.

В тот момент я и понял, что влюбился.

Ныне идёт эра виртуальных знакомств, виртуальной дружбы, виртуальных отношений, а то и натуральных виртуальных семей. Этакая «жизнь онлайн», неизменно приближающая нас к антиутопическим кошмарам многих писателей-фантастов. Всевозможные социальные сети, аськи-шмаськи, «Твиттеры», «Живые Журналы» и прочая ерунда — всё сделано с целью облегчить жизнь, максимально упростив общение с другими представителями своего вида. Не знаю, может быть, отцы-основатели и идейные вдохновители виртуализации мира просто не понимают, что с подобным упрощением жизнь теряет всякую прелесть? Способен ли этот, безобидный на первый взгляд, прогресс убить человека в человеке? И изменится ли что-либо, если люди вдруг поймут, что способен? Ведь теперь всё слишком легко, слишком доступно, слишком дёшево и потому всё чаще бессмысленно, обесценено. Никаких тебе драконов, никаких рыцарей. Так эпоха простых человеческих открытий постепенно сменяется бесконечным зависанием в сети, гонкой за популярностью, повсеместной саморекламой по любому поводу и без, а ещё насмешками, травлей, цитированием чужих мыслей на публику — безо всякого понимания, без диалога с автором, — наглой попыткой выдать эти мысли за свои, снова насмешками, отрицанием морали и нравственности, тотальным ощущением полной безнаказанности. В результате Интернет, призванный облегчить доступ к информации, становится очередной соской крикливого человечества. Того и гляди мы заткнёмся навсегда: мир погрузится в тишину, нарушаемую лишь щёлканьем клавиш.

А я вот до сих пор помню, как детьми мы высыпáли во двор, собирались в группы для разных игр, ходили по квартирам и спрашивали уставших взрослых, а дома ли тот или та, а выйдут ли они сегодня гулять. Друг с другом мы договаривались встретиться там-то и в такое-то время, приходили, ждали, даже не будучи уверенными, что дождёмся. И во всём этом была своя прелесть, своё очарование… Мы сидели на скамейке и играли в «топорики», а позже и в «бутылочку»; мы шутили, смеялись, ссорились и мирились. И это было настоящим. И дом всё так же оставался крепостью, но он никогда не превращался в камеру добровольного заточения. Теперь же нас привязали к диванам так называемые возможности нашего времени, живое общение свелось к переписке, люди — к безжизненному профилю с именем.

И, в принципе, не поспоришь — всё действительно стало проще. С мобильником в кармане и ноутбуком, подключённым к Интернету, не надо бродить по подъездам, звонить в квартиры и спрашивать, а дома ли тот или та, выйдут ли они погулять. Не надо ждать. Не надо надеяться. Даже не обязательно стыдиться тех слов, которые ты тщетно пытаешься подобрать, чтобы выразить собственные чувства, — ведь всегда можно удалить своё сообщение, переписать его заново, трижды отредактировать и после уже отправить получателю. Вовсе не обязательно убивать дракона — достаточно просто заблокировать его. Вовсе не обязательно целовать принцессу — хватит и картинки с милым котиком. При этом ты остаёшься свободен от собственной неловкости и смущения, от внимательных глаз, что устремлены на тебя. Ты остаёшься свободен от себя самого и от всего, что делает тебя человеком. И, быть может, это действительно прекрасно?

Но откуда тогда щемящее чувство некой искусственности, какой-то тоски?

Стоит ли упрощение жизни того, что мы в итоге теряем?

А помимо самолёта, наша семья путешествовала и поездом. Восьмидневная тряска в купе — это вам не пирожок на базаре украсть. Лишь безнадёжные романтики вздыхают об убаюкивающем стуке колёс и странной неопределённости (интриге? загадке?) в общении с другими пассажирами. Но когда восемь суток едешь в отдалённую часть страны, стук колёс исчезает. Он по-прежнему есть, но существует уже в качестве неотъемлемого фона. Так ты перестаёшь обращать на него внимание. И по мере того, как стук колёс делается частью окружающего мира, остальные пассажиры и вовсе становятся близкими знакомыми. Зачастую они оказываются гораздо ближе, нежели многие из родственников — тех малознакомых людей, что присылают открытки на Новый год и этак раз в пятилетку наведываются погостить. В принципе, не побоюсь этого утверждения, но восемь дней в одном вагоне делают всех пассажиров частью твоей родни. Большой и довольно разношёрстной родни. Тут есть и враги, и друзья — всё как полагается.

Прям идеальное общество в миниатюре, где неугомонные дети снуют из одного купе в другое, в проходе на верёвках болтается свежевыстиранное бельё (для меня до сих пор остаётся загадкой, каким образом люди стирают вещи в поездах), и можно прийти к любому в гости — тут поесть, там поиграть, поболтать о чём-нибудь, даже вздремнуть… Налицо все радости жизни!

Таков этот маленький дом на колёсах — тот самый караван из колыбельной, — неумолимо движущийся к точке невозврата. Конечная станция неизменно разрушит эту семью, останутся лишь данные друг дружке обещания, записанные на клочках бумаги адреса и телефоны, пожелания всего наилучшего в жизни (обычно, если люди желают нечто подобное, значит, они подсознательно готовы к тому, что больше никогда вас не увидят), совместные фотографии и… воспоминания, конечно же. Отдельные образы и целые видения, что являются ближе к ночи, когда отчаянно пытаешься уснуть.

С другой стороны, может, оно не так уж и плохо, ведь правда?

— Посмотри, Женя, это Благовещенск!

Слова доносятся до меня сквозь все прошедшие годы, и тело невольно пробирает дрожь. В самом названии этом уже сокрыто нечто мистическое, от чего дух захватывает. Когда слышу «Благовещенск», перед глазами расстилается панорама ночного, залитого россыпью всевозможных огней города на древней реке — мираж, видение, волнующий символ из старинных сказок, место, где меня кто-то ждёт…

Мне так и не довелось побывать в Благовещенске, хотя запомнил я его навсегда.

То был один из последних дней нашего путешествия: поздний-поздний вечер, уставшие от долгой дороги родители, крик какой-то капризной девчонки в соседнем купе (она мне очень не нравилась) и мельтешение тьмы вперемешку со вспышками фонарей за окном.

И вдруг — нá тебе!

— Посмотри, Женя…

Тогда я прильнул к окну и смотрел, смотрел… Я смотрел на то, чего не видел ещё ни разу в жизни, на что в силу своей неопытности попросту не обращал внимания. Далёкий и загадочный город, хаос звёзд, отражённых в тёмных водах Амура, движение фотонов света во тьме. Ночной город. Настолько близкий и столь недосягаемый. Там, куда мы направлялись, всё было по-другому. Попади я в Благовещенск, мне бы, наверное, тоже показалось, что всё по-другому, — такова особенность человеческой психики.

И я осознаю, что эта живописная картина из прошлого нынче чрезмерно идеализирована памятью, а многих деталей теперь уже и не вспомнить. Но всё же, когда я думаю о сиянии ночных городов, об их пленительной красоте и цветастости, когда пытаюсь отобразить их звёздное очарование на бумаге, перед глазами неизменно встаёт Благовещенск.

Мама, спасибо тебе за это воспоминание.

Волей судьбы я чуть не родился на Курильских островах. Мама уехала оттуда на восьмом месяце беременности. И всё потому, что местная больница оказалась не в состоянии принять роды — у них не имелось ни должного оборудования, ни квалифицированного медперсонала; забавный всё ж был 1986 год! Так мама пересекла почти всю страну и возвратилась в свой родной Ярославль. А спустя пару дней на свет появился я.

И всё же это не мешает мне считать Курилы своей второй родиной. Ведь почти сразу мама вернулась обратно, и первые полтора года жизни я встретил именно на одном из Курильских островов — на Шикотане. О нём у меня сохранились разрозненные воспоминания, отдельные эпизоды, порой не привязанные к чему-либо фрагменты — этакие обрывки с полотна минувших лет… Что-то сюрреалистическое, пугающее, а местами и забавное, волнующее, ставшее олицетворением той обетованной земли, куда каждый из нас — осознанно или же нет — стремится.

Наверное, именно это я пытался показать в одном из своих рассказов — в «Доме на краю света» — подсознательную жажду вернуться на родные земли. Что касается реальности — возможной в рамках данного литературного вымысла, — то жили мы в убогой однокомнатной квартирке на первом этаже, с минимумом мебели и со страшенными обоями, которые я, как только научился более-менее твёрдо стоять на ногах, с превеликим удовольствием отдирал от стен. Это, естественно, жутко злило родителей, и я прекрасно помню, как они сердились, на пару пытаясь втолковать мне, что рвать обои ни в коем случае нельзя — плохо, Женя, бяка! Но я всё равно драл обои и с довольной улыбкой демонстрировал папе с мамой куски жёсткой обойной бумаги.

А ещё у нас за домом находилась взлётная площадка, и каждое утро туда прилетал грузовой вертолёт. Жильцы дома ворчали и матюгались, так как шум по утрам неимоверно их раздражал. Мне же, напротив, вертолёт очень нравился. И как только я научился ходить, то с первыми звуками его приближения выбирался из своей кроватки — сделать это было не так уж и сложно — и мчался на кухню, окна которой как раз таки смотрели на огороженную сеткой взлётную площадку. Вертолёт меня буквально очаровал. Наверное, меня единственного во всём доме.

А вот телевизионные антенны очень пугали. Я гулял с отцом по занесённым снегом улочкам

и с ужасом косился на эти гротескные фигуры, оккупировавшие крыши нашего и соседних домов. Первые детские кошмары вроде бы тоже связаны с антеннами, но точной уверенности в этом нет.

Особо же запечатлелся в памяти океан. Я увидел его на заре жизни и сразу влюбился — ещё одна моя любовь с первого взгляда. Самая крепкая, насколько теперь могу судить. Океан пугал, завораживал и удивлял одновременно — он был всем! Всем и остался. Будто бы иной мир — заколдованная пустыня из колыбельной, совершенно другая реальность — с песчаными, заваленными гниющими водорослями пляжами, снующими по камням проворными камчатскими крабами, холодным порывистым ветром в лицо и тёмно-синими пенистыми волнами, что порой, на закате, принимали нежно-алый окрас. А ещё корабли вдалеке, будоражащая мысли тень острова Хоккайдо, с которого начинались земли таинственной Японии, и где-то далеко-далеко за горизонтом — истинный край сущего, откуда воды с шумом обрушиваются в первозданную тьму… Океан же всегда оставался равнодушным. Я не интересовал его, а вот он меня — очень! В его глубинах укрылась фантазия Вселенной, порождающая чудовищ и возводящая прекрасные подземные города, манящая и интригующая. Быть может, она до сих пор где-то там? Ждёт, когда я уже вернусь за ней? Когда, наконец, проведаю свою вторую родину и покинутый океан?

И правда — когда?

После Шикотана был Завитинск.

Захудалый городишко в Богом забытом краю, волей насмешливой судьбы ставший негласным символом, едва ли не синонимом всего моего детства. Завитинск для меня — это Ведьмина гора, Жуткий дом и лодка «Энтерпрайз», которую мы с друзьями соорудили, чтобы путешествовать по безграничному — в пределах нашего воображения — космосу тамошней местности.

Жизнь моих родителей в этом городке была далеко не безоблачной: отвратительные бытовые условия (холодная вода тонюсенькой струйкой и свет не больше четырёх часов в день), никакого разнообразия будней. Плюс именно в те годы брак их начал трещать по швам. Наша семья крошилась на части, но осыпающиеся куски не особо меня задевали. Уже тогда я жил своей собственной, отделённой от реальности жизнью. Мечтал стать энтомологом, ловил всевозможных жуков, исследовал местные болота, заброшенные постройки и прочее. Сплошное приключение в духе Тома Сойера и Гека Финна, продлившееся несколько лет. Как и полагается, приключение это было полно всевозможных страшных открытий и ужасающих находок, истинный смысл которых дошёл до меня много позже.

Конечно же, я не смог игнорировать Завитинск, и, когда начал писать, большинство моих историй о детях и детстве так или иначе оказались напрямую связаны с этим городишком. Он стал главным местом действия в «Первом дне лета» и «Последнем пути „Энтерпрайза“». Его я описывал в повести «Не ходите, детки, в тот страшный дом играть» и в романе «Сны забытой весны». А ещё везде, где только можно, приводил бесконечные отсылки к нему, упоминания… Если Шикотан олицетворял собой мечту о доме, то Завитинск сделался тем, чем Касл-Рок был для Стивена Кинга и Гринтаун для Рэя Брэдбери (писатели, с которых и началось моё знакомство с литературой), — местом, где мальчишка перестаёт быть мальчишкой, превращаясь в подростка. Ведь именно в Завитинске я впервые столкнулся с мистерией реальной жизни — так воображаемое переплетается с действительностью, а кошмар с красотой.

К примеру, наиболее ярким воспоминанием, характеризующим всю нестандартность Завитинска, был и остаётся образ мальчишки, который беззаботно тащил в руках оторванную собачью голову. Рыжая овчарка с впалыми высохшими глазами. Мальчишка оказался моим ровесником — первым, кого я встретил, как только приехал в этот городок и выбрался во двор — поглядеть, что тут к чему. Впоследствии этот самый мальчишка стал моим лучшим другом. Дальше было круче: тут тебе и кишащие привидениями заброшенные дома, и огромная свалка у оврага, где однажды мы нашли отрезанную руку, и Ведьмина гора вдали за огородами, где я наткнулся на повозку, полную дохлых свиней, и старое ветвистое дерево сразу за свалкой, прозванное кошачьим, потому что там вешали неугодных людям кошек, и… много чего ещё! А во дворах ничего не стоило отыскать боевой патрон, скажем, от акм или пм. И все эти «сокровища» обязательно швырялись в костёр. Случалось, они стреляли — одному парню даже продырявило шапку, и, поверьте, то было действительно здóрово.

Как-то раз меня и вовсе чуть не утопили. Случилось это дело на Кочегарке, куда мне ходить строго-настрого воспрещалось, но куда — ввиду этого самого запрета — влекло с непреодолимой силой детского ослушания. На дворе стоял холодный октябрь, но я всё ещё упорно пытался обнаружить в болотах жуков-плавунцов, да и вообще какую-нибудь живность. В общем, у одного из таких болот ко мне и подошла троица беспризорников. Двое из них были намного старше меня — лет по семнадцать (может, конечно, и меньше, но не забывайте: я был маленьким, и все мне казались огромными), а третий — явно мой ровесник. Одетые в рвань, лохматые и чумазые, они глумливо улыбались. Опасности я не почувствовал, зачем-то начал объяснять им, чтó именно делаю, какие жуки меня

интересуют и прочее. А потом и сам не заметил, как очутился в ледяной воде, где меня начали в буквальном смысле слова полоскать. Я кричал, они смеялись. Много же воды я тогда наглотался.

В итоге беспризорникам наскучила эта забава, они бросили меня в болоте и ушли. А я, сырой и рыдающий — ну прям посрамлённый рыцарь, не сумевший одолеть дракона, — уныло поплёлся домой…

И теперь ответьте мне на такой вопрос: верите ли вы в судьбу? Я вот не особо, хотя, случается, начинаю сомневаться: а так ли прав я в своём неверии? Просто эта история однажды повторилась. В другом городе, при других обстоятельствах и совершенно с другими людьми. Конечно же, тогда она имела и иное развитие событий. Хотя не провести аналогию ну никак нельзя! Впрочем, давайте-ка обо всём по порядку…

Если вернуться к Завитинску, могу сказать, что он многому меня научил. Не знаю, благодарить ли его за это… Может, не стоит? Думаю, став неотъемлемой частью моего детства, всей моей жизни, он вобрал в себя и частичку меня самого. Я получил опыт и красочные воспоминания, море эмоций и некоторые забавные и не очень моменты. Но ведь что-то я там и оставил, да?

А что мы оставляем в городах своего детства?

Лодка «Энтерпрайз» — древняя посудина, которую мы силой воображения превратили в космический корабль. Сколько всего она нам подарила! А мы так и бросили её там — где-то на краю земли, в забытом всеми, ныне сделавшимся городом-призраком Завитинске. Мы не пришли попрощаться, оставив «Энтерпрайз» трухлеть и покрываться плесенью в старом сарае у озера.

Лишь много позже, будучи уже курсантом военной академии, я вспомнил о ней. Исправить ничего было нельзя, а потому я попросту написал рассказ, в котором мы всё же добрались до озера в тот вечер. Рассказ, в котором мы отправили «Энтерпрайз» в его последнее плавание.

«*…бесхозный, но свободный „Энтерпрайз“ медленно плыл по озеру — это было его последнее путешествие, последний „звёздный“ путь, который он вынужден был совершить уже без своего экипажа…*»

Плыви, наша лодка, наш космический корабль! И пусть твоя команда давно уже разбрелась по миру, окончательно потеряв друг друга из виду, в моей памяти ты всё ещё живёшь — по-прежнему исследуешь закоулки Вселенной, спасаешь мир от гибели и сражаешься со злобными инопланетянами…

Мысли о Завитинске плавно перетекают в мысли об отце с его многочисленными командировками по всему Дальнему Востоку, о нашей семье, о школах, что мне приходилось менять, о девочках, которые мне нравились и которые не обращали на меня ни малейшего внимания, как и о той единственной, кого я тайно любил все эти годы. Так, постепенно, я прихожу к тому, чем для меня являлся позор.

Я никогда не был спортивным. Как нечто абстрактное и далёкое спорт, конечно же, меня интересовал — я любил игры, где нужно бегать, прятаться, пинать мяч. Но я не представлял себя частью профессионального, лишённого всякого азарта спорта — Филдсовская премия по математике или же Нобелевская в области физики казались мне куда более достижимыми, нежели олимпийская медаль. Возможно, это связано ещё и с тем, что я отродясь не любил принуждение. А скучный бег на три километра или, скажем, не менее скучный норматив по подтягиванию — это явно выраженное, зачастую бессмысленное принуждение. Или так, или никак.

От бега я отлынивал всеми возможными способами: болел, прогуливал, сходил с дистанции. Последнее случалось чаще всего. Правда, бывали и порывы вдохновения, когда я оказывался полон уверенности в том, что обязательно выполню норматив — уложусь в указанное время и получу заслуженную тройку. Тройка тоже ведь оценка, разве нет? Для меня же она была ещё и победой, моим личным торжеством над самим собой.

Увы, всего лишь химера…

Бежал я всегда позади всех. Тощие забияки — мои одноклассники — сразу же удирали далеко вперёд, а я выдыхался, с трудом волочил ноги, всё больше и больше снижая темп. Через какое-то время моё вдохновение — если оно меня и посещало — улетучивалось, как пары́ эфира, на смену ему приходили усталость и отвращение, бой барабанов в ушах и, конечно же, стыд.

Так и вижу небольшой парк возле школы — тощие берёзки, битые фонари, изгрызенный временем и припорошённый палой листвой асфальт; слышу крики девчонок, пыхтение обгоняющих меня одноклассников… А где-то на периферии зрения — размытые силуэты одиноких прохожих, машины, дома… Город, с прищуром взирающий на мой позор. Учитель по физкультуре — высокий и худощавый пятидесятилетний дядька, угрюмо глядящий в свой секундомер… Вот и все впечатления.

Девчонки толпились на обочине. Они что-то кричали, визжали, хлопали в ладоши, смеялись и тыкали пальцами. Слов было не разобрать из-за собственного гулкого сердцебиения, пот заливал лицо и глаза. Было очень стыдно. Ещё и потому, что стоило бросить один только взгляд в сторону девчонок, — лишь один! — как я сразу же натыкался на Надю. Она тоже смеялась. Тоже тыкала в меня пальцем и что-то кричала.

И я готов был сквозь землю провалиться — всё что угодно, лишь бы не быть на этой чёртовой дистанции, не потеть, не бежать…

Только бы не стать вновь посмешищем!

Наверное, именно в эти моменты осознание того, что никакой я не рыцарь, а так—потешный персонаж из статистов,—больше всего давало о себе знать. И, быть может, именно таким образом формируется боязнь общественного мнения? Страх перед толпой: кто что подумает, кто что скажет. Так вы словно превращаетесь в знаменитую эйнштейновскую рыбу, считающую себя дурой лишь потому, что она не умеет взбираться на деревья. Подобное убивает всякую оригинальность, а зачастую и надежду.

Надежда… В этом слове есть что-то по-своему манящее, а вместе с тем и пугающее. Вне зависимости от того, идёт ли речь о женском имени или о чувстве как таковом. Точно могу сказать, что надежда—вещь очень сильная, и при этом сломать её не стоит никакого труда. Порой достаточно одного только жеста, взгляда, молчания…

Когда я служил в Калуге (ещё один не бог весть какой городишко), то какое-то время подумывал написать повесть о том, что за жизнь там была. Нет, не то чтобы страшная или отвратительная… В общем, максимум, чего из этой затеи вышло бы, так это текст страниц этак на семьдесят. Название я придумал сразу: «Сто дней одиночества». Не шибко оригинально, но зато как нельзя лучше отражало суть. Сто дней моего одиночества и одиночества тех, кто был рядом. Итого примерно на двести тридцать дней меньше, чем я пробыл на этой самой службе, возвращая Родине предписанные мне с рождения долги. Родине, которой не было до меня никакого дела.

Возможно, получилась бы хорошая повесть. Кто знает?

И один из её эпизодов описывал бы случай со старшим прапорщиком Андреем. Тридцатилетний мужчина невысокого роста, крепкого телосложения, добродушный и улыбчивый. Увы, когда он напивался, то, как оно со многими и бывает, становился неадекватным, даже агрессивным.

Как-то раз он ввалился ко мне в стельку пьяный. Жили мы все над кпп, в маленьких комнатушках по два-три человека. Условий никаких. Одна паутина и теснота. Ещё пыль, оседающая на сумках с вещами—сумках, заброшенных под кровать, сумках, которые мы никогда не разбирали по той самой причине, что класть вещи было попросту некуда. Две кровати, две тумбочки, кособокий стул и громоздкая металлическая вешалка, на которой болталось наше военное барахло. В общем, далеко не сахар.

То была последняя моя ночь в Калуге. Утром я собирался запрыгнуть в поезд и навсегда убраться из армии. Меня сократили по ошм. Приказы были подписаны, печати проставлены, деньги выплачены, руки пожаты, а всевозможные документы собраны и упакованы в кожаную папку. Оставалось лишь дождаться утра, а дальше… изредка, в минуты пьяного отчаяния либо же тёмными безлунными ночами (как сейчас, например), вспоминать о времени, проведённом в Калуге.

Так вот, Андрей притащился ко мне далеко за полночь. Он с трудом держался на ногах, хотел говорить, кричать, драться, любить и ненавидеть. Хотел жить, и чтобы его непременно услышали. Пьяницы всегда хотят, чтобы их услышали. А в его комнате в мареве табачного дыма бренчали стаканы, в коридор рвались голоса и развязный хохот. Гремела музыка. Как сейчас помню, то был «Наутилус»:

И когда на берег хлынет волна
И застынет на один только миг,
На земле уже случится война,
О которой мы узнаем из книг…

И вот Андрей оказался на пороге моей комнаты и грустно уставился на меня. Я курил, сидя у окна и поглядывая в ночь. Спать не получалось—только не тогда, когда знаешь, что через несколько часов наступит утро и всё это милитаризированное безобразие прекратится. Форма с погонами—та самая «парадная» одёжка, словно бы преследующая меня из детства,—так и будет болтаться на вешалке, постепенно зарастая пылью. Ты же уедешь далеко-далеко—прямиком в другую жизнь, где всё лучше и проще.

Да, тогда я ещё в это верил, представляете?

В общем, Андрей был гол по пояс, и я впервые сумел нормально рассмотреть наколки, покрывавшие его жилистое тело. Многочисленные свастики, символика сс, орлиная голова…

— Удивлён?—спросил он заплетающимся языком.

— Ага.

— Есть чё подымить?

Я протянул ему пачку сигарет. Он уселся на кровать моего соседа—того самого Вани из рассказа «Любовь»—и, проигнорировав сонное бормотание последнего, молча закурил.

— Фашист?—поинтересовался я.

— Типа того…

Чтобы спрятать улыбку, мне пришлось отвернуться к окну. Летняя ночь и далёкий лай собак. А где-то ещё дальше—гудок ночного поезда. И мне вдруг подумалось, что если дорога не занимает восемь суток, то никакое это не путешествие, это… Впрочем, не важно. В любом случае приятно возвращаться домой, зная, что всё уже закончилось. Но лучше бы я ехал ночью, нежели ранним утром. Ночью как-то проще, естественней, даже привычней.

— Такие вот дела,—вздохнул Андрей.

— Как же ты так?—спросил я.—Командира Надыр зовут, замполита—Расул, половина солдат не пойми какой национальности. Как?

— Вот и я думаю: как?!

Мы замолчали.

А потом Андрея понесло. Под песни Бутусова из соседней комнаты он стал рассказывать о своей жизни. О том, как трудно ему подчиняться этим «чуркам», о том, как сложно душить свои принципы, о том, как было спокойно когда-то и как теперь страшно думать о будущем. Он несколько раз вытаскивал из кармана мобильник и демонстрировал фотографию улыбающейся русоволосой девочки лет девяти. Дочка. Его счастье и небесный свет. Он гордился ею, по несколько раз перечислял все её заслуги: победы на олимпиадах, отличные оценки в дневнике, примерное поведение, успехи в кружке бальных танцев… А потом рыдал, рыдал, рыдал. Он вытирал лицо грязными руками, ронял на пол сигареты и тут же тянулся за новыми. Постоянно что-то бормотал себе под нос. Собравшись с мыслями, он поведал о том, как едва не бросил жену и ребёнка, намереваясь уйти к какой-то богатенькой дамочке, окрутившей его деньгами и перспективами. Рассказал, как вернулся в квартиру за вещами, и побледневшая жена протянула ему сумки — без криков, без слёз, безо всякой надежды. Дочь же вцепилась в рукав его куртки и умоляла не уходить. А на улице в своей шикарной иномарке сидела богатенькая дамочка и терпеливо ждала…

— Фин, ты ж писатель! — ни с того ни с сего вспомнил Андрей. — Мля, очень тебя прошу… Фин, когда-нибудь… напиши обо всём этом. Об этой сраной части! О том, как мы тут жили, как с катушек съезжали… Как всё было на самом деле! Так и напиши — честно, без прикрас, без всяких там выдумок. Расскажи, пусть все знают!

Я же смотрел на него и его наколки — орлы, свастики, символика СС, — а затем дальше, в коридор, куда остальные офицеры выбрались покурить, что-то обсуждали, над чем-то громко смеялись. И ещё дальше, много-много дальше… Наверное, именно в тот момент я и понял, что сто дней — это лишь моё одиночество. А сколько этих дней нужно собрать, сколько историй поведать! Нет, это будет уже не «Сто дней одиночества» и даже не «Сто лет…». Это будет «Тысяча…», а то и «Сто тысяч лет одиночества».

Эх, Андрюха, прости меня, что я так и не выполнил своего обещания.

Он не ушёл из семьи.

Поставил сумки и спустился к своей дамочке. Та глянула на него и всё поняла. Улыбнувшись, сказала: «Знаешь, а ты настоящий мужик. Брось ты семью — уже завтра я бы тебя прогнала. Ты бы стал мне попросту не нужен, перестал бы быть мужчиной в моих глазах». На этом они попрощались, и дамочка укатила прочь. Андрей же вернулся обратно к жене и дочке.

И мне кажется, это было самым важным решением в его жизни.

Вновь в памяти ночные перелёты…

Снаружи бушевала гроза, а меня тошнило. Никакого очарования, лишь пакостное желание скорее уже очутиться там, куда мы направляемся. Очарование придёт позже. Когда будем гулять с мамой по берегу, слушая шуршание волн. Когда будем смотреть на южное звёздное небо, жёлтую крымскую луну, расцвеченный отблесками и переливами неспящий город с одной стороны и иссиня-чёрное море — с другой. Пляжный песок окажется мягким, прохладным, и ступням будет очень приятно…

Это был ещё не тот возраст, когда начинаешь пренебрежительно относиться к родителям, отстаивать свои права и некую непонятную даже для самого себя независимость. Тогда мир всё ещё оставался прекрасен и спокоен, наполнен ароматами цветов, сладкой ваты и горячей кукурузы. В ушах пульсировала музыка, льющаяся из множества всевозможных ресторанчиков и кафе, а если отрешиться от окутывающей тебя гаммы звуков, прислушаться, то нетрудно уловить и далёкое гудение поездов, мчащихся сквозь чарующий шёпот моря…

Чуть позже, когда я устроился на веранде, краем уха слушая радио в кассетном плеере и предаваясь мечтам, — тогда тоже пришло определённое очарование, понимание некой мистичности всего происходящего. И я старательно гнал тревожное предчувствие, что, возможно, всё это больше никогда не повторится: может, то последний раз, когда я вижу родителей вместе и отдыхаю с ними на море? может, уже завтра всё кардинально изменится? Ведь завтра — оно другое!

И я проникался этим, как некой священной тайной, доступной лишь мне одному. То была уже не вера — всего лишь хрупкая надежда, что перемен не будет, а если и будут, то к лучшему.

А в противоположном углу лежал пойманный накануне днём краб-глубинник, которого я жаждал высушить и покрыть лаком. Сделать какую-нибудь поделку, наподобие тех, что продавали на лотках у пляжей, — рачки, крабы и ракушки, здоровенные лангусты в деревянных рамках, выложенная цветными камушками надпись «Крым» и год…

…Год, когда всё ещё было хорошо.

А ловить крабов оказалось не так уж и сложно. Главное — сразу уяснить, что даже самое махонькое и крайне безобидное на вид ракообразное может цапнуть за палец. Увы, к этой незамысловатой истине я пришёл довольно-таки болезненным путём — когда увидел на каменистом дне Чёрного моря крохотного крабика, который, заняв оборонительную позу (взгляд кверху, клешни угрожающе растопырены в моём направлении), отчаянно пытался удрать.

Упустить его я ну никак не мог!

Вообще, всех черноморских крабов я негласно поделил на две категории: бегуны (лапы длинные, клешни маленькие, тельце квадратное) и драчуны (лапы короткие, правая клешня огромная, левая словно атрофирована, тельце ромбовидной формы). Бегунов ловить было гораздо трудней — они проворно сновали меж камней, то и дело зарывались в песок на дне. С драчунами всё обстояло несколько иначе. Несмотря на то, что по природе своей они крайне медлительны, подобраться к ним толком было нельзя. Краб-драчун, полностью оправдывая своё название, так и норовил вцепиться тебе в руку, а стоило вынырнуть на поверхность за воздухом, как его уже и след бы простыл.

Тем не менее я упорно боролся с этими представителями морской фауны, вытаскивая на берег одного за другим. Покоя же мне не давал тот факт, что всю мою добычу, по существу, составляли мальки. Самый крупный — вместе с лапами — размерами едва достигал детской ладошки. А на прилавках всевозможных пляжных лотков красовались поделки с участием огромных ракообразных, таращившихся на меня залакированными глазами. Местные прозвали таких глубинниками (по сути, те же драчуны, только здоровее в несколько раз), так как водились они преимущественно на глубине.

Меня это, естественно, огорчало. До того момента, пока я не понял, что просто не там ищу.

И вовсе не обязательно, что глубинники непременно торчат на глубине. Эти создания стремились поближе к берегу — что-то там насчёт ионизации воды во время прилива. Они забирались в расщелины меж бетонных плит на пристанях, где с удовольствием пожирали найденную тухлятину, объедки человеческой пищи и прочее, что получалось отыскать. Сами пристани были недействующие. Народ раскладывал там свои пожитки, загорал, нырял с них в воду. Каждая пристань, по обыкновению, оканчивалась пологим спуском, который частенько зарастал мягкими зелёными водорослями. При относительно небольшой волне можно было улечься на этот спуск, прижавшись спиной к такому вот шелковистому настилу. А между этим так называемым спуском и основным блоком пристани всегда имелся небольшой зазор, чаще всего заваленный камнями и всевозможным мусором (на дне я много чего находил — очки, часы, ласты, маски с трубками, деньги и золотые украшения, в основном кольца и цепи). Там и прятались объекты моего охотничьего интереса. И именно там я впервые столкнулся с глубинником.

Море в тот день было неспокойно — волны постепенно распалялись, и видимость под водой быстро сводилась к нулю. Тем не менее я упрямо продолжал обследовать расщелины пристаней. К тому времени я уже перестал обращать внимание на молодняк, искал добычу покрупней. Так я добрался до спуска, желая немного передохнуть на водорослях, покачаться на волнах… И именно тогда, словно бы приветствуя, ко мне выполз глубинник. Он был здоровый, размером с футбольный мяч (во всяком случае, так мне показалось), и невероятно красивый. Все лапы на месте, клешни не сломаны (изуродованные клешни — довольно частое явление среди крабьего народа), тельце же ещё не успело покрыться старческими наростами. В общем, живое олицетворение моей охотничьей мечты. И прямо передо мной, стоит лишь руку протянуть…

…Чего делать как раз таки было нельзя. В памяти отчётливо всплыло самое первое знакомство с крабом — тем самым, о котором упоминалось вначале. То был мелкий драчун — совсем ещё пацан, если так можно выразиться. Спрятаться он не смог, и я попытался ухватить его. Моя ошибка. Краб вцепился мне в палец, и я прямо под водой заголосил от боли. Резко вынырнув на поверхность, чем испугал всех купающихся поблизости, я принялся отчаянно трясти рукой, пытаясь скинуть распроклятое создание. Не тут-то было. Этот ракообразный садист намертво ухватился за меня и, не иначе как ошалев от притока кислорода, решил и вовсе не отпускать. В конечном счёте мне удалось отодрать краба, лишь засунув его обратно в воду.

И вот передо мной грозно восседал старший брат того наглеца. И обе его клешни ясно говорили о том, что он переломает мне все кости, стоит лишь протянуть руку в его направлении.

Что сказать? Я боролся до конца. Задыхаясь, не обращая внимания на усиливающуюся качку, едва не плача от досады, всячески пытался добраться до этого чудища морских глубин, как-то схватить его, выманить, обмануть, но всё было напрасно. Поиздевавшись надо мной вдоволь, наглец уполз обратно в расщелину, откуда его было уже не достать.

Так, полностью обессиленный, я выбрался на берег и, погрузив ноги в морскую пену, распростёрся на гальке. Переводя дух, снова и снова прокручивал в памяти схватку с глубинником и с восставшей стихией. Казалось, удача была так близка…

Но вместе с тем постепенно во мне зрело чувство глубокого удовлетворения, даже самодовольства. Верно, я сделал всё, что мог, но лишь теперь азарт по-настоящему ярким пламенем разгорелся у меня в груди: мои поиски оказались не напрасны! Я искал, надеялся и верил, и вот я наконец-то нашёл. Так же, как когда-то — будь то в Завитинске или в Комсомольске, — выискивал плавунцов; так же, как однажды обнаружил красную музыкальную зажигалку в груде мусора — зажигалку, которую очень мечтал заполучить. Так же, как рано или

поздно находил всё, что жаждал найти,—в этом плане грех жаловаться: Вселенная всегда была добра ко мне, регулярно исполняя мои желания. В общем, часть пути оказалась пройдена, теперь оставалось лишь поднатореть в мастерстве охоты. И я действительно мастерски научился ловить этих крабов—настолько виртуозно, насколько это было возможно.

Не знаю, повстречался ли мне ещё хоть раз тот первый глубинник—этакая охотничья любовь с первого взгляда, столь запавшая мне в душу,—или же нет. Наверное, это уже и не важно. Главное, что я видел его, что на один краткий миг нас связала наша борьба и что теперь мне есть о чём вспомнить.

Конечно, триумф «легендарного охотника на крабов» меркнет в сравнении с другим триумфом, более жизненным, ожидавшим меня в Комсомольске—городе, нежданно-негаданно ставшем ещё одним символом моего детства.

Правда, поначалу Комсомольск встретил меня лишь гигантскими сугробами, лютым холодом и свирепым ветром. Я вышел во двор и одиноко, словно последний человек на Земле, бродил возле занесённых снегом скамеек и покосившихся качелей, смотрел на пустынные дома с тёмными окнами и на воинскую часть вдали и грустил, грустил, грустил. «Нет,—понимал я,—это явно не Завитинск. Даже не Ярославль». И в который раз задавался вопросом: как же здесь жить-то? А в перерывах вспоминал своих друзей и привычные места, что пришлось оставить из-за вечных переездов с места на место. Злился. Когда же на ум пришла Надя—и вовсе стало очень печально: мне казалось, что сердце моё разбито, всякий смысл жизни безвозвратно утрачен.

А спустя пару месяцев мне удалось объединить весь двор: самая разношёрстная ребятня, ранее враждовавшая друг с дружкой, ныне сделалась единым целым. И требовалось-то лишь предложить какую-нибудь занимательную игру, чтобы всем она была интересна. Что ж, комсомольские дети с удовольствием играли в московские прятки. И группа из пяти человек за пару недель превратилась в банду из тридцати с лишним мальчишек и девчонок самого разного пошиба. И во главе всего этого безобразия стоял я.

Мои пятнадцать минут славы, растянувшиеся чуть меньше чем на полгода.

Так мы собирались практически каждый день, делили двор на запрещённые и разрешённые территории, скидывались на кулачках и выбирали водящего, а потом—понеслась! Тридцать человек разбегались кто куда: в подъезды, в подвалы, на чердаки… Некоторые просто закапывались в песочнице, другие забирались в ящики из-под картошки (в то время такие стояли почти в каждом подъезде) и караулили, когда уже водящий пройдёт мимо, дабы мигом позже с диким визгом нестись к заветному месту—«застучаться»: «Туки-туки за себя, туки-туки за себя!»

Водящий сердился, но было ещё много людей, кого следовало найти. Да, московские прятки не оставили нас равнодушными. Игра эта и стала моим триумфом. В противовес тому школьному позору в беге на длинные дистанции, здесь я мог проявить себя с лучшей стороны. Я был быстр, умён, находчив. Я изучил все возможные места для пряток, выдумывал новые, быстрее всех мчался к месту, чтобы «застучаться». Думаю, именно в те месяцы я вновь сделался принцем из старинных сказок.

А однажды, когда на дворе уже вовсю цвела весна и через каких-то две-три недели мне предстояло уезжать обратно в Ярославль, я выглянул в окно и увидел, что все эти мальчишки и девчонки, вся эта банда—моя банда!—покорно топчется у подъезда в ожидании моего появления. Тут же явилась и делегация в составе трёх человек, которые осторожно поинтересовались у мамы, выйду ли я гулять.

Конечно, выйду!

Наспех обувшись, я метнулся вниз по лестнице и встретился с тридцатью парами жаждущих глаз. Требовалось провести определённый ритуал, без которого игра попросту не имела права начаться. Я был Верховным Жрецом, и вся церемония эта возлежала полностью на моих плечах.

И вот я произнёс:

—Кто будет играть в интересную игру, а в какую—не скажу?..

—Что за игра?—спросили ребята хором.

—Московские прятки.

—Не-е, не будем мы в это играть,—всё так же хором ответили они.

Сбитый с толку, я уставился на эти самодовольные физиономии: в чём подвох? И тут до меня дошло. Можно сказать—осенило! Ну конечно, отныне я стал частью этого города и этих людей. Я окончательно сделался своим.

—Кто будет играть в интересную игру,—начал я, улыбаясь,—а в какую—не скажу?..

—Так что за игра-то?—вновь спросили они.

—Комсомольские прятки!—выпалил я, и банда подхватила мои слова восторженными криками.

С того момента я перестал быть приезжим, и мы навсегда отказались от московских пряток. Отныне мы играли исключительно в комсомольские прятки.

Всё чаще думаю о том, что́ теперь с этими ребятами. Как сильно они изменились, на кого выучились, кем работают, да и… живы ли они вообще?

Наверное, как и все прочие, торчат в социальных сетях, изредка выбираются в город, распивают

пиво с друзьями и подругами, встречаются и расстаются, влюбляются и изменяют, заводят детей… Кто они теперь? Помнят ли ещё те далёкие годы и наши комсомольские прятки? Как мы носились по двору, и взрослые ворчали на нас, требовали, чтобы мы не залезали в подвалы, где всё залито стоялой водой, чтобы были внимательней, осторожней, не хлопали дверями и держались подальше от крыш… Тем не менее уже тогда я понимал, что взрослым нравится эта игра, им нравится, что мы так дружны, что перестали быть одиночками и пропадать не пойми где, что не курим, не пьём, не дерёмся…

Друзья моего далёкого детства — не познавшие ещё вкуса сигареты и первого поцелуя, толком не научившиеся ругаться матом, не разобравшиеся в разрушительной силе денег и прогресса, не успевшие разочароваться в жизни и не летавшие с ужасающими химерами в синтетической нирване, — где вы теперь?

Пару дней назад позвонила. Далеко за полночь. Пришла с каким-то парнем, улыбалась, о чём-то рассказывала.

Уселись втроём на полу, включили музыку, закурили, хлопнули пробкой шампанского. Решили перекинуться в покер. Правил никто толком не знал, посему вышвырнули половину комбинаций, придумали какие-то свои. Набрали мелочи из копилки, делали ставки, временами даже пытались блефовать. Крис Ри сменялся Земфирой, потом «Наутилус», «Високосный год», «Машина времени», избранное из Pink Floyd и Depeche Mode, какая-то западная попса, отечественные исполнители… Я курил, глядя поочерёдно то на неё, то на него. Он явно чувствовал себя не в своей тарелке, тем не менее не упускал случая дотронуться до её колена, приобнять за талию, прошептать какой-нибудь комплимент. Я же тихо подпевал Юрию Шевчуку, смотрел на свои карты и ничего не видел. Проигрывал, проигрывал… Но покер мне всё равно нравился.

Изредка поднимал голову и перехватывал её взгляд. Что-то в нём пугало, что-то зачаровывало — взгляд ещё одной черноокой красавицы в живописном саду далёкого города. Я не понимал её взгляда, а потому смущённо отворачивался, подкидывал больше монеток, не следил за игрой.

— У меня две пары.

— А у меня стрит.

— Хм…

— Кому-то капец, ага?

— Ну-у…

Так на улице медленно занимался рассвет — холодное апрельское утро, и уже совсем скоро она уйдёт. Останется лишь прокуренная комната, в которой даже нельзя будет различить аромата её духов.

Парень шутил, улыбался, всячески пытаясь привлечь её внимание к собственной персоне. Она отзывалась, но неизменно поворачивалась ко мне. И снова этот оценивающий взгляд. Настоящий калейдоскоп чувств смешался в нём. Тут тебе и некая самоуверенность, и грусть, и злорадство, и доверие, и что-то ещё…

И очень хотелось выпроводить этого напыщенного индюка, её же попросить остаться. Просто знать, что она здесь. Видеть её, разговаривать, что-нибудь обсуждать. Со временем бы табачный дым выветрился, но аромат её духов — её незримое присутствие — сохранился бы. Такова надежда — вещь хрупкая, едва осязаемая и зачастую несбыточная.

Увы, увы… Наступил рассвет, и всё прекратилось. Они оделись и ушли вдвоём. Я лишь помахал рукой на прощание. Вернулся в квартиру, открыл настежь окна и долго ещё смотрел на забытые ею серьги.

Всё это лишь полуночные мысли, а под боком мохнатое тепло, ласковое, словно бы поющее колыбельную, урчание…

Долго не мог понять, почему по квартире вечно разбросаны ватные палочки. Те самые, которыми чистят уши. Вроде бы всегда лежали в пластиковой коробке на верхней полке, сам же я их выбрасывал тут же после использования. И вот на́ тебе — как ни приду, то на полу одна валяется, то на диване. Причём все чистые.

Ведь не сами же они из коробки выпрыгивают!

Одним утром всё стало ясно. Стоял перед зеркалом и рассматривал собственную невзрачную физиономию, когда на периферии в отражении увидел некое странное движение в районе полки. Осторожно сдвинувшись в сторону, всё так же не отрывая глаз от зеркала, обнаружил Мусю. Каким-то непостижимым образом сей хищный зверь забрался на верхнюю полку (никакой другой мебели рядом нет и не было, и как она сумела вскарабкаться туда, при этом ни издав не малейшего звука, до сих пор непонятно) и осторожно пробрался к заветной коробке с ватными палочками. Привычным движением лапы кошка откинула крышку и, засунув морду внутрь пластиковой коробки, зубами прихватила одну из палочек.

— Муся, — позвал я.

Разбойница вздрогнула и обернулась. Наши глаза встретились в зеркальной альтернативе комнаты. Через мгновение она выплюнула свой трофей и, спрыгнув на пол, с распушённым хвостом стремглав умчалась к окну, откуда нырнула на улицу. Я же так и стоял у зеркала, осмысливая увиденное.

Чем так заинтересовали Мусю ушные палочки, мне было неведомо.

Спустя пару недель правда всё же открылась. На деле всё оказалось до банального просто! Как

и многие, прежде чем воспользоваться «ушной чистилкой», я её хорошенько слюнявил. Так я расхаживал по квартире с такой вот штуковиной во рту. Естественно, Муся — с её-то врождённым кошачьим любопытством — внимательно за мной наблюдала. И, вероятно, никак не могла взять в толк, чего такого интересного в этом куске пластмассы с ватой на концах. А поскольку на пробу ничего вкусного в ватной палочке не обнаружилось, я же по-прежнему продолжал слюнявить их каждое утро, Муся уверилась, что её попросту дурачат, потому воровала снова и снова, выискивая заветное лакомство. И так до бесконечности.

Забавная она всё же.

И теперь мне хотелось бы обратиться к тебе.

Знаешь, чего бы ты ни думала, но она по-прежнему по тебе скучает. И когда ты приходишь — а это случается так редко! — она не хочет идти к тебе вовсе не потому, что забыла или разлюбила, нет. Она не хочет идти, потому что знает: через какое-то время ты уйдёшь, а боль… боль останется.

Кошка тоже умеет чувствовать, и ей тоже бывает грустно.

К вопросу о грустном: вот вам ещё один эпизод из повести, что никогда не будет написана.

Игоря бросила жена. Он вернулся из очередной командировки и обнаружил оставленное ею письмо. По этому поводу напился. Игорь вообще много пил, а потом становился буйным, кричал, хвалился своим званием капитана, расхаживал по коридору в одних трусах, вечно плевался, встревал во все разговоры. Тощий, небольшого роста, с лицом, сморщенным, словно гнилой помидор, и заплывшими глазками, в которых поблёскивала грусть. Мы же открыто над ним потешались: Игорь не представлял какой-либо серьёзной угрозы, всякий его мог обидеть или унизить. Он багровел от злости, брызгал слюной, матерился. Мы же хохотали ещё громче. Если и доходило до драки, то уже через пару секунд Игорь оказывался на полу, прикрывал голову руками и жалобно подвывал…

И вот он сидел за столом и гневно ругался.

— Да пошла она… падаль эта подзаборная! — кричал он, а мы разливали дешёвую водку по стаканам, жевали вымазанные кетчупом и майонезом пельмени, курили. — Я эту шалаву… рот ей порвать… в гробу видал! Ух, мразь неверная! Бросить она меня, видите ли, решила… Пока я тут службу несу, она там шляется со всякими! Богатенького себе нашла… Любит его… Так и написала, представляете? А я, мол, пропойца и не-бла-го-на-дё-жен… — последнее он с трудом произнёс по слогам, смутился, вновь закричал: — Я капитан, мля, ВС РФ! Этим, сука, гордиться надо! А шмара на деньги повелась… У-у, тварь галимая!

— Лан, заткнись, — одёргивали его. — Достал уже.

— Да чёрта с два! — хорохорился Игорь, сглатывая при виде наполнявшегося стакана. — Поеду и убью её, потаскуху эту!

— Хорош!

— Сука… на бабло мужа сменяла… Нет-нет, вот увидите — завтра же у командира отгул по семейным выпрошу! Убивать её поеду. Да, точно…

Мы же заговорщически переглядывались, ехидно улыбались и произносили напыщенные тосты за верных жён, за наших подруг-красавиц, за прекрасный женский пол в целом. Игорь пил вместе с нами. Чернее тучи, стряхивал пепел прямо на стол. Бессмысленный взгляд его воспалённых глаз плавал по нашим лицам, искал в них понимания, возможно, сочувствия.

— Я этим письмом жопу подтёр, — хлопал он по столу. — Чтоб гнида не зазнавалась… Падаль! Бросила она меня. Не-е, ничего подобного! Это я её послал, слышите, а?!

— Да-да, заглохни только, — отмахивались мы, и Игорь отворачивался с видом оскорблённого достоинства.

А позже ночью, слегка пошатываясь, я выбирался в коридор покурить и видел, как у комнаты Игоря кто-то топчется, тихо посмеивается.

— Ты здесь чего забыл?

— Да слушаю вот, как Игорёшка наш хнычет.

Тогда я прислонялся к двери, прислушивался. И правда — по ту сторону хлипкой фанеры, где-то в бездонно-пугающей глубине махонькой комнатушки, надрывно плакал Игорь. До меня доносились трудноразличимые слова — какие-то молитвы, перемешанные с вопросами «почему?», «зачем?», «ну как же так?», — и я усмехался. Так же, как усмехался тот, кто стоял рядом. Игорь оплакивал свою рухнувшую семью, свои надежды, свою любовь, а мы находились в коридоре, слушали это и потешались. Над чем? Над тем, что свято верили, будто у нас никогда не будет такой жизни, будто сумеем избежать всего этого? Возможно. Всё возможно. Но… как знать — не было ли это нашей общей иллюзией?

Таков ещё один эпизод ненаписанной повести о службе в Калуге. Такова ещё одна судьба, растворившаяся в тысячелетиях одиночества…

…………………………………………………………

«Здравствуй и прощай! — именно так мне хотелось бы написать тебе и поставить большущий крест на прошлом. Не читай дальше, тебе всё равно не понравится. Продолжаешь читать? Учти, я предупреждала. Наверное, мне пора переходить на личности. Кстати, ты до сих пор мой. Точнее, „моё“. Именно моё огромное разочарование в жизни! На самом деле ты лучше распечатай это сообщение в двух экземплярах и один сожри, а второй засунь себе в задницу. Просто так — для профилактики от запора. Я вот анализирую наше

„общение“ под любым углом и всё время прихожу к мысли, что ты — ничтожество. Я сегодня буду с тобой ласковой. И не потому, что так хочу. Я просто не злюсь. Если ты думаешь, что я сейчас плачу, жую сопли и типа пишу тебе это сообщение, чтобы разжалобить, — ты ошибся. Я даже пожелала бы тебе счастья, любви, удачи, но ты же не заслуживаешь, да и вдруг ещё сбудется? Хотя нет! Я желаю тебе любви! С активным мужиком, у которого огромный член. Или нет, на самом деле это остатки вымотанных тобой нервов сейчас попискивают. Если задуматься, мне по барабану, что с тобой будет. Бог нас рассудит. Ты мне устроил ад на земле, Он тебя засунет в ад под землёй. Посему советую тебе начинать каяться. Ну и, конечно, спасибо тебе за то, что ты сделал, ведь даже плохие люди делают много хорошего. Например, они подают пример, как делать не нужно. Если ты думаешь, что ты меня сломал, — ты ошибаешься. Все твои насмешки и унижения просто закалили меня. Искренний смех вызывают твои действия, если смотреть на них со стороны. Я стала мудрее и умнее. Хороший опыт, который мне в дальнейшем пригодится. Я всё равно ещё полюблю. И полюблю порядочного, искреннего и, в конце концов, настоящего мужчину, а не особь мужского пола. Ведь у тебя от мужчины один член, и всё. Ах, ну да, ты ещё физически сильнее. В принципе, как и любая другая рогатая скотина.

Ты всё ещё читаешь? У тебя от напряжения мышцы на жопе сейчас дрожат, наверное. Девушки часто пишут парням в прощальном письме: „Я счастлива!“ — для того, чтобы уколоть. Так вот, я счастлива! Только мне пофиг, как ты на это будешь реагировать. Я тебе даже один смайлик пришлю. Видишь, я улыбаюсь. А в реальности я улыбаюсь намного шире.

Да, и постарайся почаще мне делать всякие гадости! Это служит своеобразным катализатором, заставляет меня двигаться вперёд, приводит в тонус. Ой, чуть не забыла. О великий и всемогущий гений нашего времени, слёзно молю тебя, о владыка пера, напиши про меня обязательно рассказ — хоть единственный сто́ящий образ среди всех твоих „героинь“. Я даже выделю время, чтобы его прочесть.

Да, кстати, оставь ключи от моего рая на столике в прихожей и вали в свой мир лжи, лицемерия и бездарных фантасмагорий. Да-да, именно туда, откуда ты вылез».

Я помню, как сидел за столом, курил, вновь и вновь перечитывая этот внезапно обрушившийся на мою голову текст — это воплощённое крушение чьей-то надежды, этот полный отчаяния вопль, — присланный мне, как и заведено, во «вконтакте». Своеобразный привет из прошлого, эпистолярный выплеск эмоций. Кто-то, кого я обидел, кого предал или отверг…

Зачем я так поступил? Уже не знаю, а может, знаю очень хорошо, но это попросту не имеет значения. Главное, что теперь этот текст — это письмо, это обличающее послание — лишь ещё одна тень былого. Ничего более.

Но скольких людей мы топчем, шагая по жизни? А сколькие топчут нас? И самое главное: почему мне так хочется смеяться? Ведь на душе совсем не весело…

Меня тревожат эти мысли, и с них я пытаюсь переключиться на что-то более приятное — очередное воспоминание, не столько грустное, сколько чарующее…

В Комсомольске единственная ближайшая к нашему военному городку школа располагалась примерно в тридцати километрах. В деревне, отделённой от нас огромным полем.

Каждое утро в указанном месте собирались дети военных и ждали так называемый «школьный автобус» — по сути, КАМАЗ на крупных колёсах и с кузовом для пассажирских перевозок. Мы забирались внутрь, рассаживались по местам, и водила — какой-то там прапорщик — вёз нас к месту учёбы. После уроков он же нас и забирал. И так было всегда.

Дорога шла в окружную сквозь густой лес, и мы либо бесились, стараясь не обращать внимания на ворчание взрослых (парочка не слишком грозных учителей, что жили в городке и по утрам ездили вместе с нами), либо же тупо смотрели в окна на бесчисленные сугробы и понатыканные тамсям чёрные стволы деревьев. Первая поездка ещё более-менее запомнилась — она казалась столь необычной после скучного Ярославля с его пешими прогулками. Ну только представьте себе: добираться до школы на грузовике! И так каждый Божий день! Тем не менее к этой маленькой особенности я быстро привык, и все последующие поездки проходили как в тумане — ныне мало что о них помню.

Но однажды «школьный автобус» за нами не приехал.

Мы собрались у крыльца (все деревенские уже разбрелись по домам), жались друг к другу, испуганно таращились на разыгравшуюся пургу и вздрагивали, когда начинала угрожающе завывать метель. Учителя нервничали, то и дело бросая тревожные взгляды в нашу сторону. Сотовой связи в то время ещё не существовало, поэтому точно узнать причину задержки не представлялось возможным. Жители же ближайших домов телефонов не имели. А между тем на нас надвигались угрюмые сумерки. Того и гляди сделается ещё холодней.

В общем, на свой страх и риск учителя решили вести нас пешком. Если идти через поле, то расстояние сокращалось приблизительно вдвое.

С другой стороны, в лесу не было такого ветра и метели. Решающую роль сыграл тот факт, что через поле были проложены трубы, по которым перегонялась горячая вода (здесь могу и ошибаться, но точно помню, что трубы были тёплыми и от них валил густой пар).

Маленькое путешествие длиною в жизнь.

Было чертовски холодно, мы держались как можно ближе к трубам, а учителя регулярно нас пересчитывали. К тому времени, когда мы добрались до середины поля, стало уже совсем темно. Снег хрустел под подошвами ботинок, было трудно идти, а пальцы на руках и ногах давно уже онемели. Вдали тёмным силуэтом в снежном мареве всплывал наш городок. Деревни за спиной уже не было видно. Один только снег. Снег повсюду. Никто ничего не говорил, все молчали, плотнее кутались в свои куртки, растерянно и устало глядели себе под ноги. Лишь учителя изредка кидали взволнованные взгляды в сторону леса: не едет ли там заветный КАМАЗ? Но лес давно уже превратился в неприступную чёрную стену из страшного сна. Даже если бы грузовик и проехал, мы бы вряд ли его увидели. Он бы нас тем более не заметил.

Во вьюге же слышались голоса. Кто-то маняще о чём-то пел — о чём-то полузабытом, неуловимо знакомом…

Нас постоянно подгоняли, заставляя двигаться быстрей. Мы злились. Но теперь я понимаю, что то было правильное решение: нельзя было допустить, чтобы мы долго оставались на одном месте. А ведь ещё сказывалась усталость! Трубы же подкупали своим теплом — хотелось забраться под них, отдохнуть, возможно, даже вздремнуть немного…

На самой середине поля располагался домишко. То была махонькая конура смотрителя (здесь я тоже могу ошибаться, память частенько подводит меня в мелочах). Дед, который жил в той избушке, долго и удивлённо разглядывал нас, когда мы всей ватагой набились в его жилище, а раскрасневшиеся с мороза учителя, запыхавшись, принялись что-то ему втолковывать. Где-то на середине их спутанного рассказа он взмахнул руками.

— Полноте, — ласково пробормотал дед. — Лучше чайку попьём.

Телефон у него имелся, да вот толку от этого аппарата уже никакого не было. Ни одна машина не доберётся по полю до домика смотрителя. Лучшее, что можно было сделать, так позвонить в городок и предупредить, что, дескать, вот — мы идём, встречайте.

Комнатушка у смотрителя оказалась совсем маленькой (мы все с трудом в ней уместились), но тёплой. Несколько раз деду пришлось греть чайник, так как воды на всех не хватало. А чуть позже он даже ухитрился раздобыть где-то пакет со сладостями и угостил каждого из нас шоколадной конфетой.

К тому времени, когда решено было выдвигаться дальше (до момента, как разверзнется непроглядная зимняя ночь, ничего хорошего нам не предвещавшая), добрая половина из нас уже пригрелась и задремала. Возвращаться в лютый холод совсем не хотелось. Нас будили, пересчитывали. Мы же неторопливо одевались, зевали, раздражённо натягивали сырую обувь и мечтали скорее уже нырнуть в свои тёплые кровати. Тайно надеялись, что все учебные задания в этот день нам прощены и можно будет спокойно поваляться перед телевизором.

С такими мыслями мы и двинулись в путь сквозь ревущий буран…

Много позже, дома, когда меня всё-таки отправили делать уроки, сидя над учебником русского языка и глядя на записи в тетрадке («Домашняя работа. Упр. №37»), я вспоминал те самые голоса, услышанные в метели.

Это была мамина колыбельная — песенка, которую она пела когда-то давным-давно:

Шагай вперёд, мой караван.
Огни мерцают сквозь туман.
Шагай без отдыха, без сна
Туда, где ждёт тебя весна…

Порой я всё ещё слышу, как у кого-нибудь в наушниках играет «Наутилус». Бутусов вздыхает из прошлого:

Руки Полины — как забытая песня под любовной иглой.
Звуки ленивы и кружат, как пылинки, над её головой.
Сонные глаза ждут того, кто войдёт и зажжёт их свет.
Утро Полины продолжается сто миллиардов лет.

И все эти годы я слышу, как колышется грудь.
И от её дыханья в окнах запотело стекло.
И мне не жалко того, что так бесконечен мой путь.
В её хрустальной спальне постоянно, постоянно светло.

Вот она — одна из тех песен, что тесно переплелись с целым поколением. С моим поколением. Но когда-нибудь эти песни исчезнут, как исчезло уже многое. И вполне может быть, что мы отправимся следом. Ещё лучше — если вместе с ними. Пешком, сквозь разыгравшуюся метель, под звуки маминой колыбельной. Или же на самолёте, в грозу, с чувством тошноты и ослепительными вспышками молний снаружи. А может, и на поезде. Мимо ночного Благовещенска. Навстречу Комсомольску и Завитинску, много-много дальше — навстречу океану и всем тем воспоминаниям; навстречу вертолёту за домом и друзьям, которых уже никогда не увидим…

Пару месяцев назад заехал ко мне один друг. Поздней ночью, когда улицы заметало снегом, позвонил. Я оделся, вышел к нему, уселся в его недавно купленную BMW.

— Ну, привет.
— Салют! Как жизнь-то у тебя?
— Да всё так же…

В общем, поболтали, покурили, я выпил две бутылки пива, он — банку колы (за рулём как-никак), затем решили просто покататься по городу. Он что-то мне рассказывал о своей нынешней любви, о том, как всё хорошо и замечательно, как он уверен и прочее. Я же молча смотрел в окно на ночной зимний город, который в корне отличался от Благовещенска. Весь какой-то маленький, приземистый. Никакого величия, никакого волшебства.
— Сверни тут направо, — попросил я на одной из улиц.
— Да не вопрос.

В результате мы оказались у тёмного пустынного перекрёстка, в окружении серых бетонных коробок с чёрными прямоугольниками окон.
— Минутку дай мне.

Я выбрался из машины и побрёл к ближайшей девятиэтажке, что уже не единожды мне снилась и будет сниться ещё не раз.

Так очутился в пустынном дворе, которого совершенно не узнавал. Всё исчезло — и беседка, и горка, и качели… Даже лавочки, на которых мы некогда играли в «топорики» и «бутылочку», — и те зачем-то повыдёргивали. Старый дуб по-прежнему ветвился, но вот былого азарта при виде его я не испытывал. Дерево обернулось мрачной фигурой из детских кошмаров — чем-то грозным, встающим из темноты, дабы проглотить меня. А когда-то мы карабкались по нему, сидели на самой верхушке и удивлённо смотрели на мир… Ещё мы вырезáли свои имена на стволе, обменивались заверениями вечной дружбы.

И наши имена, наверное, до сих пор там сохранились…

Тогда я закурил, поморщился от горького привкуса во рту. Понял вдруг, что это место больше не мой дом. И этот двор никогда не был моим двором. Мой двор был другим. А это… пустырь.

Так где же, чёрт возьми, мой дом?

Развернулся и пошёл обратно к машине.
— Ну, чего там?
— Ничего. Абсолютная пустота, — вздохнул я, забираясь в тёплый салон.

Спустя пару кварталов указал на жёлтую «немецкую» двухэтажку:
— В этом доме когда-то жила моя первая любовь.
— Занятно, — без особого интереса кивнул друг, больше глядя на дорогу, чем на заброшенное здание.
— И звали её… Надежда.

Конечно же, я влюблялся ещё не раз. И в большинстве своём то была безответная любовь — она дурманила меня, волновала душу, рисовала странные образы во снах. Я рвался о чём-то рассказать тем чернооким девушкам, а впоследствии и женщинам, которых любил. Или думал, что люблю. Как ни крути, а мне хотелось, чтобы они увидели мой внутренний мир, прочувствовали, осознали… Конечно же, я ничего такого не сделал. Я стеснялся, догадываясь, что во мне нет ничего интересного, мне нечем похвастаться, нечем завлечь, а порой и нечего рассказать. Такова природа всякой сказки и в корне отличающейся от неё реальности. В сказке принц спасает принцессу от дракона, они любят друг друга, и на этом повествование заканчивается. А что ждёт их дальше, какова суть их любви и что они делают, когда нет больше драконов и испытаний, нас не касается. Здесь-то и начинается реальность — то неумолимое стечение обстоятельств, ведущее к одному-единственному итогу, который я пытался отобразить в рассказах «Фонтан» и «Я люблю тебя!».

Данный текст отчасти близок «Экспрессии», он посвящён Натали. Как и прочие, в какой-то период нашего с ней знакомства Натали убедила себя, что я повсеместно её обманываю. Она была такой не первой и, подозреваю, отнюдь не последней. Её раздражала моя ложь, она хотела правды — простой, незамысловатой, понятной и привычной. И, как бы я ни старался, я не мог дать ей этого. Ведь на самом деле я никогда ей не врал. Нет, всё, о чём я ей говорил, — было правдой. Для меня. Мои мечты и фантазии, всевозможные выдумки и прочее — во всё это я верил. Только эта сказочность и оставалась для меня реальной.

Увы, подобное редко устраивает других людей.

И всё-таки я упорно продолжаю свои монологи, рисую картины в воображении, наделяю их скрытыми смыслами и тщетно пытаюсь донести до той, к кому они обращены. Так я посвящал женщинам рассказы, дарил им сновидения. Романтик? Нет, лишь очередной дурак-фантазёр.

Но можно ли стать другим? Стоит ли?
— Знаешь, — обращался я к Марианне, которая живёт в далёкой Одессе (ещё один прекрасный город из колыбельной) и, конечно же, не знает, — мне ни разу не доводилось гулять по воде. Буквально это, естественно, невозможно, но если и существовал когда-то такой человек, как Иисус Христос, то подобный трюк он сумел провернуть не потому, что приходился сыном некоему божеству — вовсе нет! Просто у него было богатое воображение…

И дальше причудливым калейдоскопом кружит сновидение, что я так рвался ей подарить…

…Далеко за полночь, но по каким-то причинам сон не идёт ко мне; он словно капризная любовница или неверная жена — где угодно, только не в моих объятиях. Выпив чаю и выкурив сигарету, одеваюсь и выхожу на улицу. У ночи много преимуществ перед днём. Главным из них, пожалуй, является отсутствие людей, а ещё некий мистицизм

тишины и мрака, чего-то сюрреалистического, скрывающегося в тёмных подворотнях и размазанных по земле пятнах света от окон и фонарей. А в небе кружит-блестит снег. Конец марта, а у нас вот снег — своеобразный подарок зимы, так не желающей отступать, но уже признающей, что время её прошло. Об этом говорит всё: и похотливые крики котов, и неугомонное чириканье птиц, и звуки капели за окнами поутру, и дыхание ветра, и, возможно, настроения, витающие в толпе. Серость уползает с лиц прохожих: они и сами не понимают, как начинают улыбаться, насвистывать что-то, грезить о морском прибое, песчаных пляжах, матовых листьях пальм…

Перехожу пустынную дорогу и гляжу на реку. Вода ещё сокрыта под слоем льда, но в глубине уже явно ощущается некое движение жизни — там разворачивается таинство пробуждения от зимней спячки. Я же спускаюсь к берегу и шагаю по хрустящему льду, а потом и вовсе — по самой воде! Она темна и бурлит у меня под ногами, а в небе всё тот же снег… где-то за облаками — большущая Луна, скользящая по своей орбите… Я думаю о далёком космосе с неразгаданными и непознанными звёздами, думаю о дыхании бесконечности — этой многовековой неизвестности, сокрытой от рода людского. Своеобразная улыбка бытия сквозь вихри времени, не иначе. Материнская улыбка из глубин мироздания.

Теперь уже другого берега нет — он исчез, растворился в молочной пелене тумана; отныне есть лишь порхание снежинок да течение воды. Оборачиваюсь, но позади пустота — там тоже всё исчезло, уплыло на крыльях сновидений, подчинённых самим себе. Никаких физических законов! Всё самое невероятное возможно — стоит лишь поверить!

Вдыхаю ночной воздух и наслаждаюсь тишиной. Но стоять долго посреди холодного океана тоже нельзя, нужно двигаться дальше. Времени и так отпущено всего ничего, а ведь ещё предстоит постичь этот прекрасный, пусть и иллюзорный, мир. Хотя, с другой стороны… стоит ведь захотеть, и время здесь изменит своё движение: минуты растянутся в столетия, пока ты будешь путешествовать по бескрайним землям своего не обузданного сознанием воображения. Здесь даже можно прожить целую жизнь, успеть состариться… Главное — верить!

Смотрю на город — архаичный образ далёкого детства — россыпь огней, подчинённых определённой структуре, вспыхивающих и гаснущих во тьме. Огни эти движутся. Совсем как Вселенная, с той лишь разницей, что нам до сих пор непонятна структура звёздных скоплений, и потому мы наивно зовём их хаотично расположенными… Что сказать, город прекрасен! Он — отражение мечты, чего-то таинственного, сошедшего с давно позабытых фотографий, отпечатавшихся в памяти и ждущих своего часа, чтобы проявиться перед мысленным взором с неистовой силой.

Снега больше нет, и вода под ногами теперь не такая уж и холодная, хотя менее тёмной она не стала. Но… что же это?

Я попал в лето!

Вижу укутанный тенями пляж. На песке одиноким маяком полыхает костёр, вокруг которого жмутся парочки. Они обнимаются, о чём-то переговариваются, и голоса их напоминают урчание довольной кошки — чёрной и пушистой, лежащей у тебя на коленях, когда ты погружён в интересную книгу, и пускающей когти. Чувствуешь колкие коготки сквозь одежду, но сгонять мохнатый тёплый комок не торопишься: пусть ещё полежит, погреет — вся такая мягкая, издающая столь приятные уху звуки. Совсем как прикосновение ветра. Совсем как мечты, уснувшие на крыльях ночных мотыльков или же отражающих дневной свет бабочек. Они — словно упущенное время, с которым улетают наши идеи и возможности…

Выхожу на пляж и скидываю тяжёлые зимние ботинки, снимаю носки и закатываю штанины — так приятно касаться голыми ступнями прохладного песка. Есть в этом что-то такое — очаровательное, прямиком из детства, из того времени, когда всё ещё было хорошо… Затем снимаю пальто и свитер. Становлюсь совсем своим в этом новом мире. Просто парень в футболке и джинсах, босиком ступающий по ночному пляжу никому не известного города, любующийся видом на огромный навесной мост — тот самый, усеянный тысячами огней, движимых и неподвижных…

Миг — и я среди этой молодёжи, наблюдаю за игрой огня, слушаю их бормотание, смешки, ласковые глупости, что они шепчут друг другу. Прекрасная пора юности, когда столько надежд и такие радужные взгляды в будущее: ни тебе сожалений, ни того горького осознания, что время уходит — мотыльки улетают, — а ты так ничего и не сделал.

По кругу гуляет бутылка спиртного, завёрнутая в бумажный пакет. Делаю пару глотков: ничего вкуснее я ещё не пробовал! Да-а, это не то дешёвое пойло, что мы насильно вливали в себя в Калуге, когда старались как можно быстрее дойти до состояния полного отупения, чтобы позже забыться беспокойным сном… В этом мире всё иначе. И блики света от костра играют в глазах моих новых друзей, которые рассказывают о чём-то забавном. Я смеюсь, пытаюсь шутить в ответ, а над городом сияет большая — слишком даже, чтобы это оказалось правдой, — луна. Мерцают огни. Это самый совершенный мир из всех возможных, созданных мечтой и сновидениями. И этим миром не нужно управлять, им нужно наслаждаться. Предела нет, есть лишь воображение, фантазия.

А потом я вижу, как откуда-то со склона спускаешься ты. Тебе определённо здесь нравится, и глаза твои — те самые, цвета осени и детства, искрящейся надежды и смеха, ощущения счастья, — улыбаются. Да, ты умеешь улыбаться одними только глазами, большего и не требуется. Смотрю на тебя, а на ум невольно приходят строчки из Сергея Говорухина: *«В её глазах орбиты Галактики… В них заглядываешь, как в бездну губительную, — понимаешь, что разобьёшься, и делаешь всё же последний шаг. В них — мироздание»*. Быть может, он тоже был знаком с тобой?

— Идём, — говоришь ты. — Покажи мне этот мир.

Я киваю, передаю бутылку дальше по кругу, последний раз смотрю на ночной костёр — как же он прекрасен! Затем поднимаюсь и шагаю следом за тобой. При каждом касании ступнями прохладного песка по всему телу разливается некое блаженное умиротворение — я вновь невольно вспоминаю Крым, маму, наши с ней разговоры обо всём на свете… Как же давно я не гулял босиком по пляжу! Теперь, оглядываясь назад — на всё то, что видел и сделал, — я начинаю сомневаться, что это был я. Не было меня там, в моём прошлом. Не я пил коньяк с друзьями на ночном побережье; не я шагал по пристани, слушая ласковые голоса волн; не я восхищался усыпанным яркими звёздами южным небом, и не я ждал пиратов, вглядываясь в бесконечную даль океана… Нет, то был кто-то другой, а я лишь смотрел это в кино, читал об этом в книгах или же вовсе слушал суховатый пересказ этих историй человеческого благополучия…

Автомобиль стоит на пустынной дороге. Как и планировал — это кабриолет. Пусть и избито, но этим миром лучше любоваться не через окна. Нужно видеть всё вживую, вдыхать ароматы, слышать мелодии.

И вот мы въезжаем в самые недра этого города. Города, в котором я никогда не был, очень хочу побывать, но, возможно, так никогда и не окажусь. Всё потому, что мои мотыльки улетают, а я по-прежнему живу мечтами…

Ты же смотришь на знакомые улицы, о которых читала, фотографиями которых восторгалась. Верно, это тот самый город, что снится тебе, и сейчас именно ты воссоздаёшь его. Теперь уже действует твоё воображение в этом краю моих снов.

— Ведь это же…

Да, где-то там живут твои альтер эго: девушки с именами, начинающимися на одну и ту же букву. Они спят или гуляют, влюбляются и пытаются жить, абстрагировавшись от сюжета и страниц, строчек и фантазий. Они даже и не подозревают, что нынешней ночью ты едешь по дорогам их реальности. Пусть это будет моим маленьким подарком, хорошо? Все эти залитые ярким светом величественные башни из стекла и бетона, уютные ресторанчики с труднопроизносимыми названиями, сонные в дымке холмы, по которым стелются широкополосные трассы, и аккуратные домишки. И эти декоративные деревца по обочинам тротуаров, и эти живописные парки… Есть ещё порт с часовней; яхты и шхуны, одиноко покачивающиеся на волнах. А за городом — по железным дорогам спешат поезда; люди в них дремлют либо же листают газеты. Они совсем как настоящие, эти люди. Иллюзия, которая превзошла собой реальность. И ты создаёшь её в данный момент, представляя, как всё это выглядит на самом деле. Я лишь предложил тебе путешествие.

Конечно же, мы отправимся и на знаменитый мост, с которого можно увидеть легендарную тюрьму, ныне превращённую в музей. Под нами — тёмные воды залива. Того самого, что так часто демонстрируют в кино зарубежные режиссёры и описывают в своих романах восторженные писатели.

— А что там? — спрашиваешь ты, указывая далеко на запад, где клубится чёрное грозовое облако и сверкают молнии.

Там живёт моё зло. Но ты не пугайся, оно совсем безобидное. Просто у каждого человека есть зло. Моё вот живёт там. Мирно так живёт, рождённое и взращённое на впечатлениях от старых ужастиков с гнусавым переводом, благодаря которым я и начал писать. Отчасти то просто край, выстроенный как дань утраченной детской непредвзятости. Там вампиры попивают чай, листая «Рождественскую песнь в прозе» Диккенса. Там оборотни вычёсывают блох, в самой чаще леса скрываясь от злобных охотников с факелами, вилами и серебряными пулями. Там озябшие, никому не нужные зомби на пару с волками жалобно воют на луну. Там задорный скелет с голосом Джона Кассира рассказывает страшилки, запершись в подвале заброшенного особняка. Если захочешь, сама всё увидишь. Они совсем не страшные — мои маленькие бабайки, мои вымышленные друзья. Странно это, наверное… Не знаю.

А впереди нас ждёт широкая полоса дороги, ведущая вдоль омываемого пенистыми волнами обрыва. И ехать так можно долго-долго, разговаривая обо всём на свете либо же слушая блаженную тишину ночи и урчание двигателя. А небо вплоть до самого горизонта окутано переливающимся звёздным покрывалом. Там туманности и целые системы, далёкие-далёкие планеты… Как и всякому мечтателю, мне всегда хотелось узнать: что же сокрыто по ту сторону доступного человеку? Что в этих мирах? Может, девственно чистые пляжи и морская гладь, странные создания, скрывающиеся в тёмных глубинах? Разросшиеся джунгли, щебет невиданных птиц, прикосновение лучей незнакомого, но вполне радушного к тебе солнца? Всякое может быть…

Я останавливаю машину поперёк дороги. Но это не опасно — кроме нас, здесь больше никого нет.

По крайней мере, в данный момент. Выбираюсь из кабриолета и, босиком ступая по прохладному асфальту, гляжу на безмятежность пейзажа. Один такой вид стоит того, чтобы жить. В этом, наверное, и кроется удивительное многообразие жизни. Бесконечность вариантов, помноженная на бесконечность нашего восприятия,—и как смеем мы говорить, что жизнь скучна?

Ты выходишь следом, встаёшь рядом... Думаю, тебе тоже нравится этот вид, и оба мы понимаем, что в реальности всё во много раз краше,—значит, есть к чему стремиться! Мотыльки улетают, унося на своих крыльях спящие мечты. Но ведь это ещё не конец. Всегда будут новые мотыльки и бабочки, главное—не растерять их полностью, не сидеть на месте, наблюдая за их порханием. Главное—не тратить время впустую!

— Спасибо,—может быть, скажешь ты.—Это был красивый мир, мне понравилось.

Я почувствую прикосновение твоей руки. Дружеское пожатие, которое определяет очень многое в этой жизни.

А ведь правда состоит в том, что одной мартовской ночью я сотворил тебя, а ты, в свою очередь, весь этот мир. И кто кого тогда должен благодарить?

Но прежде, чем всё закончится и мы вернёмся в снежную весну моей жизни, прошу, выслушай меня. Есть ещё одна вещь, о которой я долгое время не решался тебе рассказать. Я сомневался, но теперь убеждён: ты—это настоящая она, та таинственная девушка из колыбельной. Её я повстречал лишь однажды, блуждая по лабиринтам своих беспокойных сновидений. Я боялся, что она вымысел и что я никогда её не найду. Так со временем я разуверился в её существовании, сдался. А потом встретил тебя. И теперь я точно знаю, что увидел тебя гораздо раньше, нежели впервые осмелился заговорить с тобой. Это ты приснилась мне тогда. Тебя я искал, блуждая по сумеречным барханам, оазисам, вглядываясь в миражи на горизонте и слепо веря, что где-то есть сказочный город, в одном из садов которого ждёшь ты. И вот наконец-то поиски мои увенчались успехом. Я знаю, что тот сон был чем-то бóльшим, нежели просто картинкой из подсознания. Не только грёза, но целое видение, настоящее пророчество, которое сбылось.

Да, такое порой случается. По крайней мере, мне очень хочется в это верить... И я верю, ведь у меня есть ты.

— Спасибо,—говорю я.

И ты прижимаешься ко мне. Я ощущаю тепло твоего тела и... слышу довольное кошачье урчание. Кошка...

Кошка?

Просыпаюсь, и... большие янтарные—осенние—глаза внимательно наблюдают за мной. Муся лежит у меня на груди и громко мурлычет. Поговаривают, что эти таинственные существа умеют воровать сны и даже души. Но в этот раз Муся не стала красть мой сон, вместо этого она подарила его мне. Подарила яркие краски и насыщенные образы; подарила живое олицетворение мечты.

И мне лишь остаётся задаться вопросом: кто же попросил её это сделать?

Сколь прекрасны порой бывают сновидения, столь же восхитительно и возвращение домой!

Хотя—нет. Восхитительна сама дорога. Так я забрал документы в Калуге, провёл ритуальное сожжение военной формы (больше никакой «парадной» одёжки, отныне только «гуляночная»), пожал всем руки и рано утром сел в поезд до Москвы. С одной лишь сумкой на плече. Ехал, глядя на унылые пейзажи за окном, порой наблюдая за спящими пассажирами, пытался читать, но мысли мои скакали, словно блохи, и никак не удавалось сконцентрироваться. А сквозь тяжёлые облака то и дело проглядывало июльское солнце. И вовсе не хотелось, чтобы оно лезло в душу этим днём. Пускай уж лучше будут тучи и дождь. Почему-то в дождь гораздо приятней возвращаться куда-либо; дождь—это пусть и слегка драматичные, но чертовски правильные декорации. А солнце всегда всё портит.

Москва же встретила меня суетой и удушливым запахом пота, разившим из крытых ларьков, где готовили шаурму, неказистую пиццу и страшноватые на вид хот-доги. А ещё—гудением поездов. Не хотелось уходить с вокзала, пусть Киевский вокзал мне никогда особо и не нравился. В душе занозой засело странное желание прочувствовать этот день, обнаружить и тщательно запомнить все его отличия от дней минувших, пронизанных страницами не написанной мною рукописи о временах одиночества. В общем, сердце требовало чего-то иного, какого-то подтверждения, что всё теперь иначе. Всё изменилось. Я свободен, ведь так?

Но нет, ничего такого не было. Москва такая же, как и всегда. Люди такие же, как и всегда. Поезда, поезда...

Телефон всё так же угрюмо молчал. И, в принципе, только теперь я с горечью понял, что никто меня дома не ждёт. Нет там никому дела до такого события в моей жизни, как прощание с армией и возвращение домой.

Да и дома теперь уже не было. Армия осталась, а я ушёл и тысячелетия одиночества забрал с собой.

И вот чего только не встретишь в метро! Воистину, это уникальное место, где можно натолкнуться на вещи, одно упоминание о которых уже способно вызвать немало толков и споров. Место, где волей случая собирается большое количество людей, уже само по себе необычно. Оно хранит

разные воспоминания — порой забавные, а иногда не очень.

Невольным свидетелем одного из таких событий я и стал, когда возвращался домой, добираясь от станции метро «Киевская» до станции «Комсомольская». Естественно, забитое до отказа, пропитанное удушливым запахом пота метро не вызывало у меня положительных эмоций. В отличие от жителей столицы, которые скрашивают свои поездки чтением книг или прослушиванием музыки, у меня не имелось ни того, ни другого, и всё свободное время я попросту наблюдал за людьми.

По обыкновению, там, где много народу, случаются и разнообразные казусы. Возьмём, к примеру, тот факт, что для некоторых метро служит не только средством передвижения, но и ночлежкой, а потому нередки случаи, когда прокравшийся в подземку бродяга устраивался поудобнее в углу вагона и засыпал. Конечно, частенько его сон нарушал патруль. Обычно подвыпивших бродяг бесцеремонно выволакивали на ближайшей станции, так как спросонья они не сразу понимали, где именно находятся и что вообще происходит, а слушать уговоры мужчин в форме, естественно, не желали. В те же редкие минуты покоя, когда никто их не трогал, они мирно посапывали, принимая зачастую наизабавнейшие позы.

Люди из «цивилизованных» слоёв редко относились к этим спящим с должным пониманием и сочувствием — сторонились их, всячески кривили физиономии, тем самым выказывая своё явное отвращение. Частенько демонстративно отходили прочь, бросая брезгливые взгляды. Нередко случалось и открытое проявление агрессии. В подобных противостояниях сонные пьянчужки, конечно же, были в меньшинстве и потому спешили ретироваться, спасаясь от грозно кудахчущей толпы. Крайне редко дело доходило до рукоприкладства. Чаще всё заканчивалось словесной перебранкой, во время которой представители «цивилизованных» демонстрировали ничуть не меньшую невоспитанность, нежели сами бродяги. И хотя великий Гёте завещал, что, живя с волками, следует и выть по-волчьи, полагаю, он не ожидал, что его наставление будет воспринято столь буквально и станет пользоваться такой популярностью, являясь при этом ещё и отговоркой для совести многих поколений.

Но, помимо спящих бродяг, в вагонах метро водилась и совершенно иная разновидность «обделённых». Речь идёт о всевозможных попрошайках, выклянчивающих себе железный рубль. Причин, из-за которых необходим этот самый рубль, было так много, что перечислять их не имеет никакого смысла. И если вдруг мои слова покажутся вам кощунственными, создающими впечатление обо мне как о человеке, напрочь лишённом сострадания, то да будет вам известно, что лишь десятая часть вымаливающих подаяния на самом деле являются теми, за кого себя выдают.

Случай, о котором я собираюсь поведать, приключился как раз таки с одной из «охотниц за милостыней». Искренна она была в своём горе или же нет, мне неизвестно. Дело, в общем-то, и не в ней.

Так, шагнув в полупустой вагон и усевшись поближе к выходу, я принялся осматривать остальных пассажиров. Люди как люди. Что можно сказать о них по первому взгляду? Пара сердобольных бабулек. Сонный мужик неопределённого возраста. Блондинка за тридцать, скрывавшая морщины густым слоем пудры и ревниво оглядывавшая молоденькую брюнетку напротив. Группа подростков без определённых признаков пола. Та самая брюнетка, державшаяся ото всех в сторонке и погружённая в созерцание своего мобильного телефона. Трио дагестанцев, развалившихся на сиденьях и лениво ковырявшихся в зубах. И ещё — парочка совсем уж неприметных личностей, которых я и разглядеть-то толком не смог.

Когда поезд тронулся, из соседнего вагона зашла старуха с табличкой на груди и с огромной медной кружкой в подрагивающей руке.

— Христа ради, помогите! Спасите, люди добрые, и да хранит вас Господь Бог! — запричитала она.

Надпись на табличке была примерно следующая: «ПАМАГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖИТ! СРОЧНО ТРЕБУЮЦА ДЕНЬГИ НА АПЕРАЦИЮ ДОЧЕРИ!»

«Люди добрые» косились на табличку и нехотя лезли в карманы за мелочью. Самое интересное начиналось в тот миг, когда они опускали деньги в кружку. Одни застенчиво отводили взгляды, будто стыдясь своего поступка, другие, наоборот, гордо смотрели на старуху, вполне довольные собой.

К примеру, брюнетка на старуху и вовсе не взглянула — думаю, увлечённая своим мобильником, она вообще не замечала происходящего вокруг. Дагестанцы фыркнули и пренебрежительно отмахнулись. Блондинка засуетилась, разгребая ворох ненужных вещей у себя в сумочке, и после минуты усиленных поисков извлекла кошелёк. Подозрительно оглядевшись, она вытащила пятьдесят рублей и опустила их в кружку, при этом всячески стараясь её не касаться.

На столь неслыханную щедрость старуха раскланялась, обещая молиться за здоровье блондинки…

— Чем больна твоя дочь?

Вопрос пусть и прозвучал негромко, тем не менее привлёк внимание многих.

Задал его худощавый тип, сидевший неподалёку от меня, — один из тех, кого я причислил к группе «неприметных личностей». На вид ему было где-то за сорок. В деловом костюме, гладко выбритый, с залысиной, лицо же вытянутое, с выпирающим

лбом и словно бы недоразвитой нижней челюстью. На носу очки с толстыми линзами, а на коленях металлический кейс с кожаными вставками. В общем, натуральное воплощение стереотипных представлений о классическом бухгалтере.

— Простите?

— Я спросил: чем больна твоя дочь?

— В смысле? То есть как?

Поезд постепенно набирал скорость, начиная пронзительно громыхать.

— Женщина,— вздохнул он, сняв очки и устало помяв переносицу,— у тебя на табличке написано, цитирую: «Срочно требуются деньги на операцию дочери». Так? Так. Вот я и хочу знать: что это за операция такая? Чем же больна твоя дочь?

Вернув очки на место, он безо всякого выражения уставился на старуху.

— Э-эм…— она собралась с мыслями и, видимо, решила отступать по единственно верному пути.— Милок, откуда ж мне знать-то, что оно за хворь такая? Я ж в этих врачебных выраженьицах не сильна. У меня всего четыре класса за спиной…

— Нет, нет, нет,— покачал головой мужчина.— Твоё образование меня совершенно не интересует. О нём я вполне могу судить по грамотности твоего письма. Важно лишь то, что на кону здоровье и жизнь твоей дочери. Естественно, если ты не лжёшь.

Тут он позволил себе улыбнуться.

— Господь с тобой!— перекрестилась старуха.— Да чтоб я… да на собственное дитя… да ни в коем разе!

— Хорошо.

— Чего же здесь хорошего?— выдохнула старуха.

— Веришь в Бога?

Старуха озадаченно поглядела на мужика, пытаясь понять, чего именно он от неё добивается.

— А что в Него верить-то? Он есть, и точка! Верь— не верь…

Не произнося ни слова, этот странный тип открыл кейс и что-то достал. Приглядевшись, я с удивлением обнаружил, что то была тысячерублёвая купюра.

Остальные пассажиры оживились.

— Вот. Получишь, если сейчас же отречёшься от Христа,— спокойно произнёс он.

Кто-то ахнул. У старухи же буквально челюсть отвисла. Ей потребовалось несколько секунд, чтобы собраться с мыслями, после чего она залепетала:

— Батюшки родные… Господь с тобой, милый! Что ж ты такое предлагаешь-то мне?! Да как так можно, чтоб я, истово верующая— под Богом всю жизнь проходившая!— да вдруг взяла и от него отказалась?!

— Ясно. Всё дело в цене. Понимаю. Цена решает многое, в том числе и вопросы веры. Попробуем иначе.

Под неусыпным наблюдением приблизительно десяти пар глаз он вновь полез в кейс, откуда достал целую пачку банкнот, по рыжему цвету которых нетрудно было догадаться об их номинале. Вытащив из пачки две бумажки, он прибавил их к уже имеющейся купюре.

— Отрекись от Христа, и это твоё.

Дагестанцы присвистнули, блондинка растерянно заморгала, а брюнетка, всё ж оторвавшаяся от мобильника, грустно вздохнула.

Старуха посмотрела на деньги, затем на мужчину. Если бы поезд так не шумел, то, думаю, можно было бы услышать, как учащённо бьётся её дряхлое сердце.

— Ты что ж творишь-то, ирод?!

«Ирод» широко улыбнулся, а затем совершил то, что заставило нервно заёрзать всех присутствующих в вагоне: он положил всю имеющуюся пачку пятитысячных купюр на кейс и повторил своё предложение.

Старуха моргнула один раз, другой, третий…

— Здесь вполне хватит на операцию,— безразлично заметил он.— Если, конечно, у тебя на самом деле есть дочь… Ну же! Всего-то и требуется, что отказаться от глупого мифа.

Но старуха, кажется, и не слышала его. Она не отрывала глаз от пачки банкнот, лицо же её выражало мучительную внутреннюю борьбу.

— Я уверен, бабуля, что таких денег ты и в руках-то никогда не держала. Так что бери и ступай с миром.

— Господи, Господи…— слова застряли у неё в горле, а по морщинистым щекам потекли слёзы.

— Господь такого не предложит, и ты это прекрасно знаешь.

Сколько бы она так стояла, неизвестно. В следующий момент поезд начал замедляться и меньше чем через полминуты остановился. Ничего перед собой не разбирая, старуха кинулась прочь из вагона. Мужчина же молча убрал деньги и как ни в чём не бывало погрузился в свои мысли. На взгляды окружающих он не обращал никакого внимания, и чем закончилась его поездка, сказать не могу.

Через остановку я вышел. Поднявшись на улицу, облокотился о стену и закурил. А по Ярославскому вокзалу взад-вперёд сновали люди, скрипели роликовые колёсики сумок, трещал голос диспетчера. Какое-то время я размышлял над тем, чему стал невольным свидетелем. Пуская кольца табачного дыма, снова и снова возвращался к одному и тому же вопросу: что за цель он преследовал?

А ещё мне очень хотелось узнать: что бы случилось, если б поезд не остановился так скоро? Какое решение приняла бы старуха? Что бы она выбрала? Деньги или Господа, веру в которого пронесла через всю свою жизнь?

Конечно же, ответов на эти вопросы я так и не получил. Всё, что у меня было,— это лишь

предположения да теории, всевозможные домыслы и… почему-то уверенность, что ничто не ново в этом мире. Всякое случается. И даже такое.

Но я до сих пор уверен, что тем июльским днём, возвращаясь из Калуги домой, я впервые повстречал дьявола — того самого дракона, что является исключительно ко взрослым.

К вопросу о драконах. Рядом с нашим домом в Комсомольске находилось одноэтажное здание местного магазинчика. Только всё самое нужное: водка, сигареты, хлеб… ну и так, по мелочи. А сразу за магазинчиком красовался пустырь, уводящий к загаженным, чем-то напоминавшим мир после ядерной войны, лугам. И так вплоть до самого леса, величественной стеной возвышавшегося на горизонте, где для всей местной детворы пролегали границы Вселенной.

На пустыре имелось множество болот и озёр. Смердящая зеленоватая жижа с горами мусора и прочими атрибутами запустения — ну чем не место для ловли жуков-плавунцов? Их там, этих самых жуков, надо признать, было видимо-невидимо. И вот одним субботним апрельским вечером, когда по какой-то причине не удалось найти ни одного человека, кто изъявил бы желание сыграть в комсомольские прятки, я отправился к этому болоту. Предварительно перехватив в магазинчике «сникерс», я обогнул угол здания и двинулся к зловонным топям, внимательно изучая берега.

Жука-плавунца ловить не сложнее, чем краба, главное — изучить его привычки, приноровиться. Так, плавунца можно обнаружить по небольшому воздушному пузырю — это происходит за счёт того, что насекомое дышит задницей, всплывая ею к поверхности. В такие моменты жук наиболее уязвим, и потому он старается дышать в тех местах, где всё покрыто тиной. И чтобы поймать его, нужно выявить это место, а после стремительно хватать. Именно эти воздушные пузыри я и высматривал, тщательно исследуя болото и кривясь при виде множества спаривающихся лягушек. В результате я настолько увлёкся поисками, что не заметил, как со стороны леса ко мне подошли трое.

Снова трое, и снова у болота. Ничего не напоминает?

Выглядели эти незваные гости ещё страшнее моих тогдашних обидчиков: все бритые наголо, и каждый старше меня года на четыре. Они задумчиво остановились в стороне и с любопытством наблюдали за моими действиями. Почувствовав на себе посторонние взгляды, я обернулся и… замер. Душа ухнула в пятки, сердце исступлённо закашлялось. Злой чертёнок моей непутёвой жизни ехидно прошептал в самое ухо, что мне конец.

Троица приблизилась. Я бегло огляделся: никого кроме нас, а от дома меня отделяло целое болото — увы, ходить по воде я умел только во снах.

— Ну, как дела? — обратился один из них.

Как я понял, то был вожак.

— Нормально, — промямлил я, постепенно приходя в ужас от одного вида их угрюмых чумазых лиц.

Такие типы убьют, кинут в болото и спокойно пойдут дальше. Ничего им за это не будет. Впервые в жизни я столкнулся не просто с хулиганьём, а с натуральными бандитами.

— Чего тут делаешь?

— Да так… Жуков ловлю…

— Кого?

Их физиономии удивлённо вытянулись, и в последующие десять минут я подробно разъяснял им, чем именно занимаюсь. Кто такие плавунцы, какой от них толк, как их обнаружить. Казалось, парни действительно заинтересовались. Походили за мной по берегу, поглядели на воду. А один даже вытащил водяного скорпиона и с надеждой спросил у меня, не плавунец ли это.

Когда им это занятие наскучило, они вновь уставились на меня.

— А деньжат у тебя не найдётся?

— Не, пацаны, чесслово, нету, — признался я.

Все мои сбережения были получасом ранее спущены на «сникерс».

Парни не растерялись и в наиболее вежливой форме попросили подтвердить свои слова — пришлось вывернуть карманы. Ключи от квартиры с брелоком в форме черепа, старый огрызок перочинного ножа и шоколадка.

— Да-а, не густо… — протянул Вожак.

И тут вдруг активизировался третий — самый молчаливый из них. Он схватил мой брелок, отстегнул от ключей и, показывая его своим товарищам, начал что-то мычать. Не сразу до меня дошло, что парень не умеет говорить.

— Твой? — осведомился Вожак.

— Нет, — соврал я. Мне очень нравился этот брелок, я его на настоящий ножик выменял. — Отцовский. Он мне с ключами его отдал.

Вожак посмотрел на немого и покачал головой. Тот обиделся и принялся мычать громче, демонстрируя всем брелок. А потом вдруг подскочил ко мне и попытался что-то изобразить на лице.

Меня затрясло от страха.

— Да не его это! — разозлился Вожак, выхватив брелок у немого из рук. — Говорят же, отцовский!

Брелок вернулся ко мне, и я торопливо спрятал его в карман. Становилось темно.

— Ну ладно, ребят, — предпринял я робкую попытку. — Пойду я, поздно уже.

— Ага, давай…

Я не мог поверить в такую удачу, но когда уже собрался было неторопливым прогулочным шагом с самым беззаботным видом двинуться в сторону дома, меня вдруг окликнули.

— Д-да? — заикаясь, пробормотал я.

— Слушай…— Вожак замялся, отвёл взгляд.— А пожрать у тебя ничего нету? Может, угостишь нас своей шоколадкой? Голодные, как волки.
— Конечно,— с облегчением вздохнул я, протягивая им «сникерс».— Забирайте.
— Мы половинку.
— Да не, берите весь. Мне мать купила, а я сладкое не очень люблю,— в очередной раз соврал я, дабы мой поступок не выглядел как подачка.
— Классно,— видно было, что они обрадовались. И даже немой заулыбался.— Спасибо.
— Всего хорошего.

И я поспешил прочь, оставив этих троих на болоте. Пока шёл, так ни разу и не обернулся. А сердце гулко стучало в груди.

История повторилась, но в этот раз финал у неё был совершенно иной. А ещё я вдруг понял, что порой с драконами вовсе не обязательно воевать — можно договориться. И мне кажется, стоит замечать такие вещи. Согласны?

С этой троицей я встретился ещё один раз, но уже совершенно при других обстоятельствах.

Чуть выше упоминалось о моём отношении к спорту, однако родителей мало заботило моё мнение в подобных вопросах. Отец — прирождённый спортсмен — регулярно хмурился при виде моих пухлых щёк и ворчал на мать: дескать, та слишком меня балует, откармливает, «растит как на убой». Сам он был сухим и стройным, сплошь мышцы да кости, ни грамма лишнего веса. Лучший в своём кругу. Многочисленные медали и грамоты, подтверждённые разряды и прочее в том же духе. И всё это на фоне толстеющих и лысеющих офицеров, страдающих одышкой и повышенной потливостью.

В общем, как сын я его явно не устраивал. Следствием этого явилась бесконечная череда всевозможных спортивных секций. Я и плавал, и играл в большой теннис, и танцевать пытался, постоянно бегал, а уж сколько через меня прошло всевозможных тренеров по карате — и вовсе не сосчитать! При таком раскладе я догадывался, что в Комсомольске мне уготована очередная секция. Так оно и случилось. Секция эта находилась при воинской части, где в одном из спортзалов в специально отведённое для этого время человек-шкаф (именно таким он мне и запомнился, а никак не «сэнсэем», как он требовал себя величать) обучал офицерских детей восточным боевым искусствам. По сути, то была обыкновенная гимнастика: мы махали руками и ногами, делали растяжку, постоянно приседали. Изредка некоторых мальчишек выводили на так называемый татами и устраивали спарринги. Я в них никогда не участвовал, так как числился среди самых отстающих учеников, а правильнее сказать, был самым-самым из всех. Единственное, чему я там научился, так это считать до десяти по-японски.

И всё это под песни группы «Кино»:

> Тёплое место, но улицы ждут
> Отпечатков наших ног.
> Звёздная пыль на сапогах.
> Мягкое кресло, клетчатый плед,
> Не нажатый вовремя курок.
> Солнечный день в ослепительных снах!

А мы тренировались, лелея глупую надежду стать великими бойцами. Такими, как Брюс Ли, например. Или каким был сам Цой в фильме «Игла».

Звали меня в этой секции просто — Жиртрест. Коротко и ясно, и даже нисколечко не обидно. Отчасти ещё и потому, что к подобным прозвищам я давно уже привык и всеми силами старался не обращать на них внимания.

Увы, среди юных каратистов друзей как таковых у меня не имелось, зато враги появились очень быстро. Четвёрка самых лучших учеников. Худые и наглые мальчишки, прожившие в Комсомольске бог весть сколько лет, а возможно, и всю свою жизнь. Очередные драконы моей жизни, договориться с которыми было нельзя. Наверное, ещё и потому, что для них я стал своеобразным подарком небес: наконец-то появился некто, над кем можно было глумиться и измываться. Не то чтобы меня как-то мучили, но свою дозу насмешек и оскорблений я получал регулярно.

Жили эти мальчишки в дальнем дворе и к нам во двор практически не ходили (лишь один раз попросились принять участие в комсомольских прятках, и я снисходительно принял их), но ревностно следили за тем, чтобы и я не появлялся у них. Мол, то их территория, и всяким жиртрестам там делать нечего. Я строго придерживался этого неписаного закона, так как столкновений совершенно не хотел, а ещё больше боялся последующей расправы.

Но всё рано или поздно меняется. Как-то раз нам с другом, который тоже не пользовался особым почётом у сильных мира сего (худой и невысокий, вечно улыбчивый, звали его Антон), потребовалось навестить одноклассника. Дело было экстренной важности: обмен наклейками — теми самыми, что заворачивали в жевательные резинки. Мальчишка, к которому мы шли, вечно болел, отсиживался дома и никуда не ходил. Поэтому мы тихой сапой пробрались в запретный двор, по-быстрому провернули все свои делишки и уже собирались улизнуть, когда у угла дома встретились с опостылевшей четвёркой.

В тот день нас не побили, но обкидали камнями и комьями грязи, пригрозив в следующий раз «отделать по полной программе». И всё это на глазах у хихикающих одноклассниц.

Очередной позор, верно? Только бы не стать вновь посмешищем, да?

В общем, ушли мы с опущенными головами, так как стыдно было смотреть друг на друга. А через

полторы недели — где-то в это время я повстречался с тройкой беспризорников на болоте — вновь крались в тот двор, всё к тому же вечно больному другу, по всё тому же неимоверно важному делу. Чтобы, не дай Бог, снова не натолкнуться на врагов, мы решили отправиться ближе к вечеру — глупо надеялись, что сумерки надёжно укроют нас от злых глаз.

Не тут-то было!

Компания уже поджидала нас у подъезда, когда мы возвращались после выгодной сделки по обмену наклейками.

— Ну и чё? Вы тупые, что ли? — обратился к нам один из них сразу же, как мы вышли и оказались в окружении. — До вас, дебилы, с первого раза не доходит, а?

— Мы это…

— Чё?

— Это…

— Наш двор, чучело! Понял, да? — и меня сильно толкнули в плечо. — Ты, свинья, тут не имеешь права ошиваться. Понял, да?!

— Я понял. Но мы это… мы просто…

— Чё?!

В общем, по их лицам читалось, что в этот вечер нам точно несдобровать. Они были сильнее, их было больше, да и вечер прекрасно способствовал грядущей расправе. Всё указывало на то, что мы обманули самих себя.

И в довершение за всем этим, притихнув, зачарованно наблюдала стайка одноклассниц на лавочке неподалёку.

— Ну так чё?

У них уже чесались кулаки, и я с содроганием представлял, как нас будут бить — по лицу и по животу, долго и больно. Антон тоже не выглядел особо воодушевлённым и испуганно озирался по сторонам в поисках возможной помощи. Но, кроме ожидающих развязки девчонок, больше никого не было.

— Чё с вами делать-то, а?

— Мы это…

— Чё?

И вот тут помощь подоспела с самой неожиданной стороны.

— Эй, ты!

Все обернулись. Знакомое мне трио вольготно прислонилось к стеночке у дальнего угла дома, не без интереса поглядывая в нашу сторону.

— Слышь, — позвал Вожак, — давай-ка сюда топай, разговор есть. И это… банду свою захвати.

Я сглотнул и тут же услышал, как то же самое сделали все остальные. Лица моих недругов побледнели, а глаза испуганно забегали. Эти трое им совершенно не понравились. И в данном случае я их прекрасно понимал.

— Ба-а, да ты глухой, что ли? — рявкнул Вожак. — Может, мне к тебе подойти, а? Давай резче, шевели поршнями уже!

Испуганная четвёрка нехотя двинулась к беспризорникам. Мы же с Антоном остались стоять на месте, во все глаза следя за дальнейшим развитием событий. Как только перепуганные «хозяева двора» подошли, Вожак выступил вперёд и сверху вниз посмотрел на любителя «чёкать». На манер старого друга, он обхватил бедолагу за шею и, улыбаясь остальным беззубой улыбкой, поволок свою жертву куда-то за угол.

— Кабздец ему, — констатировал Антон. — Это кто такие вообще?

— Знакомые, — ответил я.

— Ничего себе знакомые, — присвистнул Антон. — Это ж бандюганы какие-то! Они его там, часом, не убьют?

— Чего не знаю, того не знаю…

На самом деле было немного страшно за судьбу моих обидчиков. Одно дело унижать и обкидывать грязью, отстаивая свои права на двор и выделываясь перед девчонками, и совсем другое дело, когда в так называемые мальчишеские разборки вступают люди вроде этих беспризорников. Игры играми, но я понятия не имел, что Вожак собирается с ними делать. И от этого было жутковато, потому что несчастных «каратистов» могли попросту избить до полусмерти, а того хуже — и пырнуть ножом.

Но… всё обошлось.

Четверо перепуганных и теперь уже самых обыкновенных мальчишек вынырнули из-за угла минут через десять и, словно стайка встревоженных ланей, стремительно юркнули по своим подъездам. При этом они всячески старались не смотреть в мою сторону.

Затем из-за дома показался Вожак. Он приветливо махнул мне рукой и крикнул:

— Как дела?

— Хорошо, — помахал я в ответ.

Вожак удовлетворительно кивнул, развернулся и неторопливо побрёл прочь.

— Невероятно! — выдохнул Антон.

— Не поверишь, — пробормотал я. — Нас спасла шоколадка. Чёртов «сникерс»…

И всё это произошло на глазах у восторженных одноклассниц! Да, такое тоже порой случается: иногда один дракон может избавить тебя от другого.

То оказался ещё один мой комсомольский триумф, ведь с тех пор в секции надо мной больше никто не смеялся. Остальные ученики относились ко мне с почтением и неким благоговейным страхом, пусть я по-прежнему бегал хуже всех и не в силах был выполнить ни одного норматива.

Зато после того случая я мог беспрепятственно ходить в любой двор, а в школе девчонки посматривали на меня с тайным восхищением.

И всё это по цене одной шоколадки…

А ещё, быть может, хорошего отношения к людям?

Спустя какое-то время я уехал из Комсомольска, оставив городу свой маленький подарок—игру в прятки. Мы семьёй погрузились в самолёт, и мысли мои были только о Ярославле, в который теперь уже совсем не хотелось возвращаться. День выдался солнечным: лето постепенно надвигалось на нас. Я глядел на причудливые и вместе с тем величественные облака; глядел на яркие блики света, переливающиеся на обшивке самолётного крыла. Снова тошнило и ужасно закладывало уши. Хотелось уже как можно скорее очутиться на месте, выскочить из этого жуткого самолёта и вдохнуть полной грудью привычный земной воздух.

Я покидал Комсомольск точно так же, как некогда покинул Шикотан, а позже—Завитинск. Я уезжал из очередного волшебного города на краю света, как ещё не раз буду уезжать из многих городов. Что-то у меня при этом останется, а чего-то я лишусь. И всё это, наверное, и есть жизнь—бесконечное движение каравана от одного сказочного места к другому…

Свой брелок в виде черепа я подарил Антону. Он тоже что-то подарил мне. Обещали не забывать друг друга. Также я попросил свою банду, чтобы они не забрасывали комсомольские прятки, но… каким-то образом знал, что без меня эта игра зачахнет. Неким шестым чувством я понимал это, и потому было грустно.

А ещё с тоской думал о том, что в самолёте вновь придётся сосать эти отвратительные леденцы. Фу!

В кармане же у меня хранилась маленькая баночка с запертым в ней жуком-плавунцом. Комсомольское насекомое отправлялось в далёкий Ярославль. Вместе со мной.

И как же странно теперь стоять на перроне, ожидая своего поезда, и думать, думать, думать—о том, как когда-то ты путешествовал в таких вот поездах по восемь суток, а теперь не в силах вытерпеть какие-то разнесчастные четыре часа, разделяющие Москву и Ярославль. Или двенадцать часов между Ярославлем и Санкт-Петербургом. А то и сутки, что затесались где-то на пути от Москвы до Одессы… Что-то всё-таки изменилось, ведь да?

А нужно ли оно было, это что-то?

Так порой ко мне приходит странное понимание меня: я начитался классиков, всевозможных философов, книг по истории, религии, эзотерике; я могу поддержать практически любой разговор, оспаривать и развивать всевозможные умные мысли и идеи; я относительно сносно разбираюсь в людях—что там они думают, почему говорят так, а поступают этак. Эмоции и прочее. Целый «мир лжи, лицемерия и бездарных фантасмагорий», как выразился один человек из прошлого. Мой мир. Я создал его и своё «я», даже заставил окружающих поверить в это, отобрав у них всякую надежду… Надежда? Сильнее может быть разве что вера—пусть и утверждают обратное. Но я никогда не встречал Вер, не влюблялся в них с первого взгляда. Поэтому вера—это не моё.

Так что-то создал, что-то потерял. Так на что-то понадеялся и чего-то лишился. Это мой мир, при этом не имеющий ко мне никакого отношения.

—Женя, а ты хоть когда-нибудь улыбаешься?—изредка спрашивают меня.

И вот что на это можно ответить? Ведь когда-то я был очень даже улыбчивым и общительным мальчуганом. А теперь как-то вдруг сделался нелюдимым, вечно хмурым, отрицающим всё и вся.

«Я отрицаю всё, и в этом суть моя»,—говорил Мефистофель. Но то Мефистофель, а я всего-навсего человек. Один из нескольких миллиардов. Что-то ищущий, от чего-то спасающийся. Живущий сам по себе. Очередное метание души—как замысловатые круги вертячек на водной глади, как погонщик верблюдов, что смотрит на барханы, на миражи, на звёзды по ночам…

И что же будет дальше?

Я почти уже засыпаю, и, может быть, мне вновь приснится океан.

Буду гулять по песчаному берегу и смотреть на воду, в глубинах которой скрываются столь любимые некогда крабы. А по пятам за мной последуют злые телевизионные антенны. Но я не стану убегать: знаю, что они не догонят. Не успеют, ведь то лишь очередное моё сновидение.

Вовсе не обязательно, что это кошмар.

И вот я, уже совсем взрослый, гуляю по своей второй родине—по Шикотану. В реальности, после мартовской трагедии в Японии, быть может, уже и не смогу посетить этот остров…

А так хочется!

Хочется ещё раз вживую увидеть фантазии далёкого детства—морских жителей, пиратов с подбитого корабля, драконов и мотыльков с большими крыльями. Повстречать всех друзей, с которыми нас развела жизнь. Хочется вновь очутиться в тех солнечных деньках, пропитанных предвкушением грядущих приключений, ужасами Жуткого дома или, скажем, тайнами Ведьминой горы, играми в прятки и ловлей жуков…

И знаете что? Мне кажется, это не так уж и невозможно.

А теперь мне пора закругляться. И я хочу поблагодарить вас за то, что разделили со мной это странное путешествие по мирам моей памяти. Несмотря на какое-либо отсутствие сюжета (а в некоторых местах, возможно, и логики), хаотичность повествования и прочее, надеюсь, вам оно понравилось не меньше, чем мне. Ведь это просто

полуночные мысли, воспоминания. Важные для меня, любопытные, быть может, для вас.

В любом случае один бы я на такое не отважился, поэтому—спасибо.

Ныне же я собираюсь расправить паруса моей лодки «Энтерпрайз» и пуститься вплавь по океану. Посмотрим, на какой тропический остров приведёт меня эта затея. На какой бы ни привела, больше чем уверен, что где-то там, вполне возможно—даже обязательно!—будут зарыты сокровища…

Ночью же я улягусь под открытым небом, как и подобает отважному искателю приключений, и буду глядеть на далёкие звёзды. А волны и ветер станут нашёптывать мне слова давно забытой колыбельной. Что-то об идущем вдаль караване и о весне…

ДиН ревю

Николай Тимченко

Жизнь глубинки без прикрас

Красноярск: «Литера-принт», 2020

«Ночью был морозец, и пруд покрыл ледок, прогибающийся и хрустящий под ногами детворы. Ни о какой опасности мальчишки, естественно, не задумывались. Взявшись за руки, они разбегались и катились по первому в этом году тонкому ледку. Так было до тех пор, пока они не оказались в том месте, где уже побывали и где лёд имел трещины. Один из друзей, бежавший справа, вдруг провалился. Средний мальчишка, державшийся за крайних, инстинктивно отпустил руки своих дружков. Два шалуна, с глазами, полными страха, ринулись бежать подальше от этого опасного места, оставив провалившегося товарища в полынье.

Одежда быстро намокла и стала невероятно тяжёлой, сковала движения. Ребёнку, барахтающемуся в холодной воде, она не давала выбраться из полыньи. Край тонкого льда обламывался, как только мальчику удавалось опереться на хрупкую твердь. В первое же мгновение, когда один из шалунов провалился, Виктор на бегу выломал от стоящей вблизи сухой черёмухи трёхметровую ветку. Избегая места с растрескавшимся льдом, по дуге побежал к тонущему подростку. До полыньи оставалось метров шесть, когда вода поглотила ребёнка, не отпуская обратно. Объятый страхом и обжигающей тело стужей, тот быстро выбился из сил. Ветка оказалась бесполезной. Мужчина сбросил с себя куртку, ботинки и, пробежав несколько шагов, нырнул в леденящую тело воду.

…Он не сразу заметил медленно опускающееся ко дну детское тельце, а увидев, схватил его со спины и оценил глубину пруда под полыньёй. Вынырнув и подплыв к краю полыньи, встал. Ноги обрели опору, но голова оказалась в воде. Спасатель напрягся и резко оттолкнул от себя ребёнка. Когда вынырнул, увидел мальчика лежащим на льду. Половина дел по спасению была сделана. Чтобы не обломать лёд там, где лежал ребёнок, Виктор подплыл к другому краю полыньи и пытался вырваться из водного плена.

Трижды лёд под ним обламывался, но ему удалось выбраться. Ползком приблизился к брошенной на бегу ветке, зацепил сучком за куртку спасаемого человечка, подтянул к себе. Лёд выдержал лежащих на нём людей. И мужчина нажимает на живот, чтобы освободить от воды лёгкие мальчугана. Из носа и рта ребёнка хлынула вода. Ещё около минуты потребовалось на искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, прежде чем спасённый закашлялся и заплакал. Главное было сделано—ребёнок жив. Виктор добрался до своей куртки и обернул ею мокрого, но пришедшего в сознание мальчугана».

Из рассказа «Судьбоносный урок»

Сергей Кузичкин

Оператор грибной волны

Из цикла рассказов «Восхищение одержимых»

Не может русский человек быть счастлив в одиночку, ему нужно участие окружающих.

Владимир Даль,
врач, писатель, этнограф, автор
«Толкового словаря живого
великорусского языка».

Поэт из следующей жизни

Семён Котёлкин в отставку вышел майором. Ему повезло: многие его сокурсники, да и просто выпускники двухгодичных средних военных училищ, едва перевалив сорокалетний рубеж, вешали на перекладину шифоньеров шинели с четырьмя маленькими звёздочками и одним узеньким просветом на погонах. А Семён до большой звезды и двух просветов дослужился. Все двадцать пять своих военных лет был он служакой исполнительным; случалось, проявлял и инициативу перед начальством и подчинёнными. Правда, не всем это нравилось, особенно старшим по званию, однако и среди его начальства находились такие, кто предложения военнослужащего Котёлкина запоминал, мысленно их причёсывал, дорабатывал и после выдавал за свои. Обычно такие предприимчивые начальники про инициатора либо тут же забывали, либо старались от него отделаться: перевести в другую часть или отправить на самый дальний полигон. Но попадались и благодарные, не потерявшие в карьерной гонке совесть. И однажды Семёну Котёлкину перепало: он досрочно получил очередное звание,—но когда всё же подошёл срок окончания его службы, отцы-командиры, кто с сожалением, а кто с удовольствием, на радость уволенных из армии капитанов, так и не ставших майорами, подписали ему дембельский приказ.

Сменив шинель на пальто, а китель на пиджак, отставной майор решил вернуться в родной город, надеясь найти там для себя и для намучившейся от его службы семьи—жены, сына и дочери—покой и благополучие.

Кое-какие денюжки Семён за свои военные годы накопил. Немного заняв у родственников жены, он купил двухкомнатную квартиру в городе-спутнике родного ему краевого центра и незамедлительно заселился сам и перевёз туда семью.

Заселившись и немного осмотревшись, он неожиданно загрустил. Его теперь не будила по утрам полковая труба, ему не надо было торопиться на утренние разводы и вечерние построения на плацу, надевать повседневную форму и парадный мундир. Парадный мундир, правда, он надел однажды—на День Победы—и даже пару раз отдал честь двум полковникам, но те проигнорировали его и участвовать в параде не позвали. Не получив никаких приказов от высших по званию, отставной майор, несмотря на прекрасный майский денёк, расстроился не на шутку и, приехав домой не на служебной машине, а на городском автобусе, снял форму, повесил её в дальний угол шифоньера, сел за стол, выпил праздничные сто граммов водки, закусил килькой в томате и задумался глубоко. Задумался он не просто глубоко, а так, что неожиданно поймал себя на том, что мысли его складываются в рифму.

Идёт парад, а я не рад.
Тут маршируют все подряд.
А я же даже не пою,
Я просто так себе стою.
Стою себе, как кавалер,
Да, я в отставке офицер.
Парад ушёл, не слышен марш,
Куплю я для пельменей фарш.
Наемся, выпью, спать пойду,
А завтра дело я найду.
Надену куртку—не пальто,
Пойду электриком в сельпо.

—Да это же стихи!—воскликнул осенённый Сеня.

Записав эти строки в свободные страницы общей тетради по политзанятиям, Семён выпил ещё сто граммов водки, закусывать не стал, а задумался над последней строчкой. Ещё лет двадцать назад, когда служил в Забайкалье, он со взводом солдат ездил помогать колхозникам копать картошку и прочёл на доске объявлений у правления колхоза: «В сельпо требуется электрик». Видимо, при напряжении мозговых извилин у отставного майора наружу полезли не только дремавшие доселе рифмы, но и дальние воспоминания. В городе-спутнике краевого центра никакого сельпо не было. Школа, детский сад, баня, несколько

магазинов, котельная, здание местной администрации — вот что было в городке, кроме жилых домов-пятиэтажек.

Семён зачеркнул последнюю строку и стал думать, с чем же срифмовать «пальто». В голову лезла всякая ерунда типа «манто», «винтом». «Так не получится», — решил бывший военный и зачеркнул предпоследнюю строку.

«А может, мне точно пойти электриком? Ведь я связист, справлюсь. Тестер, плоскогубцы, отвёртка у меня есть. Провод медный, метров пятнадцать...» Семён сразу исключил из списка предприятий баню и магазины и стал сосредотачиваться на школе, детсаде, администрации. «В котельную тоже можно», — покачал утвердительно головой он.

Неоконченное стихотворное произведение, однако, его не отпускало.

«Что же мне надеть, чтобы в рифму было? — всё глубже и глубже задумывался Сеня. — А может, ничего надевать не надо? Но я же раздетым на работу не пойду...»

В конце концов бывший майор убедил себя, что можно не писать о том, во что он будет одет, когда пойдёт устраиваться на работу. Решив немного сменить направление стихотворения, он, чуть подумав, написал следующее:

Поцелую утром Тамарку
И пойду работать в кочегарку!

Тамаркой — Тамарой — звали его жену, и Семён решил закончить своё первое в жизни рифмованное произведение на семейной ноте.

На следующей неделе Семён Котёлкин действительно устроился электриком в котельную города-спутника краевого центра, и хандра отступила. О рифмованных строках в недописанной общей тетрадке для политзанятий он, казалось, забыл. Но...

Но тот, кто хоть однажды сознательно (со-зна-тель-но!) пробовал рифмовать, знает, что болезнь эта заразительная и хроническая. Редко кто от неё излечивался, а человек, заболевший ею в зрелые годы, практически неизлечим. Бацилла стихосочинительства, вселившаяся в Семёна Котёлкина после парада в краевом центре, таилась недолго. В первый же выходной от работы день когда-то майор-связист, а теперь электрик котельной Котёлкин, встав рано утром, как бы случайно уронил с полочки общую тетрадку со своими записями. Тетрадка упала ему под ноги. Он наклонился, подхватил её, но вместо того, чтобы снова положить на полочку, сам не зная почему, раскрыл. Конечно же, он раскрыл её именно в том месте, где записывал недавно слова в рифму.

Перечитав написанное им же, Семён присел за стол, и... дальнейшая судьба его была предрешена.

За пять следующих дней майор-электрик исписал рифмованными строчками двадцать четыре страницы в общей тетради, посвятив их жене, сыну, дочери, сестре — по одному, шурину — два, родителям (отцу и матери) — тоже по два, воспоминаниям о своём детстве — два, о своей службе в армии — четыре, о своей новой работе в котельной — шесть. И ещё одно стихотворение оставалось незаконченным и заканчиваться никак не собиралось, хотя оно одно оказалось длиннее всех и заняло почти две страницы. Это было стихотворение о тёще. Сначала Сеня не думал посвящать стихи матери своей жены, но Тамара, послушав дифирамбы в свой адрес и в адрес своего брата, не давая оценку творчеству мужа, спросила:

— А про мою маму напишешь?

И Сеня засел за «Тамарину маму».

Засесть-то засел, но прежде, чем написал хотя бы две строки, потратил столько энергии, сколько, наверное, не тратил на размотку сорока метров алюминиевого провода со здоровой бобины, что стояла в положении «на попа» в подсобке кочегарки.

Вначале ничего, как только «мама дорогая», в голову ему не шло:

Мама дорогая,
Милая, родная.

Семён даже ночь не спал. Чтобы уйти от крутящихся в мозгу этих двух строк, он принял горячий, а потом и холодный душ, пил огуречный рассол, сосал леденцы, ел всухомятку печенье «Привет» пятилетней давности, что осталось ещё от его армейского пайка, выходил курить на балкон. Вот там-то, на балконе, глядя из своего города-спутника на светящиеся высотки родного краевого центра, он и придумал совсем другие строки, уйдя от заклятья тех двух.

«Тёща, друг, помоги!» — вспомнил он слова некогда популярной песни, обращаясь мысленно к матери жены, что спокойно спала в ту ночь на диване в их зале, заливаясь мелодично-прерывистым храпом.

Мать жены мне — мать родная,
Может быть, ещё родней.
Днями скромная такая,
А ночами — соловей.
Мы послушаем немного,
И нам сразу веселей.
Спим с улыбкой до утра —
Я, жена и детвора!

Это было только началом. А дальше рука не успевала за авторучкой, и Сеня в течение короткого времени составил в рифму рассказ о том, как его тёща готовит, стряпает и солит рыбу. Сделал он акцент и на любимом им гороховом супе, который у матери жены получался особенно удачно. Но, написав обо всём этом, Семён остановился, не зная, как закончить. В концовке рука нового поэта снова дала сбой. Стихотворение, по его мнению, осталось незаконченным.

Слушая утром сочинённые мужем строки «про маму», Тамара согласно кивала в такт рифмам и говорила:
— Правильно, правильно. И про рыбу, и про суп… Ты только добавь, что она ещё любит к нам в гости приезжать…

Семён согласно кивнул, и его снова осенило: он понял, как закончит стихотворение про тёщу,— построит сюжет на ожидании. Как будто всё его семейство в один воскресный день ожидает приезда застрявшей в автомобильных заторах краевого центра Тамариной матери, размышляет о её кулинарных талантах и душевных качествах, гадая, что с собой везёт им дорогой и любимый всеми человек.

Так Семён и сделал, прочитав потом своё творение за общим столом под общее одобрение, за что был награждён сияющей тёщей поцелуем в правую щёку.

Не осталось незамеченным творчество начинающего поэта Котёлкина и в котельной. Да он и сам горел нетерпением поделиться рифмами с кем-нибудь из рабочих и служащих кочегарки. Сначала прочёл стихи о котельной мастеру, потом нормировщице и бригаде слесарей.
— А ты бы в литературное объединение сходил. Там показал,— дал ему совет старший кочегар, когда Сеня продекламировал ему про тёщу.— Они по вторникам вечерами в библиотеке собираются. Из краевого центра к ним настоящий писатель специально приезжает, консультирует таких вот, как ты, начинающих поэтов.

В ближайший же вторник Семён Котёлкин пошёл в библиотеку. Как бывший военный, он рассчитал, что нужно туда прийти заранее, хотя бы на полчаса, чтобы застать как можно меньше народу и успеть представиться руководителю. Расчёт был правильным. И руководителя он узнал сразу. Небольшого роста мужик возрастом под пятьдесят, во френче и картузе. Таких в городе-спутнике Семён не видел, да и вообще не видел нигде. Интуиция его не подвела. Как человек решительный, он подошёл полустроевой походкой к человеку, раскладывающему на рабочем столе книжки и тетрадки, и, чуть приглушая командный голос, представился.
— Я хотел вам свои стихи показать!— сказал Семён восторженно, когда руководитель начинающих поэтов обратил на него внимание.
— Что ж, покажите,— согласился руководитель.

И Сеня положил в раскрытом виде перед мужиком во френче свою тетрадку по политзанятиям.

Руководитель не стал откладывать, присел и начал читать.

По мере погружения в Сенины строки настоящий писатель то и дело выплывал, бросал взгляд на стоящего по стойке «смирно» перед ним начинающего поэта и снова опускал глаза в тетрадку.
— А вы стихи других поэтов читаете?— закончив читать, спросил Семёна руководитель.

Семён не ожидал такого вопроса, а потому растерялся и промедлил с ответом.
— Ну, Есенина, например, Рубцова, Евтушенко, Ставера?
— Да, знаете, сейчас просто некогда читать,— Семён решил: ему нельзя отмалчиваться и нужно в этом случае отвечать быстро, по-военному.— Я в котельной днём работаю, а вечером как приду— сразу к тетрадке, даже поесть некогда… Тамарка ругается, а я чаю попью— и за стихи…

Руководитель вздохнул тяжело, даже как-то грузно, снял картуз, положил на стол и продолжил допрос:
— А такие слова, как «метафора», «эпитет», «твёрдые формы стихосложения», слышали когда-нибудь?
— Если честно, то нет!— отчеканил быстро и громко отставной майор Котёлкин, отмечая про себя, что народ в зале собирается, а некоторые уже становятся за ним в очередь, тоже хотят побеседовать с писателем-руководителем до начала занятий.
— Ну ладно,— снова вздохнул писатель-руководитель.— Как я понял, вы собираетесь постоянно посещать наши занятия? Если да, то присаживайтесь где-нибудь, поработаем и с вами. Может, что и получится…

Семён уселся между двумя мужчинами, примерно его возраста. Один, в очках, длинноволосый, по имени Володя, сразу попросил у него тетрадку и, быстро пролистав её, вернул, сказав при этом:
— Ну, тут ещё пахать и пахать…
— Можно?— перехватил тетрадь второй член литературного объединения— белобородый Валерий.

Он тоже шустро прошёлся по страницам и сделал свой вывод:
— Тут ещё выкорчёвывать и сеять надо, пока одни сорняки растут.

Семён промолчал, чувствуя себя неловким новичком среди зубров, понимающих толк в поэзии.

Занятие началось. Мужчины и женщины разного возраста, от школьников до седовласых, вставали поочерёдно и читали свои стихи. Сеня был поражён, когда на хорошие, на его взгляд строки, сразу после того, как автор заканчивал читать, начиналась массированная атака. Его соседи— длинноволосый и белобородый, как и некоторые другие, сразу же тянули руки вверх, и когда руководитель кивком разрешал им, по очереди соскакивали с мест и, обращаясь к авторам, начинали разнос строк, рифм и целых стихотворений. Причём разносили всех подряд стихотворцев, несмотря на их возраст, пол и седины.

От Володи с Валерием Семён узнал, что рифмы, оказывается, могут хромать, бывают бедными, простоватыми, затасканными и заигранными, а такие, как «любовь— кровь— морковь— свекровь»

и «розы—слёзы—берёзы—морозы», считаются банальными и недопустимыми для поэтов, посещающих литературные занятия.

После того как разгорячённые критики садились на место, слово брал руководитель. Как понял Семён, писатель больше старался успокоить критикуемых, говоря вначале, что он согласен с замечаниями критиков, но, по его мнению, критикуемый сочинитель за последнее время всё-таки подрос как автор, прогресс его в творчестве заметен, и ему надо продолжать трудиться, учтя все замечания товарищей.

Сеня свои опусы читать на первом занятии не рискнул. Да его, казалось, никто и не замечал, все старались как можно скорее выдать своё, получить порцию замечаний и сесть после публичной порки на место с облегчением, что всё позади. Досталось, но несильно, и длинноволосому с белобородым. На взгляд Семёна, его соседи прочли какие-то уж сильно замудрённые строки. Длинноволосый сравнивал себя со стуком вагонных колёс, утренней росой и горбушей, отметавшей икру, а белобородый читал о девушке, называя её взгляд рентгеновским, губы—красносмородиновыми, причёску—рябиновой, а походку—метеличной.

Из сидевших в зале сделать им замечания никто не рискнул, высказался только руководитель, посоветовав больше и внимательнее читать классиков.

Читать классиков посоветовал он и Семёну, когда тот подошёл сказать ему «до свидания».

По пути домой Сеня зашёл в магазин смешанных товаров, прошёл к книжному отделу и приобрёл в личное пользование сборнички Пушкина и Есенина, а заодно купил и тоненькую красную книжечку поэта Ставера под названием «Розовый ветер».

Дома Сеня от обильного Тамариного ужина отказался, попил чаю и пошёл в угол гостиной, уселся ближе к балкону и стал поочерёдно перелистывать купленные книжки. Как ни старался начинающий поэт, ничего необычного в стихах маститых Александра Сергеевича, Сергея Александровича и Сергея Петровича он не нашёл. Строки как строки, рифмы как рифмы. У него, Семёна Павловича Котёлкина, ведь тоже строки и рифмы. «В чём разница? Почему их стихи считаются классикой литературы, а мои и в расчёт не хотят брать даже поэты из маленького города-спутника?»

За таким размышлением над фактом из жизни и застала его приехавшая снова из краевого центра с ночевой тёща.

—Опять стихи клепаешь?—спросила она, казалось, не замечающего её, пригорюнившегося зятя.

Когда мать Тамары втащила всех на кухню и угостила привезённым ею и ею же стряпанным рыбным пирогом, размягчённый от рыбного и мучного, выпивший четыре кружки чаю зять её Семён рассказал о своём знакомстве с литературным объединением города-спутника и поделился мыслями о роли поэзии в его жизни и его месте в этой самой поэзии.

Вот тогда-то впервые из уст тёщи и услышал Семён о себе…

Выслушав зятя и выпроводив из кухни попробовавших бабушкиного пирога внуков, тёща закрыла дверь и сказала Семёну и Тамаре тихо, вполголоса:

—Я знаю, в чём дело…

—В чём?—в один голос спросили замершие Семён и Тамара.

—Дело в том,—продолжала почти шептать Тамарина мать,—что это у тебя, Сенька, в смысле как поэта, жизнь вот эта—подготовительная!

—Как подготовительная?—снова спросили вместе муж с женой.

При этом Тамара подумала о самом худшем, а Сеня вспомнил, что мать жены увлеклась недавно чтением то ли эзотерических, то ли мистических брошюрок, о чём не один раз уже говорила им мимоходом.

—Ну, скажете, мама!—улыбнулся, вспомнив про это, Семён.

—Да вот и скажу,—забыв об осторожности и внуках, повысила голос тёща на ухмылку зятя.—Скажу, что поэтом тебе в этой жизни не быть! Ты только вышел на путь следующей твоей жизни. Сейчас помучаешься, усмешек натерпишься, зато в следующей жизни, при следующем перевоплощении, ты будешь известным и почитаемым поэтом. Тебя все признáют. Может, даже и в эти самые классики запишут.

Сеня встал из-за стола, широко улыбнулся, махнул рукой и вышел из кухни.

Семён не принял близко слова матери жены, списав её догадку на умопомрачение пожилой женщины, увлёкшейся сомнительной литературой. «Лучше бы кулинарные книжки больше читала, пироги стряпала да супы варила»,—только и подумал Семён после разговора на кухне.

Он продолжал ходить по вторникам на литературные занятия. Стихи писал по два-три, а то и по пять в день, записывая их в ту же тетрадь, но дома уже на суд жены и тёщи выносил написанное всё реже. Не читал он их по-прежнему и на занятиях. Выжидал подходящего, по его мнению, момента. Зато внимательно прислушивался к читающим, делая пометки в специально купленном блокнотике после замечаний, высказанных в адрес авторов длинноволосым и белобородым, занося туда цитаты руководителя из классической литературы и некоторые понравившиеся Семёну мысли самого писателя. Интересовался он и выпущенными новыми книжками стихотворений авторов. Одна из них—длинноволосого Володи—ему понравилась по оформлению. Семён записал адрес типографии и в середине недели, отпросившись

до обеда с работы у мастера котельной, поехал в краевой центр и отыскал там типографию с названием «Многоцвет».

Молодой директор типографии встретил его с улыбкой и, выслушав посетителя, предложил ему на выбор несколько вариантов издания его книги стихов: по тиражу, количеству страниц, оформлению. Семён тут же рассмотрел варианты и, решив не откладывать дело, спросил улыбчивого директора «Многоцвета», сможет ли он рассчитаться с ним за два раза.

— Вполне,— сказал директор, озарив посетителя ещё более широкой улыбкой.— Название для книжки придумали?

— Придумал,— кивнул Семён.— Назову просто: «Обо мне и о других».

— Хорошо,— не меняя выражения лица, согласился хозяин типографии, и заказчик тут же подписал с ним договор, заплатив начальную сумму.

А через месяц, в очередной вторник, Семён, прихватив с собой Тамару и четыре хозяйственных сумки, пришёл в библиотеку города-спутника за три часа до начала литературных занятий. Разложив на столах свои красочные книжечки (каждому члену литобъединения — по одной, и три — руководителю), Семён, с одобрения библиотекарей, при их помощи и помощи Тамары выставил у стола с розеткой два электрочайника, набор пластиковых одноразовых стаканчиков и тарелочек, черёмуховый пирог размером со стандартный квадратный поднос, стряпанный тёщей. Сверху пирога матерью Тамары была выложена ломаным печеньем «Привет» надпись, придуманная Семёном: «Всем от меня». Ещё один поднос, круглой формы, был горкой наполнен бутербродами с колбасой и сыром.

Семёну удалось своим поступком, по словам одной из библиотекарш, «шокировать членов литературного объединения и вызвать удивление руководителя». Руководитель ничего не имел против чаепития и разрешил провести его в начале занятия, понимая, что план в этот раз придётся скорректировать. Члены же литобъединения с радостью наливали кипяток в стаканы с чайными пакетиками, брали бутерброды и, усаживаясь на свои места, не отрываясь от чаепития, начинали листать книжку Семёна.

Первым нового автора поздравил длинноволосый Володя. Сняв очки, он пожал Сене руку, сказав при этом:

— Я ещё не читал, не смотрел толком, не знаю, что ты там напечатал, но всё равно поздравляю. Издать книжку — это поступок.

Пожал руку Семёну и белобородый Валера.

— Посмотрю дома, почитаю… — покачивал головой он.

Пообещал посмотреть внимательно книжечку дома и писатель-руководитель, призвав всех последовать этому же и на следующем занятии «кратко, по-деловому, высказаться о содержимом книжки Семёна Котёлкина».

Организованное Семёном чаепитие понравилось всем, и белобородый Валерий предложил заканчивать такими посиделками каждое занятие.

— Если, конечно, библиотека и вы не против,— посмотрев сначала на сидевших в сторонке работников библиотеки, а затем на руководителя литобъединения, сказал в заключение белобородый.

— Мы не против, что вы, не против… — заговорили библиотекарши.— Это даже хорошо, когда после разборов на занятиях все продолжат беседы уже в непринуждённой обстановке.

— И я не против,— согласился руководитель.— Только нам надо ответственного за это дело назначить. Я предлагаю Семёна Котёлкина, у него опыт уже есть…

Все поддержали кандидатуру Семёна на новую должность в литобъединении, и когда тот дал согласие, Валерий посоветовал ему завести тетрадь и записывать туда фамилии тех, кто будет сдавать ему деньги на застолье.

Так Семён стал главным внелитературным организатором в литературном объединении города-спутника краевого центра. Должность он эту принял с радостью и с желанием взялся за дело: уже в следующий вторник принёс стряпанный тёщей пирог, на этот раз начинённый малиновым вареньем.

На это занятие Семён шёл с улыбкой, с улыбкой встречал он и каждого пришедшего в библиотеку члена литобъединения, хотя знал, что от многих ему сегодня достанется за стихи, напечатанные в его книжке.

И ему действительно досталось и от длинноволосого Володи, и от белобородого Валерия, и от отличницы Сазоновой, и от зашедшей на чаёк, редко бывающей на занятиях поэтессы Раевич. Но Семён из-за критики не расстроился. Он примерно так и рассчитывал: бить его не будут только самые скромные, те, кто сам недавно ходит в литобъединение. Он сидел на разборе своих стихов, спокойно перенося нелицеприятные слова, кивал в такт замечаниям и делал время от времени записи в блокнот. Высказал своё мнение о книжке и руководитель, посоветовав Семёну поработать в твёрдых формах, начиная с сонетов.

Удивил он Семёна уже на чаепитии, когда подсел рядом с ним и негромко вдруг произнёс, отвечая на Сенины вопросы о творчестве:

— У меня такое чувство, Семён, что вы обязательно станете писателем, поэтом, если более точно, но не сейчас.

— А когда? — замер Сеня, ожидая от писателя-руководителя открытия тайны его будущего.

— Наверное, в следующей жизни,— быстро сказал писатель как бы в шутку, стараясь при этом

улыбнуться, но Сеня заметил: глаза руководителя оставались грустными.

Писатель тут же поспешил сменить тему, посоветовав Семёну попробовать написать рассказ.

— Может, вы раскроетесь в прозе как литератор,— предположил он.

— Хорошо, попробую,— согласился Сеня, но высказанная ранее писателем-руководителем догадка уже не давала ему покоя.

Семён был потрясён! Руководитель сказал ему точно такие же слова, что и мать Тамары! Один в один!

После окончания чаепития, когда все разошлись, Семён спросил у библиотекарей, не знают ли они, где живёт руководитель литобъединения. Те раскрыли журнал записей и сообщили домашний адрес писателя, адрес его электронной почты и номер его домашнего телефона.

Писатель жил на левом берегу краевого центра, в Северном районе, и знакомство его с тёщей Семёна, жившей на правобережье, в промышленной зоне, было маловероятным.

Мысль о том, что Тамарина мать могла встретиться с ним в библиотеке, отпала сразу: руководитель приезжал только по вторникам, приходил в библиотеку после того, как Семён был уже там, а уходил до того, как Сеня собирался домой.

На всякий случай Семён, как бы мимоходом, всё же задал вопрос тёще: не знает ли она писателя такого-то?

— Астафьева знаю, Черкасова знаю, читала…— немного задумавшись, ответила мать жены.— Про Сартакова слышала, был такой у нас писатель-сибиряк… А как ты говоришь, о таком не слышала даже и не читала… А что, хорошо пишет?

— Да нормально,— сказал Сеня, стараясь не вызвать подозрения у тещи.— Я вам его книжку принесу, почитаете…

Мысль о том, что руководитель и мать его жены вошли в сговор, Семён, хорошо поразмыслив, отверг дня через два после зародившегося подозрения.

«Допустим даже, что они и встретились, и поговорили, предположим, что тёща высказала ему свою гипотезу, но навряд ли уважаемый писатель, на всё имеющий своё суждение, быстро согласился бы с её версией. Нет, он не такой. Это его собственная догадка. И её тоже. Они самостоятельно, каждый сам, вдали друг от друга, пришли к одинаковому заключению,— сделал вывод Семён и ещё больше ужаснулся.— Значит…»

Что это значит, Семён так и не сформулировал тогда для себя. Решив, что самое лучшее для него — сесть за сочинительство, он после ужина раскрыл тетрадь и попробовал начать рассказ, вспомнив забавный случай из армейской жизни. И даже было начал, написав несколько предложений. Но, перечитав, остался разочарованным, заметив в каждом из предложений очевидные повторы. Слова «был» и «было» будто бы приросли к его мыслям и повторялись, чередуясь, в каждом предложении по два, а то и по три раза. Семён попробовал исправить, даже вычёркивал их из текста, но без них мысль терялась совсем, а заменить их оказалось непросто.

«Просто нечем! — подумал Семён, сделав новое для себя открытие.— Оказывается, прозу писать совсем не просто, как кажется, а даже сложнее, чем стихи». Он попробовал перестроить текст, начать по-другому, но тут к нему прицепилась новая парочка слов: «стал» и «стало». И без них оказалось сложно обойтись, а заменить их Семён не придумал чем. Раздосадованный, он зачеркнул написанное крест-накрест и перевернул листок.

Начиная с чистой страницы, он тут же с лёгкостью сочинил пару четверостиший и незаметно для себя, просидев почти до двух часов ночи, записал в тетрадь несколько новых стихотворений.

Утром, перечитав написанное, Семён остался доволен своим ночным трудом, определив жанры, в которых работал, как философский и лирический.

С хорошим настроением он выпил кофе и пошёл на работу в котельную, по пути читая про себя понравившиеся ему собственные строки нового стихотворения:

Коль пришёл в эту жизнь,
То живи и держись.
Крепко стой на ногах,
Не вздыхай: «Ох!» и «Ах!».
Не ищи лёгкий путь,
Не старайся свернуть,
А иди прямо лишь —
И тогда устоишь!

Семён понял, что он поэт, кто бы там что ни говорил. Он поэт этой, а не следующей жизни, и никакой противной его нутру прозой он заниматься не станет. Не будет больше мучиться над рассказами.

«Буду писать стихи каждый день и назло всем читать их на занятиях. А они там пусть критикуют-закритикуются, если заняться больше нечем. И книжки я буду издавать! Вот так!»

Семён улыбнулся своим мыслям, представил себя весело читающим стихи на занятиях, лица критиков: длинноволосого Володи, белобородого Валерия, отличницы Сазоновой, зашедшей на чай поэтессы Раевич, покачивающего головой и дающего ему советы руководителя,— и подумал о том, что попросит тёщу постряпать к следующему вторнику, на следующее занятие литературного объединения, пирог с грибами. С солёными маслятами, что стоят у него в холодильнике в трёхлитровой банке. Их он собирал сам в сосновом бору Академгородка, где познакомился с одним хорошим человеком, называющим себя «оператором грибной волны».

Оператор грибной волны

Выкроив денёк-другой, в июле-августе каждого года я обязательно наведываюсь в сосновый бор Академгородка или в лесной массив за университетом и, пройдя от автобусной остановки до первой сосны, достаю из полиэтиленового пакета свой ножичек—стального цвета складничок.

Я раскрываю его и иду к группе людей, снующих по бору, вдоль тропок, вокруг сосен или у молодого кустарника. Люди не обращают на меня внимания. Они ходят, низко опустив головы, с ножами в правой руке и с пакетами или вёдрами в левой, не боясь натолкнуться на кусты, удариться головой о большие деревья или, не дай Бог, порезать друг друга. Все они думают об одном. Зрачки глаз их бегают, стараются отыскать в траве между деревьев и кустов то, за чем они приехали. Грибы. Чаще всего—маслята, боровички (по другой версии—грибы белые), а также рыжики, волнушки, лисички или, если сильно повезёт, грузди…

Как-то в середине июля на конечной автобусной остановке Академгородка я увидел объявление:

> «За символическую плату отведу в грибные места в радиусе трёх километров (ближний бор и берёзовая роща). Гарантирую, что в течение 2–3 часов вы наберёте 8–10-литровое ведро маслят и боровичков в июле, в августе—груздей, волнушек, рыжиков, в сентябре—опят. Обращаться к оператору грибной волны Дозывалову Юрию Александровичу».

Объявление, написанное на тетрадном листочке в клеточку шариковой авторучкой и приклеенное на дверь ближайшего от остановки продуктового павильона, внимание на себя обращало, но желающих остановиться и прочесть его было немного.

Я, скорее ради интереса, а не ради покупок, решил заглянуть в павильон, но остановился перед приклеенным листочком. Внизу, под фамилией гаранта-оператора, были указаны номера его телефонов—городского и федерального.

Городской номер состоял из двоек и троек и без труда запоминался. Я улыбнулся, прочитав объявление, и, казалось, сразу же забыл о нём. Часа два побродив среди сосен и грибников, думая исключительно о делах творческих, отдыхая мыслями и душой, я отыскал, срезал и сложил в пакет около двух десятков маленьких и средненьких симпатичных маслянистых грибочков. Решив, что мне хватит на грибной суп, я глянул на часы и направился к автобусной остановке. Естественно, проходя мимо павильона, снова обратил внимание на объявление. Может, на этот раз и не остановился бы, тем более что нужный мне автобус уже маневрировал, подъезжая к остановке, но возле объявления стоял знакомый мне поэт Семён Котёлкин из города-спутника. Поэт увлечённо записывал номера телефонов в блокнот. Пройти мимо было не совсем удобно, и я подошёл и поздоровался.

Сеня искренне обрадовался, увидев знакомого, спешно спрятал блокнот в большую чёрную сумку, висевшую у него на плече, пожал мне руку и, глядя на мой пакет, спросил:

— Маслята-то есть?

— Попадаются…

Сеня заглянул в раскрытый мною пакет, наклонившись низко, почти согнувшись, и, убедившись, что у меня действительно грибы, одобрительно закивал.

— Тоже похожу немного. Не найду, так хоть отдохну, стихов посочиняю. На природе-то рифмы сами к тебе лезут.

— Вижу, объявление тебя заинтересовало…— кивнул я на дверь павильона, закрывая пакет с грибами, сразу отводя его от темы стихосложения, не давая разгореться желанию читать мне новые стихи.

— Да вот записал тут номера…— засмущался вдруг Сеня и снова вытащил из сумки блокнот.— Хочу позвонить, познакомиться с этим человеком. Интересный, наверное…

— Ну и хорошо,—ободрил я его.—Если надумаешь с ним идти, позвони мне, прогуляемся вместе.

— Ладно,—кивнул Сеня.

Два следующих дня в моём сознании то и дело всплывали, заслоняя все другие мысли, двойки и тройки и чуть ли не наяву выстраивались перед глазами в комбинацию—номер городского телефона, указанного в объявлении знатока грибных мест.

А примерно ещё через день мне позвонил поэт Котёлкин.

— Я тут на грибника Дозывалова, что объявления давал, вышел, ну и договорился с ним на субботу. Ты как?

— Да, в принципе, не против.

— Он и правда деньги берёт за услуги, но какие-то символически-ерундовые. Если сравнить с теми, по какой цене грибы на базаре продают, просто копейки. Поедем?

— Поедем,—согласился я, понимая, что если я не увижу этого человека, цифровое наваждение продолжится.

К тому же меня, как и Семёна, подталкивало любопытство: куда он нас поведёт?

Всю академгородковскую округу вдоль левого берега Енисея и округу километра на три вглубь по трассе университетского бора за последнее десятилетие я исходил метр за метром и вдоль, и поперёк, и по диагонали. Даже некоторые деревья запомнил и ориентировался по ним без усилий. А живущие в бору за университетом белочки настолько привыкли к моим появлениям, что, едва заметив, спускались с деревьев и подбегали к ногам, давая мне возможность покормить их с рук и даже погладить.

Со мной вызвалась ехать Вероника, и в девять ноль-ноль в солнечную субботу, вооружённые ножичками, с пакетами в руках, мы встретились с Сеней на конечной остановке Академгородка.

Нас было трое, но мы сразу узнали таких же, как и мы,—объединённых охотой ходить по грибы. Три женщины с лёгкими вёдрами из пластмассы и двое мужчин с пакетами стояли у края автобусной площадки.

Мы подошли и остановились метрах в трёх.

— Вы Юрия Александровича ждёте?—спросила нас одна из женщин.

— Его,—ответил бойкий поэт Семён Котёлкин.

— Мы тоже. Подходите к нам.

Мы сделали ещё несколько шагов, познакомились: Леонид, Виктор, Светлана, Людмила, Тамара.

— Он с минуты на минуту подъехать должен,—сказал Леонид—высокий плотный мужчина в штормовке.—Только что звонил ему. Он на пути сюда.

Юрий Александрович прибыл на автобусе второго маршрута. Небольшого роста мужичок, возрастом за пятьдесят, в синем с белой полоской спортивном костюме и серой бейсболке.

— По грибы?—сразу вычислив и отделив нас от группы куривших на площадке водителей и кондукторш маршрутных автобусов, спросил он.

— По грибы, по грибы… Вас ждём…—заговорили мы едва ли не все сразу, почему-то негромко и как бы стесняясь.

— Восемь человек? Отлично! Больше и не надо. Самое лучшее, когда в группе до десяти человек: все в поле зрения, и процесс под контролем.

Юрий Александрович посмотрел на нас внимательно-оценивающе.

— Думаю, дела у нас пойдут сегодня: и погода благоприятствует, и вы не зациклены,—сказал он, познакомившись с каждым из нас.—Есть небольшая зажатость у некоторых, но мы это исправим. Пойдёмте, у меня тут кандейка, там инструктаж проведём.

Мы переглянулись с Семёном, улыбнулись и пошли за группой грибников, потянувшейся вслед за инструктором.

Кандейка нашего вожака находилась в том самом павильоне, на котором висело объявление, привлёкшее меня и Семёна, и, как оказалось, не только нас. Вход в торговый зал павильона—налево, кандейка грибника—направо. Комнатка примерно два метра на три, с журнальным столиком у небольшого окна и десятком обшарпанных деревянных, с затёртой обшивкой, стульев вдоль стен, справа и слева от столика. Ещё два стула стояли у самого входа в комнатку.

— Присаживайтесь,—предложил Юрий Александрович нам, сам занимая место за столом.

Я присел на ближний от стола стул по правой стороне от нашего инструктора, рядом со мной Вероника, за ней Семён. Наши новые знакомые заняли места напротив нас и у дверей.

Когда все расселись, инструктор неожиданно спросил:

— А кто знает из вас, что такое грибы?

Мы, сидевшие на стульях, шаркающие ногами, переставляющие вёдра и пакеты с места на место, тихо переговаривающиеся, замерли, пытаясь уловить суть вопроса.

Грибы. Кто не знает, что это такое? Да все! Как не знать, если мы ходим по грибы не один год и даже не одно десятилетие?

Ответ вроде бы был очевиден, но никто из сидевших на стульях мужчин и женщин не осмелился ни на ответ, ни даже на реплику.

Юрий Александрович обвёл всех взглядом.

— Грибы—это такие существа, которые ведут с нами, людьми, невидимое на первый взгляд соревнование,—сказал инструктор и снова осмотрел на нас всех, теперь уже по отдельности.

Мы молчали и смотрели на него. Я бросил взгляд на Веронику и Семёна. Вероника глядела на наставника спокойно, Сеня—заворожённо. Как ребёнок ждёт, что после нажатия фотографом на кнопку из объектива вылетит птичка, так Сеня ждал следующего слова от человека, сидевшего за столом. В отличие от фотографа, наш наставник не хитрил, слова вылетали из его уст и попадали точно в намеченную цель—в наше сознание.

— Я не стану настаивать и во что бы то ни стало убеждать вас, тем более с кем-то из вас спорить, вступать в дискуссии и диспуты, но всё же считаю себя вправе сказать вам, что являюсь сторонником мнения о нашей планете как о живом, интеллектуально мыслящем организме, воспроизводящем на своей поверхности мир флоры и фауны, разнообразный и многоликий, со своим интеллектом и своей логикой, для человека пока малопонятной.

Сидевшие напротив меня наши новые знакомые Виктор, Светлана, Людмила, Тамара застыли, не шевелясь, не мигая и не дыша. Леонид, которому достался стул возле дверей, ёрзал на нём и часто моргал глазами, силясь, видимо, понять: он пришёл на научную лекцию или по грибы? Поэт Семён Котёлкин, находящийся уже под явным гипнозом, продолжая смотреть на инструктора, машинально открыл свою сумку, достал блокнот и авторучку. И только Вероника оставалась спокойной, даже несколько равнодушной—видимо, думала о своём, скорее всего о том, когда же пойдём собирать грибы.

— А вот записывать ничего не надо,—сказал наш наставник, обращаясь к Семёну.—Это вы и так, без меня, знаете, только думать в этом направлении не хотите, ленитесь. Итак, о грибах. Ещё пятьдесят минут вашего внимания—и пойдём на природу. Грибы—мыслящие существа, и каждый из них точно знает, кто из вас ему нужен. Бывает,

что приедет человек в бор, а там народу много ходит, и кажется, что все грибы уже собрали, и часто случается, что человек разворачивается и возвращается домой. А зря.

— Почему зря? — спросил Леонид. — Если народу много по бору шляется, то они точно все грибы соберут или половину потопчут.

— Ошибочное мнение, — быстро ответил на его замечание Юрий Александрович. — Предназначенный для вас гриб никто не возьмёт. Пусть хоть десять человек пройдёт мимо него, хоть пятьдесят. Они его не заметят, да и он сам им не покажется. А вот вы пойдёте — и он выйдет вам навстречу: «Пожалуйста, забери меня».

— Да не может быть! — воскликнул Леонид. — Вы нам что-то такое невероятное рассказываете.

— Всё вполне вероятное, — сказал инструктор. — Вы сами убедитесь, если будете следовать инструкции. Во-первых, надо гнать от себя все плохие мысли, не то вам будут попадаться одни червивые грибы, Думайте о хорошем: о планах на ближайшее время, о детях, о родителях. Можно разговаривать негромко. Но лучше не отвлекаться. Помечтайте о том, как вы наберёте сейчас грибочков, как потом пожарите их на сковородочке просто с луком или с картошечкой. Сварите грибной суп. Во-вторых, заходя в бор, определите тактику поиска. Для группы, как ваша, лучше подойдёт метод прочёсывания. Выстраиваемся цепочкой, два-три метра друг от друга, и идём — кто чуть впереди, кто сзади, проходим метров двадцать-тридцать, можно пятьдесят. Смотрим внимательно под ноги, срезаем грибочки по пути. Потом поворачиваемся влево и так же, цепочкой, проходим пять-десять метров, затем ещё влево поворот — и пошли цепочкой назад. Доходим до начала бора — и снова поворот, теперь уже направо, и снова вперёд, потом снова направо. Понятна тактика?

— Прямо как на уроках танцев, — попробовал съязвить Леонид. — Поворот влево, поворот вправо, соблюдай дистанцию с партнёром…

— Дистанцию действительно надо соблюдать, — спокойно ответил на это грибник-наставник. — Держите в своём обозрении свои два-три метра — и всё получится. Таким способом мы практически пройдём весь бор — метр за метром. Поверьте, наберёте часа за два полные свои сумочки-корзиночки. У грибов шансов остаться в лесу сегодня мало. Вопросы ещё какие будут?

— Пойдёмте уже грибы собирать, — сказала Вероника.

Мне показалось, что она пропустила все слова наставника, думая во время инструктажа, может быть, даже и не о грибах, а делах домашних.

— Пойдёмте, — согласился наставник. — Раз всем всё понятно, давайте произведём оплату — и в бор.

Мы поднялись и неторопливо, один за другим, стали подходить к столу. Юрий Александрович принимал деньги, пересчитывал, кому надо — сдавал сдачу, записывал фамилии сдавших деньги в тетрадку. Сдавшие же отходили от стола наставника и выходили из кандейки.

Процесс оплаты не занял много времени, и через десять минут после окончания беседы с оператором мы все — я, Сеня, Вероника, Леонид, Виктор, Светлана, Людмила и Тамара — уже стояли возле павильона с вёдрами и пакетами.

Дождавшись, когда выйдет наш наставник, мы, тихо переговариваясь, пошли за ним снова в сторону автобусной остановки.

— Выстраиваемся, как я сказал, цепочкой. Расстояние друг от друга — два-три метра, — сказал Юрий Александрович, когда мы прошли метров пятьдесят от павильона и подошли к ближним соснам.

Бор начинался сразу за асфальтовой дорожкой, лентой тянувшейся метров на сто.

По бору среди деревьев, опустив головы, ходили несколько грибников. Я встал между Семёном и Вероникой, выдерживая обозначенную нашим наставником дистанцию. Мы оказались левыми крайними, остальные растянулись шеренгой справа от Вероники. Ухмыляющийся Леонид демонстративно встал на правый край.

— Ну что, пошли! — дал команду на старт Юрий Александрович.

И мы пошли. А он остался стоять на асфальтированной дорожке, напоминая нам тренера, отправившего своих подопечных в тренировочный забег.

— Думаем о грибах, о детях, о хороших людях! — кричал он нам вслед. — У вас должны быть позитивные, хорошие мысли, и грибы сами пойдут к вам! Помните: ваши грибы — только ваши и ждут только вас!

Я улыбался, не зная, верить нашему наставнику или нет. Люди справа, кто переговариваясь друг с другом, кто молча, шли с ножичками, пакетами, ведёрками в руках и смотрели себе под ноги.

Первым попался предсказанный Юрием Александровичем свой гриб Веронике. И не один.

— Маслятки! — воскликнула она, присев на корточки недалеко от молодой сосны. — А вот ещё один, маленький какой! И ещё один!

Она аккуратно срезала похожие на пуговицы грибочки, сложила на ладони и показала мне:

— Смотри какие! Блестят даже! Грибник наш нам правду говорил…

— Да я не сомневаюсь, что он знает, что говорит, — сказал я, глядя на свежесрезанные грибочки. — Он же понимает, что мы через час-два проверим на себе, сбудутся его слова или нет. Наверное, он какой-то грибной заговор знает, раз так уверен. Места эти им, видимо, заговорённые…

— Или намоленные, — сказал подошедший к нам Семён.

Он покачал головой, посмотрев на Вероникины маслятки.

— Теперь дело за нами,—в словах поэта слышалась уверенная, решительная нота.—Нам осталось найти свои грибы.

Мы снова разошлись друг от друга на определённое нашим грибным наставником расстояние.

Тем временем основная группа продвинулась вперёд. Виктор и Светлана с Людмилой оказались дальше всех, и было видно, что они то и дело приседают и орудуют ножичками.

— Вот и мой грибочек!—воскликнул через минуту Сеня, присев от меня метрах в трёх.—Точно, место намоленное!

А я глянул вправо. Где там наш скептик Леонид? Как дела у него?

Скептик Леонид стоял с раскрытым пакетом и складывал в него свои грибы.

«И этот нашёл! Одному мне пока ничего не попалось… Надо отрешиться от разных посторонних скользящих мыслей и сосредоточиться…»

Я стал думать о футболе. Вернее, о матче предстоящего тура чемпионата страны, в котором команда, за которую я болел, должна была встретиться с лидером первенства.

«Вот если бы наши взяли три очка у лидера, а идущие на втором и третьем месте команды сыграли бы вничью, то это было бы существенным продвижением по турнирной таблице. Сразу на три позиции…— начал мечтать я, глядя себе под ноги.—А в следующем туре если бы мы выиграли в гостях, а лидер бы скатал вничью с аутсайдером у себя дома, то…»

Неожиданно я остановился. Прямо передо мной, будто только что вырос, поднялся над низкорослой травкой и прошлогодними опавшими и уже побуревшими сосновыми иголочками средней величины гриб-маслёнок. Действительно, будто бы взял и вырос за секунду-другую и поблёскивал своей маслянистой шапочкой. Я был уверен, что всего шаг назад я смотрел на это место и не видел его.

Я наклонился и быстренько срезал грибочек. Есть почин!

Едва опустив маслёнок на дно целлофанового мешочка, я увидел второй грибок. Он был как близнец похож на первый и располагался сантиметрах в пятнадцати от брата. Я срезал и его, но встать на ноги не смог, потому что совсем рядом со вторым грибочком блеснула из травы целая семейка: четыре маслёнка разной величины, примерно от трёх до одного сантиметра. И только после того, как и эта четвёрка попала в мой мешочек, я поднялся.

На меня никто не обращал внимания. Все занимались своим делом—тем, зачем сюда приехали: срезали и складывали в мешочки, в пакеты и в вёдра свои, для них только предназначенные грибы.

Я подумал о том, что вот уже лет пятнадцать хожу в этот бор, вспомнив, как впервые приехал сюда с фотокорреспондентами, пригласившими меня на шашлыки. Мне так понравился этот бор, что, пока ребята-корреспонденты готовили мангал и шампуры, я прогулялся по лесу и собрал с десяток маслят. С той самой поры и в одиночку, и с друзьями, и с соседями я каждое лето наведываюсь сюда.

«Интересно, сколько раз проходил я за эти годы по одним и тем же тропкам между вот этих деревьев? А есть ли здесь место, куда ещё не ступала моя нога? И сколько примерно в количественном отношении я собрал в этом бору грибов? Сколько штук? Сколько килограммов?»

Мне пришла в голову интересная, как я полагал, мысль. Если, по мнению нашего инструктора, грибы специально выходят к людям, то, значит, попадая в организм человека, к нам в пищу, они вполне сознательно могут изменить, к примеру, наш генетический код, сделать нас другими, завоевать, заставить делать то, что они хотят. А может, даже грибы—не главное, они лишь оружие, специально созданное и запрограммированное какими-то разумными существами из другого мира? Они только выполняют их программу? Сразу вспомнилась телепередача, в которой учёные из разных стран говорили о хлебе. О том, что если употреблять в пищу постоянно только пшеничный хлеб, то у тебя сформируется одно мышление, если кукурузный, то будешь думать совсем по-другому, а если питаться рисовыми лепёшками, то сознание будет работать в отличном от первых двух направлении.

Думая об этом, я незаметно для себя дошёл до конца бора, повернул, как и другие, влево, потом ещё раз вместе с другими влево. Приседая по пути за новыми грибочками, я набил ими свой мешочек под завязку. Положив его в большой пакет, я достал оттуда новый.

Возле асфальтовой дорожки, от которой началась лента бора, сидя на пенёчке, курил Юрий Александрович. Я кивнул ему, он улыбнулся в ответ и сделал очередную затяжку.

«Интереснейший человек!—подумал я про него.—Оператор грибной волны… Откуда такое название? Сам придумал или подсказал кто? А может, действительно проходят где-то под землёй на небольшом залегании грибные волны, а он, Юрий Александрович, знает эти места или имеет у себя какой-то приборчик, показывающий, где проходит грибная жила, и в определённые часы и дни набирает группу людей?.. А что? Вполне может быть! Может, он вообще и есть посланник других миров? Грибной резидент? Командует грибами, вызывает их, когда ему надо, и направляет на людей. Вот так, как сегодня, сейчас… Он из другого мира, точно!..»

Я обернулся и посмотрел ещё раз в сторону нашего наставника. Он продолжал курить и думать о своём.

«Да какой он инопланетянин?—отмахнул я от себя безумную, казалось теперь, мысль.—Обыкновенный человек! Просто дока в этом деле, и всё. Знает на практике, где могут расти грибы, читает соответствующую литературу…»

Я ещё с полчасика побродил среди сосен и коллег-грибников, набив два небольших мешочка маслятами. Теперь я уже больше думал о том, что делать с грибами. Решил отварить сразу все в большой кастрюле, а потом часть пожарить, а часть пустить на грибной суп. Грибницу, как говорят некоторые.

Примерно часа через полтора с начала старта, оживлённые и довольные, собрались все мы возле нашего наставника.

— Ну что, друзья мои, вижу, что все удовлетворены сегодняшним нашим промыслом,—сказал радостный Юрий Александрович, улыбаясь каждому из нас в отдельности и всем вместе одновременно.

— Спасибо, Юрий Александрович, спасибо,—заговорили мы все в один раз, как школьники перед учителем в туристическом походе.

— Позвольте пожать вам руку,—выдвинувшись вперёд, сказал Леонид.—Честно говоря, не верил до последнего. Я же не грибник. В жизни, может, гриба два-три нашёл самостоятельно, а сегодня вот…

Леонид даже прослезился. Он с гордостью показал всем раскрытый пакет с грибами, а потом с минуту тряс за руку нашего оператора.

— А можно в следующую субботу ещё к вам наведаться?—спросил наставника сияющий поэт Семён Котёлкин.

Юрий Александрович подошёл к Семёну, взял его за руку.

— У меня расписаны ближайшие выходные дни,—сказал он.—Группы уже набраны, скомплектованы, но вы позвоните ближе к субботе, может, что и придумаем. Вы, я вижу, человек увлечённый, мне с вами легко работается.

— И мне!—воскликнул Сеня.—Я, собирая грибы, сейчас два стихотворения сочинил. Так хорошо сочиняется на свежем воздухе!

— Ну и отлично!—ещё раз осветился довольной улыбкой Юрий Александрович.—Всем хорошего вечера. Было приятно пообщаться.

Мы расстались с наставником и всей компанией, возбуждённо переговариваясь, направились к автобусной остановке.

— Ну что, Николаич, поедем в следующую субботу ещё разок?—спросил меня Семён, когда мы сели в автобус.—Человек видишь какой необычный этот Юрий Александрович. Хочется с ним познакомиться получше.

— Да, необычный,—согласился я.—И мне хочется с ним ещё пообщаться. Давай в четверг с тобой созвонимся. Может, и получится в следующую субботу снова выйти на грибную охоту.

Однако в следующий четверг поезд дальнего следования вёз меня в восточном направлении, к Байкалу, на фестиваль культуры, куда я получил неожиданное приглашение. А когда вернулся, неотложные дела закружили меня с новой силой.

Семён звонил мне пару раз в августе и рассказывал, что ездил трижды за грибами и Юрий Александрович водил их в дальний бор Академгородка и в бор университетский, а также за биатлонное стрельбище—за груздями. Результатами Сеня был доволен. Один раз с ним была Вероника, которая призналась мне, что наготовила грибов на всю зиму, засолив и намариновав.

В сентябре у меня забот добавилось, и опять не удалось походить по бору в сопровождении оператора грибной волны Юрия Александровича Дозывалова. На следующее лето мы с Семёном несколько раз бывали в Академгородке, подходили к знакомой кандейке, но она была закрыта. Продавцы павильона говорили, что Юрий Александрович собирался ехать то ли на Алтай, то ли в Горную Шорию.

Мы ходили по бору с Сеней вдвоём и в обществе Вероники, набирали грибов каждый раз, но уже не в таком количестве и не так быстро, как в тот день с оператором. Оператора не было, а где точно проходит грибная волна, в который день и в какое время, мы могли только предполагать. Грибной волной нас не накрывало, и грибная жила не обнаруживала себя.

Примерно года через два, во второй половине октября, на поздней электричке возвращался я в город со станции Водораздел. Народу в вагоне было немного, и я присел на свободное место у окна и стал читать еженедельник «Футбол».

На одном из полустанков в вагон не зашёл и даже не заскочил, а влетел пассажир, одетый в лёгкий, не по сезону, тёмно-синий спортивный костюм. Быстро осмотревшись, он выбрал место напротив меня, сел, натянул на глаза белую спортивную шапочку, прислонился к окну и тут же задремал.

Я продолжил увлекательное для меня чтение, не обращая внимания ни на него, ни на остальных трёх-четырёх пассажиров. Кто-то проходил по вагону, хлопали дверцы, но я не отрывал глаз от еженедельника. Оторваться от чтения пришлось, когда возле меня остановились контролёры. Две женщины, чуть старше среднего возраста, одетые в форму железнодорожников.

— Ваш билет?—спросила одна меня, а вторая тронула задремавшего моего соседа за плечо и задала ему такой же вопрос.

Я протянул свой билет контролёрше. Она, проверив, вернула мне его обратно.

Её же напарница тщетно пыталась разбудить моего соседа. Она толкала его в плечо и трясла за воротник, но он не отзывался.

— Гражданин, у вас есть билет? — выкрикнула выходящая из себя женщина и рванула край шапочки спящего вверх, почти сорвав её с головы.

Гражданин зашевелился, открыл глаза.

— Я, я, я, я… — заговорил он. — Я, я, я, я…

— Что «я»? Билет есть или нет? — продолжала громко наступать на пассажира контролёр.

— Не-е-е-е-е… — не то проговорил, не то пропел пассажир.

— Так есть или нет? Если есть — показывай, нет — покупай. У нас есть с собой кассовый аппарат. Оплачивать будете?

Пассажир вдруг замолчал и стал осматриваться — поворачивать головой и тревожно оглядываться.

Небритое дня три лицо его показалось мне знакомым.

— Оплачивать проезд будете? — повторила контролёр вопрос. — Откуда едете?

Пассажир молчал и, словно не понимая, где находится, продолжал крутить головой.

— Откуда он едет? — спросила меня контролёрша, проверявшая мой билет.

— Точно не знаю, но сел где-то в районе Снежницы, — сказал я.

— Деньги у тебя есть? — спокойно спросила странного пассажира стоявшая возле меня контролёр.

Странный пассажир молчал. Теперь он глядел прямо на меня. И мне показалось, что он похож на оператора грибной волны, с которым мы были в бору Академгородка.

— А сколько надо за билет? — спросил я контролёров.

Они назвали цифру, я достал из кармана купюру.

— Вот, возьмите. За билет.

Мой поступок несколько удивил стоящую возле меня женщину, но деньги она взяла, отсчитала сдачу и протянула мне билет.

— Отдайте ему, — сказала она, уходя с напарницей.

Я протянул билет соседу:

— Возьмите.

Сосед продолжал смотреть на меня странными немигающими глазами. Будто глядел сквозь меня.

— Возьмите билет, — сказал я ему ещё раз, уже настойчиво протягивая. — Снова могут подойти и проверить.

Он взял билет, покрутил его перед глазами и снова посмотрел на меня непонимающе.

— Держите в руке, а спросят — покажите.

Сосед сжал билет в кулаке, продолжая упорно смотреть в мою сторону.

«Нет, это не Юрий Александрович, — подумал я. — Тот — рассудительный философ, знающий, что делать, а этот какой-то не в себе. Рассеянный с улицы Бассейной. Хотя похож чем-то на того грибника. Даже очень похож…»

— Вам до какой станции ехать? — спросил я.

Человек напротив продолжал молчать, сжимая в кулаке левой руки билет и глядя на меня или сквозь меня.

— Вам до конечной или до Путепровода? А может, до Бугача? — пытался всё-таки узнать я.

При слове «Бугач» молчаливый пассажир встрепенулся.

— Бугач, Бугач, Бугач… — начал повторять он. — Бугач, Бугач, Бугач…

Вдруг он стал протирать правой ладонью стекло, а затем всматриваться в темноту за окном.

До конца поездки он больше не поворачивался, а всё вглядывался и вглядывался в окно.

Когда стали подъезжать к Бугачу, я осмелился тронуть его за плечо и сказал для верности:

— Бугач.

Он повернулся, закивал головой и побежал к выходу.

Был ли это Юрий Александрович Дозывалов — человек, который учил нас, как искать грибы, — или просто на него похожий, я так и не узнал. Не появлялись больше ни следующим, ни последующим летом на конечной остановке Академгородка объявления об услугах оператора грибной волны. И чем больше проходило времени, тем чаще я задумывался: а была ли в реальности встреча с этим самым оператором? А может, мне приснился грибной сон или выдумало тот день моё сознание?

Иногда в Академгородке или в университетском бору встречаю я грибников из той нашей группы: Виктора, Светлану, Людмилу, Тамару. Чаще других, почти каждый год, — Леонида. Общение наше происходит на уровне приветствия. Мы киваем друг другу и проходим мимо, даже не заговорив. Отдалились мы за последнее время и с Семёном. У него свой круг приятелей-поэтов, и по грибы его теперь не заманить. Семён написал в то лето под впечатлением целый цикл стихов о грибах и даже начал поэму. Не знаю, закончил ли. На книжной ярмарке продавалась его «Грибная книга», но поэмы в ней не было. Не очень разговорчива и Вероника. Впрочем, она никогда и не была словоохотливой. Я несколько раз спрашивал её: помнит ли она удачный наш поход с оператором грибной волны? На что она отвечала уклончиво: «Помню, как-то один раз так много грибов привезла…»

Может, мне действительно приснился сон про живые грибы и грибного оператора, их резидента?

Выкроив денёк-другой, в июле-августе каждого года я обязательно наведываюсь в сосновый бор Академгородка или в лесной массив за университетом и, пройдя от автобусной остановки до первой сосны, достаю из полиэтиленового пакета свой ножичек — стального цвета складничок.

Я раскрываю его и иду к группе людей, снующих по бору вдоль тропок, вокруг сосен или у молодого кустарника. Люди не обращают на меня

внимания. Они ходят, низко опустив головы, с ножами в правой руке и с пакетами или вёдрами в левой, не боясь натолкнуться на кусты, удариться головой о большие деревья или, не дай Бог, порезать друг друга. Все они думают об одном. Зрачки глаз их бегают, стараются отыскать в траве между деревьев и кустов то, за чем они приехали. Грибы. Чаще всего — маслята, боровички (по другой версии — грибы белые), а также рыжики, волнушки, лисички или, если сильно повезёт, грузди…

Литературное Красноярье ∴ СИНЯЯ ТЕТРАДЬ

Мария Грошева (10 лет)

Моя малая родина

И ему страшно стало, что он мог уехать надолго, навсегда, и умереть там, в чужих краях, и угасающим слухом ловить чужую и чуждую речь. И понял он, что не может он жить без родины и не может быть счастлив, пока несчастна она, и в этом чувстве была могучая радость и могучая, стихийная, тысячеголосая скорбь. Она разбила оковы, в которых томилась его душа, она слила её с душой неведомого многоликого страдающего брата — и словно тысяча огненных сердец колыхнулась в его больной, измученной груди. И в горячих слезах он сказал:
— Возьми меня, родина!

Леонид Андреев

Вот такой сказочный и неповторимый уголок моей земли — малая родина — для меня дороже всех других.

Я живу в селе Юксеево Красноярского края, Большемуртинского района. Моё село расположено в прекрасном месте.

С одной стороны протекает самая большая река Сибири — батюшка-Енисей: так называют, любя, свою речку, все жители села. Я люблю ходить по берегу реки, любоваться её ширью, простором, её прозрачной водой. Здесь хорошо мечтается, здесь я люблю рисовать и сочинять стихи. Ещё я люблю наблюдать, когда по реке идут красивые пассажирские теплоходы. Наша река — это не только красивое место, но ещё это путь, по которому доставляют грузы на север нашего края. Иногда я с папой хожу ловить рыбу. Много разной рыбы водится в реке: и щука, и налим, и карась, и елец. Если я поймаю хоть одну рыбу, бегу к бабушке и с радостью показываю ей свой улов. А в зимнее время Енисей покрывается льдом. Изо льда, под силой могучей реки, образуются торосы, которые сверкают на солнце, будто серебро.

С другой стороны находится красивый сосновый лес, хотя в этом лесу растут не только сосны, но и другие деревья. Это и белые берёзки, и стройные осинки, и пушистые ели. Зимой лес одевается в белую шубку — снег. И тогда жизнь в нём затихает до весны, а весной, когда солнышко начинает греть с новой силой, лес оживает. Повсюду бегут ручейки, щебечут птицы, радуются теплу. Постепенно лес одевается в зелёную, изумрудную листву. Ну как тут не восхищаться красотой, даруемой нам природой?! Летом расцветают цветы, появляются ягоды. Идёшь по лесу и думаешь, что дороже такой красоты не найдёшь на всём белом свете. А какой в лесу воздух! Старые сосны стоят точно великаны, сошедшие со страниц сказок. Земля под ногами усыпана хвоей, словно мягкий ковёр. Иногда можно увидеть маленькую белочку, которая своими цепкими лапками взбирается по стволу дерева всё выше и выше, а когда оставишь кусочки хлеба, она мимолётно пробегает мимо тебя, хватает и тут же исчезает. И так это делает забавно и смешно, вызывая при этом улыбку.

Особенно красив лес осенью. Каждое дерево надевает свой наряд. И действительно, становится здесь как в настоящем тереме. Осенью в лесу становится спокойно. Именно в это время я с родителями иду собирать грибы. Каких только грибов нет в нашем лесу! Есть и белые грибы, и грузди, и лисички, и рыжики, и маслята. Идёшь по лесу, смотришь, а под кустиком огромный гриб. Не успеешь положить его в корзинку, смотришь, ещё один и ещё один. Наберёшь целую корзинку и счастливым идёшь домой.

Мне очень нравится жить в своём селе. Чтобы сохранить красивые места, нужно беречь природу, не засорять её. Хочу, чтобы наши потомки также увидели этот прекрасный лес, эту замечательную реку и это великолепное село, которого дороже нет на свете.

Как сказал Цицерон: «Только одно отечество заключает в себе то, что дорого всем».

Виктор Баканович

Месть

У ребятишек, живущих в двухэтажном старом доме недалеко от шинного завода, была большая радость: их общая любимица, дворовая собака Ласка, выбросила на белый свет четверых щенят. До этого она ночевала в подъездах, около сараев и вообще где придётся. Но уже страшила холодами осень, и первоклассник Петька Рукосуев предложил товарищам сколотить бездомной дворняге конуру. Работа шла споро. Мальчишки, всячески ухитряясь, таскали гвозди и доски, девчонки старательно натащили целый ворох старого тряпья. Примитивную конуру соорудили под большой деревянной горкой (на ней зимой катались на санках). Ласка жила во дворе дома давно, ребята к ней привыкли и очень любили. А тут ещё четыре щенка! На второй день после «родов» она лежала уже в конуре и ласково облизывала своих чёрно-белых питомцев. Это была обыкновенная, упитанная, чёрная и не очень старая дворняга, каких очень много на нашей планете…

После школы несколько мальчишек и девчонок столпились у будки. Одни брали щенков на руки, другие просто смотрели на них.

— Ну вот, уставились! — звонким голосом выпалил Петька. — Ласка голодная, а вы стоите. Девчонки, несите ещё тряпок. Ночью холодно будет. Серёга с Колькой — за едой! Хлеба, колбасы… Я воду принесу. Пить-то она тоже хочет.

Предложение Петьки было принято без колебаний, и все разошлись по своим квартирам, чтобы принести Ласке всё необходимое.

Двор на время опустел, и в этот момент из первого подъезда вышел высокий полный мужчина лет сорока, в синем свитере и чёрных домашних брюках, заправленных в поношенные сапоги. В огромных жилистых руках болтался старый залатанный мешок, за плечами — ружьё. Быстрым шагом подошёл он к будке и некоторое время стоял, разглядывая животных. Лишь раз злорадная улыбка мелькнула на его полном лице с крупным мясистым носом и глубоко посаженными большими серыми глазами и сразу же погасла. Но вот он решительным движением быстро достал из чашки кусок колбасы, заманивающе повертел его перед носом собаки и резко бросил недалеко в сторону. Ласка выскочила из конуры и жадно стала есть. Щенки в конуре жалобно пищали. Мужчина рванул с плеча ружьё. Оглушительно грохнул выстрел… Ласка ещё некоторое время шевелила лапами, потом резко вытянулась и затихла. Кровь медленно растекалась от неё в стороны. Щенки по-прежнему слабо пищали… Мужчина спокойно закинул за плечо ружьё и, брезгливо наморщив широкий лоб, потащил собаку за хвост к мусорной свалке, которая находилась рядом с общим туалетом. Когда он вернулся к будке, возле неё уже толпились растерянные ребятишки. Три девчушки тихо плакали. Мальчишки исподлобья, как-то по-взрослому, смотрели на дядю, так смело и грубо нарушившего их маленький радостный мирок… Но он, казалось, их не видел. Грубо хватая щенков огромными ручищами, побросал их в мешок и крепко завязал его. И тут Петька решительно выступил вперёд:

— Оставьте щенков, а? Дядя Лёва! Ну оставьте…

Дядя Лёва взглядом окинул его с ног до головы.

Худенькое бледное лицо с чуть приплюснутым носом. Несколько родинок на обеих щеках. Вроде бы ничего особенного, но глаза… Тёмно-голубые глаза смотрели просяще и вместе с тем светились холодным, злым огнём осуждения… Дядя Лёва понял это сразу и ещё больше ожесточился.

— Чего нюни распустили? Развели во дворе собачник! Собака без хозяина — не собака. Понятно? У меня дочка маленькая боится во двор выйти! А тут щенки…

Петька робко, но настойчиво перебил:

— Дядя Лёва, не бойтесь! Мы их спрячем далеко. По улице не будут бегать. Даём слово! Вот они скажут…

Петька с надеждой взглянул на товарищей. Те сразу заговорили вразнобой:

— Дядя Лёва! Отдайте, а?

— Ведь маленькие, жалко…

Но их резко оборвал злой и раздражённый голос дяди Лёвы:

— Хватит канючить! Знаю я вас! И чтобы завтра этой будки не было! А то сам сломаю и всё повыкидываю… И не лезьте в дела взрослых! Понятно?

Закинул мешок на плечо и быстро зашагал к узкому проходу между домами. Дети медленно двинулись за ним.

Путь был недолгим. Дядя Лёва подошёл к старому заброшенному пруду на пустыре около

шинного завода. Укрывшись за кучами земли, мальчишки со жгучей болью в глазах увидели, как злой, нехороший дядя быстро привязал к мешку увесистый камень и, сильно размахнувшись, бросил его в ржавую, грязную воду. И сразу пошёл назад, к дому. А ребятишки ещё долго смотрели на пруд, хотя вода в нём давно уже была спокойна…

На следующий день в укромном месте около сараев собралось несколько ребят. «Совещание» было недолгим. Петька Рукосуев предложил план мести: с наступлением темноты, по условному сигналу, дружно и старательно обстрелять окна дяди Лёвы камнями и быстро смыться. План был принят без возражений и дружно одобрен.

Стемнело. Во многих окнах родного двухэтажного дома зажглись огни. Квартира дяди Лёвы тоже осветилась электрическим светом. Напротив окон возвышалась большая груда досок, привезённая для ремонтных работ в детском саду, который находился рядом. За ней и укрылись мальчишки, приготовив заранее большой запас камней. Петька напряжённо смотрел на ненавистные окна. Их было два, и находились они на втором этаже. Иногда становилось страшно. Казалось, что их поймают, схватят за руки… Но он всячески старался отогнать эти мрачные мысли. Окна были закрыты шторами, и Петька с ненавистью думал о том, как дядя Лёва смотрит сейчас, наверное, телевизор или ужинает, не подозревая, что скоро стёкла в его квартире разлетятся вдребезги… Наконец настал момент, когда кругом не было видно ни одного прохожего. Пора. Петька выпрямился во весь рост и негромко, резко скомандовал:

— Огонь!

Большой град, камней ударил в освещённые ненавистные окна. Потом ещё раз, ещё… Звонко зазвенели разбитые стёкла, и свет в одном окне сразу погас. Мальчишки кинулись в разные стороны. Сзади раздавались тревожные крики, топот ног, возбуждённые голоса.

Петька стремительно мчался, виляя между домами, в сторону шинного завода. Вот уже близко… Ещё, ещё… Пулей пролетел мимо какой-то избушки и побежал по заводскому парку, ныряя между деревьями. И только у металлической ограды остановился, тяжело дыша и оглядываясь по сторонам. Никто, кажется, его уже не преследовал. Сердце лихорадочно билось в груди, готовое выскочить наружу. Он немного отдохнул, отдышался и быстро направился в сторону заброшенного пруда на пустыре. Там после «операции» должны были собраться её участники. Его уже ждали двое. Немного погодя подошли остальные. Всем удалось убежать.

Мальчишки были довольны и возбуждённо делились впечатлениями. Не обошлось без хвастовства и преувеличений. Все были уверены, что их не разоблачат. Они немного побродили по улицам и потом долго играли в «войну» недалеко от своего дома… Когда уже стало очень поздно, осторожно стали расходиться по домам. Никто не заметил ничего подозрительного. Последним шёл к своему подъезду Петька. И вдруг у самой двери его словно ошпарили кипятком. Кепка! Где кепка? Её на голове не было. Мальчишка растерянно ходил взад-вперёд по двору. Напряжённо старался вспомнить, в какой момент она ещё была на голове. Все в доме знали, что в этой кепке ходит именно он, Петька Рукосуев.

Невесёлые Петькины раздумья прервал громкий голос отца:

— Петька! Уже ночь на дворе, а ты не являешься! Дуй домой! Кому говорю?!

Отец в чёрной куртке стоял у самого входа в подъезд. По его голосу мальчуган почувствовал что-то недоброе. Ноги сразу стали какими-то непослушными…

— Ты что, оглох? А ну пошли домой!

Петька послушно поплёлся к подъезду. Вошли в квартиру на первом этаже. Отец молча разделся в прихожей и нетерпеливо прошёл в комнату. Мать была ещё на работе (работала во вторую смену). Петька хотел проскользнуть на кухню, но суровый и властный голос его остановил:

— Иди-ка сюда! Я с тобой разберусь!

Потихоньку, боком вошёл в комнату. Отец, в трико и белой майке, сидел в кресле, закинув ногу на ногу. Из-под густых бровей воткнул в сына тяжёлый взгляд. Достал папиросу, нервно закурил:

— Ну-ка, расскажи, сынок: с кем ты стёкла Каракулину бил?

Петька низко опустил голову. Уставился в одну точку на полу.

— Чего молчишь? Рассказывай уж… Когда камни швырял, то смелый был! Так старался, что даже кепку обронил! А зря: кепка-то приметная. Внутри вышито: «П. Р.», сверху красную звезду себе нашил. Все знают. Ну, так с кем бил?

Петька молчал. Не зная для чего, сунул руки в карманы серых брюк.

— В молчанку с отцом играешь?! — смуглое лицо Рукосуева-старшего чуть побагровело. Пальцы, держащие папиросу, еле заметно дрожали. — Меня позоришь! На заводе почёт и уважение, а он — стёкла бить! А знаешь, что Каракулин завтра в милицию может заявить? И на работе позор за плохое воспитание! В кого ты только уродился? Нет, твой брат Ванька таким хулиганом не был. В институте учится, одно хорошее слышу. И стёкла никому не бил… А ты… Ну скажи, ведь ты всё затеял?

Петька еле слышно выдавил:

— Я.

— Для чего? Что тебе дядя Лёва сделал плохого? А? Скажи-ка прямо.

И Петька вдруг решил сказать правду. Решительно поднял глаза на отца:
— Знаешь, папка, он Ласку нашу убил ни за что! И детей её утопил! Мы видели…

Отец удивлённо тряхнул головой:
— Из-за этой дворняги такое творить! Ну, Петька, Петька… Стоит ли из-за какой-то собаки… Да я тебе лучше в сто раз куплю! Глупый ты, несмышлёныш… Если бы у неё хозяин был, а то… Жила себе как попало.

Сын смело уже возразил:
— Не как попало! Мы будку сделали.

Рукосуев-старший резко повысил голос:
— А ну замолчи! Ремня не пробовал?! — он жадно затянулся папиросой, потом уже спокойнее сказал: — Вот что, сын! Завтра же извинишься перед дядей Лёвой. Попросишь прощения! И чтобы первый и последний раз! Понял? Ишь ты… Из-за какой-то собаки!.. И стёкла поможешь мне вставить! Понятно? Про остальных можешь не говорить. Предавать друзей — поганое дело.
— Не буду… — вдруг глухо пробормотал Петька.
— Чего это?! «Не буду»?! — опять резко повысил голос отец.

Мальчишка упрямо надул тонкие губы.
— Не буду прощения просить. И помогать стёкла вставлять не буду.
— Ах ты, гадёныш! — отец стремительно встал и, сунув окурок в пепельницу, подошёл к сыну вплотную.

Петька вдруг отчаянно, с болью в голосе, закричал:
— Не надо мне никакой собаки! Не буду прощения просить! Не боюсь ремня, не боюсь! — и, присев на стул, зарыдал, сильно подрагивая плечами.

Перед глазами его стояли живая Ласка и её четверо маленьких, чёрно-белых, жалобно пищавших щенят. И сердце его разрывалось от боли и отчаянья…

Пробуждение

Светлой памяти родителей моих Павла Ивановича и Ольги Ивановны

Ибо приидет Сын Человеческий во главе Отца Своего с Ангелами Своими и тогда воздаст каждому по делам его.
Мф. 16:27

Такси остановилось на краю деревни.

Валерий вылез из машины и расплатился с водителем. Держа в одной руке металлический венок, а в другой — чемодан, торопливо зашагал по пустынной улице. Он приехал в шесть часов утра, и деревня ещё спала. В глубине души он надеялся на чудо — что похороны не состоялись. Все должны ждать его — Валерия! Но, заметив разбросанные по всей дороге свежие еловые веточки, понял сразу: чуда не было, да и не могло быть! Отчаяние и безысходность случившегося ещё больше охватили его… Через сорок минут он остановился у большого, старого, но ещё добротного дома. Отворив калитку, зашёл в ограду. Взойдя на крыльцо, громко постучал.

Дверь открылась. Высокая пожилая женщина, громко плача, крепко обняла Валерия.
— Ох, Валера!.. Опоздал!.. Как же так?.. Ну, проходи в дом!
— Так получилось, тётя Вера!

Прошли на кухню, уселись. Немного успокоившись и вытерев слёзы, тётя Вера начала торопливо рассказывать:
— Ждали тебя, Валера до трёх часов дня вчера! Ведь сын же ты у ней один! Но третьи сутки уж пошли. Запах от тела, сам понимаешь… Жена твоя сказала: давайте выносить гроб. Сегодня, я чувствую, он не приедет. Похоронили как положено. Честь по чести. И помянули как надо, по-человечески! Народу было много. Сам знаешь, деревня… А жена твоя молодец!
— В каком смысле?
— Хорошо всё и быстро организовала. Гроб, оградку, могилу и машину! Сколько денег ухлопала! А на водку и еду сколько ушло! Вот тебя только не было…
— Да как бы я успел на похороны?! — вдруг резко закричал Валерий, лицо его сильно побагровело. — Телеграмма пришла в Симферополь к тёще, а я гостил у сестры моей жены в Бахчисарае! Протянули резину, а потом привезли телеграмму ко мне из Симферополя! А на самолёт какие очереди! Август месяц — самый наплыв народа в Крыму! С похоронкой и то кое-как сел в самолёт.
— Да я что?! Разве я тебя обвиняю? Всяко бывает… — испуганно заговорила тётя Вера.

Валерий умолк. Немного погодя сказал уже спокойно:
— Извините меня. Погорячился я. Как она умерла?
— Последнее время тяжело она ходила, Валера! Я ей хлеб покупала в магазине, продукты… Соседи же, в одной ограде живём. Семьдесят шесть лет! Что ты хочешь? Ко мне она редко заходила. Чаще я к ней. Я покрепче. А десятого августа пёс мой, Шарик, околел! Старухи знакомые говорят: «Ой, Вера, не к добру! Покойник будет у тебя!» Я духом упала и за внуков давай переживать! Пёс-то ещё не сильно старый был! А Ивановна, видно, тоже чувствовала свою смерть! Последние две недели часто мне говорила: «Умру, наверное, я скоро! Одна у меня просьба к тебе, Вера! Телеграммы, как умру, сыну и родным отбей, чтоб похоронили меня не хуже других! Могилу мне выройте в углу кладбища, где ель высокая и красивая стоит! Я давно это место приглядела». Я её успокаивала: мол, рано о смерти думать! А она всё на своём! Так её под елью этой и похоронили.

Грустно помолчав немного, продолжила дальше:

— Тринадцатого августа, утром, что-то тревожно на душе у меня стало! Предчувствие плохое какое-то… Захожу к ней в избушку, а она — без сознания на кровати лежит! Батюшки мои! Я перепугалась, скорей врача вызывать. Осмотрел он её и говорит: «Всё кончено. Скоро умрёт Ивановна. Инсульт. Уже её не спасти». Сутки пролежала без сознания. Я ухаживала за ней, пить давала и прочее… Четырнадцатого умерла. Я давай телеграммы посылать.

Валерий слушал, тоскливо глядя через окно во двор. А тётя Вера продолжала дальше:

— Последние два года сильно она сдала, Валера! Я и картошку помогала ей копать, и в магазин ходила, воду таскала… Сколько лет вместе прожили! Душа в душу! И все два года писем от тебя ждала! Часто тебя вспоминала.

— Кто хоть был из своих на похоронах?

— Племянник с племянницей и дети твои с женой. Поминали у меня, у ней избушка маленькая, сам понимаешь. Поздно вечером родные твои уехали домой.

Валерий решительно достал из кармана брюк толстый кошелёк. Расстегнув его, извлёк толстую пачку денег и положил на стол.

— Тётя Вера! Я вам сильно обязан за мать! Эти деньги у меня не последние. Здесь три тысячи. Возьмите себе. Вам пригодятся.

Женщина только махнула рукой:

— Да ты что, Валера! Мне — деньги предлагаешь! За что? Не возьму!

— Нет, возьмёте! — настаивал Валерий.

— Сказала — нет! Убери деньги! Ишь, выдумал…

— Ну берите же! У вас маленькая пенсия, внуки на шее… — умоляюще стонал Валерий.

— Не надо! Я помогала Ивановне не за деньги!

Тётя Вера была непреклонна и уже начинала сердиться. Валерий убрал деньги в кошелёк. Закурил.

— Ладно. Не хотите брать — не надо! Но всё равно я вам обязан. Если нужна будет моя помощь — сообщите мне сразу. Адрес у вас есть. Хоть деньгами, хоть чем другим — помогу! Договорились?

— Вот это другое дело! В жизни всяко бывает… Может, поешь чего?

— Спасибо, не хочу. Лучше поговорим.

— Как сам живёшь-то, Валера?

— А когда начальники на Руси жили плохо?! Всё есть: машина, дача, деньги… — угрюмо ответил Валера. — Поехал к тёще в Крым. В отпуске я. Жену с детьми ждал. А вот как получилось… Ну а у вас как жизнь здесь?

— Ой, плохо, Валера! Молодёжи мало осталось. Все в город бегут. В совхозе заработки плохие. Развалилось хозяйство! Бóльшая часть людей в деревне — пенсионеры. Куда уж нам ехать? Пенсии маленькие. Много домов заброшенных у нас появилось, огороды бурьяном заросли. Вот, Горбачёв перестройку затеял. Будет ли толк, как думаешь?

Валерий, немного подумав, ответил:

— Навряд ли. Лично я в эту перестройку не верю! Россия — такая страна, что… — он обречённо махнул рукой. — Ну, ладно, тётя Вера! Пора и на кладбище уже идти.

— Конечно, Валера! День вон какой хороший, солнечный. Сходим вместе, посидим, помянем Ивановну.

— Вы извините меня! Без обиды. Мне нужно побыть на могиле одному. С вами схожу в другой раз.

— Какая обида? Дело твоё. Ты сын! Значит, для тебя так лучше.

— У меня с собой бутылка водки. Можно ли купить чего закусить в ваших магазинах?

— Зачем покупать-то? С поминок часть еды осталась. Да и что ты купишь в нашем магазине?! Одна крупа да консервы — пустые полки, считай.

— Ну хорошо. Положите мне в сумку еды. Только немного. Пока здесь собираете, я минут на десять зайду в родной домик.

— Возьми ключ. Вот он, на гвоздике висит.

Валерий вышел на улицу. По дощатому настилу прошёл в самый конец обширного двора, где стояла ветхая, покосившаяся избушка. Открыл замок и вошёл в неё. Всё ему было здесь давно знакомо! Две старые кровати, обшарпанный шифоньер, стол, несколько стульев, тумбочка в углу. На ней — старенький маленький телевизор. Он представил себе свою просторную четырёхкомнатную квартиру с дорогой импортной мебелью и японским цветным телевизором, и горький комок подкатил к горлу!..

Могилу он нашёл быстро. Зайдя в оградку, тихо произнёс:

— Здравствуй, мама!

Сев на скамейку, немного огляделся. В самом деле, как говорила тётя Вера, всё было сделано по-человечески. Красивая узорчатая оградка. Аккуратно вкопанный металлический памятник с крестом сверху. На нём табличка с надписью: «Соколова Надежда Ивановна. 29.IV.1912 г.–14.VIII.1988 г.».

Сверху над табличкой — фотография. А на ней — такое родное материнское лицо! Много было свежих хвойных и металлических венков. И высокая разлапистая ель гармонично дополняла общую картину. Стояла тишина. Лишь где-то на краю деревни непрерывно изливал музыку магнитофон. Музыка была весёлой и поначалу раздражала Валерия, но потом он не стал обращать на неё внимания. Не торопясь, достал из сумки еду и бутылку со стопкой. Как и положено по обычаю, часть еды положил на могилу. Стопку водки вылил около памятника, потом налил себе. Сказав тихо:

— Земля тебе пухом, мама! — выпил.

Водка обожгла внутренности и приятным теплом разошлась по телу. Аппетита не было. Но, опасаясь опьянеть, забросил себе в желудок немного еды. Закурил… Медленно, как при просмотре

фильма, снятого ускоренной киносъёмкой, потекла перед ним вся его жизнь…

Родился он в 1937 году… Жара, июль месяц. Ему было всего пять лет, и он ещё не умел плавать. Купался на речке и стал тонуть. Он уже потерял сознание, и его вовремя успели вытянуть на берег. Когда он очнулся, то увидел перед собой её глаза… Он запомнил эти глаза на всю жизнь — глаза матери, полные боли и тревоги за него!..

Шла война. Мать работала в колхозе и приходила домой поздно вечером, измождённая, отрешённая от всего. Случалось иногда, что приходила раньше, и тогда появлялся милиционер с винтовкой:

— Пошли, Ивановна! Время ещё есть. Поработать надо!

— Но я же выполнила норму, Ефремович! Дома тоже дела есть… — чуть не плача, возражала она.

— Пошли давай! Война такая идёт, а она… Стране победа нужна, и точка!

И она, усталая, опять плелась на поле под конвоем. Стране нужна была победа…

Отца своего, Александра, Валерий не помнил. Со слов матери знал, что он рано умер… Он хорошо запомнил этот зимний вечер в их избушке. Ему было семь лет, и он только что сделал уроки. Мать, сидя на кровати, вязала ему носки. Он спросил её:

— Мама, а как умер мой отец?

Она, продолжая вязать, стала неторопливо рассказывать.

— Жили мы, сынок, в тридцать седьмом году в посёлке Анзавод Иркутской области. Ты был ещё маленький. И начались аресты! Поздно вечером, каждый день, большая чёрная машина разъезжала по посёлку. Забирали мужиков! Её так и звали в народе: «чёрный ворон». Почти всех мужиков забрали! Отец твой успел убежать. Спрятался в лесу, благо лето было! Мать его, бабка твоя, умерла. Узнав об этом, прибежал тайком на десять минут проститься — и опять в лес! Но выдал его кто-то — со страху, видно. Врагов-то не было у него! Поймали, судили как врага народа и дали десять лет заключения. Много в то время народу пересадили.

— Какой же он враг был, мама?

Вопрос был по-детски наивным.

— Не был он врагом народа, сынок! Политика была неправильная… Ошибка какая-то, — просто, по-крестьянски, ответила мать. — Через два года с братом его, Петром, повезла я на поезде ему передачу. Долго мы ехали. Лагерь был на Дальнем Востоке. Станция Тахтамыгда, как сейчас помню… Кое-как свидания добились…

И тут она, не выдержав, заплакала. Валерий с болью смотрел на неё. Немного успокоившись, продолжала:

— Ох, Валера, не узнали мы его! Страшный такой, худой! Кожа да кости! Кормили в лагере плохо, а работа тяжёлая! Так он рад был нашим продуктам! Что себе на дорогу еды брали — почти всё ему отдали. Спасибо, добрые люди в вагоне подкармливали! Перед самой войной пришло от него письмо. Если, мол, не вышлете продуктов — помру с голоду! Собрали посылку, отправили. А тут и война началась! Не знаю, дошла ли посылка до него… ичс и сын. Валерий работал уже заместителем начальника цеха. Как-то утром, в постели, жена сказала ему:

— Слушай, Валера! Тесновато нам жить стало! Две комнаты всего. Объясни всё матери, мне неудобно. Пусть пока поживёт у себя. А получим квартиру побольше — всегда сможем её забрать! Она ещё крепкая здоровьем у тебя — ничего страшного!

Он сильно любил свою жену и согласился. Мать, конечно, тоже была согласна и уехала опять к себе…

Через год они получили четырёхкомнатную. Он стал начальником цеха. Роскошно обставили квартиру. Появились машина, дача… Всё было хорошо! Разве он не имел права хорошо жить?! Но почему он стал писать письма матери всё реже и реже, а последние годы вообще не писал? И перестал приезжать к ней, а здоровье её становилось всё хуже последнее время. Почему? Он искал и не находил ответа… Ведь он же никому не делал зла! Добрый от рождения, он всегда делал людям только хорошее! Как же так получилось? Он забыл всё хорошее, что сделала для него мать! И ничего она не видела прекрасного в жизни, кроме тяжёлой работы да заботы о сыне!

Валерий дрожащей рукой налил себе ещё водки. Ему показалось — в стопке была вода! И тут всё, что пока удавалось сдержать у себя внутри, вдруг выплеснулось наружу! Громко рыдая, упал около могилы. Катаясь по земле, мял руками венки и цветы. Не в силах сдержать себя, закричал не своим голосом:

— Прости меня, мама!!! Слышишь ли ты меня?!

Никто ему не ответил. Лишь только поднявшийся сильный ветер раскачивал ель над могилою, да всё тот же злосчастный магнитофон изливал на краю деревни тоскливую песню. И тогда, весь холодея от ужаса, понял он, что все эти годы жил в паскудном, ненужном и жутком сне, — и какое страшное теперь пробуждение!!..

В деревню он вернулся уже под вечер. Тётя Вера всплеснула руками:

— Ой, Валера! Да на тебе же лица нет! Разве можно так убиваться?! Её уже не подымешь!

— Значит, так надо было! — последовал короткий ответ.

Ночевал он в избушке матери. Всю ночь почти не спал, думая о чём-то своём… А на следующий день уехал.

Шли годы. Время берёт своё. Он всё реже и реже приезжал на могилу. Но ездил он сюда до самого конца своей жизни. И до самой своей смерти осталось у него чувство не искупленной вины перед женщиной, которая была его матерью!

Невезучий с самого рождения

Васька Иванов проснулся в семь часов утра, но глаза не открывал. Кругом было тихо, но Васька знал, что эта тишина может оказаться коварной. Год назад, когда он попал в медвытрезвитель, там тоже была идеальная тишина, как только он открыл глаза — его сразу же за ушко да на солнышко!..

Васька лежал не шевелясь и долго, напряжённо прислушивался. Ведь не было слышно ни шагов дежурного по коридору, ни пьяных мужиков. Тишина!

А глаза всё же надо было открывать. Затаив дыхание и огромным усилием воли превозмогая свой страх, он открыл их и… О Боже!

Его грязный, давно не белённый потолок светился и сиял перед ним таким красивым цветом, что у него захватило дух! И в этот момент он был красивее для него всех потолков в мире! Он спал не в милиции, а у себя Дома!! Васька радостно соскочил с кровати и подошёл к большому зеркалу на стене. О Боже! Он не поверил своим глазам! Из зеркала на него смотрел худощавый мужчина маленького роста, в одних трусах и… с прекрасным модным галстуком на голой груди! Каким образом ему, пьяному, удалось снять с себя одежду, но опять завязать галстук на голой шее — одному Богу известно! Сняв с себя галстук и одевшись, Васька закурил и стал вспоминать события минувшего дня.

У его старого, закадычного друга был день рождения. Круглая дата — пятьдесят лет. Кроме Васьки, были приглашены ещё многие друзья и родственники. Было шумно и весело. Изрядно подвыпив, много пели, танцевали и слушали песни белых эмигрантов, записанные на магнитофон. Эти песни глубоко потрясли Васькину душу!

Пелось в них о русской берёзке, о тоске по Родине, о тяжёлой жизни на чужбине… Васька помнил, что, пьяный, сильно рыдая, он всё приговаривал:

— Ведь они тоже русские, как и мы! Мучаются там, за границей! Зачем была Гражданская война?! Ну зачем?!

Многие его успокаивали как могли. И успокоили в конце концов. Всё было хорошо, и пора бы уже расходиться по домам. Но кто-то подал ненужную и дурацкую идею купить и распить ещё две бутылки водки. Кто именно — Васька не помнил. Ну и пошло-поехало! Всё дальнейшее Васька помнил уже очень смутно. Пили водку. Потом несколько человек, предварительно заплатив деньги, сажали его в такси и… Что было потом — память его не сохранила.

«Хорошие песни про эмигрантов! Надо будет как-то мне их переписать», — подумал Васька. Он не попал в вытрезвитель, но всё равно положение было не из лёгких. Его сильно мутило. В голове постоянно стояла тупая боль. Противная слабость охватила всё тело… Он долго спускал из крана холодную воду, потом жадно выпил три стакана.

Подойдя к окну, выглянул на улицу. У самого дома отвратительного вида мужчина о чём-то оживлённо разговаривал с некрасивой низенькой женщиной. Чуть вдалеке, у покосившегося магазина, стоял уродливый грузовичок, из которого невзрачные людишки таскали какой-то груз. Недавно пролил дождь, и там и сям темнели огромные ужасные лужи вперемежку со страшной грязью. Сквозь безобразно наляпанные по всему небу редкие облака мрачно светило солнце.

На горизонте неотвратимо маячило похмелье! Васька достал из кармана пиджака кошелёк. В нём лежали последние два рубля. Только на хлеб. В холодильнике хватало продуктов, а через три дня он получит зарплату. На бутылку надо занимать. У кого?

К друзьям ехать далеко, да и все они наверняка были на работе. Соседи по площадке тоже работали с утра. Сам Васька предусмотрительно, заранее, взял на сегодняшний день отгул. В его подъезде жили трое человек, у которых можно было занять деньги.

Площадкой ниже занимал квартиру директор овощной базы, который не пил и не курил. Васька знал, что последнее время из-за болезни он не работал. Решил начать с него. Набравшись смелости, решительно надавил на кнопку звонка. Дверь открыл высокий, пожилой и полный мужчина с болезненным, раздражённым лицом. Поздоровались.

— Я ваш сосед из восемьдесят девятой квартиры, — смело начал Васька. — Извините за беспокойство, конечно, но займите мне десять рублей. Через три дня обязательно отдам!

— Знаю, что сосед. Ну и прёт от вас, хоть сейчас закусывай! На бутылку, что ли?

— Да, на бутылку.

— Без обиды будет сказано, сосед! На хлеб бы занял, а на эту гадость — никогда!

— Какая вам разница? Я же не бичую, работаю! Сказал, через три дня отдам — значит, точка!

— Нет и нет! Да будь моя воля, я бы вас, всех пьяниц, на Колыму давно уже загнал! В лагеря, мать вашу! — вдруг заорал директор с побагровевшим от злости лицом.

— Ты чего орёшь?! — закричал и Васька. — Я тебе должен или обязан чего?! Ишь, пуп земли нашёлся! Если директором работаешь, то можно плевать на всех?! Заткни пасть, а то…

Васька уцепился за ручку двери, но дверь резко хлопнула перед самым его носом, и щёлкнул замок. «Вот сволочь, десятку занять пожалел! Никогда здороваться не буду!» — озлобленно подумал Васька.

После этой стычки болезнь от пьянки ещё более усилилась. Закурил. Вторым «спасителем» был профессор, который жил на одной площадке с паскудой-директором. Неделю назад профессор купил себе шикарную импортную мебель в большом количестве, и Васька, с ещё несколькими своими друзьями, помогал ему затаскивать её в квартиру и расставлять по местам. Было тяжело, времени потратили очень много и все упарились. Потом хозяин угощал их импортной водкой и импортной закуской. Такую водку и такую еду Васька и его друзья пили и ели первый раз в жизни! В магазинах, в свободной продаже, этого не было. Водочка мягкая, очень приятная на вкус! А сыр, колбаса и консервы были необыкновенно вкусными, и хозяйка только успевала наполнять пустые тарелки!

В конце трапезы подвыпивший профессор расщедрился и дал им на дорогу три бутылки водки, которую они сразу же и выпили на квартире у Васьки. И шумно говорили после этого про жизнь: «Во люди как живут! Вот что значит — профессор!!! Мебель новая — одно загляденье, как на выставке! Красотища! Век нам такой жизни не видать!»

Отбросив эти приятные воспоминания, Васька позвонил в квартиру профессора. Перед ним предстал интеллигентный мужчина средних лет и среднего роста, в пижаме, с аккуратной курчавой бородкой. После взаимных приветствий возник такой разговор:

— Я Василий, из восемьдесят девятой квартиры. Помните, я мебель вам помогал тащить?..

— Помню, конечно, помню... Чем могу быть полезен?

— Займите мне, пожалуйста, десять рублей. Через три дня отдам. Я получу зарплату.

Профессор слегка замялся. А Васька, подумав, что он боится занять, сказал ещё решительнее:

— Да вы не бойтесь! Я честный! Я обязательно отдам! Буду я позориться из-за десятки! Работаю же...

Но профессор спокойным тоном сразу охладил его пыл:

— Дело не в этом. Я верю вам. Но моя супруга уехала в гости к родственникам. Это далеко, на окраине города. Приходите, пожалуйста, после пяти. Я вам займу и бóльшую сумму.

— До пяти долго! Мне сейчас надо.

— Извините, но у меня лично нет ни одного рубля! Деньги у неё. После пяти — пожалуйста!

«Чудной какой-то профессор, — думал Васька, спускаясь вниз по лестнице. — Такие большие деньги получает, а у самого ни копейки в кармане! Не курит, сильно не пьёт! Зачем все деньги жене отдавать? Хоть немного, да оставлял бы себе! А ещё грамотный мужик...»

Оставалась последняя надежда — бабка Агафья. Она жила на первом этаже и хорошо знала Ваську как соседа по подъезду. Она была очень религиозна и почти каждый день ездила в церковь. Знал также Васька, что она скупая до мозга костей и несчастную десятку занять у неё будет очень трудно, но он решил «давить до упора», пока не выйдет от неё с деньгами в кармане.

Немного подумав, он избрал такую тактику: сначала поговорить с бабкой по душам, «за жизнь», а уж потом... Сначала он зашёл домой и тщательно пережевал во рту несколько импортных орехов, которые хорошо перебивали перегар. Направился к бабке.

Дверь открыла худая маленькая старушка с измождённым от частых молитв лицом.

— Здравствуйте, Агафья Степановна!

— Здравствуй, раб Божий Василий! Проходи! Гостем будешь!

Прошли на кухню. Сели. Васька — около окна, бабка — напротив.

— Как поживаете, Агафья Степановна?

— Какая жизнь у стариков, Вася? Сам знаешь... Болею часто; хворь одолевает! Только в молитвах Богу нашему и нахожу успокоение! И тебе советую: ходи в церковь чаще, грехи свои замаливай!

— А разве я грешник большой? Не убиваю, не краду, работаю как все...

— Каждый человек от рождения обречён на грех! — назидательно сказала Агафья. — Сколько тебе лет?

— Сорок пять уже.

— Сорок пять, а семьи нет! Один живёшь, как перст. Ни детей у тебя, ни внуков! Не по-божьему это... Каждый человек должен семью иметь! Семья — от Бога!

— А что, я плохо живу?! Квартира хоть однокомнатная, да есть. Мебель, пусть не роскошная, телевизор, магнитофон — тоже есть. Одет, обут. Слесарем работаю на заводе... Хоть и не сильно большие деньги зарабатываю, но одному хватает на жизнь! Кусок хлеба ни у кого не прошу! — вдруг разошёлся Васька.

— А семьи-то нет! Пустоцветом живёшь, Вася! — не унималась Агафья.

— А может, Богу и угодно, чтобы я жил один! Для разнообразия жизни. Денег надо занять — к Ваське мужики идут. Бутылку распить — опять ко мне. Дома-то жёны пилят, а я — один. Ругаться некому. В беде какой выручить — меня просят! Значит, нужен я такой в этой жизни! Судьба, выходит, моя такая! А если говорить начистоту, то невезучий я с самого рождения!

— Как это... с самого рождения? — удивлённо посмотрела на него бабка.

— Очень просто. Хоть и родился я в деревне, а рос слабым, часто болел. Хилый был, росту

маленького… В школе обижали кому не лень! И насмехались надо мною, и били… Да и отец часто лупил! Пил он по-чёрному, запои — один за другим! От водки и отдал Богу душу. Мне десять лет было уже…
— Ну, пусть в детстве тяжело было! А дальше?
— А дальше ничуть не лучше! Школу закончил, поступал в институт, на инженера учиться. Не прошёл по конкурсу! Армия… Физически слабее был среди парней моего призыва. Больше всего от дембелей доставалось! И казарму драил, полы мыл, уголь возил… В общем, где какую «дыру» надо заткнуть — иди, Вася, сюда! Чуть не так — по шее! Не служба была, а одни мучения! Эх, не хочется вспоминать, Агафья Степановна!
— Да. Тяжёлые испытания послал тебе Господь! А почему не женился?
— С женщинами тоже не повезло: дружил до армии с одной девахой. Жениться после службы на ней хотел. Такие письма мне в армию писала — любовь до гроба, да и только! Один месяц мне до дембеля оставался — бац, письмо от неё! Мол, прости меня, Вася, выхожу замуж, не поминай лихом! У меня всё в глазах помутилось! Ладно, пережил я эту трагедию. После армии, чуть не год, дружил со второй. Любил её сильно, да и она меня тоже! Три дня до свадьбы оставалось — и надо же! Под машину попала по своей вине! Сразу насмерть! На сколько лет из-за её смерти моя жизнь укоротилась — один Бог знает! Два года после этого ни с кем не знакомился! Появилась ещё одна — Лариса. Полгода любовь наша процветала, и вот — нá тебе! Поехала в деревню мать проведать, а по дороге, в лесу, какие-то мерзавцы поймали, изнасиловали, поиздевались вволю и убили! После этого крест я поставил на семейной жизни!

Наступило тяжёлое молчание. Но Васька снова заговорил:
— В своей семье ничего хорошего! Отец от пьянки умер, две сестры были — и тех давно похоронил. Одна, старшая, от рака умерла. Вторую муж зарезал по пьянке. Одна мать осталась.
— Где она сейчас?
— В деревне живёт, на родине моей. Зову, зову её к себе — не хочет жить со мной! Не любит город. Всю жизнь в деревне прожила, и всё тут! Семьдесят шесть, а ещё крепкая старуха! Картошку садит, огород свой, поросёнка держит. А мне с ней веселее бы было!
— Не переживай, раб Божий Василий! Раз хочет там жить — значит, так Богу угодно!
— Да я что? Насильно же не потащишь. Слабая будет совсем — сама приедет.
— Да, Вася, неважно у тебя жизнь сложилась! Но ничего — Бог терпел и нам велел! Но, чую я, не просто так ты ко мне зашёл!
— Это точно, Агафья Степановна! Причина есть. Вчера у моего лучшего друга был день рождения. Выпил я лишнего. Болею сильно сейчас! Выручайте! Десять рублей до получки. Через три дня отдам.
— Зачем много пил? Стопки три бы выпил, и хватит! — строго сказала бабка.
— Да ведь у нас, русских, так! Стопку трахнул — мало! Ещё надо одну, потом ещё… Откуда знаешь, какая лишняя? А потом и рога в землю! Знал бы, где упасть, — соломки бы подстелил!
— Ох, Вася, от дьявола зелье это! Забыли люди Бога совсем, запились! А он, дьявол, только радуется, глядя на вас! Вот и правители наши указ выпустили правильный! Борьбу объявили этому зелью! Так и надо!
— Не согласен я с этим указом, Агафья Степановна, — горячо заговорил Васька. — Водку с двух часов дают, по две бутылки в руки! А давка какая! Сколько людей подавили по Союзу, рёбер сколько переломали! А цыгане как нажились! Да и многие русские не отстают от них! В любое время суток бери у них водки сколько хочешь! На фиг магазин нужен! Не зря слухи ходят: цыгане пообещали Горбачёву после смерти золотой памятник поставить!
— Неужто золотой?
— А почему и нет? С таких бешеных денег можно по всему Союзу золотые памятники Горбачёву зафуговать! А люди как пили, так и пьют! Нажива цыганам и многим другим — вот и весь указ!

Бабка растерянно молчала, не зная, что возразить. А Васька продолжал:
— Я бы на месте Горбачёва сделал так! Водка и вино — свободная продажа с утра и до утра. А на работе — никакой пьянки! Попался — отвечай на всю катушку! Штрафы там и прочее… Вроде и грамотный мужик, а такую глупость сморозил… Ну, хватит об этом. Занимай, Агафья Степановна!
— Ох, Вася! Пенсия всего-то восемьдесят рублей! Тяжко жить-то…
— Я же сказал: через три дня отдам! Свиньёй ещё никогда не был!
— Лучше бы матери своей деньгами помог, чем на зелье тратить!
— А я и так помогаю! Каждый месяц по тридцать рублей высылаю. У неё тоже пенсия — слёзы одни!
— Неужто каждый месяц? — недоверчиво сказала бабка.
— Ей-богу, не вру, Агафья Степановна! Что я — последний забулдыга, что ли? На работе не пью совсем, да и дома — не каждый день! Да я вам квитанции переводов покажу…
— Верю, Вася, верю. Ты телевизоры можешь чинить? — вдруг неожиданно спросила Агафья Степановна.
— Немного разбираюсь. А что с ним?
— Не показывает ничего, и звука нет. Я хоть и редко его смотрю, но всё же надо наладить. А мастеру деньги платить надо.

— Сейчас посмотрим.

Васька хоть и был с глубокого похмелья, но сразу сообразил, что перегорел предохранитель. Совсем пустяк.

— У меня дома есть запасной. Сейчас принесу, и поставим, Агафья Степановна!..

Через двадцать минут Васька вернулся назад. Быстро вставил новый предохранитель, проверил работу телевизора и заодно показал бабке несколько квитанций почтовых переводов своей матери, чем очень сильно поднял свой авторитет в глазах религиозной старухи. Долгожданная десятка наконец-то приземлилась в его карман!

У винного магазина скопилась уже огромная толпа. Ваське, при помощи нескольких знакомых, удалось протиснуться в самую середину.

Оживлённый гвалт висел в воздухе. Наконец стрелки часов показали без пяти минут два. Толпа замерла. Наступила волнующая тишина. Сейчас должно было произойти что-то очень значительное! И вот… О Боже! Наконец-то магазин открыли! Грузчик, изнутри отворивший двери, с ловкостью циркового акробата сиганул через прилавок к продавцам — только ноги мелькнули! Толпа ввалилась в магазин. Васька, зажав в одной руке купюру и небольшую сумку, упорно пробивался к прилавку.

Кругом стоял страшный шум, маты, слышался звон разбитых бутылок. В дальнем углу магазина ошалело орала придавленная старуха. Счастливцы, которым удалось купить водку, так же настойчиво пробивались к выходу.

Трое парней, держа большие сумки и яростно матерясь, лезли прямо по головам. Стояла сильная духота… Васька, весь обливаясь по́том, помаленьку продвигался к намеченной цели. Вот он, всё ближе и ближе, заветный прилавок! Ну ещё, ещё немного! И вот она — рядом, мадонна в белом халате! Васька, весь торжествуя в душе, протянул кусок бумажки…

Бережно, как большую драгоценность, прижимая к груди сумку, протискался к выходу. Немного отдышавшись на летнем воздухе, пошёл домой.

«Всю не буду, — подумал Васька: знал по горькому своему опыту, что если он выпьет всю бутылку сегодня, то завтра ему будет ещё хуже. — Половину выпью, и хорош!..» До дома оставалось совсем немного, но роковая арбузная корка сыграла трагическую роль! Не заметил её, поскользнулся, упал со всего маху на асфальт и… о Боже! Грохнул из сумки ужасающий звон, и у него всё опустилось внутри!

Васька некоторое время отупело смотрел на драгоценную жидкость, медленно растекавшуюся по асфальту из сумки. Потом, уткнув голову в колени, зарыдал горько, как ребёнок:

— Да что же это?! А?!..

Василий Николаевич Иванов был невезучий с самого рождения.

Тупик

Век живи — век учись, и дураком помрёшь.
Старинная русская пословица

Есть многое на свете, друг Горацио, что
и не снилось нашим мудрецам.
Шекспир

Анатолий Сергеевич Наумов, высокий худощавый мужчина двадцати пяти лет, преподавал физику и математику в деревенской школе. В этой деревне он родился, и здесь прошли его детские годы. Окончив школу, уехал в город и поступил в педагогический институт. Но не затянула его городская жизнь, и, получив диплом, он вернулся на родину.

С детских лет он был убеждённым атеистом до мозга костей и всегда непоколебимо верил во всемогущую силу человеческого познания. За несколько лет работы много вопросов задавали ему ученики, и он всегда находил на них правильные ответы…

Май 1997 года. Урок физики в одиннадцатом «В» подходил к концу. Наумов произнёс традиционную фразу:

— У кого есть какие-нибудь вопросы по теме? Что непонятно?

Класс молчал. Вроде всем всё было ясно. Но вот за дальним, последним столом руку поднял Миша Комаров — маленький щуплый паренёк с бледным, невзрачным лицом. Учитель насторожился, хотя внешне это было незаметно. Этот ученик редко задавал вопросы, но они у него были всегда такие каверзные, что Наумов с большим трудом отвечал на них. Иногда даже через несколько дней. Спасала очень большая библиотека научной литературы, которая была у него в доме. Она вмещала в себя очень большое количество книг по физике, химии, философии, биологии и многим другим наукам. Анатолий очень гордился своей библиотекой и щедро позволял пользоваться ей другим учителям и ученикам.

— Я слушаю тебя, Миша!

— Анатолий Сергеевич! У меня к вам есть семь вопросов. Но я думаю, вам лучше их записать.

— Хорошо.

Наумов достал из кармана записную книжку. Открыл её и взял лежавшую на столе ручку. Комаров заговорил спокойным, уверенным голосом:

— Вопрос первый. Мы знаем из теории Дарвина, что человек произошёл от обезьяны. Человечество существует уже многие сотни лет. Почему за всё время существования человечества ни разу не наблюдался этот процесс — процесс превращения обезьяны в человека? Или хоть малая часть этого процесса? Вопрос второй. Молекула, как известно,

состоит из атомов. Атом, в свою очередь, состоит из протонов и электронов. Но электрон должен тоже из чего-нибудь состоять!.. Допустим, мы узнали, что электрон состоит из каких-то частиц. Но эти частицы опять же должны из чего-то состоять и так далее. А где конец?! Конца-то нет! Где маленький кирпичик мироздания?! Я говорю логично?!
— Да,— подтвердил Наумов, быстро записывая вопросы в книжку.
— Третье. Благодаря Солнцу существует всё живое на Земле, в том числе и люди. Благодаря науке мы знаем, что на Солнце происходит термоядерная реакция: водород превращается в гелий. Так?
— Это верно. Но на Солнце протекают и другие термоядерные реакции,— дополнил Наумов.
— Допустим. Но дело не в этом. Солнце существует очень многие сотни лет. Ничуть не меньше человечества. И столько же времени идёт там эта реакция! Получается, что Солнце — водородная бомба! Очень замедленного действия!
— Я не могу понять сущность этого вопроса,— сказал Наумов.
— Извольте. Скажите, Анатолий Сергеевич, Солнце — материальное тело?
— Конечно же! Существует только материя, и ничего больше!

Лёгкий смешок прокатился по классу. Но Комаров продолжал невозмутимо:
— Эти реакции идут на Солнце многие сотни лет. Если бы они стали идти медленнее, то Солнце давало бы меньше энергии, и на Земле воцаряется холод! Допускаем обратное: реакции пошли быстрее. Земля получает намного больше тепла, а это губительно для жизни! В конце концов, может произойти взрыв! Весь водород превращается в гелий! Как в водородной бомбе! Погибает всё живое! Так?
— Не спорю. Всё так,— согласился Наумов.
— Однако ничего этого за сотни лет не произошло. Значит, термоядерные реакции идут там всё время с постоянной скоростью! Странно. Многие сотни лет с постоянной скоростью! Там никто ими не управляет? Кочегара там, случайно, нет?

Опять лёгкий смех прокатился по классу. Анатолий сказал твёрдо:
— Кочегара, конечно, там никакого нет и быть не может! Всё происходит по законам природы! А почему они происходят с постоянной скоростью — я постараюсь ответить на это. Дальше?
— Вопрос четвёртый. Как известно, за всё время существования человечества наша планета Земля вращается с одной и той же постоянной скоростью, а именно: делает один оборот вокруг своей оси за двадцать четыре часа. А почему не быстрее? Или медленнее? Кстати, не так давно учёные установили: замедление или увеличение скорости вращения вокруг оси очень отрицательно скажется на живой материи! Нельзя Земле вращаться ни быстрее, ни медленнее! Но ведь она сама вращается! Никто же её не крутит! Почему с постоянной скоростью? Пятое. Скажите, Анатолий Сергеевич, как появилась живая материя на Земле?
— Сначала на Земле была только неживая материя! Потом, при определённых условиях, в результате сложных химических реакций появились простейшие живые клетки! Это было начало жизни на Земле! Они размножались, превращались во всё более сложные организмы… Это был очень длительный процесс! Он привёл к очень разнообразным формам жизни, которые мы сейчас имеем на планете.
— Допустим. Строение самой простой клетки мы знаем. Ведь многие учёные пытались искусственно создать живую клетку из неживой материи. Почему у них это не получилось? Имели такой мощный научный потенциал, но ничего не добились.
— Я постараюсь ответить на этот вопрос,— сказал Наумов, быстро записывая вопросы в записную книжку.
— Шестое. На Земле много морей и океанов. Реки и ручьи берут начало из Земли. В течение очень многих лет из недр планеты вытекает на поверхность огромное количество воды! Откуда она там берётся? На дожди нельзя всё сваливать. Они же не льются каждый день по всей Земле. И наконец, последний вопрос. Почему вся природа работает на пользу человеку? Почему она так гармонично и правильно устроена? Её же никто не создавал. Существует очень много наук, и в каждой свои законы. Почему все эти науки тоже приносят пользу человеку?
— Хорошо, Миша! Я постараюсь ответить на эти семь вопросов!

Но через несколько дней…

Наумов обладал очень хорошими знаниями не только в физике и математике, но и в некоторых других науках. На очень многие вопросы учеников он отвечал самостоятельно, не прибегая к помощи своей библиотеки. Но в этом случае он сразу твёрдо понял: без её помощи ему не обойтись… Придя домой из школы и наспех поев, сразу решительно взялся за дело. Просмотрел очень много книг, но первый день не принёс успеха. На второй день, вечером, к нему зашёл близкий друг детства — Виктор Логинов, который работал учителем физкультуры в этой же школе. Они вместе поступали и закончили один и тот же институт, но по разным специальностям. Высокий, крепко сбитый, спортивного телосложения, Логинов, зайдя в дом к другу, очень удивился. Весь пол комнаты был завален огромным количеством книг. А Наумов, с бледным лицом, сидя посередине на стуле, сосредоточенно просматривал одну из них.
— Что за дела, Толя?! Какой бардак же у тебя!

— Да вот, чёрт побери! Мишку Комарова знаешь из одиннадцатого «В»?
— Знаю, конечно. А что?
— Задал мне семь вопросов, и пока ни на один не нашёл ответа! Упарился весь — и никакого толку!
— Не беда! Найдёшь! Библиотека у тебя богатая, — уверенно произнёс Виктор. Добавил далее: — Приглашаю тебя на мой день рождения! Он у меня послезавтра. Двадцать пять стукнет. Придёшь к семи вечера?
— Спасибо за приглашение! Приду, конечно.
— Лады.

Немного помолчав, Виктор спросил:
— А что хоть за вопросы?

Наумов достал из кармана и молча протянул ему записную книжку. Логинов уселся прямо на книги и быстро их прочитал. У него было сейчас хорошее настроение, и поэтому захотелось пошутить.
— И чего ты ломаешь голову, Толик? Я бы этому молокососу ответил так. Ну не хотят больше обезьяны превращаться в людей! Им и так хорошо живётся! Еда есть, вода есть, крыши над головой не надо! Радуйся жизни да размножайся вдоволь! Зачем им лишние проблемы? Обувь, одежда, алкоголь, наркотики, тюрьмы и так дальше... Ха-ха-ха! И спида у них нет, сифилиса и прочих гадостей! В армию идти не надо! Что они, дураки — опять в людей превращаться? Один раз попробовали, и хватит! Лишние только заботы наживать! И работать им не надо! Ха-ха-ха! Второе. Есть атом? Есть. Есть электрон? Есть. Чего тебе ещё надо? Чего лезть куда тебя не просят? Ведь всё равно всё не узнаешь, молокосос! Третье. Чем тебе, Миша, Солнышко наше на нравится? Светит всем, греет всех, ну и ладно! Радуйся жизни, дурачок, да за девками бегай, чем голову ломать, почему оно не взрывается. Ха-ха-ха! А то и вправду возьмёт ещё да и взорвётся! Бери жизнь за горло, пока оно светит да Земля вращается! Пятое. А зачем клетку живую человеку делать? Их и так до фига на нашей планете! Зачем зря голову ломать? Шестое. Что, не нравится, что вода из Земли постоянно идёт?! Хочешь, чтобы совсем перестала? От жажды загнёшься, пацан! Седьмое. Человек — хозяин на Земле, и поэтому вся природа и науки работают на него, — весело улыбаясь, закончил Логинов.

Наумов только молча смотрел на него и ни разу даже не улыбнулся во время этой весёлой речи. Уже серьёзно Виктор добавил:
— Ох, не люблю я эти высокие материи! То ли дело спорт! Здесь всё просто и понятно! Забил лишний гол-два — ты на коне! Пробежал быстрее, прыгнул выше — твоя победа!

Наумов тяжело вздохнул.
— Чувствую я, не найду ответа ни на один вопрос! И библиотека не поможет! И знаешь, к какому я пришёл выводу в результате этих исканий?
— К какому же?
— Не только в нашем мире одна материя существует! Ошиблись господа материалисты! Что-то есть такое, о чём мы никогда подробно не узнаем. Возможно, Высший разум есть во Вселенной...
— Тогда уже говори прямо — Бог!
— А что? Ты обрати внимание, Виктор, на одну вещь. Сколько разных теорий было за всё время существования человечества! И все они рано или поздно рассыпались, превращались в прах! А религия как появилась с самого начала, так и до сих пор живёт! Взять то же христианство. Библия, например, очень древняя книга, а жива до сих пор и не претерпела никаких изменений.

Логинов удивлённо смотрел на своего друга.
— И это говорит закоренелый атеист Анатолий Наумов?! Ну и дела!
— Завтра я заканчиваю просмотр своей библиотеки. А затем выберу время, съезжу в райцентр и куплю там Библию. Надо обязательно её почитать.
— Зря, зря, Толик! Может, просто вопросы несуразные?
— Да нет. Вопросы нормальные.
— Не паникуй. Ты ещё не все книги просмотрел!
— Знаю, завтра закончу...

Наступил третий, последний день. Уроков у Наумова было мало, и домой он пришёл рано. Опять наспех поев, снова взялся за дело. Летит в сторону одна книга, вторая, третья... Вот, наконец, и последняя! Но и она не выручила! Всё. Конец. Анатолий Сергеевич устало опустился на стул, тупо устремив взгляд в противоположный угол комнаты. И тогда, весь дрожа от охватившего его большого волнения, понял он, что на вопросы этого простого деревенского паренька не сможет ответить ни один человек в мире! Ни сейчас, ни в далёком будущем. Никогда. И что попал он в самый настоящий тупик, из которого нет и не будет выхода. Никогда.

Судьба перестраховщика

Ах, как нам хочется, как всем нам хочется
Не умереть, а именно уснуть.

Из песни Владимира Высоцкого,
которая исполнялась в фильме
«Бегство мистера Мак-Кинли» (1975)

Андрей Степанович и Нина Петровна Первушины, состоя с молодых лет в законном браке, прожили вместе долгую и счастливую жизнь. Вырастили и воспитали троих детей, проработали очень долгие годы, до ухода на пенсию, на одном и том же металлургическом заводе. Совсем недавно Андрею Степановичу «шмякнуло» семьдесят лет, жене было шестьдесят семь. Всё бы хорошо, живи да радуйся жизни! Но в последнее время вопрос жизни и смерти стал очень сильно беспокоить Андрея Степановича. Вроде и здоровьем Бог не

обидел, причин не было беспокоиться, а тревога за свою жизнь постепенно всё чаще и чаще охватывала его. Он перестал смотреть по телевизору фильмы, в которых были эпизоды, хоть в малейшей степени, прямым или косвенным образом, показывающие человеческую смерть. Перестал читать такие же книги. Число читаемых газет сократил до одной—местной городской. Всё же он не хотел полностью оторваться от окружающего мира, но всякая информация о смерти вызывала у него очень тревожное состояние. На дворе стояло лето 1998 года.

Андрей Степанович лежал в зале на диване и читал свежую местную газету. Жена готовила ужин на кухне. На последней странице его внимание привлекло небольшое сообщение, обведённое чёрной рамочкой: «Администрация завода „Стройиндустрия“ с глубоким прискорбием сообщает, что 10 июля в автокатастрофе, на 45-м году жизни, трагически погиб председатель совета директоров предприятия Дмитрий Юрьевич Митин. Выражаем глубокое соболезнование семье, родным и близким покойного. Вынос тела состоится 13 июля, в 14:00 часов, из Дома культуры завода „Стройиндустрия“».

У Первушина слегка закружилась голова. Он сразу представил себе разбитую вдрызг легковую машину, толпу зевак, скорую помощь рядом, ГАИ… А самое главное—себя! Всего в крови, лежащего с разбитой головой около покорёженного автомобиля! Он резко отшвырнул газету в сторону и прошёл на кухню.

—Вот, Нина! Сейчас прочитал в газете: в автокатастрофе погиб председатель совета директоров «Стройиндустрии» Митин!

—Да ты что?!

—Вот тебе и что! Сорок пять лет. Помнишь, сколько раз его по телевизору показывали? Такой молодой! Сорок пять лет. А как красиво и здорово он выступал! Энергичный такой!

—Конечно, помню, Андрюша! Много раз его показывали…

—И всё! Больше никогда не покажут! Был человек—и нету. А как он хорошо жил эти годы! Такая должность! Имел всё, что хотел! Как сыр в масле катался! Всё. Ничего ему теперь не надо: ни денег, ни почёта, ни машины, ни семьи…

—Царство ему небесное!—тяжело вздохнула Нина Петровна.

—А если бы не эта поганая катастрофа, сколько бы лет он счастливо прожил? Очень и очень много! Нелепо. Ох как нелепо!..

На следующий день, во время обеда, супруга спросила Первушина:

—Андрюша! Ты не забыл? Через три дня—воскресенье. Ты обещал свозить внуков в цирк. Там, говорят, такое пышное представление! Весь зал переполнен!

—Я помню. Конечно, сходим.

—Сынок купил уже заранее три билета. На тебя и внуков. Он звонил недавно мне по телефону и сказал, что отвезёт всех вас на своей машине. Зачем маяться в общественном автобусе?

—На машине мы не поедем!—резко сказал Андрей Степанович.

Жена удивлённо посмотрела на него:

—Как? Почему?

—А так. Совсем люди с ума посходили! Напридумали, настряпали всяких машин: «Волги», «Жигули», «Тойоты», джипы, «Вольво», «Газели»! Скоро «Козлы» по улицам будут гонять! Чёрт знает что! Аварии на каждом шагу! Мы пойдём пешком.

—Пешком?! Ты шутишь, что ли?! Ладно бы близко было. Больше часа надо до цирка идти!

—А мне плевать! Я по пути внукам все достопримечательности нашего города покажу! Исторические места покажу! Им интересно будет. А в машине бац—и в цирке! Разве город толком они разглядят? Успеют ещё с отцом накататься!

—Ладно, внуки большие. Но ты ведь в возрасте, Андрюша! Не тяжело ли пешком топать столько времени?—не унималась Нина Петровна.

—Мне? Тяжело? Не говори глупостей! Вот в таком возрасте как раз и очень полезно ходить пешком! Спроси любого врача, даже студентишку мединститута! Тебе скажут то же самое! Отстаёшь от жизни, Нинуля, отстаёшь! И тебе надо как можно больше ходить пешком! А то всё машины, машины! Я такую купил, он такую! Чем хвастаются, дурачьё? Что больше отравы от бензина в атмосфере прибавится, да?! Эх, будь моя воля, я бы эти машины…—Первушин крепко сжал кулак и веско сказал:—Вот где держал!

Жена смотрела на него широко открытыми глазами.

—Ну ладно, Андрюша! Я же не спорю. Хочешь пешком—иди пешком…

Так и было сделано. Поход в цирк дед с внуками совершил «на своих двоих». Внукам уже приелась отцова машина, и они шли с большим удовольствием. Тем более по пути Первушин охотно показывал им городские и исторические достопримечательности и интересно о них рассказывал. Настроение после этого похода у него было очень хорошее.

Но через два дня после этого он прочитал в газете трагическое сообщение о том, что в авиакатастрофе погиб заместитель генерального директора их родного металлургического завода Большаков. Первушин сразу представил огромную кучу дымящихся обломков самолёта, пожарных в суете и другие спецслужбы… А самое главное—окровавленные куски своего тела! Боже мой! На душе сразу стало очень нехорошо. Лицо сделалось мрачным, как во время похорон. Сказал жене:

— Плохая новость, Нина! Сейчас только прочитал в газете: в авиакатастрофе разбился зам нашего генерального директора Большаков!
— Ох, беда-то какая! Под шестьдесят ещё мужику! Не старый. А какой приветливый был да внимательный! Особенно к нам, ветеранам! По любому вопросу к нему можно было зайти.
— Теперь уже не зайдёшь!
— Земля ему пухом! — тяжело вздохнула супруга…

Спустя два дня Андрей Степанович смотрел телевизор. Жена только что пришла из магазина и сразу подошла к нему.
— Ох, плохая новость, Андрюша!

Первушин сразу резко выключил телевизор.
— Что такое?!
— Соседку-то нашу с первого этажа, Елену Ефимовну, поездом убило!
— Как убило?!
— Ты же знаешь, она летом часто ездит на дачу. Торопилась, шла на остановку, чтобы успеть на электричку! А ей навстречу — чётный поезд! Она свернула на другую линию, а сзади — нечётный! Из-за шума первого поезда не услышала второго! Машинист сигналил и тормозил, а что толку! Скорость большая, сразу не остановишь! Говорят, одни куски собирали. Голову аж в кустах нашли! Разметало бедную на мелкие части!

Андрей Степанович живо представил стоящий поезд, толпу людей и самое главное — свою голову в кустах и окровавленные куски своего тела, разбросанные по всей линии! Сердце забилось у него очень часто. Стало тяжело дышать, и он сильно побледнел. Сказал слабым голосом:
— А ведь ей было-то всего пятьдесят пять! Недавно только на пенсию пошла. Внуков успела нажить! Всё. Не нужны теперь ни внуки, ни дача, ни муж. Всё!
— Какая страшная смерть! — грустно произнесла Нина Петровна…

Через три дня супруги обедали на кухне. Нина Петровна была в хорошем настроении и охотно говорила о том о сём.
— Андрюша! Я недавно посетила наш завод и знаешь что узнала? Всем ветеранам дают путёвки на курорт и в санаторий, в Сочи! Помнишь, мы молодыми несколько раз туда ездили? Отличное питание, свежий воздух, море, пески и пляж! И главное — почти бесплатно! Двадцать процентов платить от стоимости путёвки.
— Ну и что?
— Как ну и что? Ох, какой ты у меня стал непонятливый, Андрюша! Туго до тебя доходит. Возьмём две путёвки и съездим, отдохнём. Поправим здоровьишко. Можно самолётом, а лучше — поездом! В пути места разные посмотрим, города…
— Нет, я не поеду! И тебе не советую! — резко сказал Первушин.
— Как так? Почему?
— Да потому. Я много раз читал в газетах, что на юге у нас образовалось очень много озоновых дыр. Ультрафиолетовое излучение проникает в кожу, и появляется рак! Что ты смотришь на меня большими глазами? Газеты надо читать — читать и на ус мотать! От жизни отстаёшь, Нинуля!
— Но ведь многие ветераны уже взяли путёвки!
— Ну и чёрт с ними! Если у них кумпол не работает, пускай едут, рак зарабатывают! Они начнут с крыши головой вниз прыгать — и нам, что ли? И второе. Читал, что в Сочи и вокруг него очень много криминала! Грабят на каждом шагу, убивают… Милиция не может всех выловить.
— Ох, ужас какой. Ладно, остаёмся дома.
— То-то же…

Через несколько дней Нина Петровна поехала в гости к сыну Илье, который жил на окраине города, заночевала у него и на следующий день к обеду вернулась домой. Супруг её спал на диване не очень глубоким сном.
— Как там сын, внуки?
— Все живы-здоровы. Тебе передают большой привет. Ох, что я сейчас видела, Андрюша! У соседнего дома, напротив нашего, стоит большая толпа. В чём дело, думаю? Подхожу ближе и вижу: у самого подъезда лежит труп! Молодая женщина, хорошо одетая. А как получилось? Она жила в том подъезде, пошла в магазин за хлебом, а в этот момент пацаны играли на чердаке и нечаянно уронили кирпич. Он угодил ей прямо в висок. Сразу насмерть!
— Сколько ей лет? — тихим голосом пролепетал Андрей Степанович.
— Говорят, двадцать восемь лет. Двое детей остались без матери!
— Да. Нелепая, ненужная смерть. Такая молодая!.. А недавно, Нина, я прочитал в газете. Вчера в десять часов вечера прямо в центре нашего города две крупные преступные группировки устроили большую перестрелку. Разбирались между собой. Есть убитые с обеих сторон. Но дело не в этом. Случайно в этом месте оказалась девушка шестнадцати лет. Возвращалась домой от подруги. Две шальные пули попали в неё. В голову. Тоже насмерть!
— Ох, ужас какой! — чуть не застонала Нина Петровна. — Ни за что погибла деваха! Хоть задержали кого?
— Кого там! Преступникам удалось скрыться. Пока наша милиция раскачается… Сама знаешь. Но дело вот в чём. Ладно, надо вам разобраться. Взяли бы, как в старину на Руси делалось, выехали рано утром в чистое поле, где посторонних людей нету, и пуляйте друг друга сколько вам влезет! Хоть все до единого друг друга перебейте — чёрт с вами! На то вы и бандиты. Зато невиновные люди будут живы!
— Правильно говоришь, Андрюша! Лень им в чистое поле выехать, лень! А ведь машины есть

у каждого. В старину воины на конях биться в чистое поле выезжали, а эти на машинах выехать не могут! Позор, да и только!

Супруг продолжал далее:

— А возле нашего магазина хоть не каждый день, но очень часто человек восемь-десять кавказцев стоит. Что-то разбираются между собой, кричат. Ведь тоже мафия. Кто знает, что у них на уме? В любой момент могут пальбу открыть! А я и ты часто в этот магазин ходим! Хлеб там всегда свежий, мягкий такой. Вот и прилетит шальная пуля! Хлоп в лоб — нету нас! Всё.

— А ведь верно говоришь, Андрюша! Действительно, могут пальбу открыть, им всё сейчас разрешено.

— Слушай меня внимательно, Нина! Я тебе даю хороший совет. Когда пойдёшь в магазин и там будут стоять кавказцы — будь начеку! Следи за ними внимательно. В случае пальбы не медли, сразу падай на землю лицом вниз и не шевелись! Даст Бог — останешься жива!

— Поняла, Андрюша!

— А сейчас я сам схожу в магазин. Надо хлеба купить и сливочного масла.

Андрей Степанович спокойно, не торопясь, спустился в лифте на первый этаж. Мысль о женщине, убитой кирпичом, не покидала его. Он очень осторожно открыл наружную входную дверь подъезда и, медленно отойдя немного от подъезда, устремил взгляд на крышу дома. Всё было спокойно. Ласково щебетали птицы. Он не сразу заметил на скамейке пожилую соседку, которая внимательно наблюдала за ним.

— Добрый день, Андрей Степанович! Что это вы вверх смотрите?

— Здравствуйте, Ольга Павловна! — немного смутился Первушин. — Да вот любуюсь… Погода сегодня очень хорошая! Прямо замечательная! Солнышко такое яркое светит, птички щебечут, ни одного облачка.

— Да, верно, погода сегодня — прелесть! Можно полюбоваться.

Он подошёл к ней поближе и сел рядом на скамейку.

— За всю эту красоту должны мы Господа Бога благодарить, — продолжала соседка. — Он всё создал на Земле! Воду, воздух, леса, животных, моря, человека. Живи да радуйся, человече! А во всех пакостях, что на нашей Земле творятся, люди сами виноваты! Сатана их соблазняет на грехи.

— Согласен с вами, Ольга Павловна! Но хочу спросить, вы же Библию изучали. Почему Господь не дал человеку жизнь вечную? Или хотя бы лет двести — двести пятьдесят жить? Умирать ведь никому не хочется, кроме самоубийц.

— На это есть ответ в Библии. Прародители наши, Адам и Ева, не послушались совета Господа, согрешили в Эдемском саду — поели плодов с дерева познания добра и зла. Вот и не дал Господь человечеству жизнь вечную! Болезни нам дал, старость и всё прочее. Впрочем, могу вам дать Библию почитать. Там интересно обо всём написано.

— Хорошо. Немного попозже я у вас возьму эту книгу. А сейчас надо сходить в магазин.

Ещё находясь далеко от магазина, он сразу увидел кавказцев. Их было восемь человек. Они стояли около четырёх иномарок и о чём-то горячо спорили на своём языке. Первушин весь покрылся липким пóтом. Сердце учащённо забилось, во рту всё пересохло. Не спуская с них цепкого взгляда, медленно зашёл в магазин. Купив хлеба и масла, вышел наружу. В этот момент двое кавказцев быстро стали залезать в машину, двое — в другую. Остальные что-то резко стали кричать им вслед. У него всё опустилось внутри. Слегка задрожали руки и ноги. В голову била одна только мысль: «Неужели стрельба?! Неужели?» Он стоял на месте, не спуская с них напряжённого взгляда, готовый в любую секунду упасть на землю. А две иномарки резко тронулись с места и направились по городской улице. Оставшиеся четверо, спокойно и смеясь, опять заговорили между собой. Радостный и облегчённый, Андрей Степанович направился домой… С этого момента он ограничил себя во многом. Совсем отказался от спиртного, даже от пива и даже в праздники. Бросил курить, хотя и так курил очень мало. Очень редко стал навещать детей и внуков. Поездки на курорты и в дома отдыха были забыты. Старался как можно реже выходить из дома.

Правда, питался полноценно, ограничивая себя только в мясных блюдах. Чтение газеты и книг да просмотр телевизионных передач — это основное его занятие. Так он прожил два года. И всё же умер в возрасте семидесяти двух лет, в ясный, солнечный летний день, в своей квартире, на диване. В руке его была крепко зажата газета с очередным сообщением об автокатастрофе.

Постскриптум

А жена его, Нина Петровна, вела более свободный образ жизни. Умеренно, иногда, принимала спиртные напитки. Часто ездила в гости, летом — на природу и так далее. В общем, наслаждалась жизнью по возможности. Умерла она, когда ей было восемьдесят семь. Пережила мужа на пятнадцать лет. Вполне возможно, что если бы Андрей Степанович так сильно не страховал свою жизнь, то продлил бы её намного больше.

Кирилл Фролов

Надежда

Восьмое марта

Все присутствовавшие в помещении ученики иконописной артели — Тамара, бывшая председатель профкома развалившегося стеклозавода, Наталья, бывшая главная художница этого завода, сумасшедший художник Саша, просто сумасшедшая Ольга, неудавшаяся художница Надя, не очень удачливая в личной жизни Злата, юные подружки из Питера Аня и Оля, Сергей из Смоленска, отставной офицер Георгий, выпускница Строгановки Татьяна, недавно овдовевшая учительница рисования Лариса, тоже недавно овдовевшая двадцатилетняя матушка Наташа, Света, у которой муж повесился, Галина после четвёртой онкологической операции, руководитель артели Андрей, плотник Дима и Таня Смирнова, которая всегда присутствовала и всегда просто молча рисовала, — конечно же, знали и помнили, какой сегодня день, но не подавали виду, что он для них что-то значит. Собравшись, как обычно, в это утро вместе, они стали обсуждать обычные повседневные вопросы.

— У меня так кадмий быстро уходит! Не успела банку открыть — уже на донышке осталось.

— А я вот на киноварь перейти решила.

— Киноварь я тоже использую, но на мучеников всё равно много кадмия уходит.

— Кадмия всегда у Ольги много.

— Ну да, она одни крещатики да подокладницы делает, так у неё кадмий и не тратится совсем.

Ольга слегка дёрнулась и покраснела. Она уже больше двух лет была в артели, и ей было стыдно, что поручали ей только самые простые задания. Тамара, ввернувшая едкое словцо про якобы изобиловавший у неё кадмий, ненавидела её и подговаривала — по крайней мере, по мнению Ольги — врачей из диспансера, чтобы они её отравили. Георгий же, открыто озвучивший во всеуслышание Ольгин позор, ничего против неё не имел: он просто всегда говорил то, что приходило ему в голову, или то, что приходило в голову другим, когда другие не решались это озвучить. Чтобы продемонстрировать несостоятельность Тамариных обвинений в кадмиевой жадности, Ольга сделала понятный всем — по крайней мере, по её мнению — жест, который должен был каждому дать понять, что кадмия у неё не больше, чем у других, и что ей не жаль отдать его весь. Она расстегнула свою красную лавсановую кофту, распахнула её, обнажив розовую маечку в красных сердечках на худосочных грудях, подняла голову высоко вверх и зажмурила глаза.

— О-о-о! Утро начинается довольно занятно! — глядя на Ольгу, как всегда громко воскликнул Георгий. — Сразу видно: весна.

Тамара перекрестилась, закатила глаза и что-то прошептала, потом поправила косынку и деловито взяла лупу, чтобы продолжить работу с видом очень занятого человека, которого отвлекают от работы.

Следующие полчаса прошли практически безмолвно и бесшумно. Только Надя, всегда что-то говорившая, не очень громко комментировала движения своей кисти. Потом Света пошла ставить электрический чайник.

— Решила кофе попить. А то с утра давление такое высокое, что в сон клонит, — сообщила она окружающему пространству.

Из окружающего пространства донёсся тонкий голосок Ани питерской:

— А я, пожалуй, чайку попью.

Наташа достала из самодельной матерчатой сумки завёрнутое в бумагу печенье:

— Вот, угощайтесь! Это постное.

— Спаси Господи! — тоненьким голоском пропела Аня.

Постепенно к чаепитию стали присоединяться и другие. У Натальи к чаю были грецкие орехи, у Сергея курага, а Надя достала буханку хлеба и открыла трёхлитровую банку солёных огурцов.

— Кушайте на здоровье! Это самодельные, деревенские! Это Люба, моя двоюродная сестра, солила, — громко возвестила Надя.

— Спаси Господи! — снова пропела Аня и достала своей тоненькой ручкой из банки маленький огурчик; потом положила его на тоненький кусочек ржаного хлебушка и стала похрустывать этим угощением, умилённо улыбаясь.

— Мне Люба ещё сала передала, но сейчас ведь пост! — громко изрекла Надя.

— Ох, да, пост ещё долго!.. — грустно заметила Наталья.

Чаепитие продолжалось ещё некоторое время, когда Георгий вдруг достал откуда-то из-под стола

большой торт с кремовыми розочками. От удивления все замолчали, и в нависшей в комнате тишине на столе появились, одна за другой, три бутылки: сначала кагор, потом коньяк и водка. Потом Георгий выложил на стол батон варёной колбасы.

— Чего, девчонки, кислые такие сидите? Восьмое марта же!

По комнате пронёсся вихрь крестных знамений. Только Тамара и выпускница Строгановки Татьяна продолжали работать с невозмутимым видом, а Лариса сняла очки и с любопытством посмотрела в сторону Георгия.

— Так это же вроде бы не православный праздник-то! Мы же не отмечаем его! — громко подметила Надя.

— День блудниц, как говорит отец Николай, — вставила Татьяна.

— Ну так и что? Блудницы что — не люди, что ли? Вон и Христос за них заступался!

По комнате пронёсся ещё один вихрь крестных знамений, а исхудавшая и ссутуленная Галина, чья талантливая правая рука от частых и быстрых крестных знамений уже устала, покраснев, выбежала из комнаты и больше в неё не вернулась.

— Анют, хорош уже креститься-то! Давай лучше стаканы расставляй!

Аня стала креститься ещё ревностнее и, густо покраснев, повернулась к Георгию спиной.

— Ну давай я расставлю! — послышался голос Златы, которая неспешно поднялась и, сопровождаемая осуждающими взглядами, плавно пересекла комнату и взяла несколько стоявших в чайном углу кружек. — Если человек угощает, грешно ему отказывать.

— А ведь и правда, отказываться от угощения в пост — это вроде бы гордыня! — припомнила Надя и, уже предвкушая тортик с розочками, пошла расставлять тарелки.

— А я вот помню, в советские годы мы всегда Восьмое марта отмечали! В школе у нас всегда праздники проводились. Это потом уже запретили его отмечать! — снова вспомнила Надя.

— А мне муж всегда мимозы на Восьмое марта дарил, — задумчиво произнесла Света.

— Ну, я, конечно, не муж, но и мимозы имею! — продолжил череду чудес Георгий и, достав из-под стола большой клетчатый баул, расстегнул его и наполнил комнату всем известным едким благоуханием жёлтых цветов. — Дим, помоги раздать!

Это был очень сильный приём, потому что плотника Диму любили все женщины и никто не осмелился бы ему отказать. Кроме Тамары, которая продолжала с невозмутимым видом разделки на двухметровой иконе и никого и ничего вокруг не замечала. Тогда с места поднялся сам Андрей, подошёл к ней и, протянув ей веточку мимозы, сказал:

— Тамара, возьмите, пожалуйста! От всей души ведь человек дарит!

Тамара была польщена вниманием самой главной особы и, беззвучно взяв цветок, едва скрыла удовольствие под своими большими очками. Она приняла выражение лица, которое должно было дать понять окружающим, что она хоть и принимает цветы, но только потому, что сам Андрей её об этом попросил.

— А теперь, Дим, разливай! Кому красненькое, кому беленькую, коньячок? — привычным тоном отставного офицера произнёс Георгий.

— Ой, ну разве что кагорчика капельку! Пост ведь… — поглядывая на тортик, неуверенно проговорила Надя.

— Мне тоже тогда кагору, — протянула кружку Света.

— А я водки выпью, — тихо объявила Злата.

Дима и Андрей молча подали свои кружки, и Георгий налил в них немного коньяку.

— А мне нельзя алкоголь! — вскрикнула из своего угла Ольга, давая тем самым понять, что её зажмуренные глаза и покачивания головы не относятся к тортику.

— Ну это и без того всем понятно, — не удержалась Тамара.

Ольга подняла указательный палец и направила его в сторону Тамары, потом торжественно добавила, указывая на Сашу:

— Ему тоже нельзя!

— Известное дело — пост ведь! — тихо пробормотал Саша, дорисовывая крошечного Будду в уголке подокладницы и поглаживая хиленькую юношескую бородку.

— Ой, ну торт-то когда будем резать?! — вырвалось у Нади. — Неудобно же отказывать человеку — потратился ведь, угощает, от всей души! — всей душой заступилась она за разноцветные кремовые розочки.

— Может, за благословением сходить? — робко предложила Наташа.

— Никто не даст тебе благословения на празднование Восьмого марта, — отрезала Тамара.

Понемногу количество выпивающих и угощающихся тортом увеличивалось. Многие истово крестились, прежде чем положить в рот крохотный кусочек торта. Некоторые быстро захмелели, разговорились.

— Пошли мы как-то с дочерью на карьер купаться, — принялась рассказывать Надя. — Потом сфотографироваться решили. Долго-долго ходили, ракурс выбирали, фон высматривали. Наконец увидели большую баржу — проржавевшую такую, чёрную. Мужика одного попросили снять нас. Потом приходим фотографии забирать из печати, смотрим, а там над нашими головами мелом большими буквами написано: «дуры». Ой, дайте-ка я ещё кусочек тортика возьму — всё равно завтра каяться!

— А чего это, девчонки, такие тихие сидим? — прогремел Георгий и достал откуда-то магнитофон. — Танцуют все!

В этот момент Лариса молча сняла очки и стала складывать краски — обстановка полностью перестала быть рабочей.

— Ой, ну что же вы творите! Грех ведь! — взмолилась Татьяна, которая, однако, уходить не собиралась, а продолжала делать разделки одеяния.

Заиграла какая-то попса по радио. Георгий встал и пригласил Свету, которая сначала отказалась, потом, со второго раза, охотно согласилась.

Далее вскочила Ольга, схватила за руку Сашу и выволокла его в более-менее свободное кухонное пространство, после чего начала выполнять танцевальные движения, зажмуривая глаза, запрокидывая голову и прикладывая Сашины руки к своей груди.

Тамара перекрестилась и поправила косынку.

Сергей смоленский робко перебирал ногами, едва касаясь плеч Оли питерской.

Анечка в очередной раз перекрестилась и положила в рот ещё один крошечный кусочек тортика.

— А у нас ещё тут беленькая осталась! — радостно выкрикнул Георгий.

Дима и Андрей молча протянули ему кружки, потом выпили, и Андрей встал. Моложавый, стройный и изящный, он вышел на середину комнаты, сдвинул в стороны несколько столов и начал танцевать в стиле Майкла Джексона, отчего начали креститься даже самые толерантные члены артели.

— Ой, а я догадалась, почему я такая дура! — воскликнула Надя, чтобы разрядить обстановку. — Это потому, что у меня небесная покровительница — отроковица!

Миг спустя девушка с не очень удачной личной жизнью Злата налила себе чашку водки, залпом её выпила и присоединилась к Андрею. Танцуя, она извивалась всем телом, проводя руками по своим бёдрам, груди, шее, иногда наподобие трезвой Ольги зажмуривая глаза и запрокидывая голову.

— Оно так и есть: День блудниц! — холодно проговорила Тамара.

— Господи, но здесь же иконы! — взмолилась Татьяна.

Тем временем к Злате уже присоединилась немолодая, но ещё достаточно привлекательная Света. Неумело виляя бёдрами, она пыталась Злату оттеснить и прижаться к Андрею. Злата тем временем временно занялась простодушным Димой.

А Георгий, который, оказывается, успел отлучиться, шумно вошёл с тремя новыми бутылками беленькой и ещё одним кагорчиком.

— Сделайте музыку-то погромче, ё-моё!

— После того, как Злата села Андрею на шею и они вышли танцевать во двор, я уже не выдержала и ушла! — негодовала Татьяна, рассказывая впоследствии эту историю.

Кофе

Это был год, когда вдруг неожиданно повсюду исчез сахар. Сначала он просто исчез, и думали, что это временное явление, — в те годы у нас часто что-то исчезало из магазинов, а через какое-то время иногда эти наименования опять выбрасывали. Но потом отсутствие сахара затянулось, и вернулся он к людям уже по талонам. Говорили, что во всём виноваты самогонщики — они весь сахар скупили! Ну да неважно — рассказ будет совсем не о них.

Вот как-то раз в тот год играли мы с друзьями во дворе около подъезда и вдруг видим — заезжает на нашу замызганную захолустную улочку невиданной красоты огромный автобус. Его стёкла не прозрачные, а тёмные и даже немного зеркальные. Сам он чистый и ненашенский! А впереди на нём написано: «DAF». Автобус медленно и бесшумно подъехал поближе и — остановился прямо напротив нашего подъезда!

Конечно, мы в одночасье перестали играть, бабульки перестали судачить, а дедки — стучать костяшками домино по столику. Все взгляды были прикованы к чудесному автобусу.

Его дверь бесшумно и красиво открылась — и из неё вышел... наш папа!

Мы с сестрой обомлели. Как он оказался в этом автобусе?

Папа стоял, улыбаясь, — покрасневший и взволнованный. А тем временем из другой двери вышел не менее сконфуженный водитель. Папа взял его за запястье и повёл, улыбаясь, в соседний подъезд.

— Па-а-а-ап! — растерянно протянула сестра. — Ты куда?

Но он её не услышал.

Через пару минут отец вышел из чужого подъезда и зашёл в наш, всё так же таща за собой растерянного водителя. А глаза соседей тем временем переключились на нас. Но мы ровным счётом ничего не могли им ответить. Опомнившись, мы ринулись домой, чтобы узнать, что всё это значит.

Когда папа поднялся к нам на второй этаж, его тут же позвала наша соседка тётя Рая к телефону. Он только успел сказать матери:

— Ларис, это Том, он финн.

Мама удивилась, но не растерялась. Она решила, что в лице Тома к ней в дом пришла мировая слава, и тут же начала доставать из кладовки картины: свои, отцовы — без разбору, — и показывать иностранному гостю.

— Штиллебен! — громко говорила она и внимательно следила за его реакцией. — Зельпстбильднис мит регенширм!

Но поклонник только конфузливо улыбался и издавал нечленораздельные звуки.

Наконец Том догадался, что от него требуется, и поднял большой палец правой руки.

«Ну слава Богу!»—подумала моя мама.

Тем временем вернулся отец и разъяснил ситуацию:

— Он финн. Ему сахар нужен. Он пытался купить, но ему нигде не дают—талонов-то у него нет! И по-русски он не понимает. Ходил вот так по городу и банку кофе всем показывал…

Мама отправилась на кухню и достала полный пакет кускового сахара. Такие большие кубики—твёрдые-претвёрдые! Да ещё и колотые. То есть даже и не кубики, потому как четыре их стороны были правильной формы, но две другие были следами топорного скола.

Финн очень растрогался. Даже не знал, как нас благодарить. Сначала достал из кармана какую-то бумажку. Родители сначала не поняли, что это, но потом они догадались, что это, наверное, их, финская, денежная купюра, и в ужасе отшатнулись: они не валютчики! Срок мотать им совсем не хотелось.

— Найн! Найн! Гешенк!—испуганно закричала мама.

Тогда финн Том поспешно всучил ей удивительной красоты золотистую банку и ринулся вниз с мешком кускового сахару в обнимку. Отец пошёл за ним. Вокруг автобуса столпились люди—они фотографировали друг друга на его фоне.

Тем временем мама рассмотрела баночку и сделала вывод, что внутри—кофе.

Баночка была тёмненькая, но было видно, что внутри что-то вроде шариков.

— Он в зёрнах,—пояснил вернувшийся отец.—Надо ехать к Коле—у него есть кофемолка.

Коля, мой дядя, жил на противоположной окраине нашего не очень большого, но сильно вытянутого вдоль Волги города. Кто из Твери, тот поймёт, что значило в восьмидесятые добраться с Силикатки в Мигалово. Это было долго: сначала ждать трамвая, потом долго ехать на нём до центра, потом опять ждать трамвая, потом опять долго ехать.

Такие поездки для нас были событием, и осуществляли мы их не особенно часто. Но тут вот ведь какой удобный случай представился! Мы можем угостить наших родственников настоящим кофе из заграницы! Только сначала его перемолоть надо.

Коля нас не ждал, но был нам рад. Мы, как всегда, явились без предупреждения, потому как ни у нас, ни у него в то время телефонов не было. Но ведь не с пустыми же руками мы пришли!

Сразу достали кофемолку, засыпали в неё содержимое банки, включили… Но вместо обычных визжаний, скрежета, стонов и воплей кофемолка издавала только тихое равномерное жужжание. В чём дело? Коля (он хорошо учился по английскому в политехе) прочитал на банке:

— Гранулес, ё-моё! Он уже перемолотый, но только в гранулах!

— А-а-а!.. Ну ничего себе финны придумали!

Пошли кофе заваривать.

— Нас четверо. Не считая детей. Детям чисто символически,—рассуждал отец.

— Да сыпь ты всю банку, ё-моё!—воскликнул мой импульсивный дядя.—Чего тут пить-то? Баночка-то маленькая!

Высыпали содержимое банки в чайник, залили кипятком. Подождали чуток. Пошли накрывать на стол.

— Я кормящая, мне чуть-чуть!—сказала Галя, Колина жена.

— А мне-е-е-е?!—завопил я.—Мне же тоже хочется попробовать!

— Десять лет—уже можно чуть-чуть дать,—рассудили родители.

Сестре налили компоту.

Кофе всем понравился. Взрослые его долго пили и оживлённо разговаривали, то и дело обнимая желтоватый стан гитары.

— Я, главное, хватаю его за руку и тащу на остановку—там как раз «девятка» подъезжала. А он упирается, не идёт, мычит. Смотрю—а он мне на автобус свой показывает. Дескать, в автобусе в этом поедем!

— А мы с подругой на третьем курсе однажды австрийцев встретили. Мы в Москве тогда были. Гуляем такие по набережной, вдруг подходят две тётеньки средних лет. Они у нас спрашивают что-то по-английски. Вроде бы, типа того, не знают, как к гостинице пройти. Ну, Светка им показала, в какую сторону идти.

— А у нас на курсе двое парней из Сенегала учились. Такие все чёрные-пречёрные, ё-моё, а ладони светлые.

— У них, говорят, и ступни тоже светлые.

— Ну, ступни у них я как-то не разглядывал.

— Приятный такой кофе. От него аж даже дышится так легко!

Это был приятный, радостный летний вечер. Но он подошёл к концу. Довольные и полные впечатлений, мы снова сели в трамвай и двинулись домой. Придя домой, мы с сестрой сразу же разделись и заснули—мы очень устали за этот долгий-предолгий день.

Ночью я внезапно проснулся и увидел, что в комнате горит ночник, а на краю дивана сидит отец. Его руки скрещены на груди, и сидит он в полусогнутом состоянии.

— Саша, я умираю,—говорит ему из постели тихим и даже спокойным голосом моя мама.

Но отец не обращает на эти слова никакого внимания. Лишь через несколько минут он выдавливает из себя едва слышным хрипом:

— Ко-фе... Где... бан-ка?..

Красивую баночку мама взяла с собой. Потом ещё лет пятнадцать эта баночка хранила в себе то чай, то соль, то пряности, украшая собой кухонный шкафчик.

Я быстро сбегал за ней.

— Прочти! — выдохнул отец.

Я закончил четвёртый класс с пятёркой по английскому, но на этой банке была лишь одна фраза, которую я способен был понять: «55 cups».

Отец повернул голову по направлению к матери. Потом, схватившись за дверную ручку, с усилием встал и побрёл в ванную. Через какое-то время мать попросила меня помочь ей встать и последовала за отцом.

Когда на улице забрезжил рассвет, я увидел в окне две фигуры, крепко вцепившиеся друг в друга. Это были мои родители. Они устало и осторожно бродили по дорожкам нашего двора. Так они бродили всю ночь, пока не стало совсем светло и люди не начали выходить из подъездов, торопясь на работу.

«Какая чудесная пара!» — умилилась про себя тётя Рая, выглянув рано утром в окно.

На даче

1.

Автобуса ждали долго, занимали очередь заранее, чтобы достались сидячие места. Ехали тоже долго. Автобус был набит битком людьми с вёдрами, корзинами, лопатами, сумками-тележками. По пути было несколько остановок: Исаевский ручей, Змеёво, Пуково (очень смешное название!)... Но на них почти никто не выходил: почти все вышли вместе с нами. И сразу все направились друг за дружкой по широкой грязевой дороге.

— Мы там не пойдём, — сказала моя бабушка. — Пойдём через лес. Так короче.

Сначала мы шли по деревянным шпалам однопутной железной дороги, по которой никогда не ходили поезда.

— А нас поезд не задавит?

— Её ещё не запустили.

Значит, наверное, не задавит.

— На вот веточку, слепней отгоняй, а то укусят.

А как они выглядят-то хоть, слепни эти? А то я и не знаю, кого отгонять-то...

— Здесь поворачиваем. Через лес пойдём. Запомни, Кирюша, на всю жизнь: лес любит внимательных. В лесу надо быть внимательным и серьёзным. Помнишь, мы проезжали деревню Змеёво? Так вот она недаром так называется — здесь гадюки водятся. Поэтому в лесу надо всегда находиться в резиновых сапогах! И под ноги смотреть. А если увидишь гадюку под ногами, остановись и подожди, когда она уползёт и скроется из виду.

Я испугался и начал смотреть под ноги.

— Глянь, какие сыроежки красивые!

И бабушка показала мне несколько грибов с розовыми шляпками. До этого я видел грибы только на картинках. Бабушка аккуратно отщипнула их, оставив краешек ножки в земле.

— Это чтобы грибницу не повредить. А то грибы выведутся в нашем лесу.

Мы шли по узенькой, еле видной тропинке. Лес шумел и кипел пеньем сотен птиц и хрустом валежника под ногами. Иногда слышалось, как ветер раскачивает кроны деревьев над головой.

Я то и дело оглядывался по сторонам: ведь в книжках детских всегда пишут о том, что в лесу полным-полно всяких зверей — зайцев, белок, ежей, лис, медведей, волков...

— Бабушка, а на нас волки не нападут?

— У нас тут нет волков. Только змеи.

Вскоре лес закончился: впереди засветлел дачный посёлок.

— Наша улица — Яблоневая. Пятый участок от начала. А вот эти межи — границы участков.

Я с любопытством смотрел по сторонам. Дачный посёлок, который мне раньше представлялся деревенькой из детских книжек, был довольно неказистым: некрашеные бревенчатые хатки стояли среди травяных полян с кое-где торчавшими пнями, перемежавшихся с небольшими грядками.

— Вот мы и пришли. Сейчас откроем хату и затопим печку, чаю попьём. Сходи пока вон на ту грядку, ягоды поищи!

Ягод никаких не было — только овальные, с зазубринками, листья какой-то травы и беленькие цветочки.

— Бабушка, тут нету ягод!

— Это ты смотришь неправильно! Нужно листочки вот так вот отгибать и смотреть. Вот же они, ягоды!

И правда, ягоды там были. Клубника. Только не красная, как бабушка с дачи привозила, а почему-то белая. И несладкая совсем.

— А зелёную не рви ягоду! Если только красную найдёшь!

— А тут нет ни красных, ни зелёных. Только белые.

— Ну так белые — они и есть зелёные. А вот эта вот уже розовая — её можно есть.

Ну да, эта сладковатая.

— А где же ключи-то мои? В сумке нет... Может, где в кармане?..

Бабушка стала вынимать из сумки разные вещи — помаду, очки запасные на резинке, кошелёк, много-много билетиков автобусных, мятный леденец («На, съешь!»), таблетки, бумажки с какими-то цифрами, листочки из отрывного календаря...

— Эх, вот ведь бабушка старенькая совсем стала, склероз у бабушки совсем! Ключи-то я дома забыла. Придётся через подполье пролезать.

— Это как это?

— А вот помогай мне сейчас дрова отсюда вынуть. Потом мы под домом подползём и подполье откроем.

Сруб хаты стоял на четырёх вертикальных брёвнах-сваях, так что хата возвышалась над землёй примерно сантиметров на семьдесят. Пространство между сваями было плотно заложено дровами.

Я стал помогать бабушке вынимать дрова. Я брал по нескольку деревяшек и относил в сторонку. Потом мы, наконец, расчистили достаточно места для нас двоих, легли на землю и поползли на брюхе.

Ползать на брюхе я умел — мы часто в войнушку во дворе играли, подползали к воображаемому немецкому блиндажу и бросали туда каменную гранату. Маме обычно не нравилась эта игра — после неё надо было сразу стирать одежду. А тут вот оказалось, что умение это очень даже полезное.

Но бабушка ползла быстрее меня, и я стал приподниматься и вставать на коленки, чтобы её догнать. Вдруг я случайно коснулся её груди. Я знал, что у женщин грудь мягкая, но у бабушки она была почему-то не очень мягкой. Я спросил её об этом.

— Осторожно, смотри головой не ударься!

И тут же я ударился головой — слишком высоко поднялся.

Я на минуту задумался, не заплакать ли мне от боли, но тут бабушка сама приподнялась и, упёршись завитой головой и руками в какую-то квадратную деревяшку, приподняла её над собой.

— Ну, вот мы и пришли. Поднимайся. Сейчас печку топить будем.

Бабушка помогла мне выбраться из подземелья. Когда я оказался наверху, то заметил, что правая грудь у бабушки почему-то оказалась ниже левой. Она отошла в угол, закрыла занавеску за собой, а когда вышла, обе груди её были уже на своих местах.

— Пойди принеси сюда дров посуше. Сейчас печку топить будем.

— Ой, а можно я сам её разожгу?

— Нет, детям нельзя по технике безопасности. Только посмотреть вот отсюда можно.

Бабушка открыла дверцу чёрной железной печки, засунула туда скомканную газету, зажгла спичку и поднесла её к газете. Бумажный ком быстро разгорелся жёлто-оранжевым огнём.

— Ну вот, а теперь дровишки подавай!

Я протянул бабушке деревяшку, принесённую с улицы.

— Не, эта сырая, не пойдёт. Принеси посуше.

Я принёс ещё. Покрасивее выбрал. Но огонь в печке уже погас, и бабушка пошла искать ещё газету.

— Эта тоже сырая. Дай я сама найду посуше. Вот, смотри. Видишь? Эта вот трухлявая и сухая, она быстро разгорится.

Наконец печку затопили, и мы вышли на улицу смотреть на дымок, идущий из её трубы.

Потом мы с бабушкой сходили к колодцу — глубокому, с гулким эхом внутри. Набрали воды два ведра и ещё маленькое пластмассовое ведерко для меня. Из одного ведра налили воды в большой чайник и поставили чайник на печку. Чайник долго не закипал. Когда он закипел, бабушка вышла на улицу, нарвала какой-то травы, запихала её в заварочный чайник и залила кипятком. Потом достала из сумки-тележки батон и кусок масла, пачку печенья и пакет с пряниками. Открыла банку варенья, расставила чашки, и мы сели пить чай.

— Бабушка! Хорошо-то как! — закричал я и захлопал в ладоши.

— Когда я ем, я глух и нем, — ответила бабушка, намазала масло на кусок батона и протянула мне.

— Бабушка, а сколько тебе лет?

— Сорок пять.

И, подумав, тихонько добавила, глядя в окно:

— Ягодка опять…

2.

В семидесятые и восьмидесятые годы в нашей стране стал развиваться новый земледельческий культ — культ виктории.

— Я уже семь вёдер виктории у себя собрала, — рассказывает бабушка.

— Ой, как я рада за вас, Марья Николаевна! — говорит изнывающая от чёрной зависти соседка.

Она бы и рада соврать про свои вёдра, но заборов у нас ещё нет, всё на виду.

— Она подпорки не ставит. Вот у неё и гниют ягоды, — рассказывает позже за ужином бабушка. — Недаром пословица есть: как потопаешь, так и полопаешь.

Вкус и аромат ягод я почти не помню, а вот прополку грядок мне не забыть никогда.

— Мокрицу можно на меже оставлять, а осот и пырей надо в ведро складывать. Уних корневища, я их потом сжигать буду.

На море летом мы не ездили — надо было за клубникой ухаживать. А когда мы уезжали в Кишинёв, к другой моей бабушке, которая не жала и не сеяла, бабушка Маша делала серьёзное лицо и поджимала губы:

— Что ж, ладно, я сама управлюсь — не впервой.

Как-то раз, когда мама рассказывала своим подругам о даче, она произнесла непонятное слово «барщина».

— Мам, а что такое «барщина»?

— Это вы по истории проходить будете.

Но семейный долг — он и есть долг, и вот мы втроём, с мамой и сестрой, едем на дачу с корзинами, корзинками и вёдрами — собирать клубнику.

Был будний день, и бабушки с дедушкой на даче не оказалось.

И только мы зашли в хату, за окном полил дождь, который никак не хотел прекращаться.
— Мам, давай печку разожжём, чаю попьём!
— Ой, я не умею!
— Зато я умею!
— Нет-нет, нельзя, это опасно. Можно угореть. Мы так посидим.
— Ой, ну скучно же! Делать же нечего! — заныл я.

Сестра взяла с собой куклу и игрушечную лошадь и уже играла в них, а я уже был слишком взрослым для игрушек.
— Надо было взять что-нибудь почитать с собой. Почему не взял? Ну, поищи, может, здесь какие-нибудь книжки есть.

Я начал искать. Нашёл только три книжки: «Ольга Форш. Повести и рассказы», «Слаборослый интенсивный сад» и «Болезни плодов при хранении». Первые две мне показались скучноватыми, а третью, самую тонкую, я довольно быстро прочёл. И снова стало скучно. Дождь не прекращался.

Тогда я снова стал искать книжки. И набрёл на большой деревянный сундук. Я открыл его, а в нём было много разной старой одежды.
— Ой, мама, смотри! Это же моя старая футболка! Помнишь её?
— Ух ты! А это что? Узнаёшь? Это твоя распашонка!

В сундуке также было много другой одежды: кроме старых детских футболок и распашонок, там были какие-то платки, панамки, платья, колготки, юбки, занавески, белые полотенца и скатерти с вышивкой, а также много разных лоскутов и кусков непонятно чего.
— Мам, а это что?
— Подштанники.
— А это?
— Это? Просто отрез.

Когда сундук оказался пустым, мы с сестрой начали надевать на себя всё подряд, заворачиваться в платки, отрезы и куски тюля и грациозной походкой выходить на середину хаты, распевая: «Мода восемьдесят семь! Мода восемьдесят семь!»
— Я старая-старая бабушка! — кричал я, закутавшись в несколько платков и повязавшись куском валявшейся рядом бечёвки.
— Я тоже старая-старая бабушка! — радостно смеялась сестра, замотанная в занавеску, и, сгорбившись, вышла на подиум, опираясь на воображаемую клюку.
— А я Алла Пугачёва! — верещал я, нахлобучив, помимо всего прочего, какую-то немыслимую панаму.
— А я София Ротаровна! — кричала сестра.
— А я старый-престарый дед! — на этот раз мне попалась дедушкина побитая молью фетровая шляпа.

Мама смотрела на нас и смеялась.

Дождь стих уже ближе к вечеру. Увидев это, мама торопливо собралась, схватила сестру за руку, и мы, едва успев на ходу сорвать и запихнуть в рот несколько крупных красных ягод, быстро двинулись с пустыми корзинами по широкой грязевой дороге, чтобы не опоздать на последний автобус.

3.

— Прежде всего надо урожай сейчас собрать. Вот тебе ведро, собирай яблоки, которые под яблонями осыпались.

Яблоки, лежавшие под яблонями, были подгнившими, побитыми или червивыми. Все красивые яблоки висели наверху. Но делать нечего — бабушку надо слушаться.
— Собрал? Вот умница! А теперь можешь взять плодосъёмник и вон те с веток посрывать. Только смотри, рви только спелые.

Я начал орудовать плодосъёмником.
— Чего ж ты зелёные-то срываешь? — подключился дед. — На этой яблоне ещё повисят!
— Мне так бабушка сказала.
— Ма-а-аш! Ты зачем Кириллу велела антоновку собирать? Мы же её в сентябре снимаем!
— Да какой в сентябре? Она уже сейчас спелая!
— Да какая же она спелая? Она ещё вся зелёная! Пусть лучше на мелбу идёт!
— Мелбу я сама потом соберу! А ты, Кирюша, зачем зелёную рвёшь? Ты смотри, какая уже пожелтела!

Пока бабушка с дедушкой выясняют, какие яблоки уже пора срывать, я нахожу подходящую палку для борьбы с врагами. Я начинаю махать ею и прокалывать воздух. Враги корчатся, падают на грядки и извиваются в агонии.
— Кирюш, а ты чего это разыгрался? Сначала яблоки собрать надо! Делу время — потехе час!
— А какие собирать-то?
— Мелбу сначала! — вступает дедушка.

Бабушка задумывается.
— На-ка лучше вот грабли возьми, листья под яблонями посгребай. Вот так!

Бабушка показала, как надо сгребать листья, и передала мне грабли.
— Только осторожно, на землю их не бросай, но самое главное — на острое не наступай. И запомни: никогда нельзя наступать на грабли!

День был солнечным и знойным, а под яблонями была тень, и поэтому орудовать граблями было даже приятно. Несколько яблонь росло недалеко от улицы, и мне было приятно, что редкие прохожие замечали меня, занятого таким взрослым делом.
— Ах, Кирюша, ах, молодец! Всё собрал — да как чисто! Давай отдохни теперь!

Я двинулся было за палкой, чтобы продолжить сражение, но бабушка решила, что мне пора искупаться.
— Я тут тебе водички на солнце нагрела. Вон там — видишь корыто? Можешь прямо тут, на солнышке, искупаться.

Я разделся, огляделся по сторонам, убедился, что с улицы меня не видно.

Сел в корыто, наполненное приятно-прохладной водой, и начал смотреть на себя в воде. Чуть выше причинного места я обнаружил три маленьких чёрных волоска, которых раньше не было. «Наверное, скоро будет как у папы»,— рассудил я.

А само это место отвердело и уверенно поднималось над поверхностью воды. «Отчего это?»— подумал я. Раньше тоже так иногда бывало, но только если в туалет сильно хочется. А сейчас в туалет совсем не хотелось. Я попытался опустить его рукой, но он ещё больше отвердел, а по ногам пошли мурашки. Я снова с тревогой огляделся вокруг, не наблюдают ли за мной бабушка с дедушкой.

«Господи, а вдруг это теперь на всю жизнь?!»— с тревогой пронеслось у меня в голове.

Старая дача

Открывая
дверцу сарая,
перебираю
тяпки, лопаты и вилы.
Вон там в углу— палка.
Помню, в детстве играл ей, как саблей,
но строгая бабушка её убрала и выдала грабли.
И говорит: «Поди листья под яблонями посгребай,
но— осторожно!— на острое не наступай!»
Расставаться с палкой
мне было жалко,
а теперь жаль мне папку
и бабкину молодость жалко.
А вон и старое жестяное корыто!
Оно, как в «Федорином горе» почти, всё побито.
Ты помнишь, старушка моя, как сажала меня в него
и умещала всего?

Надежда

В тёплую погоду они могли сидеть на лавочках у подъезда целыми днями, пока их мужья— если ещё были живы— стучали доминошными костяшками по столу в дворовой тени. Провожали оценивающими взглядами всех входящих и выходящих— ну, это как водится.

Пару раз в день они вставали, образовывали подобие цепи и шли прогуливаться: медленно покачиваясь на искорёженных артритом ногах, передвигаться к концу асфальтированной дорожки вдоль дома, потом медленно разворачиваться и следовать по тому же маршруту в обратном направлении. В зимние сумерки, закутанные в тёмные пальто и серые пуховые косынки, они напоминали пингвинов.

Иногда они ходили друг к другу в гости: посидеть около соседнего подъезда, посмотреть на других соседей— в общем, внести свежую струю в каждодневный поток впечатлений.

— Вот ты мне Раю хвалила, а я зашла к ней, а у ней прямо в прихожей пыль по углам лежит.

— Смотри, малая Смирнова никак с новым мужиком идёт?

— Да нет, это не новый, они уже второй год ходят.

— А мне кажется, что тот похудее был…

— Ну так поправился! Небось, зарабатывать больше стал— мастером-то! Или подворовывать…

Иногда кто-то из них, приближаясь к дому со стороны трамвайной остановки, громко выкрикивал:

— В «Юности» «Персоль» выбросили!

Тогда все поднимались со своих мест и шли домой за сумками и кошельками: надо ехать в «Юность», хороший отбеливатель второй раз не предложат.

Состав лиц годами не менялся. Но по прошествии десятилетий вдруг обнаруживалось, что кого-то из завсегдатаев этих посиделок давно не видно. Потом ещё кого-то. Постепенно замечаешь, что они начинают собираться на одной лавочке со всего дома. Потом к ним примыкают старухи из соседней пятиэтажки. А через некоторое время среди бабок замечаешь лица молодых женщин… Ну как молодых— тех, что лет двадцать-тридцать назад проходили сквозь осуждающие взгляды под ручку со стройными и задорными хахалями, постепенно занявшими места за унылым доминошным столом или просто места на кладбище.

Среди бабок из наших пятиэтажек при силикатном заводе не было мохеровых беретов, не говоря уже о полуистлевших нэповских горжетках: в большинстве своём они вышли на пенсию из цехов или колхозов.

В своё общество они принимали не всех. Зою из семидесятой, например, презирали, потому что у неё якобы было два инфаркта и два инсульта, после которых она не выходила из дому, но преспокойненько обозревала окрестности со своего балкона. «Симулирует»,— считало общество: уж больно бодро она выглядела, когда стояла вот так вот на балконе и поплёвывала лузгой.

А ещё Зоя заставляла свою восьмидесятипятилетнюю мать целыми днями собирать бутылки. Та ходила с клюкой по окрестным дворам, что-то бормотала по-карельски своим беззубым ртом и в общество тоже была не вхожа.

А Лидия Петровна как-то проболталась, что во время оккупации работала в продуктовом магазине. Слух пошёл, прошёл несколько кругов и, как следует исказившись, вывел Лидию Петровну в роли бухгалтерши при гестапо. С тех пор, как только несчастная старушка присаживалась на лавочку, чтобы обсудить последние известия, все остальные друг за другом вставали и уходили домой— у кого холодец на плите стоял, у кого тесто на столе… Кому ж охота с фашисткой на одной лавочке сидеть?

Баба Катя не входила в общество, потому что сидела. Конечно, сидела не одна она — Ольгу Петровну, например, подруга подставила, а Марья Алексеевна, по слухам, мужнину вину на себя взяла. И сидели они давно и ничем от других особо не отличались. А баба Катя непрерывно курила самые дешёвые папиросы, а то и самокрутки из газет и самосада, так же непрерывно кашляла, громко харкала, сплёвывала и сморкалась, а когда в клумбе под её окнами начинали драться кошки, она хватала камень или палку и, громко и хрипло матерясь, запускала в них.

С Галиной Ашотовной было всё ясно: чёрные глаза, чёрные (хоть и крашеные) волосы, золотые кольца, серьги и зубы — наверняка еврейка (если, прости Господи, не цыганка).

А вот за что они недолюбливали Надьку из семьдесят четвёртой, понять было трудно.

Надька родилась в маленькой деревеньке, которая в войну сгорела. В конце войны, ещё совсем молоденькой, приехала в Калинин и устроилась на текстильную фабрику. Через десять лет она стала глохнуть от грохота ткацких станков и перебралась на недавно построенный силикатный завод, на котором и проработала до пенсии.

Но на пенсии ей было скучно. В конце апреля она начинала ходить в лес за сморчками и так ходила по грибы да по ягоды до поздней осени. Походы за грибами Надька перемежала рыбалкой. В погожие дни она рано утром вылезала из подъезда в болотных сапогах, брезентовой робе и плотной косынке и, держа в руках корзину или удочку, громко восклицала:

— Ну чего вы тут расселись-то, ё-моё, как лахудры?! Сходили бы хоть за грибами — гляньте, какая погода хорошая!

Она спускалась по своего пятого этажа, громко топая и криком переговариваясь со своим тогда ещё живым мужем, сопровождаемая звонко лающим Шариком. Иногда попутно звонила в двери, приглашая составить компанию в очередном походе на природу. Звонила по нескольку раз подряд, потому что не слышала звонка.

— Ну чё, Кирилл, не пойдёшь? А чего так? Всё равно же дома сидишь!

Со временем мужа не стало, Шарика сменила маленькая коротконогая Каштанка, которую Надежда Ивановна водила на поводке. Да и походы в лес стали менее заметны окружающим.

Но время всё равно продолжает идти вперёд. И я уже едва узнаю в редких бабках на лавочке прежних профурсеток.

А Надежду Ивановну я уже много лет не вижу. Она жива вообще? Вроде бы на венок не собирали, но мало ли…

— К ней внучка заходит, продукты приносит. Сама-то она уже давно не выходит, только на балконе гуляет. На пятый этаж ей уже не взобраться.

А время всё продолжает идти. И для Надежды Ивановны в том числе.

Пожалуй, всё? Что тут ещё напишешь? Вроде бы и так всё ясно.

Но осталось ещё одно воспоминание.

Двадцать с лишним лет назад утонул мой отец. Ему было сорок лет, он был силён, энергичен, здоров и моложав, и нам всем почему-то казалось, что он обязательно доживёт как минимум до девяноста.

Мать не хотела вставать с постели. В последующие сутки (а может, и больше) она часами лежала и рыдала. Когда она начинала взвизгивать и задыхаться, я плескал ей в лицо холодной водой. А сказать ей мне было нечего, кроме нелепого и фальшивого «не надо, не плачь».

И тут вдруг раздался многократно повторяющийся звонок в дверь. Надежда Ивановна вошла и села на мамину кровать. И громко заговорила:

— У меня вот в семьдесят восьмом сын погиб на заводе. Я тоже тогда жить не хотела. Стою я над гробом и думаю: «Ну почему он там, а я здесь? Зачем я здесь?» Ну а что поделаешь? Ларочка, надо вставать. Надо жить дальше.

Мать на мгновение затихла и хрипло произнесла:

— Зачем?

— А Бог его знает! Просто надо, и всё! Там дальше видно будет, зачем…

Пенсия

— Лидия Ивановна, вам же уже семьдесят. Мы все признаём ваши заслуги, мы всегда ценили вас как высококлассного специалиста… И студенты вас любят… Но, как говорится, пора уступить дорогу молодым.

Услышав эти слова, Лидия Ивановна сначала молчала несколько минут, одновременно понимая и не понимая, что ей говорят. Слова будто застревали в толще воздуха, вязкой, как кисель. Она несколько раз прокрутила в голове услышанное, и только после этого до неё дошло, что её решили вышвырнуть с работы.

— Но, позвольте, сейчас ведь середина учебного года… Куда же я пойду?

— Как куда? На пенсию! — брякнула Смирнова, бывшая троечница, затем бывшая лаборантка, которую лет двадцать назад взяли на полставки замещать второй язык у заочников, и с тех пор она стала подниматься по карьерной лестнице, защитилась даже.

А, ну да, конечно, на пенсию. Куда же ещё?

«Но куда же мне теперь?» — подумала Лидия Ивановна.

— Лидия Ивановна, мы все ценим вас как специалиста. Многие вас помнят ещё со студенческой скамьи… — продолжала Зарецкая. — Но, согласитесь, возраст…

«Но ведь и ты не майская роза!» — подумала Лидия Ивановна.

— И потом — вы же знаете новые требования по поводу остепенённости педсостава... — Зарецкая словно прочла на лице Лидии Ивановны её мысли.

Ну конечно, старший преподаватель — никто. Никому не интересно, как и чему ты учишь студентов в аудитории. Никто не спрашивает, насколько ты владеешь английским. Главное — корочка.

— На ваше место мы планируем взять молодого, но весьма перспективного специалиста Митину Анну Юрьевну. Все мы помним Анну Юрьевну ещё студенткой. В мае Анна Юрьевна с успехом защитила диссертацию в Московском лингвистическом университете имени Мориса Тореза, а в октябре получила подтверждение о присуждении ей учёной степени кандидата филологических наук.

Лидия Ивановна сначала вообще не заметила Аню Митину, когда входила в аудиторию. Но вот девушка привстала, едва заметно кивнула, и ей все стали хлопать.

Да, действительно, Аня язык знает неплохо. И произношение у неё хорошее — она год жила в Америке перед поступлением. А Лидия Ивановна так ни разу и не пересекла границ Советского Союза. Так и не видела ни Тауэрского моста, ни Биг-Бена, ни Трафальгарской площади.

— Конечно, дорогая Лидия Ивановна, нам нелегко было принимать это решение, зная о вашем отношении к работе, о том, как вы болеете за результат... Но обстоятельства бывают сильнее нас...

«Но, может, хоть на полставки? Хотя бы заочников?»

— ...К тому же, — продолжала читать мысли Зарецкая, — было распоряжение ректора по возможности не дробить ставки... И второй неприятный момент: со следующего года сокращается набор на заочное отделение, а в перспективе его, скорее всего, закроют. Собственно, оно и понятно: как можно заочно учить иностранный язык?

— У меня полгруппы деревенские училки! У некоторых по двадцать лет стажа! Где им высшее образование получать? Безобразие! — облегчённо, не глядя в сторону Лидии Ивановны, вскричала Роза Павловна, и все с удовольствием переключились на новую, гораздо менее болезненную тему.

Бредя домой по серым сумеркам, перебирая ногами по смешанному с песком снегу на тротуарах, Лидия Ивановна никак не могла как следует осмыслить произошедшее. Сказанные слова снова и снова без изменений вертелись в голове и мешали ей думать. Мешал ей и сдавливающий горло комок. Одновременно очень хотелось домой — чтобы наконец как следует поплакать — и не хотелось входить в пустую квартиру, где никто, кроме телевизора, не сможет её утешить.

По телевизору сразу же показали парализованную старуху, капризно звонящую в колокольчик, и подбегающую к ней недовольную Чурикову. Сейчас начнёт на неё орать — Лидия Ивановна уже видела этот фильм.

Выключив телевизор, она заварила себе кофе и села, наконец, плакать. Но уже через пять минут ей показалось, что всё не так уж и страшно: ведь можно же, в конце концов, поговорить с Аней (Аня училась в её группе первые два года) — может, она и сама не захочет за эти гроши целую ставку тянуть. И потом — есть же ещё две недели до конца месяца. Их она должна как следует отработать. Сегодня же вечером надо проверить тетради, перечитать домашнее чтение, составить квиз... А там видно будет.

В течение следующих двух недель настроение Лидии Ивановны то и дело менялось. То ей казался тот разговор на заседании кафедры всего лишь страшным сном, не способным повлиять на её жизнь, то охватывала паника при мысли о приближении пятницы, двадцать восьмого февраля, когда она должна будет попрощаться со своими ребятами и представить им нового преподавателя. Она постоянно прокручивала в голове свою прощальную речь, меняя слова, паузы, акценты. Продумала, что наденет в то утро: синий костюм, который купила себе пятнадцать лет назад, с первой пенсии, бирюзовые бусы, которые подарила ей бабушка в день вручения диплома, и, возможно, расшитую красным и золотым бисером брошку в форме сердца, подаренную ей двадцать три года назад её студентами на Восьмое марта. Хотя красная брошь на синем костюме не очень... Но красное платье уже нельзя надевать — оно уже совсем износилось. И брошку на нём видно не будет.

В ближайший воскресный день Лидию Ивановну охватила тоска. С ней часто такое случалось, когда она была полностью готова к занятиям, но в это воскресенье тоска усилилась тревогой от приближения неизбежной беды. Притворившись, что ей надо сходить в магазин, Лидия Ивановна поспешно оделась и вышла из квартиры. На лестнице ей встретилась соседка по площадке, грузно поднимавшаяся по лестнице с хозяйственными сумками.

— Марь Паллна, а что вы делаете всё время?

— В смысле? — не поняла вопроса Лидии Ивановны её соседка.

— Ну, вот вы же уже давно на пенсии. А что вы делаете на пенсии?

— Ну как? — задумалась Марья Павловна. — Живу. В магазин хожу, готовлю, убираюсь в квартире, телевизор смотрю. И потом — к сыну езжу, к внучке, с правнуками сижу иногда.

Понятно. У Лидии Ивановны дочь уже сама закрашивает седину. А внучка школу заканчивает. Они живут в Москве. Когда внучка была

маленькой, она любила общаться с бабушкой, они часто вместе играли, гуляли, заходили в кафешки мороженое есть. Теперь у Лизы своя жизнь, много друзей. Она рада видеть бабушку, но говорить им теперь особенно не о чем.

Но вот и настал тот самый день. Сегодня две пары. День очень красивый: накануне выпал свежий снежок, а сегодня светит яркое солнце. На перемене ребята говорят о предстоящей вечеринке—у Светы Егоровой завтра день рождения. Когда-то Лидию Ивановну студенты тоже приглашали на свои вечеринки, но это было давно.

За пять минут до конца пары Лидия Ивановна задала домашнее задание и молча оглядела своих последних студентов. Какие они молодые и красивые! Даже дурочка Жиляева вызвала в ней в эту минуту волну тепла и материнской любви.

«Жаль, что Олега сегодня нет». Олег был самым умным и способным в её нынешней группе, и когда Лидия Ивановна готовила свои прощальные слова, она представляла перед собой именно его.

— Дорогие ребята,—произнесла она торжественно.—Это наше последнее с вами занятие. Мне очень нравится вас учить, иногда даже спорить, но время есть время…

— Вы что, на пенсию уходите?—перебила её Маша Ткаченко.

— Да,—Лидия Ивановна от неожиданности сбилась и забыла, что хотела говорить дальше.

— А кто у нас вести будет?

Лидии Ивановне показалось, что совсем никто не огорчился её уходу. Она очень разочаровалась, расстроилась и даже обиделась, но виду не подала. Вдохнув поглубже, Лидия Ивановна продолжила заготовленную речь, но голос дребезжал, звучал как-то тихо и глухо, язык заплетался, а в самом конце вместо «Будьте счастливы!» она почему-то ляпнула:

— Будьте здоровы!

«Да что им до какой-то старухи? Они молоды, им хочется радости, веселья… Завтра весна. Они все в мыслях о завтрашней вечеринке»,—успокаивала себя по дороге домой Лидия Ивановна.

Она шла привычной дорогой, машинально, отгоняя от себя мысль о том, что с понедельника ей по этой дороге ходить уже не надо будет. В какой-то момент она увидела перед собой совсем старую старуху—в валенках и калошах, чёрном драповом пальто с чёрным каракулевым воротником и серой пуховой косынке, с матерчатой сумкой в одной руке и палкой в другой. Старуха месила валенками перемешанный с песком снег и, опираясь на палку с резиновым наконечником, перемещалась в пространстве сантиметровыми шагами. Поравнявшись с ней, Лидия Ивановна невольно повернулась, чтобы разглядеть её лицо. Старуха остановилась и повернула голову в сторону Лидии Ивановны.

«О Боже! Васильковская!—поразилась Лидия Ивановна.—Она ещё жива? Но ей же за девяносто!»

— Здравствуйте, Ида Львовна! Вы меня помните?

— А! Лидочка! Ну конечно, помню! Как дела у вас? Всё так и работаете у нас на кафедре?

— Сегодня вот последний день отработала,—ответила Лидия Ивановна, и ей снова стало больно и захотелось плакать.

Васильковская вела теорграмматику ещё у Лидии Ивановны. Лет чуть ли не тридцать назад она уснула на семинаре. Студенты стали смеяться и постепенно разошлись—потихоньку, чтобы не будить старушку. Но слух об этом стал ходить по факультету, и Иду Львовну «ушли» на пенсию. Несколько раз после этого она ещё приходила в университет—на юбилей профессора Ройзмана, потом на его похороны, на юбилей факультета… А потом все о ней забыли. А она, оказывается, ещё жива.

— Ну что ж, Лидочка, такова жизнь, ничего тут не поделаешь. На пенсии тоже жить можно. Учеников себе возьмите. Я вот хоть книжки стала на пенсии читать—а то всё руки не доходили.

Заходящее солнце уже почти по-весеннему освещало дома, деревья, снежно-песочное месиво, поблёскивало в толстых очках старухи.

— Лидочка, а вы в гости ко мне заходите! Я вон в том розоватом доме живу, на втором этаже, шестая квартира, три звонка.

— Приду. Обязательно приду.

Анатолий Арефьев
Остров Детства

Осипу Мандельштаму

Оставшиеся в памяти слова
ещё живут, ещё боятся снега.
Холодное декабрьское небо
так хочется в карманы рассовать…

Так хочется хоть что-то сохранить
и разглядеть, пока ещё не поздно,
прожектора, похожие на звёзды,
и горизонта тоненькую нить…

Так хочется увидеться ещё,
растрогаться, обняться и заплакать,
но чья-то неопознанная лапа
ложится на костлявое плечо…

И падаешь, не выдержав тоски
и этих пьяных выкриков конвойных…
И всё вокруг становится спокойным,
и снег целует впалые виски…

…Прости меня, прости меня, прости,
замёрзшего, облаянного «гада»…
и не ищи, прошу тебя, не надо—
меня не отыскать и не спасти…

Уже не отыскать и не спасти…

Памяти Елены Касьян

Если уйти, то летом.
Медленно и неслышно.
Сказкою или былью
Станет такой исход:
Чтобы в лучах рассвета
Робко коснуться крыши.
Чтобы расправить крылья
И созерцать восход.

Не утонуть в тумане
Вязком, тягучем, склизком.
Даль загорится светом
Тихо и не спеша.
Кто-то с небес поманит,
Кто-то родной и близкий.
Если уйти, то летом.
Впрочем… Не нам решать.

● ● ●

Засыпают уставшие за день большие гавани
и бормочут невнятное что-то в ночной тиши.
Мой бумажный кораблик, в своё отправляясь плавание,
не спеши расставаться с берегом. Не спеши…

Впереди грозовые тучи и ветры жгучие.
Будет трудно—ты этих трудностей не страшись.
Мой бумажный кораблик, ведь мы же с тобой везучие:
нам такая большая-большая досталась жизнь.

Солнце всходит лениво, цепляясь за волны лучиком.
Ты на хитрости эти вниманья не обращай…
Мой бумажный кораблик, я верю, что всё получится.
А иначе и быть не может… Пора… Прощай…

● ● ●

Не печалься, попробуй тоску отложить
на мгновенье хотя бы.
Что отмерено нам, нужно просто прожить,
в том числе и октябрь—
этот странный сезон ржавых листьев в снегу,
эту лживую осень.
Одинокий костёр на другом берегу
заплутал между сосен…

Сделать так, чтобы снова пришла весна,—
неподвластно законам.
Невзирая на то, всё, что дорого нам,
непременно запомним:
эти старые улицы в блеске огней,
эти судьбы и лица.
Всё, что взято на память у солнечных дней,—
сквозь всю зиму хранится…

Календарные дни на стене шуршат—
они снова не в моде.
Осторожно, наигранно не спеша
наше время проходит.
Когда сотни мгновений в одной судьбе,
словно листья, кружатся,
обещаем привычно самим себе
до весны продержаться…

Остров Детства

Стучало что-то около виска,
И волосы слегка на лоб свисали.
Мы возводили замки из песка,
Поскольку настоящих не застали.

В атаку шли бумажные полки.
Их доломаны красные хрустели.
И лёгким мановением руки
Мы воплощали в жизнь всё, что хотели.

И облака маячили вдали,
Готовые порваться от натуги.
По лужам плыли наши корабли,
Ведь море было где-то там — на юге.

А здесь, в Сибири, в северных краях,
Коротким летом обжигая души,
Мы думали о сказочных морях,
О той недостижимо-жаркой суше,

О картах, флибустьерах, парусах,
О прерии, что тайнами объята,
О том, что ясно видели во снах
Простые и весёлые ребята.

Теперь, когда седеет голова
И никуда от этого не деться,
Исчезли все былые острова.
Не исчезает только остров Детства.

● ● ●

Шуршит своей белизной позёмка,
И тихо тает короткий вечер.
Спокойно, сдержанно и негромко
Прощаюсь, словно уйду навечно.

Сердито щурится старый дворник,
Метлою гонит снежинок стаю.
Я точно знаю: сегодня вторник,
А что за вторником — я не знаю.

Среда, быть может, а может, вечность.
Но всё бессильно, и я бессилен.
Фонарь разбитый луны беспечность
Смешно баюкает: «…тили-тили…»

А я ботинком «рисую» дуги
И не могу прошептать ни слова.
Вернём, быть может, судьбу на кру́ги,
Всю жизнь свою начиная снова?

Уйдёт, ругаясь, сердитый дворник.
Фонарь разбитый наутро снимут.
Ну кто, скажите, придумал вторник,
Позёмку эту и эту зиму?

А память тихо листает кадры
Разлук, хранящихся у порога.
Всё как обычно: зима, декабрь
И душу ранящая тревога…

Этюд об открытой форточке

Лезет в открытую форточку лунный свет,
Словно домушник рыскает по квартире.
Можно поверить, что всё-таки счастья нет
В этом несносно-холодном январском мире.

Можно поверить, а можно ведь жить как жил —
Тихо и скромно, забыв про судьбы́ повестки.
Ветер, проникнув в комнату, закружил
Две белоснежных ситцевых занавески.

Вспомнишь о чём-то и скажешь зачем-то вслух
(Мыслей полно неприкаянных и сторонних),
А через форточку белый ворвётся пух
И, словно вата, ляжет на подоконник.

Вьюга наводит призрачные мосты.
Ты точно так же — что-то ломаешь-строишь,
Но вылетают в форточку все мечты.
Ты, загрустив немного, её закроешь.

Больше не лезет в форточку лунный свет…

● ● ●

Где-то там, у Мясного Бора,
где листвою шумят деревья,
сквозь заслоны болотных просек
и тумана тугую нить,
добежит до тебя дозорный,
не убитый ещё ефрейтор,
отдышавшись, негромко спросит:
«Не найдётся ли закурить?»

Где-то там, в Будапеште, с треском
переломаны танком ветки.
Ночь измажет окрестность сажей,
перепачкает лунный свет.
Рядовой-пулемётчик резко
перестанет сжимать гашетку,
повернётся к тебе и скажет:
«Вот и всё, брат, — патронов нет».

Где-то там, в Хоеншта́йне, стены
человеческой кровью белят.
Поутру расстреляют наших,
совершивших ночной побег.
Этот рядом стоящий пленный,
перед тем как его застрелят,
прокричит: «Помирать не страшно!» —
и повалится в грязный снег.

…Где-то здесь, под крестом нательным,
сильно-сильно стучится в рёбра
единение с прошлым веком,
проходящее сквозь года.
Я не видел всего на деле,
но из Памяти этой собран.
Мир, воссозданный по частицам,
не сломается никогда…

Кое-что о полётах

Кра́лась Тень по стене и взбиралась зачем-то по шторам,
просочившись сквозь них, пролезала в оконную щель,
а потом, захлебнувшись тревожным и горьким простором,
поднималась над лентами стиранных чьих-то вещей.

Вслед за тем замечала вдали угловатую птицу,
присоседившись к ней, продолжала незримый полёт.
Для Теней очень важно в пространстве не ошибиться
и на нужное облако не пропустить поворот.

Вот и облако белое. «Здравствуй, воздушное облако»,—
говорила она и пронзала его в тот же миг,
на себе ощущая явление чу́дного облика—
то стоял у ворот сединой убелённый Старик.

Он «ловил человеков» на длинную-длинную удочку
(ведь рыбак есть рыбак: хоть на небе, а хоть на земле).
Здесь, на облаке, было светло. И играли на дудочке.
И ключи от ворот находились на белом столе.

Тень стояла, смотрела, тонула в объятиях света.
Ки́фа строй новобранцев, как встарь, обходил не спеша,
а когда оказался пред ней, ожидая ответа,
Тень, смутившись немного, представилась робко: «Душа…»

Это всё было там, за пределом обычного взора,
там рыбачит Старик, там ничто никого не заботит.
А в обычной квартире, на столике около шторы,—
фотография в траурной рамке и свечка напротив…

● ● ●

Лето на юге начнётся значительно раньше, чем здесь,
выйдет неспешно из всеми заброшенной «Чайной»,
первым неярким лучом черноморскую взвесь
тронет случайно.

Впрочем, откуда нам знать-то: какое оно,
лето, которое мы никогда не встречали?
Смотрят наивно и клювом стучатся в окно
наши печали.

Мы дотянули до марта—уже хорошо.
Снова весна. Значит, будет немного полегче.
Всё понимаем, но год незаметно прошёл—
время не лечит.

Лечит лишь солнце, да где же его отыскать?
Серое облако бьётся в обочинной луже.
Из-за угла на тебя нападает тоска.
Голос простужен.

Даже не важно, какой сейчас год и сезон,
что-то подобное было и ныне, и присно.
Знаешь, я вот что подумал: сотрём горизонт,
выйдем на пристань.

Будет закат, как обычно, по-южному тлеть,
в воду начнёт погружаться калёное солнце.
Рядом усядемся, будем на море смотреть—
тем и спасёмся…

● ● ●

Мы смотрели куда-то вверх.
Птицы к небу взлетали чаще.
А закат догорал и мерк,
Расплываясь по сонным чащам.

Всплеск весла нарушал покой,
Всё твердил о своём, о вечном.
Лишь под вечер кончался зной,
А туман приходил под вечер.

Приходил. Налипал, как тальк,
Тишине леденящей вторил.
А мы плыли куда-то вдаль,
Где беды не бывает с горем.

Гасли звёздочки папирос,
Задувал их прибрежный ветер.
Пёстрый берег цветов и рос
Был желтеющим в лунном свете.

Плоскодонки чернела сталь,
И стучала волна о днище.
Было всё же немного жаль
То, чего никогда не сыщешь.

Просыпался пугливый стерх,
Жаба что-то протяжно пела.
Мы смотрели куда-то вверх,
Исчезая в тумане белом.

Памяти Владислава Петровича Крапивина

Друг мой, штопаный-перештопаный
За четыре десятка лет,
Митька, помнишь, как под
флагштоками
Мы встречали с тобой рассвет?
Улыбались ему и верили,
Всем сомнениям вопреки,
В то, что там, за песчаным берегом,
Есть другие материки,
Острова, города и улицы,
Неизведанные пока,
Где огромный утёс сутулится,
Присоседившись к облакам,
Где все ночи пропахли августом,
Раскрасневшимся от огня,
Где для нас становилась парусом
Белоснежная простыня.

Так и жили. Но всё кончается.
Только смерти, поверь мне, нет.
Знаешь, Митька, пока качается
Над зелёной волной рассвет,
Пока ветер гудит неистово,
Пробирается по траве,
Пока кто-нибудь ждёт на пристани—
Не теряется человек…

Юрий Кравцов

Друг за другом мы шли

Прощальное очарованье

Лес августа,
Хоть целый день броди —
Ни одного пернатого солиста,
Промыли тропку долгие дожди,
Вокруг свежо,
Проветрено и чисто.

Шумят вершины сосен и осин,
Шумят в глуши забытой мирозданья,
Чем ближе осень — больше паутин
И ярких, сочных красок увяданья.

Брусничный запах тает у болот,
Горят в тени подвески бересклета.
И нежной грустью зá сердце берёт
Прощальное очарованье лета.

Сын

Кажется, совсем недавно,
Но прошли года с тех пор,
Как мой сын — малыш забавный —
Выходил гулять во двор.

Возвращался я под вечер
И, довольный, замечал:
Не бежал — летел навстречу
Сын и радостно кричал.

И, с улыбкой прижимая
Расторопного мальца,
Думал, что не будет маю,
Маю светлому конца.

Незаметно рос сынишка,
Жизнь по книгам постигал
И по-прежнему вприпрыжку
Мне навстречу выбегал.

Но однажды по-иному
Сын встречал на склоне дня,
Он спокойно возле дома
Ожидать решил меня.

Было на душе непросто,
Хоть и всё я понимал:
Не ребёнка, а подростка
На себе я взгляд поймал…

Церковь

Звоня с бугра семью колоколами,
И в день ненастный, и в погожий день
Она владела речкой, и полями,
И избами окрестных деревень.

Владела небом, но пришла эпоха,
Когда хотели ею завладеть,
И падала, и падала со вздохом
Колоколов низвергнутая медь.

И то ли от проклятий,
То ль от сглаза
Старух, глядевших вверх со всех сторон,
Упал с последним колоколом разом
Мужик, что погубил червонный звон.

«Отец, спаси!
Я жить хочу…
Я молод…» —
Он умолял, глотая горечь слёз.
И гнал коня отец в ближайший город,
Но до больницы сына не довёз…

Вспоминается только хорошее

Одуванчиков жёлтые полосы
Вдоль дорог до небес пролегли.
С откровенным
Кукушкиным голосом
Пробуждается нежность земли.

Яркий луг,
Переполненный пчёлами,
Над водою сплетенье ракит…
Не оттуда ль глазами весёлыми
Из ветвей моё детство глядит?

Дни рассыпались, будто горошины,
И сверкают росой на листах.
Вспоминается только хорошее,
Задушевное в этих местах.

Вот ещё не затянута тиною
И прозрачна, как память, река.
И гоню я гусей хворостиною
Сквозь весенние дни,
Сквозь века…

Солдатский медальон

Окоп замшелый на краю полянки,
Который сторожит корявый клён,—
В нём пастухи нашли бойца останки,
И каску, и солдатский медальон.

Простая гильза бывшего патрона,
Куда воткнута пуля остриём,
Служила тайником в песчаном схроне
Для весточки из ада в отчий дом.

Гремело здесь и выло не на шутку,
И, поняв, что не выстоять в бою,
Солдат с волненьем набросал на скрутке
Свой адрес и фамилию свою.

Не для наград совсем и славы громкой,
А чтоб забытым здесь не умереть,
Боец листок тетрадки школьной скомкал
И для потомков запечатал в медь.

И канул в бездну, словно не бывало
Его на свете.
Много лет прошло.
О нём родня безмерно тосковала,
И горевало вместе с ней село.

Сменялась много раз листва на клёне,
Зарыт окоп пластами прошлых лет.
Почти истлела скрутка в медальоне,
И всё ж остался карандашный след.

По буковке сложили слово «Павел»,
Второе проявилось—«Щербаков».
Он всем живым святую весть оставил,
Что на земле когда-то жил таков,

Что бой неравный принял он героем,
Хотел, чтобы в сибирской стороне
Супруга Лида и детишек трое
Узнали о его последнем дне.

За далёкой речкой

До восхода солнца в поле ни души,
И туманом сизым вся земля объята,
И кукушка плачет в клеверной тиши
За далёкой речкой, в царстве тридевятом.

Там друзья-мальчишки мчат во весь опор
На гнедых и чалых с гиканьем, отвагой.
И отец по росам косит до сих пор…
Только в это царство мне уже—ни шагу.

Между временами во поле стою,
Заросла дорога травами забвенья.
Ох, спасибо, птица, за печаль твою,
Что вернула детство на одно мгновенье.

Сибирская быль

Поезд шёл в метельной круговерти
В незабытый тридцать третий год.
Уезжал в Сибирь от лютой смерти
В том составе горестный народ.

Прокатились по селеньям слухи,
Что в краю таёжном есть еда.
И, вагоны облепив, как мухи,
Украинцы двинулись туда.

В суете намаявшись немало,
На подножке, рядышком с отцом,
Ехала девчонка—моя мама—
С невесёлым худеньким лицом.

И Сибирь—страна могучих кедров,
Что вначале стужей обожгла,—
Встретила гостей по-русски щедро,
Обогреть и накормить смогла.

Всё дала им, чем сама богата:
И приют надёжный, и ночлег,
Дом высокий заменил им хату,
По душе пришёлся пышный снег.

А весной мой дед ходил за плугом,
Радуясь теплу и ветерку…
Незаметно вскоре стал он другом
Крепкому, как дуб, сибиряку.

Сеяли и убирали вместе,
За дровами отправлялись в бор.
Но пришли из Украины вести,
Что сошёл на нет голодомор.

Час настал для грусти и объятий.
И, прощаясь, на волне добра
Деду Мине подарил Кондратий
С музыкой часы из серебра.

За калиной

Тянут гуси над синей равниной,
Тает первый ледок на пруду.
В лес недальний за мёрзлой калиной
На рассвете с корзиной иду.

Может, ягод сорвать не придётся,
Но зато я увижу, как вдруг
Вся калина от птиц отряхнётся,
Как вспорхнёт снегириный испуг.

Не о том пожалею, что пусто
Будет в старой корзине моей,
А о том, что непрошеным хрустом
Потревожил в лесу снегирей…

Хозяин

Росы травы зажгли,
Луг раскинулся краснослободский.
Друг за другом мы шли,
Крепко ноги расставив по-флотски.

Утро, словно с ковша,
Мятной свежестью сыпало в лица.
Вдруг возникла ужа
Голова над густой медуницей.

Потеплело в груди
От нежданной чудесной картины.
«Эй, ребята, гляди!
Здесь хозяин живёт луговины!»

Обступили кольцом
Все, кто был в этот час на покосе.
И ужа Федорцов
В безопасное место отбросил.

Тот пополз по росе.
Были рады мы, словно мальчишки,
Солнцу, здешней красе
И короткой такой передышке!

Русская зима

Ах, эта русская зима!
С предутренним морозным треском,
Метели долгой кутерьма
На вырубках и в перелесках.

По чистоте и белизне,
По дням, снимающим усталость,
По этой снежной целине
Давно душа истосковалась!

Истоки

Какая радость—побывать в краю,
В краю, где жизнь твоя берёт истоки,
Где в каждой вербе чувствуешь родню,
О чём-то давнем шепчутся осоки.

Торопится кукушка куковать:
Осталось мало петь до дня Петрова,
И я спешу. Моя коса готова,
Чтоб с разноцветным лугом воевать.

Он и не знает, что грядёт напасть
На красоту его, цветы и росы.
Пойду косить и клеверную сласть,
И горечь одуванчиков белёсых.

А после поклонюсь я роднику,
Усы неторопливо отирая,
И буду слушать вечное «ку-ку»,
Что раздаётся над заречным раем.

● ● ●

Сбегу, подобно узнику,
Из плена стен домашних,
Сбегу дорогой узенькой
К своим лесам и пашням.

Спугну сороку-ябеду—
Затишье покачнётся,
Сорву в ложбине ягоду—
Рукою трону солнце.

И всё переиначится,
Что в памяти хранится.
…Пчелой душа наплачется
И напоётся птицей.

Андрей Ардашев

Нет границ у вселенной мысли

За нами были матери и правда

На улице дождя и снега нет.
Май солнцем поливает ветки сада.
Из рамки аккуратного оклада
с портрета на потомков смотрит дед,
однажды всё же выдавший секрет
своих медалей любопытным чадам.

Бывало, раньше он по вечерам
на сон грядущий говорил нам сказки.
Чуть иронично, без лукавой ласки,
но никогда о том, откуда шрам,
не признавался бывший снайпер сам,
пока всех нас не тронул праздник майский.

Под ходиков настенных мерный тик
он указал на родовые святцы.
«Маруся—вам прабабушка, красавцы»,—
с волнением заговорил старик…
Слеза блеснула, с бледным шрамом лик
нам не оставил права сомневаться.

В сороковых на Русь ворвалось стадо…
Нацисты уверяли: «С нами Бог».
Оксюморон! Циничный, лживый слог
антихристов—легионеров ада!!!
Им (выродкам) Спаситель не помог!
За нами были Матери и Правда!

Дом детства

Дом детства—это он
И колыбель, и крепость.
В нём правды камертон
И право на нелепость.

Плетутся тени крыш
По дворово́й поляне,
Здесь отрок и малыш—
Мы все его дворяне.

Он помнит наизусть
Все прозвища и лица.
Ах, ностальгия-грусть,
Не надо торопиться…

Он в мыслях о святом.
Теплее нет на свете,
Чем этот детства дом,
Где мы—навечно—дети.

Верен алтарям

Знаю: жизнь промчится чудным мигом,
Сколь бы ни был норов мой упрям.
Верю не барыгам и расстригам,
Верен не царям, а алтарям!

Автор жив

В многоцветии жанров и стилей
книг, скрижалей, сайтов-газет
автор жив, пока не забыли
слов под толщей наскальной пыли
или почитатель-сосед…

Нет границ у вселенной мысли.
Жажде творчества края нет!
Только вместе живут поэт
и страницы, что в люди вышли,
излучая душевный свет!

Цензор нам и судья—Всевышний,
сотворивший Мира Начало.
У истока начал звучало
Слово автора жизни—Творца.
И не будет Слову конца!!!

Вот, к примеру, скажите, братцы:
Русь бывает без Веры??? Нет?!
Русь живая, пока «виршатся»:
ода, реквием и сонет,
басня, гимн и Вечный Завет!

Осень наблюдая

Из мест родных перелетая,
комфорт и сытость день за днём
искать стремится птичья стая.
А нас манит аналог рая—
в тепле под денежным дождём!

Мы часто спорим о своём,
земных путей не видя края!
Листаем правду и враньё.
И, только осень наблюдая,
красу весны осознаём.

Артём Комаров

В месте глухом, но с лирою

● ● ●

Холодает, а завтра снежок—
День наступит—повалит, повалит…
Всем ветрам дуть в картонный рожок,
Ну а нам—утепляться, из спален
Мы уйдём поутру в холода…
После кофе и утренних трелей.
Мы покинем дома без труда,
Как же будни нам всем надоели!
Улыбнись! Белым стал небосвод.
То метель, и то первая вьюга…
Вот уже пролетел старый год,
Новый входит—без писем, без стука.

● ● ●

Я как будто ослеп в эту ночь. Я продрог.
Огоньки у витрин догорят.
Я прошёл бы хоть тысячу десять дорог,
Но пока только сотню подряд.

Выйду я погулять, позабуду маршрут.
По пустынным дорогам пройдусь…
Путь извилист, непрост, и ухабист, и крут,
Вот моя современная Русь!

● ● ●

Снег за окном, что белее самих белил…
Эту даму напротив я страстно любил.
Этой даме напротив дарил я цветы
Цвета белого снега. Все чувства просты.

Заметала зима путь обратно, домой,
Я петлял и кружил, не ходил по прямой…
И хотелось мне крикнуть тебе: «Погоди!
Что же было? Что будет у нас впереди?»

● ● ●

Всё пройдёт, и останутся тенью
Эта ночь, этот шорох листвы,
Листопада слепого круженье
И деревьев златые главы.

Промедленье и сладкая мука,
И багрянец ласкает твой взор.
Провожаю я милого друга.
Воздух чист, необъятен простор…

● ● ●

Птичьи стаи летят на юг
И зовут меня в отчий край…
Станем мы далеки от вьюг.
Знай: загадывай и желай.

Я у них мастерству поучусь.
Я у них все шаги освою.
Но пока по дороге мчусь,
Я хочу быть самим собою.

Далеко мне ещё до птиц.
И до ангелов—долго-долго!
Затерялся средь сотен лиц.
Всё бродил и мечтал без толку.

Я б забросил свои стихи
И скорей в монастырь подался,
Но Господь за мои грехи
Повелел, чтоб я здесь остался.

Мне пригрезился дивный край,
Осиянный небесным светом.
Ты послала мне: «Не скучай!»—
Ну а я тороплюсь с приветом.

Птицы райские пролетят,
Растворятся в осенней дымке.
Не вернуть их уже назад,
Только память на фотоснимке…

Радость

Домик имбирно-пряничный,
Время тягуче-сонное,
День необычный, праздничный,
То звонари со звонами.
Время горланить песенки
И хохотать без у́молку,
Падать с высокой лесенки
И наполняться шу́мами.
Даже цыганка с картами,
С этою «майной—вирою»,
Делала нас азартными
В месте глухом, но с лирою.
Радость разлита в воздухе.
Русь, и дорога праздная!
Даже в случайном шорохе
Нас утешала праздником.

Александр Тихонов

Простуженное небо надо мной

• • •

Вырвав из горла города лязг и скрип,
Поезд сорвался с места, беря разгон.
В городе N ипотека у всех и грипп.
В городе N прицепили пустой вагон.

Хочется в тамбуре хлипкую дверь отжать.
Там, за последней преградой,—закат поспел.
Кто-то пытался на поезде убежать,
Скрыться от города. Видимо, не успел.

Словно пути для него поросли быльём,
Не помогла ни одна из дорожных карт.
Лишь проводница кому-то несёт бельё.
Ей-то известно, что вся наша жизнь—плацкарт.

• • •

Судьбы холодная распутица.
Дорога к счастью далека.
Но всё же верь: душа распустится.
Она жива. Она легка.

И, вопреки всеобщей сирости,
Не признавая пустоты,
Она ещё над прошлым вырастет,
Как все бессмертные цветы.

Судьбы холодная распутица.
Но в этот миг душа жива!
Поверь, она вот-вот распустится.
По швам?

• • •

Утекает зима из города,
Оставляя повсюду слякоть.
Снеговик умирает гордо,
Не пытаясь скулить и плакать.

Помнит он, как метели пели
Белой вьюгой под белым флагом.
Умирает под звон капели
Красногрудой весне на благо.

Отступает зима из города,
Вслед ей рельсы гудят протяжно.
Снеговик умирает гордо…
Он—лишь снег. И ему не страшно.

• • •

Завтра будет утро, весна, и там,
Где плелись тропинки корявых су́деб,
Забурлит рассветная суета,
Запоют коты о душевном зуде.

И начнёт так сладко щемить в груди
От стремленья жить, позабыв все беды.
Но февраль последней пургой гудит.
И вопросы мечутся: как ты? где ты?

Ударяют в череп, лишают сна.
Тяжкий груз сомнений—вот всё, что нажил.
По вискам мигренью стучит весна.
Первая твоя. А могла быть наша.

• • •

Наполненное хрипами и свистом,
Простуженное небо надо мной,
Над зимнею хандрою затяжной,
Над городом, заснеженным и мглистым.

Зиме конец, но тихий двор забит
Вчерашним снегом, чёрным и тяжёлым,
И хочется, чтоб поскорей сошёл он,
Но всё ещё от холода знобит.

Прокашляется ржавый водосток,
И хлынет снег, разнеженный до влаги,
Подснежники проклюнутся в овраге,
Где был сугроб—распустится цветок.

Придёт весна—лирична и нежна,
Прозрачней станут облака и души.
Я верю: мы переболеем стужу.
И ты, и я, и небо. И страна.

• • •

Ван-ту-фри…
Ножницы режут пуповину.

Ван-ту-фри…
Бумага хранится в загсе.

Ван-ту-фри…
Камень.

● ● ●

Дичают, «волчают» домашние псы на цепи.
Мы в собственной жизни нечасто встречаем иное…
В сердцах чертыхнётся спасатель, багром подцепив
Измятого смертью безвестного сельского Ноя.

Соседи руками всплеснут: дескать, жаль алкаша.
Чуть вскрылась река, стал чинить самодельную лодку.
Хоть пил беспробудно, а всё же — живая душа,
И знатный рыбак был на зависть всему околотку.

Его пронесут через сени в неприбранный дом,
До бывшей жены в сотый раз дозвониться не смогут.
Примчится дворняга, начнёт барабанить хвостом.
Она опоздала, но всё же пришла на подмогу.

Штормовое

1.

Высокий штиль разгладил паруса.
Все замерли, умолкли голоса.
Но я там был! На капитанский мостик
Шагнул и гордо вдаль взглянул с него
Туда, где, кроме моря, — ничего,
И прохрипел:
— Мы — черепа да кости.

Мы — чёрный флаг. Пусть мясо на костях
Стремится в порт, но там мы лишь в гостях
И кончим путь в пучине иль на рее.
Однажды шторм ударит в паруса,
И ветер заскользит по волосам,
А мы докажем, что живём и реем.

Я говорил с надеждой в унисон,
Когда вдруг понял: это просто сон
В моём мирке под слоем книжной пыли.
И, пробуждаясь в звонкой тишине,
Я грезил лишь о штормовой волне,
Которая куда привычней штиля.

2.

От затихшего шторма остался лишь перегар,
А вчера так мечталось о сказочных берегах:
Чтоб в высоких ботфортах шагать «поперёк земли»
И в бутылке искать не похмелье, но корабли.
…Или, может, посланья от тех, кто разбит о риф.
Я сжимал по-хозяйски потёртый гитарный гриф.
Нежно пела волна, ударяя в высокий борт,
Ведь из зоны комфорта ушёл, покидая порт,
Чтоб, цепляясь за память, безумствуя и скуля,
Обретая надежду, с восторгом кричать: «Земля!»

Это было вчера: зимний город дрожал в окне,
На последней волне, на звенящей в ночи струне
Я пытался сыграть, горько песню катал во рту,
Но остался в таверне, в своём штормовом порту.
А наутро, иссушенный бурей, упитый в дым,
Я вернулся в сознанье и зло прохрипел: «Воды…»

● ● ●

Вечер над сумрачной Калкою.
Майские звёзды близки.
Сердце подстреленной галкою
Падает в омут тоски.

Где ж вы, союзники, половцы,
Ловкие дети степи?
Где же вы, русские молодцы?
Кто из вас во поле спит?

От Субедея нетронуты
Только ветра утекли.
Памяти горькие омуты —
Там, где уже не болит.

Веет мучительным холодом,
Горечью новой войны.
В небе, бедою расколотом,
Дикие звёзды видны.

● ● ●

Я всё мягче иду по земле,
Но всё так же не знаю куда.
За десятки истоптанных лет
Поменялись мои города.

А безвременье дико гудит,
Дует в медные трубы беда.
Что ещё мне осталось пройти,
Знают только огонь да вода.

Что ещё? По полям и лесам,
Где стрекочет наивный сверчок…
То ли жизнь такова, то ли сам —
Дурачок?

● ● ●

И кажется: пустая трата вре…
Писать стихи и размышлять о жи…
В грядущем неизбежном ноябре
Ты мне про жизнь и время расскажи.

За окнами ржавеют гаражи,
На свежий снег ложится влажный след,
И кажется: пустая трата жи…
Писать посланья пальцем на стекле.

Дыши-пиши, дыши-читай, дыши
И согревай дыханьем наш уют.
Жаль, бренному вместилищу души
Опять дела покоя не дают.

Анатолий Матвеев

Счёт

Гагарин

В тот день уроки тянулись особенно медленно. Капель за окном звенела, ударяясь о карнизы, солнце яркими пятнами разлилось на полу и на партах, а конца урока всё не было.

Юрка уже истомился в ожидании звонка. Да и все, наверное, тоже.

Нина Владимировна, поворачиваясь спиной то к классу, то к доске, что-то объясняла. Её голос вызывал уныние. Вдруг она замолчала, посмотрела на Юрку и раздражённо произнесла:

— Повтори, что я сказала.

Он, думая, что это касается кого-то ещё, а не его, никак не среагировал на её слова.

Она вдруг нависла над ним и разгневанно сказала:

— Я к тебе обращаюсь.

Юрка встал, осознавая, что сейчас разозлившаяся Нина Владимировна запросто может влепить двойку. А вечером за это достанется от отца. И ему стало грустно. Он опустил голову и ждал, когда она, повернувшись к нему спиной, стуча каблуками, пойдёт к доске, бросив на ходу: «Садись, два». И каждый в классе про себя облегчённо вздохнёт, что не их коснулось невезенье, а Юрку…

Он медленно стал садиться, ожидая страшных слов, как неожиданно, скрипнув, приоткрылась дверь, и уборщица в синем застиранном халате на цыпочках подошла к Нине Владимировне. Та замерла удивлённо и строго посмотрела на вошедшую.

Просто так зайти в класс во время урока мог только директор, а больше никто. Класс затих и навострил уши.

Уборщица говорила громко, даже когда шептала, и всегда оправдывалась: «А что я могу поделать? Голос у меня такой».

Вот и сейчас весь класс услышал:

— Человек полетел.

— Куда?— не поняла Нина Владимировна.

— Туда,— показала уборщица пальцем в потолок.

Нина Владимировна посмотрела на потолок, потом на уборщицу.

Её лицо покрылось красными пятнами, так с ней было всегда, когда сильно волновалась.

— Гагарин,— выдохнула распиравшую её новость уборщица.

Наступила невообразимая тишина. Нина Владимировна попеременно смотрела то на класс, то на уборщицу.

И вдруг замерший класс взорвался, а следом и вся школа.

— Ура!— вырвалось из всех окон.

Крик стоял такой, словно объявили незапланированные каникулы.

Директор, понимая, что уроки сорваны, всех отпустил по домам.

Юрка, счастливый, мчался по улицам, и хотелось каждому встречному рассказать об этом событии, словно только он один знал, что произошло, но встречавшиеся люди улыбались, и по их улыбкам он понимал, что им тоже всё известно.

Он так спешил, что поскользнулся, растянулся, вскочил и, не отряхиваясь, помчался дальше.

Бабушка, наверное, и не подозревает об этом событии. Ему хотелось первому поделиться светлой новостью с ней. Влетев в дом, с порога закричал:

— Ба, ты слышала, слышала?..

Но она посмотрела на него и даже не улыбнулась. Не улыбнулась, словно ничего не хотела знать о том, что произошло.

Юрку это обидело, и он, указывая пальцем вверх, стал кричать ей так, словно она глухая:

— Вон Гагарин, Гагарин в космосе, и Бог его оттуда не скинул, не скинул.

Юрка прыгал перед ней, осознавая своё превосходство.

Она отвернулась и ушла в другую комнату, там села на кровать и стала смотреть в одну точку, не желая разделить всеобщую радость. Что творилось в её душе?

Юрка несколько раз прошёл перед ней туда-сюда, но она словно не замечала его. Ему стало жаль её. Он сел рядом и, прижавшись к ней, тихо позвал:

— Ба…

Она словно очнулась и сказала сама себе:

— Что это я?

Быстро пошла на кухню, и пока Юрка снимал форму и переодевался во что-нибудь стоящее для улицы, тарелка с супом стояла на столе и испускала приятный аромат.

Он ел и думал, что утром она не будет молиться. Раз Гагарин полетел, значит, Бога нет.

Но она как ни в чём не бывало скрипнула дверцами серванта. Ему показалось, что молится она взволнованно, словно борясь с кем то. Или ему так показалось.

Они помирились. Космос был сам по себе, а бабушка и Бог — сами по себе. Так продолжалось долгое время.

Уже другой человек побывал в космосе, за ним ещё и ещё. Это радовало, но уже не как первый полёт.

Неожиданно город облетела новость: Гагарин приезжает.

Все побежали смотреть на него как на чудо. Даже Юрка, а с ним ещё полкласса удрали из школы. Такое событие пропустить нельзя, а выволочку от отца можно и потерпеть ради такого.

Долго раздумывала, идти или нет. Собралась и пошла.

Народу вокруг него — не подступиться. И она бы так толком и не разглядела его, но Гагарин неожиданно направился в её сторону. Народ отхлынул, освобождая ему дорогу, а она замешкалась и не успела. Он улыбнулся и обошёл её.

Она тоже, хоть и с запозданием, улыбнулась и подумала: не мог Бог погубить такого светлого человека с искрящимися глазами. Не мог.

Все поспешили за ним, она осталась стоять одна. А потом, словно опомнившись, пошла домой. На душе её было легко.

Бог любит всех: и Гагарина, и Юрку, и её, и даже Юркиного беспутного отца.

Примчавшегося внука усадила обедать, села у окна и радостно смотрела на улицу. А Юрка торопливо ел и, не переставая, повторял:

— Ба, а я Гагарина видел. Гагарина!

Она ничего не ответила, а улыбнулась. И Юрка улыбнулся.

Он заметил перемену в ней, но не удивился, а быстрей переоделся и умчался гулять.

Школа хоть и продолжала мучить Юрку, но он как-то приспособился. Может, и другие в его классе приспособились и только делали вид, что им нравится учиться.

Прошло сколько-то лет. Юрка вырос и, как бабушка сказала, стал «женихаться». Отношения между ними хоть и были тёплыми, но уже не те, когда Юрка был маленький. И про Бога он не вспоминал. Нет Бога, и всё тут.

Но бабушка каждое утро, скрипнув дверцами серванта, со вздохом опускалась на больные колени и молилась.

Юрку это раздражало. Но за завтраком он успокаивался, ел и думал: раз Гагарин там побывал и Бог его оттуда не скинул, значит, и вправду Бога нет.

В тот день он нехотя оделся. Кому охота идти в школу? А куда денешься — надо.

День был пасмурный, первой была математика, а домашку он не делал, надеясь списать. Правда, времени до начала урока мало, но если постараться, то можно успеть. Но не он один такой мудрый, охотников до списывания в классе хватает. Юрке повезло, он успел до того момента, когда в класс вошла математичка.

Уроки тянулись медленно, и казалось — не будет им конца. На большой перемене всех ошарашила новость. Пришла она из учительской. Математичка вышла оттуда в слезах.

Все недоумевали: что могло случиться?

Она прижала ладони к лицу, убрала их и сказала сквозь слёзы:

— Гагарин погиб.

Новость поразила всех. Мир бы рухнул — и никто бы так не огорчился.

Юрка шёл из школы как побитый. Нет, он не плакал, но уж лучше б отреветься и успокоиться.

Бабушка не вышла его встречать. Сидела на кухне, за столом, перед раскрытой, с мокрым пятном, газетой и смотрела в окно. Он подошёл и обнял её. Она сказала ему так, словно он не знал эту новость:

— Гагарин… — проглотила ком, стоявший в горле, и добавила: — погиб!

И её слезы закапали на газету. И Юрка заплакал вместе с ней, и его слёзы падали на газету.

И страна, и весь мир плакали вместе с ними.

Карамель

Папа всегда одной рукой прижимал к себе, другой гладил по голове и нежно говорил:

— Ты — моя красавица.

Мама расчёсывала волосы, одевала, подводила к зеркалу и повторяла за папой:

— Какая ты красивая!

Она верила им. Но другие дети смеялись над ней, и от этого закрадывались сомнения. Мама утешала её, говоря:

— Не обращай внимания. Они завидуют. Ты же красавица.

А папа советовал:

— А ты с ними не дружись.

Она так и делала.

Но в школе всё оказалось совсем по-другому. За холодность и отчуждённость её прозвали Селёдкой. Она ничего не сказала ни папе, ни маме. И благополучно прожила с этим именем десять лет. Первый настоящий поцелуй она ощутила на своих губах на выпускном. Этого не случилось бы, не выпей она шампанского. Так бы и простояла у стены весь вечер. Он подошёл и взял её за руку. Он — это ни рыба ни мясо. Парень, у которого нет ни имени, ни фамилии, а только кличка — Кащей. Они танцевали, а когда погас свет…

У поцелуя, оказывается, есть вкус — вкус карамели. Всё дремавшее в ней проснулось в одно

мгновенье. Но даже пальцам, лежавшим на его плече, не позволила шелохнуться.

«Хорошо, что погас свет»,—подумала она, вернувшись на своё место.

Её лицо оставалось спокойным, а сердце ждало продолжения, но продолжения не последовало. Кащей куда-то пропал. Она постояла, потом прогулялась по школьным коридорам. Его нигде не было.

Школа закончилась, когда с аттестатом в руках она вышла на улицу.

Папа был рад; обняв её, сказал волшебные слова:

— Ты—моя красавица.

Потом был институт. Приходила, старательно записывала все лекции, изредка смотрела, как сокурсницы стреляют глазками по парням. За глаза её прозвали Синим чулком, но так как она всегда выручала конспектами, вслух так не говорили.

На работе она познакомилась с парнем. И, сама того не желая, влюбилась. Чем-то он напоминал папу. Она даже помечтала, как выйдет за него замуж, но он был женат, и у него был ребёнок. Их встречи продолжались долго. Но однажды она поняла, что уже ничего не произойдёт.

Папа умер, не успев сказать волшебных слов. Она перешла на другую работу. Как-то вечером она встретила Кащея. Вдруг ясно вспомнился выпускной, танец, поцелуй, ожидание…

Как будто кто-то голосом отца произнёс волшебные слова: «Ты—моя красавица».

От Кащея шёл запах карамели. Она даже приостановилась. Ещё секунда—и они столкнутся нос в нос…

Он не узнал её и прошёл мимо…

Счёт

День не задался. Зинаида из соседнего отдела—та ещё дамочка: стервозная, крикливая и злопамятная,—свалила свой промах на Антона. Шеф не стал разбираться, спустил на него всех собак. Попытка оправдаться только сильней раскалила ситуацию. Воздух стал такой—хоть ножом режь.

Антон вышел из кабинета как оплёванный, от обиды хотелось выть. Вернулся, сел на своё место и упал головой на клавиатуру. Собрать бы манатки и уйти. А как? До конца работы ещё час. Целый час.

Поднял голову—часы на стене еле шевелились Их механизм, казалось, умирал, и стрелки в предсмертной агонии дрожали. Каждая секунда тянулась как минута.

Пробежал глазами по столу, словно на нём что-то должно за его отсутствие измениться. Потом на экран и опять на часы.

В голове крутились идеи, как отомстить этой размалёванной нервной гадине. Отомстить так, чтоб и духу её в конторе не осталось. Но в голову ничего не лезло. Вышла, наверное, от шефа и злорадно улыбнулась. Есть в ней такое: сделает подлость, ходит и радуется.

В общем, день не задался. А с чего бы ему задаться? Декабрь, Новый год на носу, а на улицах—ни снежинки. И солнце на два месяца забыло не город, не область, а целую страну. И тоска скользила в каждом взгляде, словно на всех лежала вина в этой серости и безысходности. Даже пузатые ядовито-зелёные ёлки, торчавшие у входа с непонятно какого цвета шарами, не радовали глаз.

С такой копотью в голове вылетел Антон с работы.

Хотел бежать домой, но мысль о том, что придётся толкаться в переполненном автобусе среди таких же, как он, уставших и раздражённых людей, когда даже обычный вопрос: «Вы выходите?»—вызывал желание послать вопрошавшего куда подальше, остановила его. И он пошёл совсем в другую сторону.

Люди текли навстречу; продираясь сквозь толпу, захотелось куда-нибудь спрятаться, переждать, когда поток схлынет, и неторопливо пойти на остановку. Спокойно забраться в полупустой автобус; привалившись к окну, закрыть глаза и ехать домой, пока механический голос не объявит: «Следующая остановка…»

Но люди шли и шли. И казалось, не будет конца этому движению. Кто-то, идущий навстречу, толкнул. И до него донеслось:

— Извините.

Оглянулся, но только серые спины, качаясь из стороны в сторону, удалялись от него. Повернул голову, и взгляд зацепил стоявшего за стеклом высокого ватного Деда Мороза и рядом коричневую доску. Пролетел бы мимо, но слова «борщ со сметаной» остановили. Вернулся назад.

Стеклянная дверь как бы сама собой распахнулась. Швейцар, оценив взглядом входящего, с безразличием пропустил мимо себя. В зале тихо, тепло и почти безлюдно.

Сел перед окном и с безразличием смотрел на улицу. А люди текли, текли. И не было им конца.

Официант долго не появлялся, и это стало раздражать. Наконец положил перед ним меню и замер в ожидании.

Антон подержал в руках папку, словно проверяя её на вес, и сказал, не открывая:

— Борщ.

— Борщ,—повторил за ним официант, то ли спрашивая, то ли для того, чтобы отложить в своей памяти.

Постоял, ожидая продолжения заказа, нависая над Антоном. Тот не выдержал этого томления и, махнув ладонью, сказал:

— Водочки грамм сто и лимончика.

Официант беззвучно удалился.

За окном поток стал редеть. И люди уже не торопились мчаться домой, а шли, поглядывая по сторонам, словно решая, чем бы себя занять.

Водка была холодной, влилась легко, и тепло пробежало по всему телу. Долька лимона заставила сморщиться, закрыл глаза. А когда открыл, перед ним стоял борщ.

Вкус был изумительный. После пятой ложки на душе стало хорошо. Обиды на Зинаиду и шефа то ли пропали совсем, то ли спрятались до завтрашнего утра.

Откинулся на спинку и посмотрел в окно. Народ пропал, словно все разбрелись по домам или так же, как он, сидят и умиротворённо радуются где-нибудь за столом.

По улице шёл мальчик, вдруг остановился и посмотрел на него. Толстая вязаная шапка закрывала лоб. Куртка великовата, а ладони, наверное, за неимением перчаток, спрятались в рукава.

Антону стало жаль этого маленького человечка, как час назад было жаль себя. Поднялся, выскочил на улицу, взял за рукав и потащил за собой. Тот не сопротивлялся. Швейцар дёрнулся было перекрыть дорогу, но почему-то пропустил их.

Помог мальчику снять куртку и, взяв меню у неожиданно появившегося официанта, протянул со словами:

— На, выбирай.

Тот долго перелистывал страницы, словно искал что-то необычное и экзотическое. Антон уже подумал, что мальчишка закажет такое, что платить придётся по полной. Но тот закрыл меню и, отдавая замершему официанту, сказал:

— Котлету по-пожарски и рис.

— И сок принесите. Апельсиновый.

Заказ ждали недолго; мальчик смотрел в окно так, словно он бывал в этом ресторане каждый день и всё вокруг ему неинтересно.

Пока тот расправлялся с котлетой, Антон смотрел на него и не мог понять, почему поступил так.

Но котлета съедена, сок выпит, и Антон спросил:

— Ещё хочешь?

— Нет, спасибо.

Слегка улыбнулся, посмотрел в окно, оделся и ушёл.

Антон позвал официанта и сказал:

— Счёт, пожалуйста.

И пока тот ходил, достал бумажник и, постукивая им по столу, смотрел в окно.

Маленькая коричневая папочка легла на стол. То, что счёт был написан от руки, не удивило, но отсутствие цифр вызвало недоумение. Посмотрел на официанта, потом на бумажку и снова на официанта.

Не заметил, как из кухни выглянул повар, а два других официанта замерли и смотрели на него, ожидая чего-то необыкновенного. Наконец Антон сообразил, что это записка, и, шевеля губами, стал читать:

«Уважаемый клиент, мы не берём денег за доброту. Всегда будем рады видеть Вас нашим гостем. С наступающим Новым годом!»

Дарья Яшина (14 лет)

Тропка новая

Леса шумят сосновые,
Идёт за годом год,
Я в жизнь вступаю новую,
Я тороплюсь вперёд.

Прости! Дорога дальняя
Зовёт, но я вернусь.
Тебе, река хрустальная,
Сквозь слёзы улыбнусь.

Тебе, тайга бескрайняя,
Наедине—вдвоём—
Секреты все поведаю
О будущем своём.

О детстве своём вспомню
И розовых мечтах…
Край мой родной, суровый!
Тебя я вижу в снах.

Меня учил ты стойкости,
Морозом щеки жёг,
Но ведь любил и с возрастом,
Нет, разлюбить не мог.

И пусть леса сосновые
Шумят за годом год,
Нас жизнь на тропку новую
Зовёт, зовёт вперёд.

Анатолий Левенец

Феска

Василий и Принц

Двадцать лет для собаки — это слишком. Но Принц прожил эти двадцать лет.

Василий, ему тогда шестьдесят было, подобрал Принца щенком, приняв появление собаки за чудо. А случилось это в страшный для Василия год. Как водится, никто не вечен на этом свете, вот и пришлось хоронить Василию свою жену. Как раз в Светлое Христово Воскресение она и отдала Богу душу. В посёлке говорили, что те, кто в этот день умирает, сразу оказываются в раю. Детей у них не было, не дал Господь. Так и остался он один на белом свете. Одна мысль билась в его сознании: «Господи, за что?!» На следующий после похорон день он, как в тумане, дошёл до дома от кладбища и долго сидел на крыльце. Он не решался войти в опустевший, как ему показалось, помрачневший дом. Больше всего ему хотелось умереть.

Сколько он так просидел, помышляя о смерти, никто не знает, только очнулся он оттого, что в ноги ему носом тыкался продрогший щенок. Забавный такой, весь рыжий, а грудь и кончик хвоста белые, да ещё на лапках белые «носочки». Щенок жалобно скулил и дрожал. Василий взял его на руки да и посадил за пазуху, чтобы согреть. Его сильно удивило появление этого малыша: калитка-то была закрыта, с улицы не попасть в ограду.

— Пойдём, малыш, молочком напою, а потом поищем, кто тебя потерял, — сказал Василий и нехотя вошёл в дом.

Он со щенком за пазухой обошёл весь посёлок, но, к его удивлению, ни у кого щенки не пропадали.

— Вот чудеса! Ладно, пойдём, у меня жить будешь, всё забота.

А потом к Василию зашёл сосед проведать и увидел, как щенок гордо так, можно сказать — с королевской осанкой, сидел на мягкой подстилке и даже голову не повернул, когда сосед проходил мимо него.

— Посмотри-ка, какой «прынц» выискался.

— Вот пусть и будет Принцем, а то всё не мог ему имя придумать, — первый раз за несколько дней Василий улыбнулся, но только одними губами.

Потом он научил Принца почти цирковым номерам. Например, просил изобразить «Петьку после получки». Принц подходил к забору и, встав на задние лапы, неуклюже шёл, опираясь передними на забор, при этом смешно подвывал. Пройдя несколько шагов, ложился на бок и лежал неподвижно. Или Василий просил изобразить председателя. Тогда Принц садился на землю и с важным видом начинал отрывисто лаять, поворачивая голову в разные стороны. Много чего мог Принц. Мог ждать целый день у калитки, дожидаясь Василия, когда тот уезжал по делам, а потом, недовольно ворча, радостно вилять хвостом. Всегда ложился рядом с Василием, положив голову на колени хозяину, когда тот сидел на крыльце. Но больше всего Принц любил осеннюю пору, когда Василий собирался на охоту. В ожидании Принц, сидя у калитки, нетерпеливо перебирал передними лапами и необычно подлаивал, словно хотел сказать: «Ну что ж ты так долго собираешься? Пойдём скорее».

Только годы не щадят никого. Со временем Василий перестал ходить на охоту, да и собаке это стало ни к чему. Вот на рыбалку ещё выбирались. А потом Принц стал болеть, всё больше лежал. Василий пригласил ветеринара.

— Ноги у него болеть стали, плохо ходит, а ночью тихо «плачет».

Ветеринар осмотрел собаку и спросил:

— Хотите усыпить?

— Нет, хочу полечить. Друзей нельзя убивать.

— Я не Господь Бог, а простой «Айболит». Он же старше всех собак в посёлке.

— Выпиши какую надо мазь, я заплачу.

— Я могу только обезболить да ещё кое-какие витамины выпишу.

Когда ветеринар поставил укол, Принц посмотрел на него с благодарностью, как будто понял, для чего это сделано. Через некоторое время он приободрился — наверное, боль отпустила. Ветеринар заходил к ним каждый день. Так прошла неделя. В тот день, когда Принц щенком прибился к Василию двадцать лет назад, он медленно обошёл двор по кругу, как будто прощался, потом лёг на крыльце рядом с Василием, положив голову на колени хозяину — нет, не хозяину, а другу. Несколько раз вздрогнул. Через некоторое время Принц затих, навсегда закрыв глаза. Василий освободил ещё тёплого Принца от ошейника, тихо сказав:

— Беги свободным в царство вечной охоты. Бог даст, скоро и свидимся.

Потом заплакал, слёзы капали на неподвижную голову Принца. Теперь у старика не осталось никого.

Участковый со всех ног бежал на край посёлка: он услышал несколько выстрелов подряд и решил выяснить, что такое там происходит. Его остановили мужики.
— Не спеши, ещё восемь раз выстрелит — и всё,— объяснил один из мужиков.
— Почему ещё восемь? — переспросил участковый.
— Уже шесть, четырнадцать было. Дед Василий Принца в последний путь провожает, с почестями.
— Зачем же столько раз стрелять?
— Сколько лет собака прожила, столько раз и стреляют.

Участковый пошёл посмотреть. Навстречу, опустив голову, медленно шёл Василий.
— Здравствуйте,— поприветствовал его участковый.
— Здоро́во. Вот, забери, мне оно ни к чему теперь,— Василий протянул участковому свою старенькую двустволку.
— Надо бы документы оформить на передачу.
— Какие документы? Это ружьё нигде не числится. Хочешь, я его на дерево повешу? Так и напишешь в своих бумагах: найдено на дереве.
— Ладно, что-нибудь придумаю,— пообещал участковый, забирая ружьё.

Василий снял с пояса пустой патронташ и тоже отдал.

С того дня, как похоронил свою собаку, он стал угасать. В самый разгар золотой осени Василий прибрал всё в огороде, привёл дом в порядок. К выходным поехал в ближайшую церковь — исповедаться и причаститься.

Что с людьми иногда делает память! Василий не мог вспомнить многое из того, что было недавно, но события из детства всплывали в деталях. Почему-то именно сейчас ему вспомнилась его жизнь, хотя он не помнил ни отца, ни мать. Только и смог вспомнить, как разбомбили поезд, на котором они с матерью и двумя старшими братьями ехали в эвакуацию осенью сорок первого. Как потом, когда попытался найти своих родных, ему, уже взрослому, сказали в детдоме, что он один выжил из всей семьи. Как пробовал найти отца, но узнал только, что тот в сорок втором году пропал без вести. И опять эта мысль: «Господи, за что?» А ночью ему приснился сон, будто стоит он в чистом поле, а перед ним церкви. Их много. И с золотыми куполами, и с простыми, деревянными. Только все они полупрозрачные, как ненастоящие. Вдруг он услышал голос: «Твой отец разрушил всё это, за то и страдает ваш род…» — это звучало многократно, как эхо. Василий проснулся с чувством того, что это было не во сне, а наяву.

После этого сна он долго молился о том, чтобы Бог простил его отца за разрушенные храмы, и за всех своих родных помолился. Вернувшись из церкви, сходил на кладбище — положить цветы жене на могилу. Потом пошёл к тому месту, где покоился его верный друг. Так старика и нашли возле той берёзы, под которой он Принца похоронил.

Многие, кто знал Василия, очень надеялись, что встретился он со своими родственниками, а главное — что Господь разрешил ему взять с собой Принца.

И нет его страшнее, или Незаконченный рассказ

1.

Аркадий вышел из машины и с наслаждением вдохнул неповторимый аромат степного воздуха, искренне считая, что такой бывает только в хакасской степи. Ветер донёс запах полыни…

Он пошёл к камням, стоящим в отдалении от дороги. Ему всегда было интересно: камни в степи — это могилы древних воинов или что-то ещё? В любом случае это память о далёком прошлом. Как ни странно, но, постояв у этих камней, он всегда получает вдохновение для творчества.

Возвращаясь к машине, он заметил почти скрытый травой памятник. Это память уже о совсем недалёком прошлом. Сколько их вдоль дорог стоит как напоминание о том, что вся наша жизнь — дорога. Вот только когда она закончится и куда приведёт, это знает один Бог. Дорога — хранитель, страж, судья и палач. Но она тоже заставляет переоценивать все жизненные ценности. Аркадий вспомнил, как чудом остался жив тогда, больше четверти века назад, за тысячи километров отсюда. Наверное, и ему стоял бы такой же памятник с выцветшими цветами, серыми от пыли…

Память перенесла его в тот далёкий октябрь. Даже на жаре ему вдруг стало зябко…

Очнувшись, он понял, что промёрз до косточки. Он не мог пошевелиться, всё тело занемело. Он с ужасом понял, что сердце отсчитывает последние удары. В это время по дороге прошёл гружёный лесовоз. От вибрации Аркадий покатился по склону. Наверное, это и спасло ему жизнь. Он с трудом поднялся на ноги, силясь вспомнить, что произошло. Он помнил, что ехал домой из соседнего посёлка, помнил, что сзади шёл ЗИЛ… А теперь он стоит недалеко от дороги, правая рука висит, как плеть, мотоцикл стоит в стороне, зажигание выключено, на коляске вмятина, ветровых стёкол нет…

Аркадий не чувствовал боли в руке. Зато безлунной октябрьской ночью видел всё до хвоинки отчётливо, как днём. И звёзды сквозь небольшую

дымку облаков светят невероятно ярко. Да ещё свет от проходящей по дороге машины нестерпимо яркий.

Мотоцикл завёлся легко. Дальше начались проблемы: правая рука не работала, руль пришлось держать левой. И не просто держать, а с правой стороны. «Хорошо, что „Юпитер-5“ снабжён автоматом сцепления»,—подумал Аркадий. Но, вырулив на дорогу, понял, что дальше ехать не сможет: в глазах потемнело от боли, вот теперь он её стал чувствовать, да ещё сказалась потеря крови. Он пытался остановить проходившие машины, но без толку. По дороге медленно полз «Жигулёнок», Аркадий узнал машину дальнего родственника. Но родственник, отвернувшись, проехал мимо. То же произошло и с хорошим знакомым. Вдруг навалилась мысль: «Может, я погиб и меня не видят?..»

К нему подъехал мотоцикл «Урал».

— Слышь, мужик, что случилось?—спросил один из подъехавших.

— Не помню,—ответил Аркадий.

— У тебя вся рука в крови.

— Я ехал к себе, очнулся на обочине.

— Мы тебя домой отвезём.

— Я покажу, это рядом, три километра.

— Да знаем мы, где живёшь.

Один из парней сел за руль его мотоцикла. Аркадий всю дорогу держал повреждённую руку и мысленно благодарил, что парень едет тихо.

Аркадий знал этих парней, многие называли их «никчёмными людишками» за то, что они частенько выпивали. Но тогда дорога переоценила для него это понятие. Те, кто считал себя людьми, да ещё с претензией на благородство, после того как ударили грузовиком по мотоциклу—пусть не нарочно, но ударили,—откатили мотоцикл от дороги, а его оттащили и бросили на землю. Бросили умирать от холода и потери крови. Нет, не приняли за мёртвого, а, боясь ответственности, спрятали с глаз, живого, но без сознания. Другие, не желая разговаривать со следователем, проехали мимо. И только те, кого считали «никчёмными», проявили благородства больше, чем те, кто бросил и кто мимо проехал, вместе взятые. Часто так бывает, что человечности больше в тех, кого другие меньше всего считают людьми. С тех пор он судит о людях по реальным поступкам, а не чьему-либо мнению.

Когда его привезли домой и сказали родственникам, что подобрали Аркадия на дороге, им вынесли бутылку спирта из запасов «на всякий случай».

Парни стали отказываться:

— Да мы же от души, со всяким может случиться.

— Берите,—сказал Аркадий,—это тоже от души, этого вам на троих хватит, только за руль не садитесь, я трезвый ехал—и то влип...

Следователю он сказал, что не знает тех, кто привёз его домой, чтоб не беспокоили парней.

Тот случай разбудил в нём ненависть к тем, кто сбил его и бросил, к тем, кто проехал мимо. Ненависть к следователю, который не хотел доводить до конца поиск сбившего его водителя только потому, что Аркадий ехал трезвый.

Тогда следователь пытался «надавить», несмотря на характерные вмятины на коляске мотоцикла, настаивая на том, что Аркадий сам не справился с управлением...

Эта ненависть разъедала ему душу, как ржавчина. Вспомнился случай из школьных лет.

— Зверёныш, твой папа нерусский,—кричали мальчишки, избивая одного.

У Аркадия всё перевернулось внутри. Как так—толпой на одного? Он смело подошёл и начал защищать незнакомого мальчика.

Схватка была неравной, но ватага мальчишек пустилась наутёк от его натиска. Бил он без разбора, куда придётся. Костяшки пальцев разбил в кровь.

Мать того самого мальчика, за которого он вступился, бинтуя ему руки, спросила, почему он заступился за её сына. Аркадий ответил:

— Совсем озверели—толпой на одного.

В это время в комнату вошёл дед. Аркадию показалось, что ему не меньше ста лет.

— Они моего правнука «зверёнышем» кличут потому, что папка у него—уроженец другой республики. А по мне, так главное—совет да любовь, остальное—предрассудки,—сказал дед и добавил:—Гляжу, парень, ты сам обозлился не на шутку, когда в драку полез.

— Не люблю, когда толпой на одного. Хочешь помериться силой—выходи один на один, на равных,—ответил Аркадий.

— Знаешь, парень, такие, как ты, справедливые и бесстрашные, могут многое и никого не боятся, но не знаете вы, кто страшнее всего на свете.

— Кто?—не удержался от вопроса Аркадий.

— Зверь,—в глазах деда блеснул какой-то странный огонёк.

— Медведь или волк?

— Человек.

— ??!!

— Да, зверь, который сидит внутри человека, и у него много имён. Думаешь, эта ватага сорванцов сама догадалась до такого? Нет, это идёт от старшего поколения. Кто-то позавидовал счастью других, кто-то достатку, а кто и просто от злобы. Зверь спит в человеке, но когда человек поддаётся какому-нибудь искушению, он просыпается. В них проснулся зверь по имени Зависть. Не разбуди в себе зверя, парень. Ведь нет его страшнее, ибо он пожирает душу человека.

Он подумал о том, что тогда проснулся в нём зверь по имени Ненависть.

Ему пришлось научиться всё делать левой рукой, было несколько операций. Он считал, что ему было за что ненавидеть…

После полутора лет лечения ему пришлось снова учиться делать всё правой рукой—держать ложку, авторучку, бритву и ещё много чего. А ненависть и жажда мщения всё жили в нём. Он не знал, как избавиться от этого чувства, пока не попало в руки Евангелие…

Тогда он, ещё не крещёный, почти ничего не знавший о христианстве, понял, как бороться с ненавистью. Надо просто простить тех, кого ненавидел, а простив, отпустить от себя всю злобу. Это получилось не сразу, но получилось: он перестал думать о мести. Да и вообще забыл о них всех…

Аркадий потёр виски руками: не время для воспоминаний, пора продолжать путь.

Дорога плавно текла под колёса. Она всегда успокаивает его душу. Он иногда думал о том, что, дожив до тех лет, когда не сможет водить машину, ему будет не хватать этих дорог.

2.

Остановившись в придорожном кафе, он снова набрал её номер. Она ему не отвечала.

Сначала всё было хорошо, в общении с ней он черпал вдохновение, она была его музой. А потом отношения стали заходить намного дальше. И вдруг она затаилась, замолчала. Он долго не мог понять, почему она молчит, не берёт трубку и на эсэмэски не отвечает.

Молчание—это так же страшно для него, как останавливается сердце. Как во время одной из операций…

Память опять сыграла с ним злую шутку.

Не было ни света в конце тоннеля, ни хора ангелов, он не видел, как врачи что-то делают с его телом,—просто опустилась чёрная непроницаемая «шторка» с безжалостностью гильотины. Была только всепоглощающая чернота—липкая, холодная и безвкусная. Он хотел вдохнуть, но воздуха не было, вместо него внутрь вошла всё та же чернота. И тишина, жуткая, где нет даже намёка или воспоминания о звуках. Непонятное чувство того, что ты падаешь вверх, и отчётливое осознание того, что ты умер и тебя больше нет. Потом он услышал, как застучало его собственное сердце или кровь в жилах, затем голоса врачей, А уже после—свет, показавшийся ярко-красным через закрытые веки. И ещё некоторое время сознание путалось: на том он свете или всё ещё на этом…

И в аварию попал по дурости своей: ему, видите ли, сказали, когда друга не застал дома, что он испугался сестры друга. Он и поехал сказать, что не испугался девчонки, что не ворует чужих невест. Ведь не надо было ехать, но проснулся в нём зверь по имени Гордыня…

После очередной эсэмэски она ему сама позвонила. Откуда в такой милой девушке столько злости? Яд обильно лился из трубки. Он слушал, не перебивая, и вдруг отчётливо понял, что она просто испугалась разницы в возрасте, проснулся в ней зверь по имени Страх.

После этого разговора опять забилась внутри мысль: «Зачем, зачем я гремлю своими ржавыми доспехами в этом Богом забытом времени? Моё племя рыцарей и поэтов вымерло ещё в средние века. Что я здесь делаю, где всё подчинено логике, информатике и психологии, а любовь, романтика и нежность—лишь рудименты? Люди перестали совершать подвиги ради любви, перепутали любовь с телесной близостью, забыв о том, что любовь—это откровение божественной сути. Расстояние в сто километров им кажется непреодолимой преградой. А любовь—она как лампада: если доливать в неё нежность, ласку, взаимопонимание, она светит ровным огоньком счастья. Но если в неё налить грязи, она зачадит и погаснет…»

А ночью ему приснилась первая любовь. Ему снилось, что девушка взяла его за руку и повела вверх по лестнице. А наверху он увидел звёздное небо.

Только ангел-хранитель мог прийти ему в таком образе, это он помог подняться Аркадию на несколько ступеней ближе к Богу.

Утром он продолжил путь. Немного погодя остановился возле кургана. Задумался о том, что будет дальше. Ничего не придумалось. Но он понял, что вся скорбь уходит под курган, под землю, в глубину и остаётся там навсегда.

Добравшись домой, он вернулся к творчеству.

Творчество не даст пойти ко дну и предаться унынию, ведь уныние—это грех.

О несбывшемся остаётся лишь лёгкая грустинка, этакая рябиновая горечь, сначала нестерпимая, потом приятная на вкус, и идёшь дальше…

А потом понимаешь, что это не было истинной любовью, это был зверь по имени Страсть. И опять надо что-то переоценивать в жизни.

В сознании настойчиво стучала мысль: «Жизнь прожить—не поле перейти…»

Всё правильно: жизнь—это путь по тонкому льду над бездонной пропастью. Надо идти с определённой скоростью, твёрдо веря, что лёд выдержит. Нельзя остановиться или вернуться, нельзя замедлить шаг, и ускорить нельзя. Даже тогда, когда лёд прогибается или предательски трещит, надо идти и не бояться зверя, который сидит внутри

нас: ведь, сколько бы ни было у него обликов и имён, рядом с каждым из нас есть ангел-хранитель. Он поможет одолеть зверя и пройти этот путь…

Всегда в самые трудные моменты ему снилась та, которую он любил с самой юности, и всегда он понимал, что это ангел-хранитель его поддерживает в жизни.

И вот Господь явил чудо: его ангел-хранитель, та, которую он любит и любил все эти годы, сам того не осознавая, согласилась стать его женой…

Вернулась истинная любовь, засветился огонёчек счастья, и ушёл зверь…

Феска

Проходя мимо кузницы, мне каждый раз казалось, что кузнец не просто ударяет молотком по железу, а выстукивает какую-то замысловатую, одному ему ведомую мелодию.

Перед обедом я забежал забрать заказ. Кузнец Феска, как всегда, приветливо улыбался:

— Заходи, присаживайся. Твои железки ещё остывают. Позже зайдёшь или будешь ждать?

— Да что круги нарезать? Конечно, подожду,— нехотя согласился я.

— Чай будешь?

— Буду.

За чаем я попросил у него совет, что́ можно другу подарить на день рождения, кроме того, что есть в магазинах.

Он спросил:

— Молот в руках держать умеешь?

Я пошутил:

— По наковальне попадаю.

— Пойдём, небольшой сувенир сделаем твоему другу. Когда дарить хочешь?

— День рождения у него послезавтра.

— Вот и хорошо.

Через некоторое время появилась подкова. Только размер у неё был разве что для пони.

— До завтра надпись набью «На счастье», шлифану, тогда и заберёшь.

Немного погодя Феска спросил:

— Ты в приёмниках что-нибудь понимаешь?— кузнец отодвинул занавеску на полке, показывая старенький радиоприёмник.— Сначала хрипел, потом совсем затих.

— Откуда такое чудо?— спросил я, снимая заднюю крышку с приёмника.

— По наследству досталось от прежнего хозяина.

— Посмотрим. Ещё поработает, вот тут проводок отошёл.

— Ожил?!— с удивлением спросил Феска и добавил:— С ним веселее, когда не стучу по железу.

На другой день я снова зашёл к кузнецу. Он отдал мне подкову.

— Красота!— я полюбовался подковой и аккуратно положил её в карман.

Через минуту-другую в кузницу зашли двое плотников из бригады ремонтников:

— Цыган, штыри готовы?

Кузнец улыбнулся и сказал:

— Готовы.

— У нас смена закончилась, завтра утром заберём,— сказал один из ремонтников, потом спросил:— Слышь, Федька, говорят, ты гидромолотом спичечный коробок закрыть можешь, не помяв его.

— Могу, только я не Федька, а Феска. Да что там коробок…

Феска ловко выдернул торчащую из кармана ремонтника початую бутылку вина с вытащенной почти полностью пробкой. Под испуганный вздох ремонтника бутылка оказалась на гидравлическом молоте. Кузнец с ювелирной точностью забил бойком молота пробку. Затем вернул бутылку.

— Федька, изверг! Жилу из сердца вытянул!..

— Сам напросился!— улыбаясь, сказал второй ремонтник.

— Не Федька я, а Феска. Сколько можно повторять?— поправил ремонтника кузнец.

— Звучит почти одинаково,— промямлил ремонтник.

— Что вы знаете о том, что и как звучит?

— Ничего,— ответил ремонтник, пряча свою бутылку во внутренний карман.

Феска достал из шкафа старенькую скрипку.

— Это зачем?— спросил второй ремонтник.

Феска коснулся струн смычком. Старенькая скрипка запела…

Феска играл, прикрыв глаза. Вдруг я почти физически ощутил, что его мысли очень далеко отсюда.

Через некоторое время я и сам, как наяву, увидел кибитки в степи, искры, улетающие от костра в звёздное небо, цыганский табор…

Когда скрипка замолчала, ещё некоторое время в душе переливалась и звучала музыка.

Очень часто, даже через годы, особенно в дороге, когда смотришь на проплывающий в окне поезда или автобуса пейзаж, пробивается в сознании эта мелодия, романтичная, напевная, идущая от чистого сердца и зовущая в неведомые дали…

Первый ремонтник, ничего не сказав, вышел.

Второй сказал:

— Да, неплохо звучит, только я не понял, для чего это.

Тут я не выдержал и спросил:

— Разве ты ничего не увидел, слушая?!

— Не-а.

— Как?! Лично я видел кибитки, костёр в степи, табор и много ещё чего.

— Ну и фантазия у тебя!— сказал второй ремонтник и тоже ушёл.

Феска, положив мне руку на плечо, сказал:

— Они видят не так — только то, что сверху лежит. А чтобы увидеть то, что внутри, с этим надо родиться…

Через полгода Феска сказал, что уезжает ближе к детям и внукам. Потом вдруг добавил:
— Когда будешь писать книги, не забудь про старого цыгана.
— Да что вы все?.. — спросил я у него и продолжил: — Отец мне неделю назад сказал, что придёт время, когда я буду писать. А всего-то стихами балуюсь. И стихи так себе.
— Поверь мне и отцу своему тоже: ты будешь это делать.

Я попытался возразить:
— Писатель должен быть мудрым.
— Мудрость дана каждому от рождения, вот только без житейского опыта она не работает. Талант тоже каждому даётся, но без трудолюбия он — ничто, пыль степная…

Литературное Красноярье ∴ СИНЯЯ ТЕТРАДЬ

Анна Михайлова (10 лет)

Здравствуй, солнце!

● ● ●

Сегодня облака обняли горы
И одарили серебром верхушки,
А, уплывая вдаль, забрали осень,
Всё золото и все её веснушки.

Взмывая в небо, птицы прошептали:
Мы к вам весной вернёмся, только ждите,
Любимые леса, равнины, горы,
Спокойным, тихим сном пока усните.

И будут песни вам полярными ночами
Петь вьюги и метели день за днём,
А в небе тёмном — севера сияние
Расскажет сказку, полыхнув огнём.

Природа спит, ей снятся сны про лето,
Про солнце, что всем сердцем согревает,
И будто бы клубочек Ариадны
За тучи ненадолго убегает.

Но снова в тундре расцветут жарки —
Как будто машет крыльями жар-птица.
И вновь полярным летом не уснуть —
Нам хорошо зимой полярной спится.

● ● ●

Вновь от мала до велика
Веселится весь народ.
— Здравствуй, солнце! Хэйро! Хэйро! —
Хором весь Талнах зовёт.
Лето здесь у нас короткое,
Очень злые комары.
Только в тундре так красиво,
Что они мне не страшны.
Вдоль Талнашки прогуляюсь,
Ягод вдоволь наберу.
В выходные на избушку
Я с семьёю побегу…
Там деревья, горы, реки
И озёр сплошная нить.
Горностаи, белки, зайцы
В гости будут заходить.
Там проснусь от пенья птичек,
Или лемминг прошуршит.
Над горою встанет солнце,
Чтоб всё лето нам светить!

Андрей Пучков

Я тебя помню…

…Меня вели по длинному, скрадывающему звуки шагов бетонному коридору. За моей спиной молча шли три человека; никто из них не проронил ни слова, но я знал, куда меня ведут. Знал с самого начала, с того самого момента, когда открылась дверь камеры и кто-то невидимый выкрикнул мою фамилию. Несмотря на тишину коридора, мои собственные шаги гремели так, как будто какой-то ненормальный шутник шёл рядом и ударял меня бубном по голове! В конце коридора замаячила дверь, гул от шагов стал стихать в голове, и я с облегчением увидел, как через щели неплотно прилегающего к косякам дверного полотна пробиваются полоски света.

Дверь открылась разом, так что я от неожиданности остановился как вкопанный. И прежде чем в голове мелькнула мысль о том, что надо бы идти, почувствовал сильный толчок в спину, который буквально выбросил меня из распахнутых дверей. Глаза к свету привыкли быстро — всё-таки в камере я пробыл всего несколько дней, пока шли какие-то разбирательства, а не сидел, как некоторые, месяцами, а то и годами.

Послышалась команда: «К стене!» Я усмехнулся и, осмотрев кирпичный «колодец», являющийся внутренним двориком большого здания, спросил, ни к кому, собственно, не обращаясь: «К которой стене-то? Вы к какой больше привыкли?» — «Она прямо перед тобой!»

Я пожал плечами и пошёл к выщербленной пулями кирпичной стенке. О том, что стена попорчена именно пулями, можно было определить сразу, так как в некоторых сколах красного кирпича матово поблёскивали кусочки свинца. Кто отдавал приказы и говорил со мной, я не мог понять, пытался определить, но ничего не получалось. Всегда выходило так, что когда я пытался разглядеть говорившего, рты у них у всех почему-то оказывались закрытыми. И мне даже казалось, что и ртов-то у них ни у кого не было!

Дойдя до стены, я развернулся и посмотрел на своих сопровождающих, которых почему-то стало уже пятеро, хотя, когда мы вышли на улицу, в этом дворике не было никого. «Отвернуться к стене!» — послышалась команда от кого-то из них.

Я опять усмехнулся: «Всё! Больше я ваши команды выполнять не буду. Я знал, для чего вы меня сюда привели. И знал, почему вы собираетесь меня расстрелять. Вы хотите меня убить только за то, что я сын русского дворянина. А значит, и сам дворянин. А дворянам у вас веры нет! Вы по чьим-то извращённым понятиям считаете, что русский дворянин обязательно станет предателем родины! А в это тяжёлое для страны время и подавно побежит сдаваться».

Как в замедленной съёмке, я видел, как эти пятеро подняли ставшие почему-то очень длинными винтовки, настолько длинными, что я увидел чёрные зрачки стволов буквально на расстоянии вытянутой руки от себя. Я ясно видел, как эти чёрные пятна подрагивают, словно от нетерпения. Как будто они хотят как можно быстрее выплюнуть в меня свинец и, выполнив эту важную работу, успокоиться и застыть в тревожном ожидании следующего выстрела.

Но вот гигантские стволы наконец замерли и, приблизившись почти вплотную к моему лицу, стали увеличиваться в диаметре. Они расползались в стороны, как чернильные пятна на промокашке. Они соприкасались между собой и поглощали друг друга до тех пор, пока не остался только один громадный срез ствола, перед которым я стоял, как перед тоннелем. Я судорожно втянул в себя воздух и вдруг понял, что, пока происходили эти оружейные метаморфозы, вокруг стояла оглушительная тишина.

Это была совершенная первозданная тишина, и когда послышался металлический грохот, очень похожий на лязг затвора, я понял, что вот сейчас из ствола вылетит гигантская пуля и расплющит меня. Но я ошибся: из чёрного тоннеля вырвалась не пуля, а ярко-красный сгусток, который охватил всё моё тело, а потом с неимоверным грохотом взорвался в голове…

Я сидел на кровати и, тяжело дыша, смотрел в окно, за которым на столбе висел фонарь. Он, покачиваясь, разбрасывал по комнате быстрые тени.

— Ты чего так подкинулся? С тобой всё в порядке? — раздался сонный голос жены, и она, сев рядышком, погладила меня по спине.

— Всё в порядке, родная, ложись, — пробормотал я. — Просто сон неприятный приснился. Спи.

Тревожные ощущения, навеянные сном, развеялись быстро. Не успел я прибыть на работу, как начался обычный для отделения уголовного розыска «дурдом», который очень быстро вправил мне мозги и наставил на путь истинный. А через пару дней я уже совершенно забыл о ночном кошмаре.

Рабочий день закончился, и служивый народ дружно топтался под большим навесом, укрывающим входную дверь в отдел полиции от непогоды. Шёл дождь, и не просто дождь, а сильный дождь, и все, у кого по глупости не оказалось зонта, с завистью смотрели на обладателей оных, которые гордо скакали по лужам — кто к своей машине, а кто на автобусную остановку. Я тяжело вздохнул: моя машина стояла метрах в двухстах, а зонта у меня не было. Бегать под дождём совершенно не хотелось, а то, пока доберусь до машины, промокну насквозь. Решил подождать.

Мне повезло, дождь вскоре прекратился, и я, не особо-то и торопясь, добрёл до машины, успел даже сесть и завести двигатель, как непогода разыгралась с новой силой. В салоне было тепло и уютно от работающей печки, окна «затянуло», и я оказался в своём маленьком мирке, в котором меня никто не беспокоил. Откинув спинку кресла, поудобнее устроился и, прикрыв глаза, начал слушать, как по крыше машины топчутся беспокойные капли.

…Теплушку болтало как ненормальную, и я в который раз уже удивился этому. Ну да, можно сделать скидку на то, что до войны мы ездили в пассажирских вагонах, которые были не такие разболтанные и расхлябанные. Да, и на это надо было сделать скидку, и на то, что чинить подвижной состав в военное время просто было некогда. Я вздохнул. Всё это, конечно, понятно, но я просто не ожидал, что будет болтать так, что, если не держаться за стенки, можно и свалиться.

«Толик! Хватит там торчать!» — услышал я чей-то голос, но не придал этому значения. «Толь! Давай иди сюда, обедать пора! Отцепись ты от этого бревна!» — уже совсем рядом раздался тот же голос, и кто-то потеребил меня за рукав гимнастёрки.

Но я уже перестал обращать на это внимание. Откуда-то спереди, от головы состава, на меня накатывала волна тревоги. Я перегнулся через брус, перегораживающий широкие двери теплушки, и, щурясь от встречного ветра, стал внимательно всматриваться вперёд. И я увидел их. Две точки, которые, быстро увеличиваясь в размерах, гнали перед собой волну страха. Пара фронтовых бомбардировщиков! Они шли в лоб составу, и я понял, что даже если мы сейчас начнём тормозить, остановиться эшелон всё равно не успеет.

И тогда состав начал набирать ход, а навстречу самолётам потянулись хиленькие пулемётные трассы, которые явно не могли остановить несущуюся навстречу поезду крылатую смерть. Однако пулемётчики свою работу выполнили! От их светлых, прочертивших серое небо полос самолёты, ощерившись свастикой, шарахнулись в разные стороны. В последний момент я успел увидеть, как они, поднявшись выше, пошли на очередной заход, но уже с хвоста поезда. На меня вновь накатила холодная волна страха, но я, выдержав характер, стал смотреть, как один из самолётов, завершив разворот, начал быстро догонять несущийся уже на большой скорости состав.

Грохот стоял неимоверный, вагон швыряло так, что на ногах уже никто и не пытался устоять. И сам я стоял только потому, что крепко держался за дверную перекладину. И вдруг наступила тишина. Перестало болтать теплушку, и даже лесок, мимо которого мы проезжали, замер размазанной серо-зелёной стеной напротив открытых дверей вагона. И тогда я увидел её! Это была авиабомба! Она падала из серой мглы, как будто бы её родило неприветливое небо и за ненадобностью избавилось от столь опасного дитяти. Пришла спасительная мысль, что наш вагон наверняка успевает проскочить под ней. Скорость у поезда большая, мы успеем, успеем!..

Но мы не успели. В давящей на мозг тишине бомба приблизилась и, зависнув прямо над крышей нашей теплушки, начала медленно на неё опускаться, увеличиваясь в размерах. Я отцепился от перекладины и, чтобы избавится от страшной тишины, зажал ладонями уши. Не помогло, тишина продолжала грохотать в моей голове, и тогда я закрыл глаза, но, несмотря на это, к своему ужасу, прямо сквозь веки увидел, как посредине увеличившейся до размеров вагона бомбы появилась ярко-красная полоса, которая рывком выплеснула на меня и на замерший во времени вагон красный сгусток пламени…

Тихо урчал прогретый двигатель, а я сидел, тупо уставившись в лобовое стекло, и, несмотря на то что в салоне было тепло, чувствовал, как по телу пробегают неприятные холодные мурашки. Потом выбрался из машины, передёрнулся от прохладного воздуха и, окончательно придя в себя, опять забрался в машину и направился домой.

— Слушай! А может, ты того — рехнулся?! — с азартом предположила жена, узнав о моей очередной смерти. — Ну а что? Работа у вас идиотская! Вот и сами вы понемногу становитесь… того!..

— Да ну тебя! — отмахнулся я.

— А может, ты просто переутомился? У вас же почти всё время «усиленные варианты несения службы»!

— Да какое там переутомился! — фыркнул я. — К судорогам руководства мы уже давно притерпелись! И усиления проводим в каких-нибудь «засадах»

или в кабинетах, совершенствуя мастерство в азартных играх.

— Ну, тогда не знаю. Может, тебя соответствующему доктору показать?

Я удивлённо уставился на неё.

— Ну а что?—понесло жену.—Тебя сразу же на гражданку отправят, дома чаще бывать будешь. Да и дети папу наконец-то в лицо запомнят!

К доктору, разумеется, я не пошёл, так как убийственные сны прекратились, и какое-то время жизнь катилась по накатанной, без особых потрясений.

...Надежда на то, что мы сможем форсировать реку потихоньку, в темноте, не оправдалась. Как мы ни старались соблюдать тишину и маскировку, фрицы нас всё-таки заметили! Заметили и отреагировали, качественно накрыв огнём весь участок переправы. Наше плавсредство могло выдержать шестерых, и вот теперь я стоял на коленях на наспех сколоченном из нескольких брёвен плоту и ожесточённо, изо всех сил, грёб обломком какой-то доски. Гребли все! Кто чем мог! Доской, прикладом, каской, сапёрной лопаткой. Гребли лихорадочно, выкладываясь по полной. Все мы понимали, что жизненно необходимо как можно быстрее пересечь эту реку смерти, которая лениво катила свои маслянисто-чёрные воды. Мне почему-то казалось, что эта проклятая река играет на стороне фашистов! Она как будто специально тормозила наш плот, вынуждая нас как можно дольше находиться на простреливаемом её участке.

Берег приближался. Свист пытавшихся нащупать нас пуль слился в один неприятный тонкий звук, который перемежался тяжкими взрывами, швырявшими вверх тонны речной воды, перемешанной с илом и обломками лодок и плотов. И среди этой поднятой вверх смеси страшно мелькали разорванные тела людей.

«Ребята! Давай поднажмём! Чуть-чуть осталось!»—услышал я сквозь грохот разрывов чей-то голос и, обернувшись на него, никого не увидел. Я остался один на своём плоту! Один! Не поднимаясь с колен, быстро огляделся и вновь начал лихорадочно грести. Но уже через несколько секунд перестал размахивать своей доской и бросил её. Я почувствовал чей-то взгляд, тяжёлый, равнодушный взгляд. Такой взгляд нужно встречать только с автоматом в руках, и я, перекинув из-за спины на грудь ППШ, уже сам стал вглядываться в близкий берег.

Он был там! Он ждал меня! Он сам поднялся мне навстречу! Тёмная безликая фигура выросла из влажной прибрежной земли и, отбрасывая в свете осветительных снарядов корявую тень, направила на меня что-то очень похожее на винтовку. И тогда, направив ствол автомата на эту тёмную фигуру, я нажал на спусковой крючок. В наступившей вдруг тишине я видел, как устремились к ней выпущенные из автомата пули, как они летели, посверкивая своими стремительными телами. Видел, как они, погружаясь в темноту зыбкого тела, заставляют его дёргаться и размахивать ставшими неестественно длинными руками. Автомат перестал вздрагивать—кончились патроны, но своё дело я сделал!

Тёмная фигура, распавшись на части, медленно завалилась в воду и растворилась, оставив на поверхности угольно-чёрное шевелящееся пятно. Терзающая разум тишина не отпускала, она нарастала и нарастала, и когда выносить её стало уже невмоготу, я зажал уши руками и, задрав голову, посмотрел вверх. И там, в подсвеченном мёртвым белым светом осветительных снарядов небе, увидел, как прямо на меня падает снаряд.

Он прилетел откуда-то издалека. Я знал это, так как на берегу не было сколь-либо серьёзной артиллерии. Это был мой снаряд, я сразу это понял, а когда понял, пришло облегчение! Исчезла мучительная тишина, и я, вздохнув полной грудью речной воздух, увидел, как снаряд, раскалившись докрасна, растёкся надо мной большой подрагивающей кляксой. Зрелище было завораживающее, и тогда, чтобы лучше рассмотреть это, я встал в полный рост. Как будто ожидая этого, одно из щупалец кляксы метнулось ко мне и, прикоснувшись к моему лицу, взорвалось с оглушительным грохотом, залив меня оранжевым огнём...

«Нда-а-а-а... недолго праздник продолжался...—вяло шевелилась в голове мысль, когда я среди ночи сидел на кухне и, не включая свет, маленькими глотками прихлёбывал горячий чай.—Опять, значит, началось! Выходит, зря я обрадовался тому, что не дурачок! А может, у меня действительно что-то с головой?» А с другой стороны, больным на головушку я себя совершенно не чувствовал. А если не чувствовал, значит, действительно здоров, и надо перестать заморачиваться по этому поводу.

Но, несмотря на принятое решение о своём душевном здоровье, соответствующему специалисту я всё же позвонил. Нашёл в Интернете солидную, внушающую нешуточное доверие рекламу и позвонил. Однако разговора не получилось. Обладатель приятного мужского голоса, ответивший на мой звонок, узнав, что мне снятся сны военной тематики, с тревогой в голосе порекомендовал мне немедленно приехать к нему в офис. В офисе, в спокойной обстановке, мы должны будем заключить договор, для того чтобы он мог немедленно начать лечение моего больного сознания. Иначе я очень скоро закончу свою жизнь в психиатрической клинике. Продолжать беседу я не стал.

Сны мне стали сниться часто, в любой обстановке, где бы я ни засыпал! Вот и сейчас, чувствуя, что слипаются глаза, я повозился на надувном матрасе,

пристроенном под кустами, разросшимися возле реки. Устроился поудобнее и закрыл глаза.

…Взвизгнула сирена, и я, открыв глаза, тревожно огляделся. Всё! Прибыли на место, скоро прыжок. Следуя примеру своих товарищей, встал и, с трудом подавляя дрожь в ногах, приготовился. Перед прыжком я почему-то никогда не мог унять дрожь в коленях. Как бы ни старался, колени всё равно предательски подрагивали. Да! Я боялся! Все мы боялись! Это было видно по напряжённым лицам парашютистов. Моё лицо было точно таким же, я был в этом уверен. Мы боялись высоты, боялись того, что нас может ждать там, на земле. Да, мы боялись, но эти страхи были важны для нас только сейчас, в данную минуту, когда ничего ещё не началось. А когда дойдёт до дела, когда в уши ударит свист ветра, а потом и свист пуль,—вот тогда страх уйдёт! И останется только ненависть…

Довольно сильный рывок раскрывшегося парашюта, и я, поправив лямки подвесной системы, покачиваясь, стал опускаться в темноту. Здесь, наверху, ночь не была такой тёмной, как там, возле поверхности, и я начал повторять про себя: «Быстрее, быстрее, быстрее!..» Чем меньше мы находимся в воздухе, тем лучше.

Лучи прожекторов ударили сразу с нескольких сторон! Это произошло настолько неожиданно, что я чуть не вскрикнул. Нам не повезло! Очень сильно не повезло! По всей вероятности, кто-то из разведки что-то не доработал, и мы попались. Лучи прожекторов, как ненормально прямые щупальца, судорожно задёргались, выискивая цели. Находили, и тут же к освещённым куполам парашютов тянули свои тонкие бледные пальцы трассерá.

Как обычно, когда началась работа, страх пропал, и я, привычно освободив ППШ с рожковым магазином, стал бить короткими очередями в те места, откуда велась стрельба по десанту. Белой вспышкой по глазам ударил свет прожектора, и я ослеп! Я не видел ничего, кроме ярко-белого полотна, раскинувшегося перед глазами. Уже не было ночи, не было слышно грохота моего автомата. Не было слышно ничего! Казалось, что звуки сами по себе делятся на непонятные составляющие и затихают, уткнувшись в это слепящее белое нечто.

Я перестал стрелять и, растопырив пальцы, вытянул руку в сторону укрытой белым светом земли, как вдруг прямо из этого света вырвалась и начала подниматься к моей руке тонкая строчка красной пунктирной линии. Она приближалась медленно, как будто не хотела удаляться от светлой поверхности. Я знал, что это такое, и понимал, что если встречусь с этой прерывистой линией—умру. Умирать мне не хотелось, и поэтому я попробовал выбрать группу строп, чтобы отойти в сторону!.. Но не смог даже пошевелиться, так и сидел в подвесной системе с вытянутой вперёд рукой.

Приблизившись ко мне, этот медленный трассер стал распадаться на сотни, тысячи красных точек, которые всё множились и множились, пока не заполнили своей краснотой всё вокруг: и далёкое небо, и залитую белым светом землю, и раскинувшийся надо мной купол парашюта. И вдруг я почувствовал, что начал падать прямо в это медленно пульсирующее красное пространство. Я закрыл глаза и тяжело вздохнул…

Открыв глаза, увидел, что ничего не изменилось: я лежал под кустом на своём матрасе. С другой стороны куста стояла палатка, возле которой чаёвничало всё моё семейство. Не торопясь, поднялся со своего надувного ложа, с удовольствием потянулся и пошёл составить им компанию.

—Что, опять кино смотрел?—спросила жена, когда дети убежали купаться.

Я взял бутылку с минеральной водой и, согласно кивнув, начал пить нагревшуюся воду большими глотками.

—Надеюсь, ты в порядке?

—В полном!.. Не переживай ты так!—хмыкнул я.—Это даже становится интересным. Как будто смотришь фильм с собственным участием!

—Ладно, артист! Пошли к детям, искупнёмся,—засмеялась жена и, не оборачиваясь на меня, побежала к реке.

Несколько дней ждал продолжения снов, но ничего не было, словно тот, кто всё это показывал, решил дать мне немного отдохнуть, и я, успокоившись, перестал переживать за свою несчастную голову: всё-таки жалко было терять десятилетний полицейский стаж!

Лето, как всегда, проскочило быстро, закончились связанные с ним хлопоты в виде огорода и всевозможных выходов с детьми на природу, в связи с чем свободного времени стало больше. Решив воспользоваться этим подарком, взял несколько дней отгулов и поехал к своему школьному приятелю, который давно уже приглашал меня в гости.

Как всегда, неожиданно нагрянувшая осень заставила власти начать ремонтировать дороги и укладывать новый асфальт, ехать по которому было сплошное удовольствие. Казалось, даже машина идёт мягче и двигатель работает тише и ровнее. Выскочил на мост и сбросил скорость: камеры везде натыканы, а на этом мосту они реально работают, так что лучше не рисковать. Чуть добавил громкости на магнитоле и в своё удовольствие катил вслед за КАМАЗом, выдерживая до него солидную дистанцию. Не нравятся они мне: то от них какие-то куски отлетают, то камни вырываются из протекторов, и всё это добро норовит прилететь в твоё лобовое стекло. Жуть, одним словом.

Этот звук я услышал, когда уже перебрался через мост и совсем уже было собрался обойти

КАМАЗ. Звук мне не понравился! Тонкий, противный, похожий на свист, он доносился из динамиков магнитолы и уже начал действовать мне на нервы. Чтобы избавиться от назойливого звука, сначала убавил громкость, а потом и совсем остановил воспроизведение. Звук никуда не делся — напротив, он всё нарастал и нарастал и теперь уже доносился откуда-то сверху. Пришла сторонняя мысль: «Надо бы бросать машину и бежать от неё подальше!.. Иначе точно поймаю какую-нибудь авиабомбу!»

Не успел! Надрывающий душу свист внезапно смолк, и в наступившей тишине прямо передо мной, как в замедленной съёмке, медленно встал на дыбы асфальт. Он поднимался вверх пластами, которые, неторопливо вращаясь, словно красуясь передо мной своей новизной, разлетались в разные стороны и тянули за собой из образовавшейся на дороге ямы острые языки красно-оранжевого пламени. Чтобы не влететь в этот замедленный взрыв, я изо всех сил нажал на тормоз.

Раздался визг тормозов, и машина встала, развернувшись поперёк дороги. Сзади раздался истошный сигнал, и я, поспешно съехав на обочину, остановился. Посидел несколько секунд, приходя в себя, потом заглушил двигатель, включил аварийку и, откинувшись на спинку кресла, задумался: «Что это такое вообще было?! Я опять уснул? Нет, я не спал, я это хорошо помню, да и спать мне не хотелось. Тогда что? Глюки начались?! Вот так вот!.. На ровном месте!.. Наяву!.. Нет, бред какой-то. А если не бред?.. Если не бред, тогда это плохо, очень плохо! Тогда работу точно придётся менять. Если узнают, то безумного опера на работе никто держать не будет!.. Может, всё-таки сходить к этому чёртову психу на приём?»

К врачу я опять не попал, решил всё же ещё подождать и не испытывать судьбу. Знаю я этих лекарей: стоит только попасть к ним — и у тебя тут же обнаруживается куча сопутствующих душевному расстройству заболеваний, от которых надо будет экстренно избавляться.

После этой поездки две недели спал без сновидений. Как всегда, ложился вечером в кровать, закрывал глаза и открывал их уже утром! Вроде бы живи да радуйся, но нет, я вдруг стал ловить себя на мысли, что меня это совершенно не устраивает! Вопреки здравому смыслу, мне вдруг со страшной силой захотелось узнать, чем все эти мои видения закончатся. И, как говорится, накаркал.

На работу с обеда я вернулся раньше всех и теперь сидел один в кабинете и наслаждался тишиной.

…— Толь! У тебя как с табачком? Не угостишь? А то я совсем подизносился, — услышал я знакомый голос и, согласно кивнув, вытащил из внутреннего кармана гимнастёрки кисет, открыл его и позвал:
— Давай сюда поближе, у меня ещё остался, на пару дней хватит.

Потом достал из того же кармана сложенную в несколько раз газету и, аккуратно оторвав от неё прямоугольный кусочек, согнул его посредине, в образовавшуюся канавку засыпал табак и осторожно начал сворачивать самокрутку, стараясь, чтобы табак не высыпался по краям. Свернул и провёл языком по краешку газеты, склеивая края. Самокрутки у меня всегда получались плотные и крепкие, на зависть всем…

Я вскочил и, с грохотом уронив стул, отошёл от своего стола, за которым только что сидел. Ошалело посмотрел на свои руки и отшвырнул в сторону авторучку, которую до этого крутил в пальцах. Судорожно огляделся. «Твою ж!.. Хорошо, что я один, а то пришлось бы выкручиваться: „А что это вы, товарищ майор, так резво скачете? С вами, наверное, что-то случилось? А может, у вас с головушкой не всё в порядке?“ Зашибись!.. Опять, что ли, началось?» От резкого стука в дверь кабинета вздрогнул и проорал:
— Войдите! Не заперто!
— Андрюха! — заблажил с порога участковый, с которым я поддерживаю приятельские отношения. — Мне надо одного типа опросить, а у нас все столы заняты! Два десятка бабок набежало, и все горят желанием вот этого бедолагу на костёр утащить! Эй! Иди сюда, — высунулся в коридор участковый и посторонился, пропуская в двери невысокого крепкого парня лет двадцати.
— Садись вон за мой стол, — разрешил я, — мешать не буду. Но вкратце расскажи, что случилось.
— Да ничего вроде такого не случилось, — пожал плечами участковый и мотнул головой в сторону парня. — Вот этот вот доморощенный композитор переложил несколько песен военного времени на рэп. Сам написал другую музыку к ним, сам же этот рэп и исполнял. В фойе вон, в кинотеатре…
— Да ты, друг мой, на святое покусился! — хмыкнул я. — Теперь понятно, за что тебя эти бабули сжечь хотят.
— Ну а что я такого сделал? — пожал парень плечами. — Я ни единого словечка местами не переставил, ни одного слова не заменил другим и ничего своего не добавил! Музыка — да, другая, сам написал, сам и играю.
— Зачем тебе это надо? У вас же вроде как у северных народов: что вижу, о том и пою, вернее, говорю. Или, того хуже, набор бессмысленных рифмованных слов.
— Это необычно, и пока бабки не набежали, молодёжи много было, и они слушали! Вот скажите, — повернулся он вдруг ко мне, — вы часто эти песни слышите?
— Нет, не часто, — вынужден был признать я, — в основном в День Победы.
— Правильно! Эти песни почти что и не крутят! А вот рэп молодёжь слушает, нравится он

молодым! А рэп — это слова! Слова, которые слушают и запоминают! А слова в этих песнях, кстати, мощные!

«А чёрт его знает? Может, он и прав! — думал я, с интересом разглядывая невезучего композитора. — Времена, как ни крути, сейчас другие, да и люди, чего греха таить, другими стали. Вместо того чтобы молодому поколению вбивать в голову ужасы войны, мы стыдливо сокращаем в школах часы изучения истории Великой Отечественной войны. Зачем деткам знать о миллионах погибших их соотечественниках? Зачем знать о миллионах изорванных снарядами трупах солдат? О миллионах замученных в концентрационных лагерях детей, женщин, стариков? Зачем?! Это же так страшно! Ни к чему детей пугать. Перестали нашей молодёжи напоминать о войне! Забывать её стали, в результате чего дети, играя в войну, бьют теперь не фашистов, а каких-то выдуманных монстров. А тут ещё и наши западные „друзья", дошедшие в своей толерантности до идиотизма, всё чаще стали задумываются о том, что фашизм — это не так уж, знаете ли, и плохо...»

— Ну всё, братан, побежал я! Теперь с бабульками воевать за жизнь этого парня буду! — попрощался со мной участковый и, подталкивая в спину музыканта, вышел из кабинета.

Я вздохнул: «И здесь война! Прямо наваждение какое-то!»

Прошло несколько дней, а меня вдруг стало преследовать ощущение, что скоро должно что-то произойти, что-то очень важное, то, чего я уже давно жду, а оно всё никак не происходит.

Вечер был пасмурный и дождливый, делать было решительно нечего, и я решил пораньше лечь спать. К тому же меня не оставляло чувство, что этой ночью опять увижу самого себя и со мной наверняка что-то произойдёт. Хотя я уже привык, что со мной во сне всегда происходят непонятные для меня события. Единственное, что я знал наверняка, так это то, что всё, что мне снилось, относилось к Великой Отечественной войне!

...Выбросили нас удачно! Мы с ходу взяли этот посёлок, практически врукопашную перебив разместившихся в нём фрицев. Но задачу свою пока не выполнили. Нам приказано было уничтожить склад с боеприпасами, который разместился на железнодорожной станции. Оставался один рывок, однако сделать его мы не могли. Наш десант был прижат к земле огнём из крупнокалиберного пулемёта, на который мы нарвались практически на подходе к станции. Бетонный ДОТ из своей хищной горизонтальной прорези выплёвывал длинные струи свинца, не давая возможности даже поднять голову.

Я завалился в удачно подвернувшуюся канавку и лежал, не решаясь поднять голову, буквально всем телом ощущая, как надо мной мечутся в поисках своей жертвы пули. Они с остервенением вгрызались в мёрзлую землю, словно хотели убить её за то, что она меня укрыла.

Шло время, шло очень быстро. Буквально летело! А это было очень и очень плохо. Из соседнего городка на помощь уничтоженному нами гарнизону уже наверняка мчалась подмога, которой мы противостоять, скорее всего, уже не сможем. Надо было что-то делать! Надо было преодолевать этот ДОТ!

Вообще-то я уже знал, что надо было делать. Я лежал ближе всех к нему, всего метрах в двадцати. Надо было только бросить гранату. Но бросить её так, чтобы она влетела через амбразуру вовнутрь. Иначе толку никакого не будет. Я перевернулся на спину и посмотрел в удивительно синее и чистое небо. Оно было настолько чистым и ярким, что я непроизвольно задержал дыхание.

Для того чтобы бросить гранату, надо встать. И не просто приподняться и бросить, а именно встать. Встать и бросить гранату так, как когда-то я бросал с сыном камешки на озере. Мы с ним искали плоские камешки, а потом кидали их, чтобы они рикошетили своей поверхностью от воды. А мы вслух считали, сколько раз камешек коснётся поверхности озера. И вот точно так же надо было бросить и гранату. Встать и бросить!.. Встать и бросить!.. Это ведь совсем не страшно и так просто. Взять и встать... Я улыбнулся, вспомнив, как сын смеялся, когда у него получался удачный бросок, и рванулся вверх...

У меня всё получилось. Всё было сделано как надо. Быстро и точно. Я не промахнулся! Я даже успел увидеть, как граната серым комочком врезалась в темноту амбразуры.

И вдруг я увидел себя со стороны. Увидел, как я неторопливо поднимаюсь на ноги, медленно склоняюсь вправо, размахиваюсь и кидаю в сторону ДОТа... плоский камешек. Уйти от пулемётной очереди не успел. С ясно осознаваемой тоской я видел, как ко мне из чёрной щели огневой точки понеслись пули. Но грохота пулемётных очередей слышно не было. И я уже понял почему... Пулемётчик тоже не промахнулся... Пули вошли в моё тело, и оно плавно опустилось на землю, глядя в небо застывшими глазами. Я перевёл взгляд со своего мёртвого тела на ДОТ и увидел, как из амбразуры вырвался огненный вихрь...

И я улыбнулся... Я справился... Я люблю тебя, сынок!..

Несмотря на утреннюю прохладу разгулявшейся осени, я в одних трико стоял на балконе и смотрел в умытое ночным дождём небо. Оно было необыкновенно ярким и чистым. Я уже видел такое небо. Видел и запомнил его. И никогда уже не забуду! На душе у меня было спокойно, спокойно и грустно. Я знал, что мои сны закончились и что

они больше не будут меня тревожить. Как будто мне было показано то, что я должен был увидеть. Обязательно должен был!

Этот сон был последним! Он был настолько реальным, что до сих пор дух захватывало. Он не был похож на те фантастические, раскрашенные сны, после которых оставалось странное чувство недоумения и тревоги. Этот сон вызывал грусть, грусть оттого, что меня убили…

Зазвонил телефон, и я, вернувшись в дом, снял трубку.

— Виктор Анатольевич,— раздался женский голос,— вас беспокоят из городской библиотеки. У нас завтра будет проходить концерт художественных коллективов, и вы приглашены как наш активный читатель!

— Вы набрали не тот номер! Я Андрей Викторович! А вам нужен мой отец…— начал было я и замолчал.

Я не знаю, сколько прошло времени, когда я вдруг обратил внимание на то, что стою возле стола и держу в руках трубку. Машинально поднёс её к уху и, услышав короткие гудки, осторожно положил на стол. Мне всё стало понятно, как будто сложился пазл, который никак не хотел складываться. А тут вдруг появилась недостающая частичка, и всё встало на свои места! И этой частичкой стало отчество моего отца — Анатольевич! Имя моего деда!

Медленно опустившись в кресло, задумался. Виктор Анатольевич — мой папа. Анатолий Васильевич — мой дед, который пропал без вести на фронте во время войны. Я, наверное, каким-то непостижимым образом смог увидеть, как погиб мой дед… нет, не так! Я увидел какие-то фрагменты его жизни и те моменты, когда он мог погибнуть, но не погиб.

Отсюда и его возможный расстрел. Папа рассказывал, что дед действительно был сыном русского дворянина, который пропал в смутное революционное время. Сам дед работал инженером на военном заводе. Имел бронь, но однажды оперативник из особого отдела предупредил его о том, что, если он срочно не уйдёт на фронт, за ним придут как за сыном дворянина. Его тогда не арестовали, он успел уйти на фронт. Но это могло быть!

А ещё я слышал, как меня называли по имени там, во сне! Но не придал этому значения. А потом я, наверное, по прихоти жизни, или судьбы, или чего-то ещё, пережил все те эпизоды, которые пережил и мой дед. Кроме того, последнего раза, когда он увидел яркое небо и вспомнил своего сына… моего отца.

Я много раз держал в руках и разглядывал пожелтевший листок бумаги с неровным машинописным текстом, который гласил о том, что мой дед Анатолий Васильевич, парашютист-десантник, пропал без вести в 1944 году.

А может, это были только сны, и ничего больше? Но мне хочется верить, что это не так.

Я тебя помню… дед!

ДиН ревю

Николай Ерёмин

Пение на бис

Красноярск: «Литера-принт», 2021

Сонет о правилах игры

Везде, всегда — игра без правил…
Любой идёт своим путём…
Один в Лон-дон, другой в Из-раиль,
Израненный,— из дома в дом…
А третий по чужим кострам
Идёт, забыв и стыд, и срам…
Лишь я по звёздам, на беду,
Не ведаю, куда бреду…
Хотя и ведаю — откуда,
Пытаясь жизнь продлить как чудо,
И музе, и свободе рад,
И, Бог ты мой,— что не солдат,
Которому понять пора:
Что — смерть, что — вечность, что — игра…

Троянский сонет

Троянский вирус заразил меня
И превратил в троянского коня:
Внутри — жена и шестеро ребят,
Смышлёных и послушных жеребят…
Которые, играючи, глядят,
Увы и ах, в смартфон или айпад…
И в самоизоляции сидят,
И выйти без приказа не хотят
Туда, где непрерывно — вот те на! —
Увы, идёт Троянская война…
Богатства лютых всадников — несметны…
Они же почему-то не бессмертны:
Ни те, кто скачет со щитом… Ни те,
Кто пал с коня — и стонет на щите…

Юлия Бочарова

Чем дальше в лес

В Тропарёвском лесопарке было уже темно. Деревья и кусты к ночи стали совсем чёрными — не разобрать, где что, хотя небо наверху ещё не совсем погасло и сохраняло тот нежный тёмно-синий оттенок, который бывает поздней весной. Тонкими полосками протягивались с востока на запад облака, которые ещё подсвечивало севшее за горизонт солнце.

По асфальтовой дорожке, которая потрескалась от пробившихся сквозь неё одуванчиков, шли две женщины: Таисия Тарасовна, маленькая «серая мышка» лет сорока, в очках и в строгом мешковатом костюме, который ей не шёл, и Альбина Николаевна, того же возраста, но кокетливая, ярко накрашенная и с пышной, «взбитой» причёской. Обе они были учительницами в школе-лицее и сейчас возвращались с работы. Но задержались они той ночью не из-за контрольных или затянувшегося педсовета, а по более приятной причине: у директора школы был юбилей, и они всем педагогическим составом отмечали событие до одиннадцати вечера.

Таисия Тарасовна не привыкла к развлечениям, устала и еле шаркала ногами. К тому же у неё была тяжёлая сумка с тетрадями, которые ещё предстояло проверять. А её коллега явно очень хорошо отдохнула и была навеселе. Она вихляла бёдрами и отхлёбывала из бутылки рябиновую настойку. У Альбины Николаевны тоже была сумка, но полегче: она не любила задавать домашку ученикам, и там были только листочки с результатами лабораторной работы.

Тропарёвский лесопарк был весьма симпатичным местом, куда днём приходило много народу: молодые мамы с детьми, влюблённые парочки и просто гуляющие.

Учительницы часто срезали здесь путь до дома. К тому же сейчас (а была середина мая) всё цвело и пахло. Недавно коммунальщики скосили траву, и воздух был очень свежим и ароматным. Но с наступлением темноты здесь становилось страшновато.

Таисия Тарасовна озиралась по сторонам, боясь нападения маньяков или насильников, и ругала себя, что согласилась на эту авантюру.

— Зря мы всё-таки, Альбина Николаевна, так задержались, — сказала она, перекладывая сумку из одной руки в другую. — Ещё столько тетрадей дома проверять.

— Таисия Тарасовна, дорогая моя, ну надо же иногда расслабляться! Не каждый день у директора школы юбилей. Кстати, какой он сегодня был, а?

Альбина Николаевна толкнула коллегу локтем в бок, призывая вспомнить и повеселиться.

— Он так отплясывал с географичкой — я уж думала…

Раздался шорох. Таисия Тарасовна вздрогнула и схватилась за рукав Альбины Николаевны. Где-то в стороне пролетела тень.

— Фух… Наверное, это птица, — выдохнула Таисия Тарасовна. — Всё-таки нельзя так поздно через парк одним женщинам. Если бы хоть Георгий Георгиевич с нами был… Он обэжист, приёмы знает, если вдруг что.

— Так что же вы его не позвали, золотая моя? — Альбина Николаевна приобняла её и кокетливо прищурилась.

Таисия Тарасовна смущённо поправила свои очки и замялась.

— Ну… — она не нашлась что ответить.

Обэжист Георгий Георгиевич ей нравился, но Таисия Тарасовна не считала возможным первой подходить к мужчине. В классических романах (а она была учителем русского языка и литературы) это обычно плохо кончалось, да и воспитана она была в старой традиции, по которой женщина должна быть скромной, терпеливой и ждать приглашения от кавалера.

Пока Таисия Тарасовна раздумывала над ответом, Альбина Николаевна остановилась и протянула ей бутылку:

— Вот что я вам скажу: не надо быть такой трусишкой. Нате-ка для храбрости.

Та меленько помахала рукой: мол, не-не, я такое не употребляю.

— У меня желудок, вы же знаете, — сказала она.

На самом деле здоровье у Таисии Тарасовны было в порядке: она регулярно проходила медосмотр и делала зарядку по утрам, а на любой чих сразу обращалась к участковому терапевту. Просто она не хотела обидеть коллегу, чтобы та не подумала, что её считают алкоголичкой, а Таисия Тарасовна выше в нравственном отношении.

Альбина Николаевна сама сделала глоток.

— Ну и зря. А вещь! — сказала она громко, на весь лес. — Хорошо, трудовик принёс. Не то что директорский шабли, горлодёр.
— Альбиночка Николаевна, потише, я прошу вас. Вдруг кто услышит?

Альбина Николаевна залилась весёлым пьяным смехом:
— Ну вы и трусишка! Да это парк обычный! Тут с колясками гуляют. Кто тут? А ну выходи, мы тебя! Эй!

Альбина Николаевна стояла, ухохатываясь и прижимая к груди бутылку. Вдруг она что-то заметила за плечом Таисии Тарасовны, вытерла выступившую от смеха слезу и не сразу, но довольно быстро перестала смеяться. Она взяла Таисию Тарасовну за плечи, загородилась ею и чуть согнула ноги в коленях.
— Альбина Николаевна? — та не поняла, что происходит.

Накрашенная учительница убрала бутылку в стоящую на земле сумку и сделала вид, что присела именно для этого.
— Так. Спокойно.

Альбина Николаевна чуть оттолкнула коллегу вперёд и убежала назад, к школе, откуда они пришли. На шпильках бежать было неудобно, можно было даже вывихнуть лодыжку. Но у Альбины Николаевны был двадцатипятилетний стаж бега на каблуках (не раз приходилось опаздывать в школу, да и вообще она всюду приходила не вовремя), так что это не помешало.

Таисия Тарасовна в недоумении крикнула ей вслед:
— Вы что-то в школе забыли? Альбина Николаевна!

Таисия Тарасовна хмыкнула: мол, ну ладно, бывают у людей странности, — и повернулась, чтобы взять свою сумку, но…

Она оказалась нос к носу с огромным мужиком в капюшоне, надвинутом на лицо. Он угрожал ей ножом.
— Ой… — только и сказала она.

Таисия Тарасовна попятилась. Мужик придвинулся к ней. Учительница прижала к груди сумку с тетрадями, в ужасе глядя на мужика.
— Не подходите. Кто-нибудь!! Помогите!
— Да не жмись. Мы тут одни, — сказал мужик грубым хриплым голосом. — Стаскивай юбку — и в кусты.

Таисия Тарасовна кинула в мужика свою сумку. Он этого явно не ожидал и потерял равновесие, но всё-таки удержался. Из сумки Таисии Тарасовны рассыпались тетради.

Мужик разозлился на сопротивление и переступил через сумку — тетради мешали, он чуть не поскользнулся. Это дало учительнице несколько секунд, чтобы сообразить, как ей быть. Насильник зарычал, но зря он это сделал. Он не знал, на что способны трусливые «серые мышки», если их как следует напугать. Таисия Тарасовна отступила, подняла с асфальта сумку Альбины Николаевны (к счастью, та её в спешке не прихватила) и от страха размахнулась ею, как метатель диска, и с криком:
— А-а, знания — сила! — подсекла сумкой мужика.

Насильник упал навзничь, и Таисия Тарасовна сначала «на автомате» кинулась подбирать рассыпанные тетрадки, а потом плюнула на них и убежала, спасая свою жизнь и честь. Она ведь до сих пор была девственницей.

Но поскольку Таисия Тарасовна была не очень тренированным человеком, то через пару сотен метров она запыхалась и остановилась, чтобы перевести дух. В боку у неё закололо. Она оглянулась посмотреть, не догоняет ли её маньяк. Мужика было ещё видно. Он лежал на дороге без сознания — наверное, сильно треснулся головой, когда падал. Таисия Тарасовна помедлила, обкусывая губы, и беспомощно оглянулась. Конечно, это был нехороший человек, и он сам виноват — не надо было нападать на женщину. Однако оставить пострадавшего без помощи было не в её правилах. В Таисии Тарасовне, воспитанной на лучших образцах мировой литературы, гуманизм боролся со страхом и чувством справедливости.

Кроме того, в сумке остались её телефон и кошелёк, и было бы нелишним их забрать.

Она вернулась и осторожно подошла к насильнику, готовая в любой момент дать дёру.
— Эй, вы там живы?

Она похлопала его по щекам, потом открыла ему один глаз, отпустила — и глаз закрылся.
— Господи, что же делать-то? Как там Георгий Георгиевич говорил на ОБЖ?

Таисии Тарасовне стало жалко мужика. Она зажала ему нос, брезгливо, с опаской, наклонилась к нему, зажмурилась и сделала ему искусственное дыхание рот в рот. Тот пришёл в себя, задохнулся от внезапного «поцелуя» со стороны несостоявшейся жертвы и оттолкнул её.
— Вы чё делаете? Сумасшедшая! — закричал он. — Ненормальная, блин.

Таисия Тарасовна отклонилась назад.
— Могли бы и спасибо сказать, что я вас тут не оставила.
— Спасибо! Бошку мне разбили, чуть не задушили. Как я завтра на работу пойду?

Мужик сел и стал ощупывать свой затылок. На его руке осталась кровь.
— Бли-и-ин.
— Ну извините. А зачем вы на меня напали?
— Много вы, бабы, понимаете. Может, у меня трагедия в личной жизни, и я из-за этого уже сколько времени не могу… А, да что там.

Он махнул рукой: мол, что тут объяснять? — и закашлялся, шмыгая носом. Учительнице показалось это знакомым.

— Тетрадки у вас рассыпались,—сказал он.

Таисия Тарасовна посмотрела на мужика, обдумывая внезапно озарившую её мысль, достала бутылку рябиновой настойки (там ещё, на удивление, что-то осталось) и протянула мужику. Тот взял, снял крышечку и отхлебнул.

Она присела рядом, вытащив юбку из-под ног, чтобы не запачкать её.

— Я всё поняла. Бедненький. Я читала, в насильники идут люди, у которых огромные проблемы в интимной сфере. Детская травма или что-то подобное. Они по-хорошему не могут заниматься… ну… «этим». Просто не получается. Не расстраивайтесь, импотенция—это не самое главное в жизни, вы можете в других областях добиться…

Мужик захлебнулся настойкой и закашлялся. Она постучала его по спине. Он еле отошёл.

— Да типун вам на язык!!! Какая импотенция?! У меня будь здоров, о-го-го!

Таисия Тарасовна в смущении поправила очки и отвернулась. Ей было неловко говорить на такие темы.

— А-а, вы мне не верите. Я вижу. Щас я вам покажу. Щас я достану, и вы сами…

— Не надо! Пожалуйста, давайте обойдёмся без этого. Мне биолог уже показывал «это». В учебнике.

Таисия Тарасовна запахнула свой пиджак, поправила выбившиеся из пучка волосы и решила, что на этом пора заканчивать. Хорошо, что всё обошлось. Она собрала тетради и только встала, чтобы уйти, как…

Мужик достал сигарету и стал закуривать, и его лицо осветилось от огонька зажигалки. Таисия Тарасовна ахнула:

— Максим Максимыч?!

Он поднял на неё взгляд исподлобья. Она наклонилась и придвинула лицо поближе к нему, чтобы рассмотреть,—не веря своим глазам и думая, что очки её обманывают. Их лица оказались освещены зажигалкой.

— Ёпты,—сказал мужик.

Он погасил зажигалку, так и не закурив. Таисия Тарасовна встала, монументально возвышаясь над ним. Так вот почему он показался ей знакомым! Таисия Тарасовна встала в позу, в которой обычно вещала на родительски собраниях или когда распекала учеников за плохо написанные сочинения.

— Максим Максимыч,—сказала она нравоучительно,—как член педсовета, я вынуждена буду доложить директору школы о вашем поведении.

— Таисия Тарасовна, я вас прошу, я вас умоляю,—мужик выглядел растерянным, пристыжённым и жалким.—Я не виноват.

— Как не стыдно,—продолжала она безжалостно.—Учитель труда, вы должны быть примером для школьников! А вы!.. Я завтра же!!..

Таисия Тарасовна гордо развернулась и пошла в сторону дома. У неё даже усталость прошла.

Максим Максимыч приподнялся ей вслед, отряхиваясь и вытирая кровь с ладони об одежду.

— Таисия Тарасовна, вернитесь! Я вам всё объясню.

Он догнал её, прихрамывая, взял за локоть и повернул к себе. Она задрала нос и поправила очки, глядя на него свысока.

— Таисия Тарасовна, послушайте меня. Я вас очень уважаю, вы хорошая учительница, и никаких таких мыслей про вас и быть не может. Я просто не пил давно, а тут…

— Что тут? Выпили и стали другим человеком? Питекантропом?

— Чем? Я, простите, такое умное не знаю. Ну извините. Я больше не буду.

Таисия Тарасовна дёрнула рукой, чтобы высвободиться из рук Максима Максимыча. Он поднял бутылку рябиновой настойки.

— Я клянусь! Вот на ней. Хотят тут и капелюшка осталась. Но такими вещами не шутят, между прочим, я вам честно говорю.

Таисия Тарасовна выдохнула, подобрела и обмякла, снова ссутулившись.

— Ладно уж, я не буду на вас доносить. Но вы мне обещаете, что больше никогда…

— Апчхи!

Кто это чихнул?! Таисия Тарасовна с удивлением посмотрела на Максима Максимыча—но это был явно не он. Трудовик втянул голову в плечи, глядя на Таисию Тарасовну в растерянности.

— Апчхи!—раздалось ещё раз.

Таисия Тарасовна обернулась в сторону кустов, из-за которых это, по всей видимости, послышалось. Она пошла туда—Максим Максимыч стал её удерживать:

— Не надо, не ходите.

— Почему это?

— Да ну—лезть в темноту…

— Ещё один насильник? Ничего, вы меня защитите. У вас теперь передо мной долг,—сказала учительница.

— Да не, просто какая-нибудь собака или кошка…—трудовик продолжал хватать её за руки.

— А что это вы меня не пускаете?

— Или белка.

— Это у вас «белка». А я животных очень люблю. И оно явно простужено, его надо проверить. А ну-ка!

Таисия Тарасовна бодрилась, но всё же немного с опаской раздвинула кусты, а там…

Там стоял интеллигентного вида мужчина в пиджаке и брюках, рядом с ним на земле был дипломат.

— Георгий Георгиевич?!—воскликнула учительница в изумлении.—Вот это да! А вы что здесь…

Это был её любимый обэжист. Говорят, мечты сбываются.

Таисия Тарасовна растерялась. Она так сильно хотела, чтобы он был рядом, что он — вот, пожалуйста, материализовался.

Георгий Георгиевич набрал воздуху в грудь, чтобы ещё раз чихнуть, но пытался удержаться от этого. Ещё раз и ещё. Выглядело это так, словно у него приступ и он задыхается.

— Что с вами? — спросила Таисия Тарасовна в тревоге.

Она заботливо прикоснулась к его груди, расслабила ему галстук, расстегнула верхнюю пуговичку рубашки — а он пытался отвернуться в сторону. Она прикоснулась к его лицу, не зная, как ещё помочь. И он таки чихнул прямо на неё.

— Простите, ради Бога, не удержался, — сказал он. — Позвольте, я вас вытру.

Георгий Георгиевич достал из кармана аккуратно сложенный платочек и нежно вытер лицо Таисии Тарасовны.

— Бога ради, извините.

— Да ничего, это не страшно.

— Я простыл.

— Да уж, весна, а ночи холодные.

— А я ж тут так долго стоял.

— Э-э, кстати, да, — она словно очнулась. — А зачем вы здесь стояли? Вы, что ли…

Таисия Тарасовна закрыла рот рукой.

— Ах, Боже мой, вы извращенец?! Вы подглядываете и снимаете…

— Ради Бога, Таисия Тарасовна… Это не то, что вы подумали! Вы просто такая возвышенная, прекрасная и утончённая…

— И это даёт вам повод?!

— Наоборот, я думал, что никак не могу найти повод и подход к вам.

— О чём это вы?

— Таисия Тарасовна, я мучаюсь давно, а вы совсем-совсем не обращали на меня внимания.

— Наоборот, это я думала, что не обращаете на меня внимания.

— Да ну что вы.

— И вы такой умный и интеллигентный, мужественный, я боялась, что совсем вам не нравлюсь.

— Таисия Тарасовна… — сказал он дрожащим голосом.

— Георгий Георгиевич… — откликнулась она.

И если бы правдой было, что между людьми в подобные моменты проскакивает искра, то меж двумя влюблёнными учителями сейчас пробила бы высоковольтная дуга.

Обэжист взял её руки, прижал к своей груди. Они потянулись друг к другу с поцелуем, но…

— Гхм… — раздалось рядом.

Они оба остановились.

— Ну что, я пойду тогда? — сказал Максим Максимыч, про которого эти двое забыли. — Я ведь больше не нужен?

Таисия Тарасовна снова поправила очки на носу.

— Подождите, а что всё-таки произошло? — сказала она. — Почему вы двое оказались тут?

Мужчины переглянулись и оба вздохнули.

— Видите ли, любезная Таисия Тарасовна, — начал Георгий Георгиевич, — я думал, что не имею шансов, если признаюсь вам в любви. Поэтому я попросил Максима Максимыча разыграть нападение. Альбина Николаевна немного помешала этому плану, но, к счастью, она убежала. А я бы выскочил из кустов и спас вас. И тогда бы вы поняли, что я достоин…

— Почему же вы не выскочили? — перебила она.

— Не успел. Сначала не время было и замешкался, а потом вы ему дали такой отпор и убежали — уже было неловко.

— И вы согласились на это? — спросила Таисия Тарасовна трудовика.

— А что было делать? Я же вам говорил, что у меня личная драма. Я не пил три месяца, жена все деньги отбирает и подговорила друзей, чтобы меня не угощали. Иначе, говорит, они со всеми нашими жёнами устроят нам бойкот по поводу постели. А Георгий Георгиевич мне ящик водки обещал поставить и никому не говорить.

— А то, что я перенервничала? Это ничего не значит? А если бы у меня инфаркт случился от вашего розыгрыша?! Детский сад. А если бы…

В глазах Таисии Тарасовны заблестели слёзы. Но мужчины не успели ответить на её обвинения, потому что…

Раздались рёв мотора и вой сирены. Компанию осветили яркие фары. Трудовик, который стоял лицом в ту сторону, даже на секунду ослеп. И к ним почти вплотную подъехал полицейский автомобиль с включённой мигалкой. Из машины выскочили двое полицейских и Альбина Николаевна.

Вернувшаяся учительница закричала:

— Вот они! Вяжите! Да их двое!!!

Никто не успел опомниться, как полицейские скрутили Георгия Георгиевича и Максима Максимыча и повалили их на землю. «Маньяки» пробовали что-то возражать, но полицейские быстро их заткнули и уложили.

— Таисия Тарасовна, дорогая, как вы? Всё в порядке? — Альбина Николаевна подошла к коллеге и заботливо взяла её за плечи, прижала к себе как родную. — Вы не думайте, я не просто так убежала, я за помощью. Я же знала, что вы не красавица, вас-то никто не станет… У-у, злодеи!

Альбина Николаевна пнула лежащего рядом Максима Максимыча и в этот момент узнала его. Она посмотрела на второго лежащего и с удивлением признала в нём ещё одного коллегу. Альбина Николаевна подняла тонкие накрашенные брови:

— А это что? Господа, вы почему тут лежите, отдыхаете? Давайте-ка разберёмся.

— Нет уж, дальше без меня,— сказала Таисия Тарасовна.— Мне домой надо, ещё тетради полночи проверять.
— Подождите! Через лес? Ночью? Я провожу! Стойте,— заговорили хором Георгий Георгиевич, Альбина Николаевна и Максим Максимыч.
— Ну, я так понимаю, у нас ложный вызов,— сказал один из полицейских и потёр руки, готовясь собрать неплохой штраф с паникёров.

Маньяка взять не получилось — жаль. Но, с другой стороны, и драться с настоящим преступником, рисковать собой им не пришлось. А так какое-никакое развлечение.

Таисия Тарасовна остановилась и обернулась к ним:
— Знаете, я раньше больше всего боялась неизвестности, которая подстерегает в ночном лесу. Но вижу: чем дальше в лес, тем толще партизаны.
— В смысле?— не понял Максим Максимыч.

До него всегда всё туговато доходило.
— В коромысле. Георгий Георгиевич, отдайте трудовику ящик водки. Он заслужил.
— Спасибо, добрый человек!— воскликнул Максим Максимыч.
— Альбина Николаевна,— продолжала Таисия Тарасовна,— а вы так вовремя и так эффектно вернулись — моё восхищение! Вы как раз успели бы застать мой труп ещё тёплым, если бы это было взаправду.
— Таисия Тарасовна! Вы же понимаете!..— начала было Альбина Николаевна.
— Да-да, конечно. Я невзрачная. И знаете, не мне вам советовать, но, может, всё-таки вам краситься не так ярко? Не пришлось бы бегать.

Трудовик тем временем старался поймать её руку и поцеловать, но Таисия Тарасовна не дала ему, а взяла его за ухо.
— А вы, Максим Максимыч,— хватит уже бояться жены, бросайте пить, чтобы самому стать человеком, а не потому, что кто-то запретил.
— Отпустите!— взмолился трудовик.
— Обещайте. На этом клянитесь,— Таисия Тарасовна протянула ему бутылку с рябиновой настойкой.
— Обещаю, обещаю,— сник Максим Максимыч.— Что ж, теперь придётся выполнять.

Таисия Тарасовна улыбнулась ему, взяла свою сумку с тетрадями, развернулась ко всем спиной и пошла по асфальтовой дорожке домой.
— Эй, куда?!— крикнул тот полицейский, что хотел взять штрафы.

Таисия Тарасовна оглянулась — её догнала патрульная машина. За рулём был второй полицейский, Алексей, который сразу оценил обстановку, понял, что здесь случилось, и решил взять Таисию Тарасовну под защиту.

К тому же учительница русского языка и литературы показалась ему очень красивой, пока говорила свою прощальную речь коллегам. Она и правда расправила плечи, стала спокойнее и смелее, более уверенной в себе. Выбившиеся пряди волос делали её похожей на юную девушку. Даже очки её не портили.

Плюс ко всему (и это было немаловажно!) не всякая женщина окажет достойный отпор нападающему — тем более столь хрупкая. Алексей сразу понял, что Таисия Тарасовна особенная, не такая, как все.

Полицейский опустил стекло, выставил локоть наружу и, выглянув, обернулся назад, к своему напарнику:
— Давай садись, чё отстаёшь?
— А ложный вызов?
— Хрен бы с ним. Мы всё равно патрулируем.

Напарник разозлился, но ничего не сказал. Что тут скажешь при свидетелях?
— Садитесь, пожалуйста,— сказал второй полицейский Таисии Тарасовне, вышел из машины и открыл для неё заднюю дверцу.

Она улыбнулась ему, сказала спасибо и села. Не посмотрела даже на своих коллег. А они стояли, раскрыв рты.

Когда дверца машины захлопнулась, Георгий Георгиевич опомнился:
— Таисия Тарасовна, как же так? Вы не ответили мне!
— Да, любовь-то будет?— сказал Максим Максимыч.
— Какая любовь?— спросила Альбина Николаевна, которая всё пропустила и сейчас хлопала густо накрашенными ресницами.
— Будет,— ответил второй полицейский.— Но не с вами.

И полицейская машина уехала.

Вскоре наступило лето, и школьные занятия окончились. А в августе Таисия Тарасовна уволилась из лицея за Тропарёвским парком. Она была беременна, и носить тяжёлые сумки с тетрадками ей запретил муж Алексей. Да и нечего ей было больше делать в этой школе.

Её коллеги ещё долго обсуждали в учительской, как ей подфартило и что всё это счастье на неё свалилось только благодаря им.
— Хотите чаю, Георгий Георгиевич?— спрашивала Альбина Николаевна у обэжиста, в очередной раз вспомнив бывшую коллегу и сняв с подставки закипевший чайник.
— Нет, не хочу, спасибо,— откликался он и смотрел в окно, думая о чём-то своём.

И только директор школы не понимал, при чём тут его юбилей, утончённое шабли, которое он щедро выставил для коллектива, и рябиновая настойка.

Дмитрий Кадочников

Сказ, как Алёшка-караульный на войну ходил да с победой вернулся

Жил-был… этот, как его… ну, царь. Фициально — емператор. И при нём жана-емператрица, конечно. И опять же дочь-царевна при них. Красивая, скромная, незнамо в кого такая уродилась. А уж расцвела царевна в осемнадцать годов — слюнки тякут.

Назывались эти трое — царская, или, как оно фициально говорится, емператорская, семья. Жили — не тужили: то недород, то всё водой зальёт.

Царь-емператор любил в карты перекинуться, в «дурачка» на шелбаны. Жана-емператрица, которая при нём, пирожки с ливером любила — за уши не оттащишь.

А царевна-душенька любила Алёшку-караульного, уж три недели как любила и кажин-то денёчек по нему вздыхала, сердешная.

Алёшка, варнак, тоже почал ей знаки внимания строить: ежели царевна-душечка мимо караульной будки, что у ворот парадных, идёт, то он и ус подкрутит, и во фрунт с особливой лихостью вытянется, и щеками заполыхает. А ежели папенька с маменькой ейные шкандыбают, то почтения, уставом положенные, конечно, выказывает, но без старания.

Приметил это дело царь-емператор. Осерчал так, что от злости всю стражу в покоях шелбанами своими знатными замордовал.

А потом и придумал закавыку. Ох и хитёр, ох и насобачился же в «дурачка» играть.

Пошёл на улицу, к будке караульной, и говорит Алёшке:

— Ступай-ка, паря, на войну и без победы, соколик, не возвертайся. Как придёшь с победой, я тебе хлеба каравай, водки штоф да медаль геройскую пожалую, ну и форму нову выдам, с эмполетами. Форма, заметь, трофейная, с последней батальной кампании, у меня в кладовке лежит. А ежели без победы, но живой, то я тя на плаху как изменника Родины-емперии. Ну, ступай, — а сам в залу отправился, вроде как за победу выпить.

И чё Алёшке делать, коль приказ? Стал собираться на войну: портянки постирал, фузею свою почистил да три сухарика с головкой чеснока в ранец солдатский положил. А на будке караульной в щёлку между досками цветочек-незабудку приспособил — царевне с намёком да на память.

Вышел в чисто-конкретно поле, поглядел из-под руки налево, поглядел направо. Мать моя женщина! Ни души.

Алёшка-простота про царя-то худого не подумал, рассудил по-своему: царь-емператор по стариковской рассеянности запамятовал войну объявить. А как тут с победой вернёшься, когда воевать не с кем?

Стал думу думать, как беде такой помочь. А думу думать в одиночку несподручно.

Глядит Алёшка, бежит по чисту полю зайка-русайка.

— Стой, стрелять буду, — по привычке выпалил Алёшка.

— Да за что меня стрелять-то, мил человек? — оторопел зайка-русайка. — Я же тебе ничего худого не сделал.

— Извиняюсь, — говорит Алёшка. — Я это по привычке караульной. Мне спросить надобно. Может, ты мне военну кампанию составишь? А то царь меня на войну послал, а с кем воевать — не сказал.

— Ой, мил человек, некогда мне баловством-то заниматься, — отнекивается зайка-русайка. — Мне же ещё столько сегодня оббежать надобно. Да и вояка я никудышный — шуму пугаюсь, в одморок падаю, глаза мои косые для прицелу не годятся.

— Ну ладно, коли так, — соглашается Алёшка и сухарь пополам разламывает. — На вот, сухарика погрызи, а то забегался, смотрю, совсем.

Зайка-русайка сухарик в зубы, уши за спину — и вскачь, пока Алёшка не передумал.

А Алёшка один с царской задачкой остался.

Слышит, кто-то травой под ногами шуршит. Присмотрелся — мышка-полёвка. Алёшка кивер гвардейский с кудрей молодецких снял, изловчился и накрыл им серую. Чтоб не убёгла. Потом руку под кивер просунул, прихватил мышку-полёвку за бока, извлёк на свет Божий и говорит:

— Чем под ногами шуршать, помоги дело обмозговать. Ты же по полевым условиям знаток. Вот и будешь мне заместо штаба. Главное, где враг, укажи.

— Солдатик, — отвечает мышка-полёвка, — я ж по интендантской части. Припасы припасаю, заготовки заготавливаю. Головы поднять некогда. Вряд ли помогу.

— И то верно,—вдругорядь согласился Алёшка.— На-ка вот тебе на довольствие.

Стряхнул крошки от сухарика с ладони. Мышка-полёвка крошки собрала и—только хвостиком вильнула.

Опять Алёшка один остался. Сидит, головку чеснока жуёт—едко, спасу нет, но вкуснее всё равно ничего в ранце не припасено.

Царевна-душенька меж тем Алёшкину незабудку нашла. Догадалась, что ушёл красен молодец не своей волей: не белены ж он объелся—караульную службу да во дворце бросать? Давай папеньку пытать. Слёзы в три ручья. Тут любой папаша слабину даст, хоть ты царь, хоть ты кто.

— Не реви,—отбрыкивается отец-емператор.— Герой твой на войну послан. Вернётся с победой—наградку. Я ему форму нову с эмполетами обещал. И тебя в жёны.

Про женитьбу-то он, конечно, соврал и недорого взял. Им, царям, веры нету. А этот и в карты мухлевал, что твой каторжник. Политика, ядри её в крендель… Но у царевны от сердца отлегло. Кто не знат, царевну нашу Маришкой зовут. Это по-простому. А если фициально, то—Марианной. Царь-емператор так придумал, чтоб заграничнее вышло.

А Алёшка наш в чистом поле совсем закручинился. И так ему себя жалко стало, ажник в носе засвербело и чих напал. Чихнул он пару раз, слёзы отёр, глядь—перед ним мужичок стоит. Сам лохматый, борода нечёсана, ноги босы, рубаха латана, портки в репьях, а стоит подбоченясь, глаза хитрые, и лыбится незнамо чему.

— Салфет вашей милости,—говорит мужичок, как будто он особа благородных кровей.

А сам Алёшку в упор разглядыват.

— Красота вашей чести,—отвечает Алёшка как полагается.

Даром, что ль, он у царских ворот караул нёс? Не лапоть, кой-чему обучен. А сам на свою докуку разговор переводит:

— Не знаешь ли ты, мил человек, нет ли где поблизости войны? Очень мне надобно. На войну меня послали, а где она—не сказали.

Мужичок в бороде поскрёб, в затылке почесал, глаз сощурил и отвечает:

— Как не знать? Знаю.

— Скажи где.

— Сказать-то можно. А что дашь?

— Нет у меня ничего, окромя фузеи и ранца, да и те казённые. Сухариком поделится могу.

Мужичок-хитрован ощупал глазами Алёшку и опять за своё:

— Ежели ранец подаришь, то скажу, где войну искать. А не хочешь, то прощевай.

Прикинул Алёшка: за утрату казённого добра хоть и не погладят по головке, да зато, родимую, на плечах оставят. Емператорский приказ не выполнить—быть голове на плахе да отдельно от Алёшки. Ранец жалко, из телячьей кожи да с латунными пряжками… А себя ещё жальче.

Делать нечего. Алёшка два оставшихся сухарика в карман сунул, протянул хитровану ранец:

— Бери, мужичок, пользуйся.

Погладил тот ранец руками, гыкнул радостно и объясняет Алёшке диспозицию:

— Пойдёшь на восход. Встретишь речку—иди в верхи. Будет переправа, просись на тот берег. Там дорога до деревни. Возле той деревни война и есть. Куда идти, любой укажет. Да ты и сам увидишь. Ну, бывай, солдатик, я потопал. Дел у меня ещё невпроворот.

Забросил ранец за плечи—и айда по полю вприпрыжку. Только его и видели.

Алёшка портянки перемотал и—ать-два, как мужичок указал. Идёт—песни поёт.

Долго ли, коротко шёл Алёшка, а добрался до речки. А там и до переправы. Паром, на ём дядька-паромщик, у дядьки на пузе кошель—деньгу за перевоз брать, всё как положено.

— Здоро́во, служивый. Далёко путь держишь?— завёл разговор паромщик.

— На войну иду.

— Это тебе на тот берег,—кивает паромщик.— Садись, с солдата денег не возьму.

— А у меня их и нету,—застеснялся Алёшка.— Жалованья уж два полугодия как не уплочено.

Вскоре добрался Алёшка до деревни. Глянул—большая деревня, на три улицы—два дома, зато переулков шесть.

У крайнего домишки на завалинке старичок и старушечка. Друг на дружку похожи как два яблочка печёных. Сидят, орешки калёны лузгают, шкорлупки в кулёчек сплёвывают.

— Здравствуйте, люди добрые,—поклонился им Алёшка.—Как тут у вас на войну пройтить?

— Да вона по той тропочке пойдёшь, что за огородами начинается, аккурат и придёшь. Тут недалече,—махнул рукой старичок.

— Благодарствую,—Алёшка наш отвечает.

— Ты б соколик, отдохнул. На вот тебе орешков, да и садись с нами на завалинке.

А Алёшка ни в какую—солдатскую марку держит:

— Приказ есть приказ, надо сполнять. А вот от ковшика водички не откажусь.

Поднесла ему старушечка водицы да пирога с грибами в тряпочке холщовой. А старичок шкорлупки вытряхнул да орешков в кулёк сыпанул. И тоже Алёшке подаёт. Народ, он солдата завсегда припасом снабдит. Тоже люди, понимают, почём фунт изюму…

Фузею на плечо, ноги в руки—пошёл Алёшка по тропочке. А она всё крутей и крутей забирает. В гору, значитца, дорога. А солдату нипочём. На войну бы тока успеть.

— Зря,— молвил вдруг кто над самой головой,— зря идёшь.

Поднял Алёшка голову — ворон летит, чёрный, как аспид. Сел на берёзу да на Алёшку круглым, что твоя смородина, глазом косит.

Жутко чегой-то Алёшке стало, но солдат всякой суеверии бояться не должен. Вот Алёшка и хорохорится:

— Ты не каркай, чёрное твоё перо. Я емператорский приказ сполняю. Что на роду написано, то и будет. Но под руку не каркай, а то осерчаю.

— Всё одно зря, зря ноги бьёшь,— твердит ворон.

— Щас в фузею заряд замастрячу — будешь знать, как зрякать.

Вóрона как корова языком слизнула.

Скольки Алёшка ещё шел — не спрашивай, это, считай, секрет военный. Но запыхался изрядно. Крутая да каменистая гора оказалась. Пока поднялся, каблук свернул да коленку зашиб. Только солдату такие ерундовины — как слону дробина.

Вот поднялся наш Алёшка на самую маковку. Дальше идти некуда.

Постоял он, постоял, на север чихнул, на юг зевнул, на запад поплевал, на восток из-под руки поглядел. Далеко видать: реки-моря, леса-поля — всё наша земля. И до того картина мирная, что Алёшка аж плюнул с досады: ни пушек, ни редутов, ни еропланов, ни кулимётов, ни шуму военного… Хоть бы какая армиёшка завалящая видна была.

«Вот накаркал же, чёрная твоя душа,— подумал Алёшка да, поразмыслив, застыдился.— А ведь неправда моя: предупреждал меня ворон-птица. Это я гонору не сдержал».

— Говорил же, зря ноги бьёшь,— опять голос сверху раздался.

— Прости меня, ворон-батюшка, за слова обидные,— винится Алёшка.— На вот тебе пирога с грибами, только не серчай. Да растолкуй мне, дурню, что ты сказать хотел.

— Ты куда шёл? — начал ворон издалека, а сам к пирогу примеривается.

— На войну. Приказ у меня.

— А что это, знаешь?

— Война-то? Знаю. Для солдата — смерть, для генерала — слава, для емператора — иль развлечение, иль дырки в казне залатать…

— А другой войны не знаешь?

— Другой — не знаю.

— А ты ж на ней стоишь.

— Где?

— Где-где — на горе. Войной называется.

— Что за кулебяка такая?

— Да вот такая, какая есть. Дело давнее. Сказывают, что когда-то супостат на эти края навалился. И воевали долго, и никак война не кончалась. Мущинское население на хронте, бабы с малыми да старыми в тылу притомились. Позвали колдуна. А тот пошептал-поплевал, на пятке крутнулся да и скрипит, как колесо тележное: гору за лесом Войной нарекаю. Одолеете гору — и настоящей войне конец будет. Ладошка об ладошку потёр и сгинул. А бабы подолы подоткнули да на гору полезли. Только на макушку поднялись — солнце село. Заночевали. А на следующий день, как спустились назад в деревню, гонец прискакал: побили мужики супостатов, домой спешат. Гору теперь по-другому и не зовут. Война — и всё тут. Поперек слова колдовского кто же сунется?

Примолк ворон. И Алёшка молчит, загорюнился. Но долго не стал.

— Спасибо, птица-ворон, за инуформацию. Мудрено наворочено, но видать, что правда. Нарочно так ни в жисть не придумать. Только что же мне теперь делать? У меня ж приказ.

Тут ворон притих ненадолго, задумчиво пирог с грибами поклевал да и молвил:

— Зря горюнишься, служивый. Приказ ты выполнил.

— Как это?

— Тебя на войну послали?

— Ну…

— Ты сейчас где стоишь?

— На Войне…

— Вот во дворец придёшь и доложишь: вернулся, дескать, с Войны… Ведь правду скажешь?

— А то! — обрадовался было Алёшка, да осёкся.— Нет, не выходит. Приказ не весь исполню. Мне с победой надобно вернуться.

— С победой, говоришь? — ворон голову скособочил и весёлым глазом на Алёшку поглядел.— Будет тебе и победа. Если то, что скажу, точь-в-точь сделаешь да золотую бусину мне подаришь.

— Говори. Если без душегубства или окаянства какого, всё сделаю. И бусину золотую, если по дороге найду и ничейная она будет, тебе отдам. А плохого не проси.

— За бусиной надо к дубу вековому — древу мировому идти.

— Далече оно, древо твоё?

— Это как идти. Ежели как обычно, то тридцать три года ходить будешь — и то неизвестно, дойдёшь ли.

— Так мне не нать,— затосковал Алёшка.— Маришка, мож, и не забудет цветочку моему памятному благодаря, но взамуж её царь-емператор непременно выдаст.

— Тогда ночи дождись и за синим светляком шагай. К утру добежишь, если ног не сломаешь.

— Рази бывают светляки синие? — усомнился наш Алёшка.

— Увидишь,— ответил ворон, каркнул и крылья расправил.— А я тебя потом найду.

Настала ночь. Темень — хоть глаз коли, ни месяца, ни звёздочки, ни костерка, ни свечки. Алёшка глаза в темноту таращит, светляков ищет. Глядь —

огонёк синий трепыхается. Алёшка к нему. Огонёк шагов на пять подпустил и потёк куда-то в сторону, да быстро так. Алёшка за ним. Бежит-спотыкается, на фузею опирается, а думка одна: огонёк не потерять. Ветки сухие колючие парня по физии хлещут, корни узловатые склизкие под ноги лезут, волки в оврагах-буераках завывают. Да только солдату Алёшке пугаться-бояться некогда, приказ царский да уговор выполнять надо.

Добрался к рассвету до большой поляны среди леса—в тумане утреннем громадный дуб виднеется. Остановился Алёшка дух перевести, а тут и синий огонёк сгинул, как не бывало.

Уселся Алёшка под дубом, сухарика сточил. Солнышко поднялось, пригревать стало, листва над головой шумит, Алёшку дрёма одолевает.

Ан нет, не дуб это шумит, это внутри дерева гул—ровный такой!

Любопытно парню стало—молодой же ещё. Приставил Алёшка фузею к дубу, сам наверх полез. А там—дупло. Большое, внутри темно, зато гул слышнее стал.

Влез Алёшка в дупло, враспор руками-ногами упёрся и давай спускаться, а гул всё яснее, а ход всё шире становятся. Не удержался—упал.

«Ох,—успел подумать Алёшка, зажмурившись,—кажись, сейчас шваркнусь, костей не соберу».

И вдруг чувствует, что на ногах как ни в чём не бывало стоит.

Глаза открыл—перед ним прошпект заграничный; дома не нашенские, каменные; крыши чудны́е, островерхие, чешуёй-волнами покрыты; самобеглые коляски носятся, гудят; люди чужие мимо Алёшки идут, как вдоль пустого места. От такой причуды в жизни рука у Алёшки сама ко лбу потянулась—для крестного знамения…

— Здоро́во, служивый!—вдруг голос за спиной.—Потерял чегой али сам потерялся?

Повернулся Алёшка и глазам не верит. Стоит перед ним мужичок-хитрован с ранцем за плечами.

— Я это… в дупло полез…

— Понятно. До Войны-то дошёл?

— Дойти-то дошёл, да только война не война оказалась.

— А это как кому,—говорит мужичок и опять лыбится.—От меня обману не было.

— Мне бы возвернуться. Я там под дубом фузею оставил, казённую. Как бы кто не утащил,—конфузия с Алёшки сошла, вида не подаёт, что неловко ему перед мужичком остолопом стоять.

— А что дашь?—завёл свою песню хитрован.

— У меня только вот,—протянул Алёшка кулёчек с орешками калёными.—Угостись, не побрезгай.

Мужичок нос в кулёчек сунул, рот скривил, зубом цыкнул, сгрёб Алёшкино угощение в ранец, повернулся, через плечо кинул:

— Ну, касатик-солдатик, поспевай за мной. А то дел невпроворот.

И—шасть в ближайшую подворотню.

Тут сверкнуло-блеснуло что-то у Алёшки под ногами. Пригляделся—меж камней на мостовой бусина солнышко отсвечивает, ей-ей золочёная.

«Обронил, видать, мужичок,—смекнул Алёшка.—Вернуть надобно вещицу ценную».

Подхватил бусину, в кулаке зажал накрепко да бегом за мужичком. Едва успел углядеть, в какую дверь тот заскочил.

А за дверью зала! Громадная, как во дворце у царя-императора,—с паркетом, люфстрою и камином. И в трубе каминной кто-то шуршит—по всему видать, мужичок туда сиганул. Алёшка, не мешкая, в темень каминную сунулся, локтями-коленками упёрся да вверх полез: откуда сажа падала—шорох слышался и далёко-высо́ко какой-то свет маячил.

А когда до дыры в стенке добрался да голову в неё сунул, оказалось, что из дупла на дубе выглянул.

«Вот чудеса!»—подумал Алёшка, крестом себя осенил, с дуба спустился, давай оглядываться—куда мужичок делся.

— Зря ищешь,—раздался знакомый голос из листвы.—Не догонишь, не найдёшь.

И раз—уже перед Алёшкой на земле птица-ворон сидит, круглым глазом в упор глядит.

— Нашёл бусину золотую?—спрашивает.

— Вот она,—Алёшка кулак разжал.

— Отдашь?

— Надобно бы тому, кто потерял, отдать. Мужичка вот не догнал.

— А ты почём знаешь, что он бусины хозяин? Такие мужички-хитрованы никогда ничего не теряют. К их рукам всё липнет—это да!

— А чья ж тогда она?

— Была ничья. Ты нашёл—теперь твоя. А мне отдашь, как обещал,—подскажу, как к Маришке-душеньке вернуться да голову при том не потерять. Царёв приказ целиком исполнишь.

Задумался Алёшка: прав ворон кругом. Выдернул с подола рубахи солдатской нитку суровую, в бусину продел и ворону на шею подвесил.

— Дарю её тебе, ворон-батюшка, за мудрость твою, а ты меня ответно надоумь.

— Живёт в этих краях барин-вельможа. Есть у него чудо-лошадь. Ни у кого во всём царстве-империи такой нет. Сама белее снега свежего, грива золотая, в гриву брильянтовые нити вплетёны, а в подковах камни-рубины. Приведёшь чудо-лошадь к царю—тебе и зачтётся.

— Шутишь? Мне, солдату-караульному, цельный барин-вельможа да свою чудо-лошадь отдаст?

— Отдаст, не сумлевайся. Ты, главное, правду скажи, да только по-своему её поверни. Дескать, не можешь царёв приказ выполнить и хочешь прощение заслужить. Мол, задумал привесть в конюшни емператорские чудо-лошадь, глядишь,

смягчится царское сердце, останется голова на плечах по государевой милости. И промеж всего добавь: ежели до царя слух дойдёт, что у его подданного лошадь лучше, как пить дать осерчает. И коняшку заберёт, и таких шелбанов понаставит, что до конца жизни в дурачках ходить придётся.
— Ох, птица-ворон, что ж ты окаянством-то меня прельщаешь? Не бывать тому, чтоб я человека православного царём-емператором стращал.
— Вот тетеря, я ему стрижено, а он мне — брито. Тогда проси её у хозяина за то, что любое его повеление исполнишь. Может, и уговоришь. Но только к царю тебе без чудо-лошади ходу нет. Про светляка путеводного не забудь, — взмахнул крыльями чёрными и был таков.

А Алёшке ночи ждать надо. Он мундир от сажи почистил, фузею проверил, остатки последнего сухарика сгрыз и под древом мировым подремал малёхо. Не первый год как лоб парню забрили, выучил уже: солдат спит — служба идёт.

К ночи в бодрости себя чуял — тож привычка караульная. По темноте уже приметил огонёк синенький, опять через овраги-буераки и чащобу глухую-тёмную бегом бежал. Наутро на верхушке Войны оказался. А через три дни стоял у хором барина-вельможи — язык хоть до Киева, хоть докудова даже гражданского чину человека доведёт, а уж военного с фузеей в руках и подавно.
— Чё надо? — привратник Алёшку не пускает.
— Царский приказ сполняю, к барину-вельможе дело, — гнёт свой антирес Алёшка.
— Что за дело у тебя ко мне, солдат? — это, опосля как Алёшку в кабинеты привели, спрашивает барин-вельможа, а сам в бакенбардах да в халате шёлковом в кресле-качалке развалился, яблочко наливное в руке крутит.
— Слух прошёл, вашство, что имеется в ваших конюшнях чудо-лошадь, сама белая, грива золотая… — начал было тарабанить Алёшка.
— Стой-постой, какой такой слух? — подозрительно уставился на солдатика барин-вельможа. — Лошадка та у меня совсем недавно, без году неделя. И держу я её от сглазу в глухих лесах — на дальних выпасах. Енто такое место, что мало кому известно. А кто знает — рта не раскрывает. Не велено, да и запорю. Ну-ка, или рассказывай как есть, откуда знаешь, или плетей тебе выпишу.

Делать нечего, рассказал Алёшка, ничего не утаил — ни про мужичка, ни про Войну, ни про ворона, ни про дупло в дубе. Поведал как на духу и голову кудрявую повесил: видать, не судьба её на плечах сохранить. Но не сдаётся.
— Я, — говорит, — любое повеление, ежели без душегубства и окаянства, готов за чудо-лошадку вашу сполнить.

А барин-вельможа вдруг и говорит:
— Отдам я тебе чудо-лошадь, если отведёшь меня к дубу вековому — древу мировому. Очень уж мне соблазнительно на заграничные прошпекты поглядеть.

Смикитил, прохиндей, что можно без царского дозволения и без пачпорта в любой момент за границу и обратно сигануть. Прожекты в голове роиться начали, негоцией запахло: при известной сноровке не токмо бусину — мешок с каменьями самоцветными мимо всякой там таможни-растаможни протащить можно.
— Ежели так, отведу, — отвечает Алёшка, а сам уж и не рад, что связался. — Условие есть: сделай тугамент, что животную мне по доброй воле отдаёшь. У дуба мне с рук на руки вручишь. А то вдруг не захочешь с прошпектов заграничных возвращаться — и я с носом останусь.

На том и уговор вышел.

Теперь знакомая дорожка да на бариновых лошадях Алёшке недолгой показалась. Думал, трудно будет вдвоём с барином-вельможей за синим огоньком в темноте ночной угнаться, но господская коммерческая ажитация — она ещё пуще солдатского долгу. Угнались.
— Вон там на дубе дупло. Только это, — заступил дорогу Алёшка, — дай-ка мне тугамент, что теперь чудо-лошадь моя. Уговор дороже денег, к дубу-древу я тебя привёл.
— Хорошо, держи. Только не твоя чудо-лошадь будет. Бумага дарственная на царя-емператора писана, а тебе только чудо-лошадь доставить доверяется. Ежели ты чего утаил и возврату мне не будет, всё одно семье моей благодарственность царская достанется, — открыл карты шельмец.

И полез на дуб.
— Слышь, солдатик, тебе ещё и место, где лошадка моя содержится, самому искать придётся, — хихикнул ехидно барин-вельможа из ветвей напоследок, и — только его и видели.

А служивый наш бумагу дарственную за обшлаг рукава мундирного сунул да снова в путь наладился, хоть и устамши был от всей этой канители.

Вернулся Алёшка в барина-вельможи вотчины — почал справки наводить. Ан и впрямь никто не говорит, где чудо-лошадь сыскать можно. Уселся на камушек у дороги, фузею на коленях пристроил, голову рукой подпёр, былинку-травинку жуёт, горюет. А тут — скок! — из травы на обочину старый знакомец, зайка-русайка. Солдата увидал — чуть замертво не упал. Уши трясутся, хвост дрожит.
— Здравствуй, пострел, давно не виделись, — заметил и Алёшка зайку-русайку.
— Ага, — отвечает тот. — Стой-стрелять не будешь?
— Я ж не в карауле, — успокаивает его Алёшка да с вопросом не мешкает: — А не встречал ли ты в глухих лесах — на дальних выпасах место скрытное, где чудо-лошадь держат? Сама белая как снег, грива золотая… Тебя же ноги быстрые где только не носят.

Зайку-русайку колотун отпустил, здравое сознание вернулось.
— Знаю такое место.
— Помоги, братец, укажи дорожку, очень надо,— взмолился Алёшка.
— Это можно, чего ж доброму человеку не помочь? Поспевай за мной!

Ну, солдату бегом бегать не привыкать. Фузею на плечо взбросил—и припустил за зайкой-русайкой не хужей борзой собаки.

Прибежали в место скрытное, что в глухих лесах— на дальних выпасах барин-вельможа устроил. Стоит среди лесной поляны заимка—сама махонькая, но слажена сурьёзно: заплот бревенчатый, ворота тесовые.
— Спасибо тебе, братец, выручил. Дальше я сам,— попрощался Алёшка с зайкой-русайкой—и к воротам.

На стук в створке ворот окошечко открылось, в нём борода виднеется—стало быть, дедок-сторожок.
— Так, мол, и так,—Алёшка объяснять стал,—чудо-лошадь мне надо забрать и к царю-емператору отвесть, стало быть, в подарок. Вот и тугамент дарственный, барином-вельможей собственноручно писан.
— Тугамент—это правильно,—отвечает дедок-сторожок.—К чудо-лошади-то я тебя, служивый, пущу, да только не пойдёт она с тобой.
— Это почему так?—нахмурился озадаченно Алёшка.
— Есть у ней этакая каприза. Прикормить её с руки надобно. Да не абы чем.
— А чем?
— Овсом свежим, отборным, сорту особого, зёрна цветом, что твоё серебро, и размером с ноготь.
— Да где ж мне такого сыскать?
— Про то не ведаю. Барин-вельможа завсегда с собой привозил и всё любимице своей сам скармливал.

Опять у Алёшки физия скучная да кислая сделалась. Сел у ворот, шельмеца вельможного крепким словом поминает. И чует—под рукой в траве суетится кто-то. Вот те встреча—старая знакомая, мышка-полёвка!
— Здравствуй, интендантская душа!—обрадовался Алёшка.
— И тебе не хворать, мил человек,—отвечает мышка-полёвка.
— Я к тебе с поклоном, не откажи, милая,—опять просит за свой антирес служивый.—Скажи, где сыскать мне овса сорту особого, чтоб зёрна цветом серебряным и размером с человечий ноготь? Хоть пригоршню.
— В таком деле помочь нетрудно, как раз по моей натуре,—обнадёжила Алёшку мышка-полёвка.—Ложись спать-отдыхать, набегался, поди, за зайцем-то. Неподалёку кивер солдатский поставь. А я—к закромам своим подземным, нувентаризацию проведу.

Алёшку упрашивать долго не пришлось, умаялся парень. А как проснулся, нашёл кивер солдатский полнёхонек овса отборного, да с горкой. И зёрна-то! Таких крупных да с серебряным отливом он никогда не видел.

Алёшка кивер в охапку—и скорей к воротам. Погромыхал кулаком по доскам. Сызнова окошечко отворилось.
— Веди меня, отец, к чудо-лошади,—объявил дедку Алёшка.—Сыскал я для ейной капризы подношение. А там и в путь пора.

Долго ли, коротко ли время тянулось—одному Алёшке известно. Однако добрался он до столицы царства-емперии, да не один—вёл в поводу чудо-лошадь, коих в этих краях досель не видали. На её красоту у Алёшки только надёжа осталась. И прямиком во дворец.

Царь-емператор с емператрицей да с Марианной-царевной как раз на крыльце высоком чаи гоняли, с крыжомпленным вареньем. Ну и пирожки с ливером тут как тут—уж так заведено.
— Здравия желаю, вашство царь-емператор! И вам того же, госпожа-емператрица и принцесса-царевна!—громко поздоровался Алёшка, сам во фрунт стал и царя глазами ест—как по уставу положено.—Явился в ваше распоряжение!
— Фу ты, ну ты, ноги гнуты. Явился—не запылился,—оторвался от блюдца с чаем его величество.—Приказ сполнил?
— Так точно!

Царь-емператор чуть крыжомплем-ягодой не поперхнулся:
— Что, и на войне был?
— Был, вашество! Есть такая гора в вашем царстве-емператорстве, народ Войной зовёт. На самую маковку забрался. А чтоб с пустыми руками не возвращаться, подарочек вам привёл. Чудо-лошадь! Сами видите какая: и грива золотая, и нитки брильянтовые в гриву вплетены, и ещё на подковах камни-рубины!
— Не украл?—строго спрашивает царь-емператор.
— Никак нет!—отвечает Алёшка и с фасоном фициальную бумагу из-за обшлага извлекает.—Вот и дарственная на ваше высочайшее имя.
— Так-так, почитаем-поглядим… «Сия кобыла, именуемая Победа…»—подслеповато щурясь, стал читать царь-емператор.—С Победой, значит-ка, вернулся?

Тут Алёшка и понял всё.
— Так точно, вашство! На Войну сходил, с Победой вернулся—всё как велено!—докладывает, каблуками щёлкнув, а сам глазами на царевну-душечку сияет.

Крякнул царь-емператор от досады, а делать нечего. Слово давал. Оно хоть и царское, и завсегда

назад забрать можно по причине частной собственности, но не из-за всякой же мелочи. Тут государственна политика, понимать надо. Да и не жалко было форму с эмполетами, всё равно к ней в кладовке уже моль пристроилась.

Хлеба каравай, водки штоф да медаль геройскую Алёшка тоже получил. И в службу караульную снова назначен был. Даже целовался потом за будкой караульной с царевной-душенькой, с Марианной, нашей скромницей-красавицей. Пока она маненько не повзрослела да не поумнела. Но цветочек-незабудку в альбоме девичьем на вечную память таки засушила.

Вот и вся гистория. Ежели кто думал, что царь-император Алёшку-караульного енералом назначит да с царевной-душенькой обвенчает, то я такого не скажу. Это уже совсем враки. А у нас сказ сурьёзный.

ДиН ревю

Асламбек Тугузов

Пленник пламенных звёзд

Грозный, 2020

● ● ●

З. Л.

Давайте тогда про большую любовь,
Про белые серьги и тонкую бровь,
Про разные ахи и охи,
Бессовестной нашей эпохи.

Уже и не помню (проклятый склероз)
Ни улицы нашей, ни клумбы, ни роз,
Ни вашей зелёной калитки,
С цветочками как на открытке

Из детства. А всё же, кляня пустоту,
Я помню, как медленно сохло во рту,
Как длились часы ожиданья
И как не хватало дыханья

Стеснённому сердцу, когда в тишине
Скрипела калитка и, словно во сне,
Она выходила оттуда,
Как свежая песня, как чудо.

Летела эпоха на крыльях войны,
Ломая границы огромной страны,
Но белые серьги сияли…
И тонкие брови летали…

И жизнь утверждалась надеждой одной:
Я буду с тобою, ты будешь со мной,
Как солнце, что светит оттуда,
Как свежая песня, как чудо.

● ● ●

И хлынула, взметённая безжалостной судьбой,
Всё дальше от расколотого дна,
Как встарь к Константинополю за дедовской арбой,
На берега Атлантики чеченская волна.

Ах, эти волны буйные, кто станет их считать,
Сойдёт с ума под звёздным небосклоном…
Теперь уже не Турция—Европа наша мать
От Вены до туманов Альбиона.

И пусть давно остывшие погасли очаги
И обвалились кровли отчих башен,
Сидит в кафе прокуренном месье из Атаги,
И лик его нисколечко не страшен.

В Германии и в Дании, в Голландии и там,
Где быстрый Тибр берёт своё начало,
Бродяга-ветер воет и тоскует по ночам
И волны бьются в поисках причала.

Ах, эти волны буйные, когда ж они опять
Исполнятся любви и силы жизни
И, чистые, по-прежнему отхлынут дерзко вспfive,
К покинутому берегу отчизны?

Надежды наши светлые бессмертны, а пока
Томит нас ностальгическая смута.
Над Триумфальной аркой проплывают облака,
Такие же, как в небе над Бамутом.

Максим Кузнецов

Два киносценария

Максим Кузнецов — красноярский кинорежиссёр и киносценарист. «Красноярский кинорежиссёр» — само по себе звучит как парадокс, поскольку в нашем городе никогда не было настоящей киноиндустрии. Снимать кино в Красноярске — всё равно что выращивать бананы за полярным кругом, но энтузиасты всё-таки находятся. И один из них — Максим Кузнецов. Всю свою жизнь он упорно стремится делать настоящее игровое кино. И ведь приходится это делать почти без какой-либо поддержки — на чистом энтузиазме.

Я сам участвовал в паре проектов Максима и на себе испытал, насколько это трудное и изматывающее, но одновременно и захватывающее занятие. Буквально за каждый кадр приходится платить кровью и по́том. Поэтому для меня творчество Максима Кузнецова, помимо прочего, ещё и памятник неукротимости творческого духа человека.

Лишь малая часть киноидей режиссёра была реализована, большинство же сценариев легли в стол.

Хотелось бы познакомить вас с литературной стороной творчества Максима Кузнецова — с его киносценариями.

Киносценарий — это особый жанр, требующий особого подхода к построению сюжета. Обратите внимание на специальные пометки перед началом каждой сцены: «инт» означает «интерьер», то есть съёмка в помещении, «нат» означает «натура», то есть съёмка под открытым небом, на улице.

Дмитрий Косяков

Гордый «Варяг»

Сценарий короткометражного фильма

ИНТ. КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ. ДЕНЬ

В полумраке пустого концертного зала, за кулисами, гулко раздаются голоса и шум передвигаемой мебели. Пол сцены, когда-то сделанный из хорошо подогнанных гладких досок, теперь в плачевном виде. От старости в дереве образовались корявые выбоины и щели. Поскрипывая, ржавые колёсики рояля катятся по бугристой поверхности пола. Несколько рабочих, пыхтя и упираясь, катят по сцене чёрный рояль. У одного на ногах старые, в заплатках, кеды. Неожиданно одно колёсико проваливается и застревает в щели пола. Рабочие негромко ругаются и что есть силы довольно бесцеремонно толкают инструмент.

НАТ. ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ УЛИЦЫ. ДЕНЬ

На проезжей части улицы стоит красный перламутровый «Хаммер». В задний бампер джипа уткнулась старенькая иномарка с приплюснутым капотом. Вокруг на асфальте разбросаны цветные пластмассовые осколки. Из «Хаммера» выходит КРЕПКИЙ ПАРЕНЬ, он морщится, как от зубной боли, и шаркающей небрежной походкой идёт к иномарке. Из иномарки выбирается ПИАНИСТ — невысокий человек с длинными волосами, он напуган, на рассечённой брови выступила кровь. С пассажирской стороны «Хаммера» к легковушке подходит ВТОРОЙ КРЕПКИЙ ПАРЕНЬ, на его лице играет глумливая улыбка.

ВТОРОЙ КРЕПКИЙ ПАРЕНЬ. Ну ты, мужик, попал.

ПИАНИСТ. Ничего не понимаю… я же тормозил, Я на педальку жму… а машина едет и едет… и прямо в вас…

Крепкий Парень ничего не говорит, приседает на корточки и трогает толстым, как сосиска, пальцем взлохмаченный кусок пластмассы.

ПИАНИСТ. Ну, главное, тормозил же! Педалька провалилась, я на неё жму, а она вниз ушла, провалилась… и главное — ведь ничего уже не поделать!

Крепкий Парень с нескрываемым презрением смотрит на обалдевшего от несчастья Пианиста и неожиданно говорит писклявым, никак не подходящим к его габаритам голосом.

КРЕПКИЙ ПАРЕНЬ. Ты, пи-идалька, смотреть надо, куда едешь. Чё рот открыл? Глазёнками смотреть надо. Вот как сейчас смотришь, так и надо смотреть, когда за рулём едешь!

ПИАНИСТ. Я говорю вам, что смотрел. Если машина не тормозит, что я могу сделать?

Заметно невооружённым глазом: Пианист не знает, как нужно разговаривать с такого сорта людьми, и обыкновенно боится наглецов.

КРЕПКИЙ ПАРЕНЬ. Да мне по барабану, можешь ты сделать или нет, следить надо за тормозами. А если ты камикадзе и тебе по фигу, тормози в дерево или столб. Я что, Бэтмен, всяким лохам свой бампер подставлять?

ВТОРОЙ КРЕПКИЙ ПАРЕНЬ. Э-э, я не понял: чё ты разговариваешь? Если есть, кто за тебя впряжётся,—звони, перетрём, давай, стрела здесь, прям на месте!

Пианист неожиданно с вызовом смотрит на бандитов.

ПИАНИСТ. Да, конечно, мне есть кому позвонить… есть мне… есть кому позвонить.

Трясущимися руками Пианист достаёт из кармана телефон.

ИНТ. КОРИДОР. ДЕНЬ

По узкому длинному коридору спешным шагом двигаются приятели ГРИША и САША—немолодые, но бодрые сорокалетние мужчины. У Саши звонит мобильник.

САША *(в мобильник)*. Аллё. Чего? Авария? Да, не повезло! Куда приехать?!

Саша—высокий, тёмный, с длинными волосами, в кожаной куртке. Гриша—мал ростом, стрижен до короткого ёжика, одет в майку с длинными рукавами и джинсы. Саша останавливается, некоторое время слушает телефон.

САША. Что за бред?! Какие разборки?.. Мы живём в цивилизованной стране. Да. Да, мы сейчас уже не приедем. Это бред какой-то—на разборки ездить: братва, трёшь-мнёшь—ну смешно!

Саша, разговаривая по телефону, продолжает идти по коридору. Гриша идёт рядом и безучастно прислушивается к разговору.

САША. У нас правовое государство, никого не слушай, звони в ментовку. Вообще никого не слушай. Всё, абстрагируйся от ситуации, звони ментам. С этими даже не разговаривай, что бы они тебе ни говорили, в сторону отойди и жди дэпээсников…

За стеной коридора глухо играет барабанная установка. В коридоре появляется продюсер АРТУР, ему около двадцати пяти лет, у него модная стрижка, брендовые джинсы и рубашка. Увидев приятелей, идущих навстречу, Артур круто разворачивается на сто восемьдесят градусов и бежит, вызывая у друзей бурю негодования.

ГРИША. Стой!

Саша бросается в погоню, рыча, как разъярённый лев. Артур выбегает на лестницу, сбегает вниз по пролёту, ныряет в неприметную дверь. Оказывается в небольшом квадратном зале. Дверь с шумом распахивается, в зал вламываются Гриша и Саша. Артур выхватывает из кучи театрального реквизита деревянный меч и начинает им воинственно размахивать. Здоровяк Саша выкатывает из того же театрального хлама огромную картонную бочку и, изобразив зверское выражение, поднимает бочку над головой. Артур испуганно кричит и бросает меч на пол.

АРТУР. Ну всё… всё! Ну хорош! Ну харэ!

ГРИША. Чё ты бегаешь? Чё ты… думаешь, мы тебя не вычислим?!

АРТУР. Да потому что! Если бы я вас тупо через час встретил… то рассчитался бы, без бэ.

САША. Чего ты свистишь?! Свистеть—не кули ворочать.

ГРИША. Это твоё «без бэ» мы уже сколько слышим?

САША. Да уже… третий месяц пошёл!

АРТУР. Ну, заказчик только сейчас разродился. Ты же знаешь этого гондураса, он тянет до последнего. Вот он сейчас в «Кристалле» мне деньги отдаст. Не верите? Пошли со мной!

Саша и Гриша сразу сменяют гнев на милость.

САША. Ну пойдём. Но у нас концерт.

Артур чувствует перемену в ситуации и начинает говорить с друзьями в своей обычной снисходительной манере.

АРТУР. Да забейте на этот концерт. Или чё, вам тут деньги платят?

ГРИША. Ладно, считай, мы тебе поверили. После концерта мы идём в «Кристалл», где ты нас ждёшь с бабульками.

АРТУР. Ладно, я вас жду.

Артур с достоинством поправляет съехавший набок шарфик и идёт к выходу. На ходу небрежно бросает.

АРТУР. Только это, вы… успевайте до семи. Сегодня типа элитарной вечеринки, после семи никого не пустят.

Гриша бросает взгляд на часы, на его лице появляется горькое разочарование, он протягивает руку в сторону Артура, но продюсера уже нет в комнате.

ИНТ. КОРИДОР. ДЕНЬ

Чтобы наверстать упущенное время Артур рысью бежит по коридору. Коридор поворачивает, и молодой человек оказывается перед ветхой дверью на пружине. Артур толкает дверь и выходит в фойе Дворца культуры.

ИНТ. ФОЙЕ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ. ДЕНЬ

Многочисленные ремонты и перепланировки не смогли до конца уничтожить присутствие советской эпохи в интерьерах ДК. С потолка, как и в старое время, свисают пыльные хрустальные люстры, сохранилась тёмная чеканка, изображающая трудовые подвиги, а по углам — дряхлые кресла, помнящие ещё секретарей обкома. Артур ловко маневрирует среди зрителей, которые ровным потоком идут к просторной двери, открытой в зрительный зал. Замечает, как, ЖЕНЩИНА СОРОКА ЛЕТ случайно роняет цветастый буклетик. Парень ловко поднимает вещицу.

АРТУР. Мадам, вы уронили…

ЖЕНЩИНА СОРОКА ЛЕТ. Спасибо, молодой человек.

Артур галантно кланяется и исчезает в толпе. Женщина Сорока Лет прячет буклет в сумочку. Рядом с ней ПОДРУГА — молодая женщина тридцати лет.

ИНТ. КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ. ДЕНЬ

Женщины входят в зал. Сцена закрыта ярким малиновым занавесом. Публика занимает места. Заглядывая за спинки кресел, подруги двигаются по ряду.

ЖЕНЩИНА СОРОКА ЛЕТ. Мы живём как на пороховой бочке, это какой-то кошмар. И всё начинается с мелочей. Например, Колина племянница наметает мусора в совок… и спокойно сбрасывает в унитаз.

Женщина Сорока Лет и Подруга находят свои места, усаживаются.

ЖЕНЩИНА СОРОКА ЛЕТ. Так она ещё умудряется и мелочь наметать и в унитаз сбрасывать. А деньги смывать нельзя… их тогда по жизни смывать будет. Лучше бы в мусорное ведро бросила.

ПОДРУГА. А почему в ведро, а не в унитаз?

ЖЕНЩИНА СОРОКА ЛЕТ. Копеечка в ведре — она в общей куче! А деньги любят в кучку собираться, это они, значит, себе другие деньги притягивать будут…

ПОДРУГА. А-а, ты в этом смысле…

На ряд ниже занимает место МУЖЧИНА тридцати лет. Звучит сигнал телефона. Мужчина вытаскивает из кармана мобильник.

МУЖЧИНА. Да. *(Небольшая пауза.)* Воспоминания о нашей встрече хранятся у меня в том же отсеке памяти, где воспоминания о прошлогоднем снеге. *(Пауза.)* Всё — прошлогодний снег. Я на концерте. Телефон выключаю.

Женщина Сорока Лет и Подруга с любопытством наблюдают сцену откровенного телефонного разговора. Мужчина нажимает кнопку телефона, слышится сигнал выключения мобильника. Женщины следуют примеру Мужчины — достают из сумочек телефоны и выключают.

В зал входит группа младших школьников. Дети вносят оживление в общую массу зрителей, они громко разговаривают и даже пытаются устроить игру в догонялки. УЧИТЕЛЬНИЦА, молодая женщина, рассаживает школьников по местам. Когда все расселись, она обращается сразу ко всем, говорит негромко, но так, чтобы её услышали.

УЧИТЕЛЬНИЦА. Сегодня у вас встреча с прекрасным. Это интересно и в Интернете. В Интернете можно всё найти и всё узнать, но в Интернете невозможно почувствовать живое дыхание искусства… почувствовать пульс жизни, получить непосредственный опыт. Его можно получить только на концерте, когда вы слышите музыку без наушников, когда вы видите сцену, слышите живой голос…

Школьники индифферентно относятся к патетическому обращению своей наставницы, большинство погружено в созерцание телефонов. Учительница тревожно вглядывается в лица детей.

УЧИТЕЛЬНИЦА. А где Кирилл? Кто-нибудь видел Кирилла?

ИНТ. КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ, БАЛКОН. ДЕНЬ

Балкон располагается сразу над концертным залом. Всё его пространство занято звуковой аппаратурой: мигает лампочками микшерный пульт, на стеллажах — старые магнитофоны и современные мультиплееры. Открывается дверь, на балкон входит КИРИЛЛ — мальчуган лет девяти. Он подходит к перилам, смотрит вниз. Публика уже наполовину заполнила зал и продолжает прибывать. Кирилл сияет улыбкой счастливого человека. Пользуясь тем, что его никто не видит, он разводит руки в стороны и машет руками, как крыльями, затем вытаскивает из кармана свёрток новогоднего серпантина и, размахнувшись, бросает серпантин в зал. На балкон заходит ЗВУКОРЕЖИССЁР — сорокалетний мужчина, одетый в старенький джинсовый пиджак с заплатами на локтях.

ЗВУКОРЕЖИССЁР. Ты что в зал бросил? А? Давай отсюда, парень. Здесь детям нельзя!

На балкон заглядывает Учительница.

УЧИТЕЛЬНИЦА. Кирилл, ты почему ушёл без разрешения?

ЗВУКОРЕЖИССЁР. Вот так дети и пропадают. Чуть отвернулись — и он пошёл себе гулять. А если бы тут маньяк какой сидел?

Замечание Звукорежиссёра вызывает бурю негодования.

УЧИТЕЛЬНИЦА. Знаете что?! Для глупых шуток есть масса других поводов! Сразу видно, что у вас своих детей нет.

Учительница берёт Кирилла за руку.

УЧИТЕЛЬНИЦА. Идём отсюда!

Учительница уводит ребёнка. Звукорежиссёр с кислой физиономией смотрит им вслед. Оставшись один, Звукорежиссёр выдаёт гневную тираду.

ЗВУКОРЕЖИССЁР. У меня и чужих нет! Чуть что — сразу: «У нас дети!» А мозги у вас есть, талант какой-нибудь или хотя бы способности?.. Нет, у нас только дети. А что вы можете дать этим детям?

Рация на столе подаёт сигнал вызова. Звукорежиссёр подходит к балкону, смотрит вниз. Из зала ему машет рукой ТЕХНИК — молодой человек, худой как дрын, в чёрной майке, в чёрных брюках и рваных кедах. На поясе у него широкий кожаный ремень с рацией и сумочкой для инструмента.

ТЕХНИК *(говорит в рацию)*. Тут провод оторвали.

Звукорежиссёр подходит к пульту, двигает несколько ручек, отвечает в рацию.

ЗВУКОРЕЖИССЁР. Я им говорил: заведите под полом, как положено. Если что, я могу с этой линией не работать.

Техник, не обращая внимания на зрителей, усаживается прямо на пол и начинает зачищать концы проводов.

ТЕХНИК. Да нет, всё нормально, я сделаю.

В двух шагах от Техника в кресле сидят ПЕРВАЯ ДЕВУШКА, МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК, ВТОРАЯ ДЕВУШКА. Внешний вид молодых людей красноречиво свидетельствует о принадлежности к креативному классу.

ПЕРВАЯ ДЕВУШКА. Я же на Милоша Формана сходила. Сижу такая в зале, пытаюсь поймать волну великого классика, и тут прямо ко мне, в спортивных штанах «Адидас», с попкорном и пивом, двигается откровенный гопник. Чё он тут делает?!

Первая девушка разговаривает громко, так что её могут спокойно слышать и Техник, и некоторые зрители. Техник скручивая провода, недобрым взглядом посматривает на продвинутую молодёжь.

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. А ты заметила, как он попкорн ел?

ПЕРВАЯ ДЕВУШКА. Нет, конечно.

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Он не хрустел! Осторожно достанет зёрнышко, тихо прожуёт. Чувак, может быть, специально пришёл, вот потянуло чувака к прекрасному, а ты его штанами попрекаешь.

Вторая девушка откровенно удивлена.

ВТОРАЯ ДЕВУШКА. Так я не поняла: а вы что, вдвоём были?

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. Ну, в общем-то… да.

Колонки на сцене издают неприятный металлический звук.

ИНТ. КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ, БАЛКОН. ДЕНЬ

Звукорежиссёр подходит к пульту, нажимает несколько кнопок. Затем смотрит в листок бумаги, пришпиленный к деревянной полке.

ЗВУКОРЕЖИССЁР *(в рацию)*. А чё у нас… на сцене три микрофона?

ТЕХНИК. Ну да.

ЗВУКОРЕЖИССЁР. В заявке написано — два. Сходи один убери.

ТЕХНИК. Ага, сейчас!

Техник прячет скрученный провод под ковровую дорожку и быстрым шагом идёт к сцене, поднимается по боковым ступенькам сцены и заходит за занавес.

ИНТ. СЦЕНА. ДЕНЬ

На сцене перед занавесом в три ряда стоит хор — двадцать мужчин во фраках. Перед хором — ДИРИЖЁР, немолодой мужчина, очень худой, высокий, с жидкими седыми волосами в косице. В левой части сцены за роялем — Пианист, его бровь заклеена пластырем телесного цвета, на бледном лице застыло скорбное выражение.

Техник беглым шагом идёт по авансцене к злополучному микрофону. Дирижёр с молчаливым неодобрением смотрит на Техника. Техник ловко отсоединяет провод, хватает стойку с микрофоном и бежит за кулису. Навстречу ему важно шествует роскошных форм немолодая дама в декольтированном поблёскивающем платье.

ИНТ. ЗА СЦЕНОЙ. ДЕНЬ

Техник в полумраке двигается среди старых декораций, находит фанерную дверь, обклеенную старыми афишами. Пошарив по карманам, находит ключ, после чего некоторое время возится с амбарным замком. Со стороны сцены слышатся аплодисменты. Техник открывает дверь, заносит стойку в каморку, забитую под завязку техническим хламом. В темноте плохо видно, Техник подсвечивает телефоном. В каморке слышно, как конферансье открывает концерт. Слов разобрать

нельзя, но патетические интонации ощущаются даже в глухой подсобке. Пока Техник устраивает стойку, сверху на него падает старая сплющенная туба. Парень негромко ругается, расставляет всё по местам, выходит из каморки, закрывает дверь. Со стороны сцены слышатся аплодисменты. Некоторое время Техник бродит за сценой, затем выходит в фойе и оттуда в зал, по которому уже разливаются могучие звуки хора.

ИНТ. ЗАЛ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ. ДЕНЬ

В зале темно. Техник на ощупь идёт вдоль стены, спотыкается о ступеньку. Останавливается, смотрит на сцену. На ярко освещённой сцене хор поёт песню о гордом «Варяге». Певцы с суровым выражением на лицах слегка раскачиваются в такт музыке. Среди поющих — Гриша и Саша. Фраки придают друзьям возвышенно-благородный вид, от былого раздолбайства нет и следа, мужчины печальны, как будто перед их мысленным взором крейсер «Варяг» с матросами на корме уходит под воду.

Хор едва успевает пропеть первый куплет, как Пианист неожиданно подпрыгивает на табурете. Не останавливая игру, он смотрит вниз, под ноги. В музыке чувствуется явный сбой. Дирижёр, не останавливая движения руками, поворачивается в сторону Пианиста. Пианист старается играть, его пальцы бегают по клавишам, но смотрит он вниз, под рояль. Правой ногой он нажимает на педаль, но педаль, вместо того чтобы упруго возвращаться на место, лежит на полу. Пианист ещё раз подпрыгивает, да так, что табурет громко валится на пол. Хор смолкает. Возникает тишина, во время которой никто не говорит и не двигается.

Пианист топает ногой и убегает со сцены. Дирижёр делает несколько шагов вслед за Пианистом, потом возвращается, смотрит в зал. В зале возникает лёгкое волнение. Чтобы понять, что происходит, несколько зрителей поднялись со своих мест. Дирижёр собирается что-то сказать публике, он изображает на своём лице ироническое выражение, подходит к краю сцены, наклоняется в зал… и в этот момент за кулисами слышится грохот от падения чего-то тяжёлого. Хористы все как один поворачивают головы в сторону шума. С изменившимся выражением лица Дирижёр подпрыгивающей походкой спешит за кулисы.

ИНТ. ЗА КУЛИСОЙ. ДЕНЬ

В темноте копошатся два человека: Монтировщик и Пианист поднимают опрокинутую тумбу. Установив тумбу в вертикальное положение, Пианист начинает отряхивать руками фрак и брюки. Его лицо, подсвеченное сбоку лампой дежурного освещения, имеет безучастное, отрешённое выражение.

ПИАНИСТ. Возможно, Паганини и играл на одной струне. Я не Паганини, я простой музыкант… я на сломанном инструменте играть не буду.

Монтировщик прилаживает к тумбе отвалившуюся цифру. Женщина-конферансье смотрит на Пианиста с сочувствием, за её спиной виднеются ярко освещённая сцена и в глубине сцены — хористы.

Появляется Дирижёр, он весь олицетворение немого укора. Пианист, завидев Дирижёра, неожиданно вскидывает брови и злобно оскаливается.

ИНТ. ЗАЛ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ. ДЕНЬ

В третьем ряду зала, в самом центре, сидит Кирилл, он с беспокойством смотрит на сцену. Рядом поднимается с места большой толстый мужчина и начинает пробираться к выходу.

ИНТ. СЦЕНА. ДЕНЬ

Хористы беспокойно поглядывают в сторону кулис. Гриша смотрит на часы. Стрелки показывают половину седьмого. Гриша показывает Саше: «Надо делать ноги». Саша одобрительно кивает, и друзья выбираются из своего ряда, спускаются на пол сцены и с невозмутимым видом идут в противоположную от Дирижёра кулису.

ИНТ. ЗАЛ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ. ДЕНЬ

Школьники поднимаются со своих мест, кто-то уже успел выйти в проход между рядами.

ИНТ. СЦЕНА. ДЕНЬ

Певцы на сцене некоторое время топчутся на своём возвышении, затем по одному спускаются вниз, перемещаясь по сцене как бы невзначай ближе к той кулисе, в которую ушли Саша и Гриша. За сценой Пианист и Дирижёр говорят на повышенных тонах. Доносятся обрывки фраз: «…вы мне говорите, вы мне не говорите…», «…а я вам говорил, инструменту ремонт…». Певцы по одному исчезают за кулисами. Некоторые зрители идут к выходу.

Вскоре на сцене остаётся ОДИН ЧЕЛОВЕК — мужчина сорока лет, плотного телосложения и невысокого роста, напоминающий деревенского мужичка, одетого в смокинг. Почесав макушку, Один Человек снимает бабочку, расстёгивает пуговицы фрака. В зале раздаются смешки. Один человек снимает фрак и аккуратно укладывает одежду на пюпитр. После фрака снимает рубашку и остаётся в настоящей моряцкой тельняшке. Это вызывает в зале просто взрыв хохота. Рубашку мужичок аккуратно кладёт поверх фрака.

КТО-ТО ИЗ ЗАЛА. Правильно, мужик, давай стриптиз.

Оставшись в брюках и тельняшке, Один Человек подходит к роялю, ложится на спину, забирается

под инструмент и перочинным ножиком что-то ковыряет.

КТО-ТО ИЗ ЗАЛА. Сейчас развал-схождение сделает…

Многие зрители подошли к сцене и наблюдают за тем, что будет дальше. Шум за кулисами прекратился. Один Человек какое-то время возится с педалью, затем выбирается из-под рояля. Не присаживаясь на табурет, берёт несколько аккордов. Рояль звучит. Убедившись, что рояль исправен, Один Человек, не зная, что делать дальше, поворачивается к публике, близоруко щурится в зал.

Зал замер. На мгновение возникла полная тишина. Кирилл поднимается с кресла и тоненьким детским голоском запевает.

КИРИЛЛ

Наверх вы, товарищи, все по местам!
Последний парад наступает…

Один Человек сразу светлеет лицом и начинает подпевать ребёнку.

ОДИН ЧЕЛОВЕК

Врагу не сдаётся наш гордый «Варяг»,
Пощады никто не желает…

К дуэту присоединяется Учительница. В соседнем ряду Молодой Человек с видом человека, которому больше нечего терять, тоже начинает петь. Быстро-быстро из-за кулис выходят несколько хористов, они поют прямо на ходу. Песня набирает силу, к поющим присоединяются Женщина Сорока Лет, её Подруга, Мужчина, Первая и Вторая Девушки. На цыпочках выбегает Пианист, садится за рояль и с ходу начинает играть. На балконе поёт Звукорежиссёр, в зале на последнем ряду поёт Техник. Вскоре весь хор вместе с Дирижёром собирается на сцене и поёт вместе с залом. Последними из-за кулис выбегают Гриша и Саша, они уже успели переодеться в повседневную одежду—джинсы и рубашки.

КОНЕЦ ФИЛЬМА

Там, куда я ухожу, весна

Сценарий

ИНТ. ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЗАЛ. ДЕНЬ

В спортивном зале рядами стоят новенькие, блестящие спортивные снаряды. Девушка в обтягивающих шортиках и майке крутит педали велотренажёра. Тишину спортзала нарушают короткие ритмичные вскрики.

Шумно выдохнув, АХИЛЛЕС последний раз жмёт штангу от груди и ставит снаряд на крюки. Поднимается на ноги, смахивает полотенцем пот со лба, смотрит на своё отражение в зеркале. Ахиллесу сорок пять лет, у него безупречное телосложение, длинные волосы, собранные в косичку, бронзовый загар—внешность постаревшего плакатного красавца. Атлет крутит в руках телефон, раздумывая, позвонить или нет, затем снова берётся за штангу.

Девушка, закончив с велотренажёром, грациозно изогнувшись, делает глоток из пластиковой бутылочки. Рассеянно смотрит в сторону Ахиллеса: атлет, выгибаясь в дугу, изо всех сил выжимает штангу.

Не зная, чем ещё заняться, Девушка берёт скакалку и начинает прыгать.

Ахиллес с огромными гантелями методично сгибает и разгибает руки. Он покраснел от напряжения, на его шее и бицепсах вздулись вены.

Раздаются трели телефонного звонка. Ахиллес напряжённо замирает. На звонок отвечает Девушка. Ахиллес, выдохнув, продолжает качать гантели.

Девушка, закончив телефонный разговор, любуется своим отражением в зеркальной стене спортзала. За её спиной появляется Ахиллес. Девушка благожелательно улыбается, ожидая, что спортсмен заговорит с ней, но Ахиллес, отрешённый и задумчивый, проходит мимо. Девушка закидывает ногу на шведскую стенку—в положении шпагата делает наклоны, демонстрируя великолепную гибкость тела. Закончив с растяжкой, Девушка оглядывается, чтобы оценить произведённый эффект. В зале никого нет.

ИНТ. ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЗАЛ,
РАЗДЕВАЛКА. ДЕНЬ

Из банки с этикеткой «Спортивное питание» Ахиллес ложкой достаёт сухую, сероватого цвета, смесь, разводит её водой в пластиковой чашке. В раздевалке никого больше нет. В одиночестве, помешивая ложкой сероватую массу, атлет меланхолически смотрит в окно. Затем набирает телефонный номер.

АХИЛЛЕС *(в телефон)*. Машуля, привет! Ага… А я до Маринки не могу дозвониться, и она мне не звонит. Вот… Ты ей можешь… А-а, ты её сама не видела? Понятно. Ясно. Ну всё, пока.

Ахиллес с досадой бросает мобильник на подоконник. Берёт пластиковую чашку, начинает безразлично есть. За окном по дорожке сквера топает малыш, рядом—молодая красивая женщина. Атлет смотрит на ребёнка, и на его лице появляется улыбка.

Слышатся смех и голоса, в раздевалку заходит компания молодых спортсменов.

ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ. Привет, Ахиллес.

АХИЛЛЕС. Привет.

Молодёжь подходит к Ахиллесу и в порядке очереди жмёт руку немолодого атлета.

ВТОРОЙ ПАРЕНЬ. Как сам?

АХИЛЛЕС. Да нормально.

ВТОРОЙ ПАРЕНЬ. Уже отработал?

АХИЛЛЕС. Да, хватит на сегодня.

ТРЕТИЙ ПАРЕНЬ *(обращаясь ко всем)*. Э-э, кто-нибудь Рому видел?

ЧЕТВЁРТЫЙ ПАРЕНЬ. Мужики! У Ромки же сын родился.

ВТОРОЙ ПАРЕНЬ. Когда?

ЧЕТВЁРТЫЙ ПАРЕНЬ. Сегодня ночью. *(Достаёт телефон, вслух читает сообщение.)* «Родился сын. Я стал папой».

ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ. Всё, с качалкой можно попрощаться…

ВТОРОЙ ПАРЕНЬ. Да, попал парень…

ЧЕТВЁРТЫЙ ПАРЕНЬ. Сбрасываться будем?

ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ. По сколько?

ЧЕТВЁРТЫЙ ПАРЕНЬ. Давайте по тысяче.

ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ. Не мало?

ВТОРОЙ ПАРЕНЬ. Нормально…

Спортсмены роются в кошельках, Четвёртый Парень собирает купюры. Ахиллес протягивает свою купюру, парень берёт деньги, чешет макушку.

ЧЕТВЁРТЫЙ ПАРЕНЬ. Так… И на что можно потратить такое количество бабла?

ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ. На коляску не хватит.

ТРЕТИЙ ПАРЕНЬ. Ты подожди, сейчас ещё Васян подойдёт…

ВТОРОЙ ПАРЕНЬ. Конфеты, шампанское, цветы. Что ещё, не знаю?

Спортсмены в тупике.

АХИЛЛЕС. Можно подгузники купить. Никогда лишним не будет.

ВТОРОЙ ПАРЕНЬ. На все деньги?

АХИЛЛЕС. Конечно, на все. Это же расходный материал: не успеешь глазом моргнуть, а их уже нет.

Парни переглядываются и согласно кивают головами.

ИНТ. САЛОН КРАСОТЫ. ВЕЧЕР

Ахиллес, укрытый белым покрывалом, сидит в кресле. За его спиной ОКСАНА — косметолог, красивая женщина тридцати пяти лет. Подсыпав в баночку белого порошка, Оксана начинает размешивать в склянке вязкую зеленоватую жидкость.

Уличные фонари за окнами салона освещают оживлённую улицу, фасад дома напротив сверкает огнями рекламы.

АХИЛЛЕС. Я тут прочитал: люди тратят в год несколько сотен миллионов долларов на борьбу с лишним весом. А я ещё помню времена, когда за столом лишний кусок сахара не возьмёшь.

Оксана начинает размазывать жидкость по щекам и лбу Ахиллеса, отчего его лицо приобретает противоестественный зелёный цвет.

АХИЛЛЕС. И опять же в Интернете пишут: диета на сале! Каждые день нужно съедать кусок сала, чтобы похудеть.

ОКСАНА. Вечная мечта русского человека: что бы такого съесть, чтобы похудеть?

АХИЛЛЕС. Да, а двигаться не хотят, лентяи…

Оксана отходит от кресла и возвращается с маленькими щипцами.

ОКСАНА. Волос торчит, как у кота.

Косметолог выдёргивает из брови Ахиллеса торчащий волос.

АХИЛЛЕС. Может, пора мне на пластику решиться?

Оксана массирует виски Ахиллеса, натягивает кожу за ушами, смотрит на результат.

ОКСАНА. Может быть. Главное — меру знать.

АХИЛЛЕС. Я же с одним хирургом поговорил, толковый мужик, и цены у него адекватные, но дорого.

ОКСАНА. А ты бартером отдай.

АХИЛЛЕС. Бартером я перед мужиками не выступаю.

ОКСАНА. Ну зачем с мужиками? Найди клинику с женским персоналом.

АХИЛЛЕС. Отличная идея! Так я и с тобой могу по бартеру работать!

ОКСАНА. Нет… мне чувства нужны.

АХИЛЛЕС. Вот, Оксанка, какой я испорченный человек! Подумал, ты сейчас скажешь: нет, мне деньги нужны.

ОКСАНА. Нет, чувства… чувства и только чувства, мой дорогой Ахиллес.

Оксана смотрит в глаза атлета с каким-то глубоко затаённым вопросом. Улыбка сползает с лица Ахиллеса.

АХИЛЛЕС. Ерунду сморозил: бартером… Ха-ха, на твою же шутку повёлся, затупил, как сейчас молодёжь говорит. Да-а.

ОКСАНА. Не расстраивайся.

АХИЛЛЕС. Это у меня талант — говорить невпопад.

ОКСАНА. Моя дочь в такой ситуации говорит: «Забей».

АХИЛЛЕС *(с удивлением)*. Да-а, у тебя так дочь говорит? А…

Звонит телефон. Мужчина подпрыгивает, как будто его ужалили. Баночка с кремом летит на пол. В накидке и с маской на лице Ахиллес бежит к вешалке, там роется в карманах своей куртки, чертыхаясь, достаёт телефон.

АХИЛЛЕС *(разочарованно)*. А-а, привет. Что? Потеряли? За шкафом стоит, там, где дубина… справа златая цепь, да… отодвинь. Ну вот. Да пустяки. Ага, и тебе того же. *(Возвращается на место, смазывая с экрана телефона крем от маски.)* Вот чёрт, банку тебе разбил.

НАТ. УЛИЦА, САЛОН КРАСОТЫ. ВЕЧЕР

Ахиллес выходит из дверей салона красоты, спускается по ступеням крылечка. На ходу закидывает руки за голову, связывает волосы в косичку. Неожиданно натыкается на ПАРНЯ В ТЕЛЬНЯШКЕ, в джинсах и с беретом десантника на голове. Мóлодец пьян в стельку.

ПАРЕНЬ В ТЕЛЬНЯШКЕ. А ты знаешь, кто я такой?

Ахиллес отрицательно мотает головой.

ПАРЕНЬ В ТЕЛЬНЯШКЕ. Нет, ну ты знаешь, кто я такой?

Пьяного сильно шатает. Раскачиваясь, он почти касается лбом подбородка Ахиллеса.

ПАРЕНЬ В ТЕЛЬНЯШКЕ. Я-я…

Парень зависает, глядя на Ахиллеса бессмысленными осоловелыми глазами. Появляются ещё два нетрезвых гражданина, они подхватывают своего друга под руки, десантник вяло сопротивляется.

ПЕРВЫЙ ПЬЯНИЦА *(Парню в Тельняшке)*. Толя, не гони беса! Я тебе говорю! Беса тут не гони… Гражданская жизнь всё-ё?! Всё.

ВТОРОЙ ПЬЯНИЦА *(извиняясь за друга, обращается к Ахиллесу)*. Синдром боевого офицера.

Парня в Тельняшке тащат по улице, напоследок он оборачивается и кричит в сторону Ахиллеса.

ПАРЕНЬ В ТЕЛЬНЯШКЕ. А ты козёл, понял?

Ахиллес идёт к обочине дороги, поднимает руку, останавливает такси.

НАТ. СЛУЖЕБНЫЙ ВХОД ТЕАТРА «МАЧОМУЧАЧО». ВЕЧЕР

Такси въезжает в глухой тёмный двор. Атлет расплачивается с водителем и шагает к массивной железной двери без опознавательных знаков. Дверь распахивается, слышится музыка, в ярком свете появляется женский силуэт. АДЕЛЬ, девушка в купальнике и чулках, с ярким гримом, разминая в руках сигаретку, непринуждённо располагается на крыльце.

АДЕЛЬ. Привет, Ахиллес.

АХИЛЛЕС. Привет, Адель.

Девушка неожиданно хлопает себя по голым бёдрам.

АДЕЛЬ. Вот задница, зажигалку забыла. У тебя есть?

Ахиллес достаёт старенькую «Зиппо».

АДЕЛЬ. Ты ж не куришь?

АХИЛЛЕС. Нет.

Девушка прикуривает и выпускает в ночное небо струю дыма.

АДЕЛЬ. Хороший ты человек, Ахиллес, — появляешься в том момент, когда другому человеку нужна зажигалка, а сам при этом не куришь.

НАТ. АФГАНИСТАН-1986. ВОСПОМИНАНИЕ

Горный перевал. На пыльной каменистой тропе, залитой кровью, лежат трупы моджахедов. К разбитому каравану приближается группа советских солдат. По экипировке видно: десантно-штурмовой батальон. Солдаты держат оружие наизготовку. Только что закончился бой, лица бойцов в пыли и пороховой гари.

КОМАНДИР. «Дýхов» в сторону, от тропы как можно дальше.

Солдаты берут мёртвых за ноги и тянут в низину. Молодой Солдат спотыкается и падает на пятую точку. Парень сразу встаёт, но его заметно шатает; он прикрыл глаза, стараясь не смотреть на исковерканное тело моджахеда.

КОМАНДИР. Репа, помоги молодому.

РЕПИН, боец с нагловатой круглой физиономией, подбегает к Молодому Солдату и без церемоний хватает духа за ногу.

РЕПА. Чё, замёрз? Бери, давай-давай!

Молодой Солдат выходит из ступора и вместе с Репой тянет труп за каменную гряду. За камнями Репа ловко выворачивает карманы покойнику. Найденные долларовые бумажки берёт себе, а что-то блестящее и увесистое бросает Молодому Солдату.

РЕПА. Держи!

Молодой ловит на лету и разжимает кисть — у него на ладони сверкает новенькая зажигалка «Зиппо».

КОНЕЦ ВОСПОМИНАНИЯ

НАТ. СЛУЖЕБНЫЙ ВХОД БАРА «МАЧОМУЧАЧО». ВЕЧЕР

АДЕЛЬ. Тебе нужно подводить глаза. Тебе пойдёт, будешь как Джонни Дэп. Не понимаю, куда Вольдемар смотрит.

Адель очень близко, девушка смотрит прямо в глаза Ахиллесу. Ахиллес молчит.

АДЕЛЬ *(с удивлением).* И почему он тебе об этом не сказал… до сих пор?

Адель в сексуальном неглиже очень привлекательна.

АХИЛЛЕС. Мне кажется, и так нормально.

АДЕЛЬ. Ты не видишь себя со стороны, будет клёво.

АХИЛЛЕС. Нет, Адель, я классический герой, и мне этого не нужно.

Адель реагирует на слова Ахиллеса хрипловатым смехом. Атлет улыбается, заходит в двери клуба.

ИНТ. СТРИПТИЗ-ТЕАТР «МАЧОМУЧАЧО». ВЕЧЕР

Ахиллес двигается по коридору, из боковой двери вываливается ВОЛЬДЕМАР — арт-директор заведения, тридцати с небольшим лет, в обтягивающих джинсах, майке, с модной стрижкой на голове.

ВОЛЬДЕМАР. *(Ахиллесу).* Ну ты-то согласен со мной?

АХИЛЛЕС. В чём я с тобой согласен?

ВОЛЬДЕМАР. В том, что Ахиллес никогда не догонит черепаху.

АХИЛЛЕС. Я не догоню?

ВОЛЬДЕМАР. Ты догонишь, а вот Ахиллес нет.

Вольдемар по-свойски кладёт руку на плечо Ахиллеса и шагает вместе с ним по коридору. Навстречу мужчинам попадаются полуодетые девушки. Девушки ни грамма не смущаются; впрочем, мужчины тоже реагируют спокойно.

АХИЛЛЕС *(с сомнением).* Да ну.

ВОЛЬДЕМАР *(с жаром).* Да-да-да. Потому что Ахиллес пребывает в мире наших представлений о нём, а с тобой можно поговорить…

Ахиллес хмурится и снова заглядывает в телефон.

АХИЛЛЕС. Ахиллес, конечно, герой, но в чём? Что он сделал хорошего?

ВОЛЬДЕМАР. Он был искусным воином, убивал своих врагов, греки его за это обожали. Это же классно, когда кто-то убивает твоих врагов! Для греков он был хорошим парнем. Замочил Гектора, например.

Вольдемар останавливается, на его пути блондинка в кружевном белье. Зажав девушку в углу, он что-то негромко говорит ей на ухо. Ахиллес продолжает движение один. Вольдемар кричит ему вслед.

ВОЛЬДЕМАР. Он был смелым до полного отупения, люди это ценят!

ИНТ. СЦЕНА СТРИПТИЗ-КЛУБА. НОЧЬ

На сцене в пятне света появляется АКТЁР в греческом хитоне, с лавровым венком на голове.

АКТЁР. И когда над Элладой сгущалась ночь, он уходил в леса, где изнурял своё тело нечеловеческими тренировками.

Звучит таинственная музыка, за спиной Актёра появляется Ахиллес в набедренной повязке, в руках атлет несёт борцовское тулово, выполненное из натуральной сыромятной кожи. Неожиданно прогнувшись назад, Ахиллес бросает тулово через себя.

АКТЁР *(с пафосом).* Не щадя себя, Ахиллес готовился дать бой сынам Спарты и доказать, что он самый сильный человек на Земле.

Ахиллес поднимает тулово, снова бросает и сразу, не останавливая, ещё несколько раз со страшным грохотом прикладывает кожаного болвана к полу сцены. Сразу видно: Ахиллес — профессиональный борец, при броске он нарочно напрягает мышцы, показывая красоту и мощь своего тела.

АКТЁР. А когда он уставал, то ложился под сень олив и засыпал сном блаженного праведника Эллады.

Ахиллес уходит в глубину сцены, где укладывается на ложе из шкур и делает вид, что засыпает.

АКТЁР. И тогда из безобразного туловища, служившего для атлета спортивным снарядом, выходило кроткое существо — нимфа Калипсо.

Тулово изнутри открывается, и из него выбирается обнажённая хрупкая девушка. По залу проносится вздох восхищения.

АКТЁР. Калипсо была заключена в это омерзительное туловище зловещей богиней Калиматой. И только на рассвете, на несколько минут, она могла покидать свою тюрьму.

Обнажённая девушка начинает танцевать.

АКТЁР. По злой воле рока Калипсо полюбила Ахиллеса.

Девушка склоняется над спящим Ахиллесом, начинается медленный эротический танец. Публика в зале наблюдает за зрелищем, сидя за столиками; свечи и атласные скатерти придают клубу привкус дешёвого кабака.

АКТЁР. Но как сделать, чтобы великий сын Эллады узнал о той, что любит его?..

В зрительном зале, в стороне от публики, в полумраке, за столиком сидят Вольдемар, ЖЕНЩИНА В ОЧКАХ, ДЕВУШКА В РОЗОВОМ и ещё парочка без возраста.

ЖЕНЩИНА В ОЧКАХ. Вольдемар, ну ты совсем обнаглел. Когда это Калипсо была знакома с Ахиллесом?

ВОЛЬДЕМАР *(снисходительно улыбается)*. Да что мне Калипсо? Я могу обезьяну с ослом скрестить, и мне ничего за это не будет...

Девушка в Розовом изумлённо вскидывает брови. Вольдемар спешит её успокоить.

ВОЛЬДЕМАР *(Девушке в Розовом)*. В переносном смысле, котик.

Арт-директор кивает головой в сторону публики — это немолодые мужчины в дорогих костюмах и их юные спутницы, у тех и у других на лицах печать какого-то космического неведения.

ВОЛЬДЕМАР *(Женщине в Очках)*. В чём прелесть моего существования? Я здесь на острове папуасов. К острову прибивает разный мусор с круизных лайнеров. А я объявляю своим папуасам, что в банке из-под пива живёт бог. Мне верят. Чистый, не замутнённый знанием разум, который можно наполнить чем угодно и как тебе нравится. Папуасы в восторге, я в авторитете... и мне дают возможность пожить.

За столом возникает молчаливая пауза, гости смотрят на Вольдемара с подозрительным недоверием. Неожиданно Девушка в Розовом целует арт-директора в губы.

ДЕВУШКА В РОЗОВОМ. А по-моему, наш Вольдемар — гений.

ЖЕНЩИНА В ОЧКАХ. Почему вы так решили?

ДЕВУШКА В РОЗОВОМ *(с восторгом)*. Все места в зале проданы, и на месяц вперёд всё продано.

ЖЕНЩИНА В ОЧКАХ. Гениальность Джоконды не зависит от того, сколько билетов продадут в Лувр.

Девушка в Розовом надувает губы.

ДЕВУШКА В РОЗОВОМ. Это у вас не зависит, а у нас зависит.

Вольдемар размахивает руками, как рефери на ринге.

ВОЛЬДЕМАР. Stop! I do not want to know about it! Смотрим на сцену! Ну-у, господа, спорить за искусство — это пошло. На сцену, на сцену! Сейчас будет самое интересное.

Действие разворачивается во всей красе. Калипсо крутится вокруг шеста, Ахиллес вышел на авансцену, на глазах у него повязка, руками он делает движения, как будто хочет кого-то поймать. На втором плане несколько девушек в латексе, извиваясь, трутся о статую Свободы. Калипсо подбрасывает своё тело вверх, обвивает шест ногами... слышится хруст — блестящая хромированная труба подламывается, и девушка вместе с шестом падает на Ахиллеса, сбивая атлета с ног. Свет на сцене гаснет, слышатся крики, в зале возникает лёгкая паника.

ИНТ. КВАРТИРА АХИЛЛЕСА. УТРО

В полумраке открывается дверь, из полосы света в прихожую входит Ахиллес. Нащупывает выключатель, включает свет. Над бровью у Ахиллеса небольшой пластырь. Увидев на крючке сумку и женские ботинки на обувной полке, атлет заглядывает в комнату. На диване спит МАРИНА, его восемнадцатилетняя дочь, студентка университета.

Стриптизёр на цыпочках возвращается в прихожую, стараясь не шуметь, раздевается, идёт в кухню. Открывает шкаф, достаёт жестяную банку из-под чая. Складывает в банку деньги, вырученные за ночь. Включает телевизор, на экране появляются люди в военной форме, боевая техника, разрушенные дома. Стараясь не шуметь, достаёт из холодильника кастрюльку с овсяной кашей. На весах взвешивает кусок отварного мяса. Отрезает лишнее. Взвешивает горсть орехов и яблоко. Достаёт банку варенья из шкафа, после недолгого раздумья ставит обратно в шкаф. Подходит к портрету молодой женщины на стене, осторожно ведёт пальцем по фотографии.

В коридоре слышатся шаги, Ахиллес отдёргивает руку, садится за стол. В кухню заходит Марина — девушка с удивительно правильными чертами лица в сочетании с густыми белокурыми волосами и синими глазами.

МАРИНА. Привет.

АХИЛЛЕС *(грозным голосом)*. Опять до тебя дозвониться не могу. Днём не могу! Вечером не могу! Ночью нет ответа. Это не дело. Мы договаривались брать трубку!

Марина улыбается и обнимает отца. Ахиллес сразу обмякает, и гнев его мгновенно проходит.

МАРИНА. Ну телефон я дома забыла. Потом пришла и заснула. Вчера курсовые сдавали и ещё

зачёт по физре, у меня си-ил уже нет! Па-ап, мне деньги нужны.

Девушка достаёт ту самую банку, в которую Ахиллес складывал деньги. Открыв банку, девушка смешно морщит нос.

АХИЛЛЕС. Я тебя просил: не делай так!

МАРИНА. Ну пап, мне всегда кажется, что они пахнут.

АХИЛЛЕС. Я клянусь! Никто мне деньги в плавки не засовывает! В конверте мне отдают деньги, в конверте! Ну это просто свинство—терроризировать меня этими плавками.

МАРИНА. Пап, ну прости, ну чего ты! Нос морщится сам, потому что мой нос живёт своей собственной жизнью, я сама страдаю от его своеволия.

Марина выгребает из банки почти всё.

АХИЛЛЕС. У нас режиссёр с высшим театральным образованием, и мы… артисты, как бы ты там ни улыбалась. Как говорит наш Вольдемар, мы даём зрелище в первозданном виде, на потребу толпы, пробуждая пускай невысокие, но естественные чувства. Ну и как нас называть?

МАРИНА. Ну, так и назвать… как ты сказал.

АХИЛЛЕС. А ты нос морщишь.

МАРИНА. Он сам морщится—противный нос! *(Заглядывает в холодильник.)* Пап, а ты когда-нибудь курил?

Ахиллес от неожиданности замирает.

АХИЛЛЕС. Ну, курил.

МАРИНА. Ну и как?

АХИЛЛЕС. Ничего хорошего. Дурная привычка, ошибка молодости, которую не надо никому повторять.

Марина берёт яблоко, приготовленное Ахиллесом для своего порциона, и с хрустом начинает есть.

МАРИНА. Ну какая ошибка? Просто дело вкуса. Все когда-нибудь курили, даже президент наверняка.

АХИЛЛЕС. Мы курили, но у нас жизнь была другая.

МАРИНА. Ну какая другая?! Так же жили своими интересами, родителей считали занудами и всё хотели сделать по-своему.

АХИЛЛЕС. Другая! Потому что мы быстро повзрослели. Я, например, в твоём возрасте в Афганистан попал… и там не было своих интересов.

МАРИНА. А что ты в Афганистане делал?

АХИЛЛЕС *(от удивления разводит руками)*. Что делал, что делал. Служил в армии.

МАРИНА. Ну а в армии вы что делали?

АХИЛЛЕС. Смотрели, чтоб враги не лезли куда не надо.

МАРИНА. Пап, ты сейчас говоришь со мной, так будто я в третьем классе.

АХИЛЛЕС. А чего вдруг такой интерес к вопросу? *(Делает жестами вид, как будто он курит.)*

МАРИНА. У нас новый препод читает лекции: «Американские писатели поколения битников». Ну, это те, что создали хиппи и массовую культуру. Так вот, они там все чего только не делали.

АХИЛЛЕС *(с недоверием)*. Писатели?

МАРИНА. Ну да. Я почему и спрашиваю: они ещё и пили будь здоров, и у них менялось сознание. А у тебя оно не поменялось.

АХИЛЛЕС. Ничего себе! Откуда тебе знать, что там у меня поменялось?

МАРИНА. Если бы оно поменялось, ты бы не говорил банальности: «ошибки молодости» и прочее. Всё, я пошла.

АХИЛЛЕС. У тебя же занятия с обеда!

МАРИНА. Мы с Машкой едем на открытие ярмарки. Пап, сегодня воскресенье!

Марина, на ходу застёгивая сумочку, бежит в прихожую. Хлопает входная дверь, и в квартире наступает полная тишина. Ахиллес машинально переставляет чашки на столе. Подходит к портрету молодой женщины на стене.

АХИЛЛЕС. Вот так: неглупая, свободная и очень опасная…

НАТ. СКВЕР. ДЕНЬ, УТРО

Марина, цокая каблучками, идёт по аллее, утопающей в цветущих яблонях. Навстречу, улыбаясь, шагает ДАНЯ. Он слегка небрит, весел и очень хорош собой: молодому человеку двадцать пять лет, выглядит он как модный неформал.

МАРИНА. Привет!

Даня обнимает и кружит Марину. Парочка проходит через сквер к парковке. Даня открывает перед Мариной дверь своего автомобиля.

ИНТ. МАШИНА ДАНИ. ДЕНЬ

Автомобиль двигается по шоссе, Марина открыла окно и подставила лицо потоку жаркого воздуха. Неожиданно возле иномарки проносится чёрный внедорожник, слышится негромкий глухой удар. Внедорожник останавливается, перекрывая

движение Даниной машины. Марина с тревогой смотрит на Даню — парень пожимает плечами. Из внедорожника выходят четверо крепких ребят с угрюмыми физиономиями. Один из них — видимо, ГЛАВНЫЙ, — манит Даню пальцем. Даня выходит из машины. На фоне братвы он выглядит жалким ботаником.

ГЛАВНЫЙ. Я смотрю, у тебя проблемы.

ДАНЯ. С чего бы это?

ГЛАВНЫЙ. Чё, в зеркала не учили смотреть?

ДАНЯ. Учили.

ГЛАВНЫЙ. Наверно, плохо учили.

ДАНЯ. Да нормально учили.

ТОЛСТЫЙ БАНДИТ хватает Даню за рубаху. Даня не сопротивляется.

ТОЛСТЫЙ БАНДИТ *(Главному)*. Чё ты с ним разговариваешь? *(Дане.)* Я тебя урою, козёл!

Марина выскакивает из машины.

МАРИНА. Ребята, успокойтесь, не надо! Мы же ничего вам не сделали!

ТОЛСТЫЙ БАНДИТ *(Марине)*. Сейчас ты у меня успокоишься.

ДАНЯ. Марина, не вмешивайся, я разберусь!

ГЛАВНЫЙ. Чапа, не кипишуй.

Толстый Бандит отпускает Даню.

ГЛАВНЫЙ. Все свидетели: мы ехали по сопредельной полосе, а ты рулём немного влево подработал… смотри.

Главный подводит Даню к внедорожнику, на крыле машины царапина.

ДАНЯ. Давайте будем разбираться, вызовем полицию.

ТОЛСТЫЙ БАНДИТ. А чего разбираться? И так всё понятно. Вон на твоём бампере царапина.

ВЫСОКИЙ БАНДИТ. А чё ты так сразу за полицию? Может, у тебя там подвязки есть?

ДАНЯ. Да откуда?..

ГЛАВНЫЙ. Можно всё порешать по-честному, без ментов. Царапина небольшая, отдаёшь нам тридцать рублей, и мы разъезжаемся.

ДАНЯ. Да нет таких денег!

ГЛАВНЫЙ. Не-ет? Значит, поедешь с нами в офис. Там мы пробьём тебя по базе, чё ты за человек, покумекаем, чё с тобой делать. Можно же не деньгами отдать, правильно?

Главный с глумливой улыбкой смотрит на Марину.

ДАНЯ. Слушайте, парни, не надо… усложнять. Ну я, честно, отдам деньги. Что вы сразу в оборот берёте? Мы тут в одном городе живём, я не убегу никуда, дайте времени немного.

У Дани немного дрожит голос. Страх, охвативший парня, передаётся Марине. Девушку начинает колотить мелкая дрожь.

ТОЛСТЫЙ БАНДИТ. О-о, я смотрю, это динамщик. Нет, чепушила, с тобой придётся разбираться, ты ещё, может, кого-нибудь из наших кинул.

МЕЛКИЙ БАНДИТ. Сто в гору — кинул. Я вообще его где-то видел.

ДАНЯ. Хорошо-хорошо, не надо никуда ехать, можно решить вопрос… У меня брат на рынке работает, тут недалеко, он деньги привезёт.

ГЛАВНЫЙ. Звони.

Даня достаёт телефон и пытается отойти в сторону.

ТОЛСТЫЙ БАНДИТ. Э-э, братан, стой здесь.

ДАНЯ *(в телефон)*. Братуха, привет! Я тут в аварию попал… Где? А-а… *(Крутит головой по сторонам.)* Я на Комбинате стою. Братуха, деньги нужны. Тридцать. Ну рублей, конечно. Подвезёшь? Прям сейчас надо. Я потом отдам, из этого, ну, что я резину продал… ага. *(Бандитам.)* Сейчас приедет.

ГЛАВНЫЙ *(миролюбиво)*. Братан, ты пойми, мне чужого не надо, но за твои косяки я не должен свои бабки впаливать.

На дороге появляется джип, машина по-настоящему дорогая, намного круче бандитского внедорожника.

Джип тормозит, из него одновременно выходят четыре человека в строгих чёрных костюмах, бритоголовые и необычайно накаченные. Один из них, МАКАР, мужчина невысокого роста, но очень внушительной внешности, останавливается рядом с Даней.

МАКАР. Что случилось?

ДАНЯ. Вот эти юные дарования разводят меня на деньги. Как положено, с угрозами и обидными словами.

Гопники заметно сникли. Макар подходит к Главному вплотную.

МАКАР *(Главному)*. Что ещё за обидные слова?

ГЛАВНЫЙ. Ты чё быкуешь?

Главный пытается оттолкнуть Макара, но тот ловко уходит от удара и бьёт соперника в живот. Бандит, согнувшись пополам, падает.

МАКАР. Я повторяю вопрос.

Главный что-то нечленораздельно мычит на земле. Его товарищи настолько впечатлены крутостью приехавших, что даже не пытаются заступиться за своего друга.

МАКАР. Не слышу.

ГЛАВНЫЙ *(негромко)*. Козёл.

МАКАР. Очень полезное и неглупое животное. А ты им ругаешься. Перед фауной придётся за козла ответить.

Макар несколько раз бьёт Главного ногой.

ДАНЯ. Э-э, стоп, стоп! Без кровопролития. *(Обнимает за плечи Марину и ведёт к своей машине. Через плечо бросает Макару.)* Сейчас мы уедем…

Даня подмигивает Макару, усаживает Марину в машину и, рванув по газам, уносится с места разборок.

ИНТ. МАШИНА ДАНИ. ДЕНЬ

МАРИНА. Это твоя охрана?

ДАНЯ *(смеётся)*. Можно сказать, моя. Но вообще-то отца.

МАРИНА. И что они с ними сделают?

ДАНЯ. Не убьют, это точно. Макар вчера повышение получил, поэтому он добрый.

МАРИНА. Даня, ты это серьёзно?! Они могут убить?

Даня щурится, и его лицо становится холодным и жестоким.

ДАНЯ. А что в этом плохого? Зло должно быть наказано. Вообще-то таких уродов жалеть глупо.

МАРИНА. Это сейчас они уроды, а в другой ситуации… может быть, они были бы другими.

ДАНЯ. Интересно, что это за ситуация?

МАРИНА. Они поступают так, как когда-то поступили с ними. Насилие всегда порождает насилие. Это как снежный ком.

ДАНЯ. В мире, где мы с тобой будем жить, так не рассуждают. Тебя должны уважать, это основа наших отношений. А уважать тебя будут только тогда, когда ты не будешь никому ничего прощать.

Марина смотрит на Даню со смешанным чувством, ей кажется, что Даня шутит.

ДАНЯ. Ну сама посуди: глупо в ситуации, когда тебе приставили нож к горлу, анализировать детские комплексы убийцы.

МАРИНА. Даня, о каком мире идёт речь?

ДАНЯ. О мире реальных людей.

МАРИНА. Ничего не понимаю. Ты сейчас сам говоришь как гопник.

ДАНЯ. Ты знаешь, я о своём отце никогда ничего не говорил.

МАРИНА. Я тоже о своём отце не говорила, ну и что?

ДАНЯ. Про твоего отца я и так всё знаю.

Марина вздрагивает и слегка краснеет.

МАРИНА. Что ты знаешь?

ДАНЯ. Он стриптизёр. Работает в эротик-клабе. Ну, это не важно.

МАРИНА *(соглашается)*. Да, это не важно.

ДАНЯ. Всем управляют элиты. Это несправедливо, но по сути верно. Когда я говорю о каком-то особом мире, звучит дико пафосно, но это так, я вижу это каждый день и-и… говорю то, о чём знаю.

Даня путается, не может сформулировать мысль. Марина скептически улыбается.

МАРИНА. Поздравляю! Я же не знала, что ты у нас элита. Думала, просто небедный парень.

ДАНЯ *(с досадой)*. Я думал к этой теме подойти в несколько этапов. Какие-то козлы взяли вот так вот и всё сломали! В этой стране бессмысленно что-то планировать…

Даня тяжело вздыхает.

МАРИНА. Дань, ты не обижайся, но у меня такое ощущение, что ты бредишь.

ДАНЯ. Я не обижаюсь. Ты встретила принца на белом коне и немного растерялась. Это скоро пройдёт… и нормой станет совершенно другое отношение к жизни.

МАРИНА. Насчёт растерялась—это правильно. А насчёт принца… я чего-то не поняла: чё это принц вдруг снизошёл до какой-то там простушки?

ДАНЯ. Знаешь, я про себя тоже могу сказать… простой парень.

МАРИНА. Тебя не поймёшь! То ты простой, то не простой.

ДАНЯ. Меня воспитали без понтов, поэтому простой, но папа мой очень состоятельный человек… у меня, например, есть квартира в Лондоне.

Степень удивления Марины достигает наивысшего предела.

ДАНЯ. Это чтобы было понятно, я… я не хвастаюсь. Я говорю… об этом мы должны были поговорить, но не сегодня!

МАРИНА. А-а, не сегодня! Ну, тебе, как элитному человеку, по-любому полагается элитная девушка. Или у вас что, с красивыми напряжёнка?

Машина останавливается на светофоре.

ДАНЯ. Красивых… на мой вкус, не очень много, но встречаются. Мне нужна не просто красивая, мне нужна совершенная.

Пешеходы по зебре перебегают дорогу.

ДАНЯ. Совершенная — это когда на генетическом уровне. Когда и ум, и внешность, и женское чутьё, и очарование. Всё вместе — исключительный, недосягаемый для других генофонд. Единственная возможность жить счастливо. Дворяне, чтобы поддержать свой генофонд, женились на красивых простушках, а королевские семьи, где это было запрещено, выродились в слабоумных уродов…

Даня осекается. Марина вышла из машины, сильно хлопнув дверью.

МАРИНА *(в открытое окно машины)*. Думаешь, ты офигенный?! Думай, я поржу!

Даня проворно выбирается из автомобиля, но Марина уже далеко.

ДАНЯ. Марина!

МАРИНА. Скачи своей дорогой, принц…

Марина, не оглядываясь, доходит до спуска в метро, бежит по лестнице вниз.

ИНТ. ПОДЪЕЗД. ДЕНЬ

Ахиллес поднимается по лестнице старинного подъезда с широкими лестничными маршами. Останавливается перед старой, обшарпанной дверью, нажимает кнопку звонка. Дверь открывается, и Ахиллес заходит в квартиру.

ИНТ. КВАРТИРА РЕПЫ. ДЕНЬ

В коридоре Ахиллеса встречает РЕПА — армейский сослуживец и старый друг атлета. Репа — громадный человек с флегматичной физиономией, лысая голова и усы делают его похожим на запорожского казака. Одет Репа в спортивные штаны и майку. На плече татуировка — скрещённые «калаши» на фоне раскрытого парашюта. На толстой шее поблёскивает серебряная цепочка с двумя саблями. Хозяин квартиры молча приветствует своего товарища и, шаркая стоптанными тапками, идёт по просторному коридору в комнату. Ахиллес, не разуваясь, следует за Репой по грязному, не мытому несколько лет паркету. Репа проходит в зал и садится на диван.

Высокие потолки и лепнина на потолке говорят о том, что когда-то в этой квартире жила партийная номенклатура, а сама квартира была предметом зависти простых советских граждан. Сейчас апартаменты стали похожи на бродяжий притон: обои выцвели, закопчённый потолок покрылся сетью трещин, из мебели остались только хромое кресло, диван и дряхлый шкаф с книгами.

Ахиллес устраивается в кресле.

РЕПА. Чего такой чёрный? На юг съездил?

АХИЛЛЕС. Да какой юг? В солярий хожу.

РЕПА. Бросил бы ты это занятие. Не пристало мужику задницей крутить.

АХИЛЛЕС. Легко сказать — брось. За Маринкину учёбу платить надо. Не сегодня-завтра стриптиз сам меня бросит. А пока Маринка учится, буду выступать, а потом можно и в дворники.

Репа вдруг начинает хохотать.

РЕПА *(сквозь смех)*. Десантник-стриптизёр!

Ахиллес, глядя на Репу, тоже начинает смеяться.

АХИЛЛЕС. Ну а что? И такое бывает.

РЕПА. Я вот сам себе хозяин, живу, ни под кого не прогибаюсь.

АХИЛЛЕС. Я, что ли, прогибаюсь?!

РЕПА. Под жизнь ты прогибаешься: бегаешь, ищешь бонусы; понятно, не для себя — для дочери стараешься, но это несвобода в любом случае.

Репа закуривает папиросу.

АХИЛЛЕС. Согласен, несвобода.

РЕПА. То-то, брат!

АХИЛЛЕС. Маринка сегодня поставила меня в тупик. Папа, говорит, а что ты в Афганистане делал?

Ахиллес смотрит на Репу, тот равнодушно пожимает плечами.

АХИЛЛЕС. Лет двадцать назад никому бы и в голову не пришло такие вопросы задавать. Двадцать лет — и всё как будто ластиком стёрло.

РЕПА. Ну и что?

Репа передаёт папиросу Ахиллесу.

АХИЛЛЕС. Ну, мы же всё про них знаем, а они про нас — ничего. Все их тупые приколы, что там у них в Интернете — видосики, мемчики, челленджи… а они даже Афганистан на карте не найдут!

РЕПА. Ну и хорошо, что не найдут. Не надо, чтоб его находили.

АХИЛЛЕС. Марина моя совсем взрослая стала, говорит: хочу жить своим умом.

РЕПА *(хохочет)*. Своим умом, но на средства родителей.

АХИЛЛЕС. А ума то ещё нет, а головную боль создать — это у неё просто.

РЕПА. Что такое?

АХИЛЛЕС. Стала интересоваться, курил ли я в армии, да что мы в Афгане делали, да как алкоголь сознание меняет!

РЕПА. Ну вы даёте! Об этом все знают.

АХИЛЛЕС. Маринка мне доверяет, поэтому и спрашивает. Я у ней друг.

Репа скептически улыбается.

АХИЛЛЕС. После Катиной смерти мы так и держимся друг за дружку.

РЕПА. Ну, тогда да.

АХИЛЛЕС. Думаю, у неё в университете какая-то крыса баламутит. Я чего боюсь: предлагать какую-нибудь дрянь начнут...

РЕПА. Ой, да ладно! Чё ты себя накручиваешь? Сам себе придумал проблему.

АХИЛЛЕС. Вот! Маринка так же говорит.

РЕПА. Правильно говорит.

АХИЛЛЕС. И всё-таки нужна твоя помощь.

РЕПА. Ну?

АХИЛЛЕС. Что, если я Маринку сюда приведу?.. А ты ей расскажешь, что да как, какие бывают страшные последствия, люди с ума сходят, теряют в жизни всё, — ну, в общем, мастер-класс проведёшь!

Флегматичное выражение исчезает с Репиного лица, теперь он слушает Ахиллеса с интересом.

РЕПА. Так, может, и покурить?

АХИЛЛЕС. Э, без самодеятельности давай. Просто расскажешь, как бывалый человек со стороны. А то она меня не послушает, подумает, что я с родительского перепуга краски сгущаю.

РЕПА. Ну ты Макаренко! Я бы до такого не допёр. Давай, давай! Я для такого случая что-нибудь вспомню назидательное, ну, или придумаю.

Ахиллес, разрешив трудную для себя задачу, приходит в хорошее расположение духа. Репа заваривает крепкий чай. Разливает чай в старые алюминиевые кружки, достаёт из шкафчика вазу с конфетами.

АХИЛЛЕС. Помнишь, как дни считали до дембеля, мечтали домой, на гражданку: заживём на всю катушку, девушки, вино?

РЕПА. Да, было такое.

АХИЛЛЕС. Казалось, главное — вернуться из Афгана живым, а дальше будет всё просто замечательно.

РЕПА. Так и есть.

АХИЛЛЕС. Я думал, жизнь будет необыкновенная, что ли. Произойдёт что-то важное... Время шло, и ничего не происходило. Мне кажется, просто остаться живым недостаточно для счастья!

РЕПА. Но это ты, конечно, загрубил. Живым остаться! Ты это скажи тем, кто на кладбище лежит. Ну чё тебе не хватает?

АХИЛЛЕС. Не знаю, чего мне не хватает. Жизнь прошла, а вспомнить нечего.

РЕПА. Ну, жизнь ещё не прошла... А что тебе надобно, старче?

АХИЛЛЕС. Что-то грандиозное, дело какое-нибудь, но не купи-продай, а чтоб дух захватывало. Построить станцию на Луне.

РЕПА. Ха-ха! И сады на Марсе развести. Да-а, хорошо нам мозги промыли в «совке».

АХИЛЛЕС. Ну при чём тут «совок»?

РЕПА. Я человек хороший, ты человек хороший — этого достаточно.

АХИЛЛЕС. А может, это грандиозное уже произошло с нами тогда... в Афгане?

РЕПА. Я вообще на эту тему не думаю. Зачем? Жить надо в кайф.

ИНТ. НАУЧНЫЙ ИНСТИТУТ. ДЕНЬ

ПРОФЕССОР. Под воздействием солнца ткань герметика вступает в реакцию с поверхностью, на которую он наносится. Поверхность — это особый материал, он и есть идея фикс нашего конструкторского бюро. Именно поток заряженных частиц, называемых космическим ветром, заставляет герметик скреплять материал на молекулярном уровне! Это даёт уникальные свойства соединению, в первую очередь — способность удерживать любые газы. Что позволит строить лунные станции самых разных размеров и форм.

ПРОФЕССОР, пожилой человек в старомодном костюме, поправляет галстук и с тревожным ожиданием смотрит в зал. В центре зала, уткнувшись в телефон, сидит Даня, за ним Макар и ещё один телохранитель. Больше в аудитории никого нет.

Профессор несколько раз негромко кашляет, после чего начинает расхаживать вдоль макета, изображающего лунную поверхность, на которой построен целый город. Макет выполнен с большим мастерством: человечки в скафандрах,

луномобили, ангары, стартовые площадки выглядят как настоящие.

ПРОФЕССОР. Уже есть пробный образец, это как модель, прообраз. Лев Викторович, давайте.

На трибуну поднимается ЛЕВ ВИКТОРОВИЧ — сорокалетний очкарик в белом халате с взъерошенными волосами. Он выкатывает огромный металлический стол, на котором установлены колбы, трансформатор, несколько ящиков, и всё это соединено проводами и трубками с прозрачной жидкостью.

Поджав губы, Даня продолжает сосредоточенно писать в телефоне. Профессор с недовольным видом смотрит на Даню. Некоторое время в зале стоит полная тишина.

ПРОФЕССОР. Включается обыкновенный ультрафиолет.

Пальцы Дани прыгают по клавиатуре. На экране его телефона появляется надпись: «Марина, не знаю, как это получилось, но...» Палец замирает на секунду... и стирает надпись.

ПРОФЕССОР. Лучи проходят через исходное вещество, меняя структуру диполя.

Даня набирает новое сообщение: «Я немного был неправ...» — и снова забивает свой текст. Нужные слова никак не приходят, Даня елозит на стуле и грызёт ноготь.

Профессор крутит ручки прибора, слышится лёгкое потрескивание, в колбе прибора появляется лёгкое свечение. Макар с любопытством смотрит на эксперимент. Даня смотрит в свой телефон. В колбе профессора начинают плясать сполохи, похожие на миниатюрное северное сияние. Волосы на голове Льва Викторовича принимают совсем вертикальное положение.

Неожиданно необычное свечение исчезает. Профессор, оскорблённый невниманием, выключил приборы и, скрестив руки на груди, молча смотрит в окно. Не отрывая головы от телефона, Даня обращается к Профессору.

ДАНЯ. Продолжайте, профессор, я вас внимательно слушаю.

ПРОФЕССОР. Научное открытие не может храниться, как золотовалютный запас. По нашим следам пойдут другие, и года через два... мы опять будем покупать у Запада то, что могли бы сделать сами.

Даня стирает очередной текст и начинает заново. Теперь на экране телефона появляются стихотворные строчки: «В целом свете ты прекрасней всех на свете...»

ПРОФЕССОР. Завтра шведы, а скорей всего — китайцы, оставят нас с носом.

Даня морщится, откладывает телефон в сторону.

ДАНЯ. Макар, я что-то отвлёкся...

Даня оборачивается и делает знак Макару. Охранник поднимается с места и бодрым шагом подходит к Профессору. Профессор с удивлением смотрит, как Макар ставит перед ним кейс. Щёлкают замки, Макар откидывает крышку чемоданчика. Внутри кейса пачки денег. Профессор непроизвольно хватается за сердце.

ДАНЯ. Да, и наведите здесь порядок, мебель замените, ремонт... а лучше выбросить всё, особенно эти кресла: они, наверно, тут со времён Ломоносова стоят.

ПРОФЕССОР. Да чёрт с ними, с этими креслами! Можно работать! Этого хватит, чтобы создать моделирующие диполь-конгломерации, а там и до экспериментального производства рукой подать.

ДАНЯ *(с нажимом)*. Сначала ремонт и мебель!

ПРОФЕССОР. Не буду спорить...

Профессор закрывает кейс и, потрясённый, смотрит на не менее потрясённого Льва Викторовича.

ДАНЯ. Профессор...

Даня морщится и смотрит на Макара. Телохранитель наклоняется к Дане и негромко произносит.

МАКАР. Валерий Сергеевич.

ДАНЯ. Валерий Сергеевич, мы берём финансирование на себя, вы будете работать в нормальных условиях, у вас будет всё, что вам необходимо... наши юристы сейчас готовят базу... в ближайшее время мы оформим наши отношения официально.

Лев Викторович издаёт вопль и, как школьник, подпрыгивает. К Дане неожиданно приходит эпистолярное озарение, и он снова строчит в телефоне. На этот раз нужные слова найдены. Щёлкнув по кнопке «Отправить», Даня откладывает телефон в сторону и повеселевшим взглядом смотрит на профессора.

ИНТ. ПОДЪЕЗД РЕПЫ. ДЕНЬ

Марина облокотилась на перила, безучастно смотрит в потолок. Ахиллес подносит палец к звонку квартиры, где живёт Репа. Слышится сигнал телефона. Марина спешно извлекает из сумки мобильник, на экране — сообщение от Дани: «Привет! Как дела?»

АХИЛЛЕС. Кто пишет?

МАРИНА. Никто, просто спам.

Не ответив на сообщение, Марина прячет телефон в сумочку. Ахиллес нажимает кнопку звонка. Дверь открывается.

ИНТ. КВАРТИРА РЕПЫ. ДЕНЬ

На пороге Репиной квартиры — Ахиллес и Марина. Хозяин дома встречает гостей в потёртом шёлковом халате, купленном ещё при Брежневе.

АХИЛЛЕС. Знакомься, это моя дочь — Марина.

Репа учтиво кивает головой.

РЕПА. Игорь Францевич.

МАРИНА. Очень приятно, Игорь Францевич. Может быть, вы расскажете о цели нашего визита к вам?

Репа растерянно смотрит на Ахиллеса.

РЕПА. Да, наверно, какой-то особенной цели и нет, так…

Ахиллес смущённо чешет переносицу, не зная, что сказать.

МАРИНА. А я была просто уверена, что меня ведут на смотрины, но увидела вас, уважаемый Игорь Францевич… и сразу как-то от души отлегло. Вы, надеюсь, не жених?

РЕПА *(смеётся)*. Нет, я уже этой ерундой не страдаю.

АХИЛЛЕС. Я же сказал, это сюрприз. Сюрреалистический приз. Во как!

РЕПА *(Ахиллесу)*. Нормальная реакция молодого организма на сюрпризы, я бы тоже огрызался. А дочь у тебя классная, я тебе даже завидую.

Репа бодрым, пружинистым шагом идёт в зал. Марина с кислой миной смотрит на Ахиллеса.

МАРИНА *(негромко)*. Папа, ты с ума сошёл? Зачем ты меня привёл в эту грязь?

АХИЛЛЕС. Это не грязь… творческий беспорядок. Игорь ведёт замкнутый образ жизни. Он мой друг, старый и проверенный. И-и…

МАРИНА. Что?

АХИЛЛЕС *(тоном заговорщика)*. У него мы узнаем про то… ну, про что мы говорили…

Репа выглядывает из зала.

РЕПА. Ну чего вы?!

Репа усаживает Ахиллеса и Марину на диван, сам располагается в кресле. В квартире наведён относительный порядок, посредине зала точно прошли тряпкой, о чём свидетельствуют грязные разводы по краям комнаты. Девушка сразу обращает внимание на старую фотографию на стене.

МАРИНА. Это ваш папа?

РЕПА. Ну да… тот, который за Брежневым, — мой отец.

МАРИНА. А-а, понятно.

РЕПА. Мой папа был большой человек, работал наверху. Так в наше время говорили: наверху… На каком верху — никто не уточнял, но все всё понимали. Ну а таких, как я, называли мальчиками-мажорами.

В присутствии Марины Репа держится с достоинством графа.

РЕПА. Марина, мы с твоим отцом служили в таких местах, где было полно разных искушений, и мы, можно сказать, стали гуру в вопросах психоделии и расширения горизонтов сознания…

МАРИНА. Так, может, вам на «Ютубе» страничку открыть?

РЕПА. Мы свободные художники и презираем условия и соглашения.

МАРИНА *(с иронией)*. Вы крутые!

РЕПА. О да!

АХИЛЛЕС. Марина, Игорь мой друг… и хорошо разбирается в этом деле, и поэтому я предлагаю его послушать…

МАРИНА. Папа, я вовсе не собираюсь ни пить, ни курить. Я тогда спросила, ну, просто так.

АХИЛЛЕС. Я не вижу в твоём любопытстве ничего плохого, мы ничем не хуже президентов.

Ахиллес бодро смотрит на друга, Репа утвердительно кивает.

АХИЛЛЕС. Ну тебе же было интересно, что там у писателей с сознанием делается. Это нормально. Ну, если у тебя настроение не то… ну, мы можем в другой раз.

МАРИНА. Я не хочу пить и курить ни сейчас, ни в другой раз. Никогда. Это не моё.

АХИЛЛЕС. Откуда ты знаешь, что это не твоё? Ты что, уже пробовала?!

МАРИНА. Папа! Чтобы понять, что вышивание крестиком — это не моё, мне не надо вышивать крестиком.

РЕПА. Ну что — аргумент! Жалко, конечно, я тут речь заготовил о дурных привычках человечества. *(Ставит на стол бутылку портвейна.)* Что всё начинается с безобидного стакана портвейна.

МАРИНА. Да, конечно! Папа, ты можешь выпить и покурить с Игорем Францевичем: что мы, зря собрались, что ли?

Ахиллес округлившимися глазами смотрит на дочь. Репа трясётся от хохота.

МАРИНА. Я серьёзно. Ты и так с утра до вечера на работе. Когда у тебя последний раз посиделки были?

РЕПА. Я говорил тебе, не знаем мы их. Они, видишь, хорошие, не злые.

Репа наливает портвейн в стакан, смотрит на Ахиллеса, тот отрицательно мотает головой.

РЕПА. Папа всего зла—это стакан портвейна, об этом ещё Витя Цой спел. Ну, это не твоя история, Марина, и слава Богу!

Репа опрокидывает стакан, утирает усы. Затем как-то ненатурально, рывком, откидывается на спинку кресла, так что кресло опрокидывается, и бывший мажор летит верх тормашками. Марина, всё время бывшая начеку, при виде такого кульбита взвизгивает от смеха. Ахиллес, глядя на воздетые ноги своего друга, тоже смеётся от души. Ноги Репы начинают странно подрагивать, а из-за кресла слышатся хрипы. Ахиллес срывается с места, ставит кресло на место. Репа мешком валится вперёд, на пол. Ахиллес переворачивает Репу на спину. Его товарищ стеклянными глазами смотрит в пустоту. Атлет пытается нащупать пульс на толстой Репиной шее.

МАРИНА. Пап, он шутит? Это игра… такая?

Ахиллес упирается руками в грудь Репы и начинает делать искусственное дыхание.

АХИЛЛЕС. Нет он не шутит, набирай скорую.

МАРИНА. Ага.

Марина, бледная от страха, дрожащими пальцами набирает номер на мобильнике, телефон отвечает.

МАРИНА *(Ахиллесу)*. Что говорить?

АХИЛЛЕС. Мужчина, пятидесяти лет… нет пульса, дыхания.

МАРИНА *(в телефон)*. Мужчина пятидесяти лет, нет пульса и дыхания. Упал… без сознания. Две минуты назад…

Ахиллес, зажав Репе нос, шумно выдыхает воздух в его рот.

МАРИНА. Они адрес спрашивают!

АХИЛЛЕС. Улица Кирова, пятнадцать, квартира двадцать один.

МАРИНА *(в телефон)*. Улица Кирова, пятнадцать, квартира двадцать один.

Ахиллес останавливается, прикладывает ухо к груди, слушает. Выругавшись, снова начинает толчками давить на солнечное сплетение Репы.

АХИЛЛЕС. Дочка, ты вот что…

Марина с ужасом смотрит, как голова Репы, с синими губами и неподвижным взглядом, дёргается на полу.

МАРИНА. Пап, он умер?

АХИЛЛЕС. Нет. Слушай мою команду. Сейчас выйдешь на лестничную площадку, оставишь дверь открытой и спустишься вниз.

МАРИНА. Ага…

АХИЛЛЕС. Сядешь в автобус, доедешь до Машки и будешь с ней, пока я не позвоню.

МАРИНА. А ты?

АХИЛЛЕС. А я… тут буду, скорую ждать.

МАРИНА. Может, тебе помочь?

АХИЛЛЕС *(кричит)*. Марина! Делай, что я говорю!

Марина выходит на лестничную площадку, открывает настежь входную дверь, спускается по лестнице.

НАТ. ДВОР. ДЕНЬ

Марина выходит во двор. Ветер гонит рябь по огромной серой луже. Небо затянуто тучами, вот-вот пойдёт дождь. Девушка набирает телефонный номер.

МАРИНА. Аллё, Дань, привет. Даня, приедь, забери меня.

ИНТ. ОТДЕЛЕНИЕ МИЛИЦИИ. ДЕНЬ

Ахиллес сидит за столом, перед ним лист бумаги и ручка. Рядом СЛЕДОВАТЕЛЬ—молодой парень в форме старшего лейтенанта. Обстановка в кабинете казённая.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Экспертиза показала: смерть наступила в результате разрыва аорты как следствие хронического заболевания. *(Перебирает бумаги в папке.)* Случай не криминальный, дело мы заводить не будем. Вы сейчас напишите объяснительную, поскольку находились на месте событий. Ну и всё.

АХИЛЛЕС. Да, конечно.

Ахиллес подносит ручку к бумаге.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Пишите: такого-то числа я пришёл в гости к гражданину Репину И Фэ… и дальше как всё было.

Ахиллес пишет. Следователь перебирает бумаги, и в какой-то момент из папки на стол падает Репин кулон в виде двух серебряных сабель.

АХИЛЛЕС. Красивая вещь.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Да уж, сделано так сделано.

АХИЛЛЕС. Репа, то есть Игорь Францевич, с ней никогда не расставался, это у него от армии осталось.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Да-а. Я на экспертизу носил, похожая вещь в розыске, но нет, оказалось, не она. Отдадим родственникам.

АХИЛЛЕС. У него нет родственников.

СЛЕДОВАТЕЛЬ *(улыбается)*. Ну, кто-нибудь да найдётся.

Старший лейтенант кладёт кулон обратно в папку, берёт исписанный Ахиллесом лист бумаги, пробегает по нему взглядом.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Так, ну-у, всё в порядке, вы можете идти.

Ахиллес выходит из кабинета. Следователь некоторое время сидит за столом, затем идёт к шкафчику, роется среди кулёчков, достаёт печенье, ест.

ИНТ. ОТДЕЛЕНИЕ МИЛИЦИИ, КОРИДОР. ДЕНЬ

Следователь с чайником в руках выходит из кабинета, он жуёт на ходу, дверь за собой запирает на ключ. Идёт по коридору в туалет, где набирает полный чайник воды. Из туалета он выходит в коридор и двигается в обратном направлении. В этот момент за спиной Следователя появляется Ахиллес. Бывший десантник двигается бесшумно, его лицо стало беспощадно жестоким, как будто он собирается снять старлея, как часового на посту.

Следователь останавливается перед дверью своего кабинета, возится с замком. Ахиллес стоит за его спиной. Следователь открывает дверь, заходит в кабинет, Ахиллес, как тень, скользит за ним.

Ничего не подозревающий старший лейтенант проходит к шкафчику, где у него подставка для чайника. Ахиллес, находясь у него за спиной, подходит к столу, открывает папку, в которую был вложен кулон.

Следователь включает чайник, кладёт в чашку пакетик с чаем. Ахиллес аккуратно, так, чтобы не было шороха, перелистывает страницы папки. Следователь достаёт из шкафчика банку с конфетами. Ахиллес листает папку, видит кулон.

Следователь резко разворачивается — перед ним Ахиллес в непринуждённой позе, руки в карманах. Следователь от неожиданности негромко вскрикивает.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. О чёрт! Вы меня врасплох застали. Что случилось?

АХИЛЛЕС. Извините, я случайно вашу ручку прихватил с собой.

Ахиллес протягивает Следователю шариковую ручку, уходит.

ИНТ. МОРГ. ВЕЧЕР

Комната с низким потолком, на стенах жёлтый кафель, с потолка свисают лампочки, освещающие тусклым светом покойников на столах. В комнату входит Ахиллес, осматривается. Репа лежит особняком в парадной форме десантника. Ахиллес мимо тел идёт к своему товарищу. Репа приподнимается, смотрит на Ахиллеса.

АХИЛЛЕС. Ну, как тебе на новом месте?

РЕПА. Да ещё не понял. Не хорошо и не плохо.

АХИЛЛЕС. Я тебе сабли принёс.

Репа широко улыбается и берёт протянутый Ахиллесом кулон.

РЕПА. Вот спасибо, мне без них реально не по себе.

АХИЛЛЕС. Помнишь, кто тебе их продал?

РЕПА. Да. Звали его… звали его… его звали…

Репа застёгивает цепочку на своей толстой шее.

АХИЛЛЕС. Джамалдин.

РЕПА. Да-а, Джамалдин! Прикольный чувак, на старика Хоттабыча похож, ты ещё сказал, что все вещи в его лавке волшебные.

АХИЛЛЕС. Я пошутил.

РЕПА. А я поверил и отдал сорок долларов. И по нынешним временам нехилые деньги, а тогда вообще.

АХИЛЛЕС. Ну, сабли-то волшебные, они тебе всегда удачу приносили!

РЕПА. А я ни разу и не пожалел. Я, если бы захотел, сейчас бы их за сорок тысяч продал, влёт.

АХИЛЛЕС. Эй, кончай врать!

РЕПА. Говорю тебе! Я эти сабли на барахолку носил как-то. Тамошние спецы посмотрели, сказали — антиквариат, цены необыкновенной…

В коридоре слышатся шаги и голоса. Репа и Ахиллес одновременно поворачивают головы в сторону входной двери.

РЕПА. Кого-то несёт нелёгкая.

Ахиллес прячется за ширму. В комнату входят ГЕНЕРАЛ и ЧЕЛОВЕК В КОСТЮМЕ с орденской планкой на лацкане пиджака. Генерал подходит к Репе, некоторое время разглядывает неподвижное тело десантника.

ГЕНЕРАЛ. Ну хорошо, хорошо. Как положено всё. И погоны, и аксельбанты по уставу. Хотя — какой уже устав? Человека хороним, да-а.

ЧЕЛОВЕК В КОСТЮМЕ. Парадку еле нашли. На его-то размер. За вечер в ателье подшили.

Генерал указательным пальцем сдвигает фуражку на затылок, а потом, спохватившись, снимает.

ЧЕЛОВЕК В КОСТЮМЕ. Мы тут привлекли патриотическую молодёжь. Впереди процессии понесут на двух подушках орден Красной Звезды и медаль.

ГЕНЕРАЛ. Вообще, за его подвиг Героя бы дали, если бы погиб. Да-а, почти Герой Советского Союза! А умер забытый всеми, один, как бомж какой-то.

Ахиллес затаился за ширмой.

ЧЕЛОВЕК В КОСТЮМЕ. Не один. С ним был ещё наш человек, тоже афганец.

ГЕНЕРАЛ. Вот именно! Что толку, что был? Никто ему не помог! Потому что жил—ни жены, ни детей, пил, наверное. Нет чтобы прийти к нам… поговорить по душам… мы бы помогли, путёвку в санаторий или там…

ЧЕЛОВЕК В КОСТЮМЕ. Да-а, человек он был, мягко говоря, необщительный. Первые годы после Афгана ещё приходил на встречи, как-то был среди нас, потом всё, исчез.

ГЕНЕРАЛ. Чего уж теперь, после драки… *(Машет рукой.)* Я ещё помню, как о его подвиге «Правда» писала.

ЧЕЛОВЕК В КОСТЮМЕ. Да-а. Настоящий герой. Ну ничего, мы его достойно проводим. Достойно.

ГЕНЕРАЛ. Ну что… спи спокойно, дорогой товарищ.

Генерал надевает фуражку и, прихрамывая, идёт к выходу, за ним, оборачиваясь на ходу, спешит Человек в Костюме. Ахиллес выходит из-за ширмы. Репа с закрытыми глазами неподвижно лежит на красном бархате, на шее у него поверх тельняшки поблёскивает кулон в виде двух скрещённых сабель.

ИНТ. КВАРТИРА АХИЛЛЕСА. ДЕНЬ

Ахиллес заходит в квартиру, замечает на журнальном столике лист бумаги. Разворачивает записку, читает.

ГОЛОС МАРИНЫ. Папа, я теперь буду жить у Дани, это очень дорогой мне человек, мы с ним одна семья, как вы когда-то с мамой. Это решение я приняла сама, без обсуждения с тобой. Наверное, я стала взрослая. Не обижайся. Целую, Марина.

Ахиллес тяжело вздыхает, садится на стул.

НАТ. ЛЕС. НОЧЬ

На поляне горит огромный костёр, несколько негров в экзотических нарядах бьют в барабаны, рядом с костром на помосте навороченный диджейский пульт, внизу танцуют молодые люди, диджей за пультом прыгает, подбадривая толпу. Вольдемар и Ахиллес—в окружении молодёжи, оба слегка пьяны.

ВОЛЬДЕМАР. Может, передумаешь? Всегда можно передумать.

АХИЛЛЕС. Нет, мосты сожжены, смотри, как пылают. Рубикон мы перешли, Вольдемар, и пусть! Чем ярче пылают костры за спиной, тем светлее дорога впереди!

ВОЛЬДЕМАР. Да, поэтично.

АХИЛЛЕС. Никогда не меняй решения!

ВОЛЬДЕМАР. Это всё гордыня, хочет человек быть круче Бога! Гордыня!

АХИЛЛЕС. Вольдемар, будем прощаться. Я всегда буду помнить тебя, брат.

Ахиллес и Вольдемар слегка пьяны.

ВОЛЬДЕМАР. Тогда и я буду тебе братом названным. Целоваться не будем.

АХИЛЛЕС. Не будем.

ВОЛЬДЕМАР. Прощай, брат. Может, и свидимся.

К Вольдемару подбегает Девушка в Розовом.

ДЕВУШКА В РОЗОВОМ. Вольдемар, все люди—это радужные светящиеся оболочки, это мы, мы, мы…

Девушка в Розовом убегает в толпу. Танцующие образовывают что-то вроде процессии в главе с Ахиллесом и Вольдемаром. Процессия некоторое время идёт полем, затем спускается по широкой тропинке к воде. Хлюпая в прибрежной тине, Актёр подтягивает лодку к берегу. Девушка в Розовом подвешивает к лодочному шесту старый фонарь со свечой. Ахиллес забирается на корму, Вольдемар отталкивает лодку от берега. Негры затягивают спиричуэл.

ВОЛЬДЕМАР. Ахиллес!

Ахиллес оборачивается и машет рукой.

Рассекая воду, лодка входит в плотный туман, и сразу Вольдемар и его люди теряются в молочной пелене, слышны только грустное пение и мерные удары барабанов. Ахиллес осторожно гребёт. Рядом с лодкой проплывают кувшинки и похожие на морских чудищ коряги. Вскоре пение смолкает, и Ахиллес плывёт в тишине, нарушаемой только всплесками его весла.

Впереди мелькает огонёк. Туман расступается, лодка скользит в небольшой залив и, шаркнув днищем о песок, застывает. На берегу шатёр из белой ткани, освещённый внутри неярким мерцающим

светом. Ахиллес выходит на берег. Полог шатра откидывается, на пороге появляется девушка в прозрачной тунике с лампадой в руке. Ахиллес подходит к шатру.

АХИЛЛЕС *(с удивлением)*. Адель?!

АДЕЛЬ. Неожиданно, да?

АХИЛЛЕС. Такого сказочного подарка я даже от Вольдемара не ожидал.

АДЕЛЬ. Да-а, вот такой наш Вольдемар—гений. *(Кладёт руки на плечи атлета.)* Только подарок до завтрашнего дня, а точнее—до двенадцати ноль-ноль. Как в сказке.

АХИЛЛЕС. Тогда не будем терять время.

Ахиллес подхватывает девушку на руки и несёт в шатёр.

АДЕЛЬ. Как скажешь, мой Ахиллес.

ИНТ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ. ДЕНЬ

Марина резко выделяется в толпе пассажиров, она одета в розовый костюм в духе Жаклин Бувье, в руках у девушки аккуратный стильный букетик. Даня—в шикарном костюме без галстука. На парочку оглядываются. Марина нервничает.

МАРИНА. Даже в такой удобной вещи чувствуешь себя как в скафандре. Что за люди! Каждый считает своим долгом остановится и поглазеть.

ДАНЯ. А что, тебе очень идёт. Старику понравится.

МАРИНА. Даня, предприниматель убьёт в тебе человека!

ДАНЯ. Не убьёт, если рядом будет такой ангел, как ты.

Пара пересекает гудящий, как улей, зал ожидания и спускается в подземный тоннель. У стены тоннеля поёт ПАРЕНЬ С ГИТАРОЙ.

ПАРЕНЬ С ГИТАРОЙ
Мы обязательно встретимся, слышишь меня, прости-и.
Там, куда я ухожу-у… весна-а.
Я знаю, ты сможешь меня-а найти,
Не оставайся одна-а.

Музыкант поёт самозабвенно, закрыв глаза. Под ногами у него растаманская шапочка с мелочью. Марина роется в сумочке.

МАРИНА. У тебя монетки есть?

Даня открывает бумажник и не глядя вытаскивает из пачки денег тысячную купюру. Марина, наклонившись, аккуратно кладёт тысячу в шапочку певца. Из тоннеля Даня и Марина поднимаются на перрон.

НАТ. ПЕРРОН. ДЕНЬ

С одной стороны перрона стоит пассажирский состав, возле которого снуют обыкновенные серые людишки с чемоданами и рюкзаками. К другой стороне перрона величаво подходит скоростной поезд—яркий, европейского дизайна, он резко контрастирует со своим российским собратом. Встречающих на перроне немного, и молодые люди двигаются без задержек. Неожиданно Даня останавливается и оценивающе смотрит на Марину.

ДАНЯ. Старику должен понравиться наш выход.

Скоростной поезд останавливается, из вагонов выходят элегантные бортпроводницы, чтобы ласково попрощаться со своими пассажирами. Марина и Даня идут вдоль перрона, Даня заглядывает в окна «европейца». Холёная, хорошо одетая, довольная собой публика не спеша двигает к выходу.

В дверях вагона появляется ОТЕЦ ДАНИ—мужчина на шестом десятке, ещё крепкий, собравшийся для последнего жизненного рывка. За ним несколько человек охраны. Даня осторожно толкает Марину в бок, но Отец Дани уже замечает сына и радостно поднимает руки.

ОТЕЦ ДАНИ. Ба-а, сын. Привет, привет! *(Притягивает Даню к себе и благожелательно смотрит на Марину.)* А это кто с тобой?

ДАНЯ. Отец, познакомься, это моя невеста, Марина.

Марина улыбается и протягивает Отцу Дани цветы.

МАРИНА. Сергей Фёдорович, здравствуйте! Надеюсь, поездка была приятной?

ОТЕЦ ДАНИ. Мариночка, поездка прошла чудесно, и, как оказалось… самое чудесное в этой поездке произошло в самом конце, я имею в виду нашу замечательную встречу. *(Галантно целует руку Марины.)* А я всё думаю, когда же этот балбес познакомит нас! *(Делает знак охране, и спортивные ребята уходят на несколько шагов вперёд.)* И вот… вдруг решил обрадовать старика?!

ДАНЯ. Ну да, решил. Мы решили. Мы тебя любим, папа.

ОТЕЦ ДАНИ *(благодушно)*. Ой, Данька-а, стратег! А ведь момент-то выбрал правильный. А-а! Я ведь такой контракт заключил—как будто на двадцать лет моложе стал. Вот держу себя в руках, а то иначе начну танцевать.

Марина радостно улыбается и в шутку делает движения руками, как будто приглашает кавалера на танец. Отец Дани вскидывает бровь… и неожиданно для всех ловко подхватывает девушку

и начинает вальсировать. Пассажиры останавливаются, чтобы поглазеть на необыкновенное зрелище: прямо посредине перрона немолодой мужчина и совсем молодая девушка легко и красиво кружатся в вальсе.

Марина резко останавливается, она чувствует на себе чей-то взгляд. В нескольких метрах, там, где обыкновенный пассажирский поезд, стоит человек в камуфляже и внимательно смотрит на девушку. Марина, забыв обо всём на свете, бежит к человеку в камуфляже. Подбежав, крепко хватает его за локти. Ахиллес растерян и подавлен.

АХИЛЛЕС. Маринка!

МАРИНА. Папа, ты что? Ты уезжаешь?

Ахиллес изменился: вместо длинных волос у него короткая стрижка, одет он в куртку военного образца, под курткой у него тельняшка, на ногах — высокие ботинки.

АХИЛЛЕС. Маринка. Ты так танцуешь… а я и не знал, что у тебя так хорошо получается. Еду, да.

На глазах у Марины выступают слёзы. Из тамбура выглядывает озабоченная ПРОВОДНИЦА.

ПРОВОДНИЦА *(Ахиллесу)*. Мужчина, отправляемся, заходите.

Состав плавно трогается. Ахиллес, держась за ручку поручня, идёт за вагоном.

АХИЛЛЕС. Я приеду обязательно.

МАРИНА. Папа, это из-за меня?!

АХИЛЛЕС. Нет, нет… Что ты дочка?..

МАРИНА. Папа, это из-за меня! Ты меня… прости, всё же можно исправить!

Состав ускоряется.

МАРИНА. Не уезжай. Я вернусь, сегодня же буду дома, мы с тобой телек будем смотреть.

Марина продолжает идти за вагоном.

АХИЛЛЕС. Маринка, ты тут ни при чём. Я, наоборот, рад за тебя… рад, что у тебя всё хорошо, ты умница. Я же просто…

Губы Ахиллеса начинают непроизвольно прыгать, он заскакивает на подножку вагона.

АХИЛЛЕС *(строго)*. Ну, Маринка, не плачь…

Поезд набирает скорость, Марина бежит за вагоном, некоторое время ей даже удаётся не отставать. Ахиллес машет рукой, показывая, что ей надо остановиться. Перрон заканчивается, Марина останавливается у края платформы. Ахиллес висит на подножке до тех пор, пока не теряет дочь из вида.

ИНТ. ВАГОН, КУПЕ. ДЕНЬ

В купе трое мужчин. Один — совсем молодой, лет двадцати, второй — почти старик, и ещё один — лет сорока. Входит Ахиллес, садится на своё место. Его попутчики разбирают вещи. Ахиллес смотрит в окно. Поезд проезжает мимо бесконечных товарных составов и выезжает на окраину города.

Поезд, в котором едет Ахиллес, догоняет другой пассажирский состав, идущий параллельным курсом. Вагоны сближаются, и Ахиллес видит в купе напротив молодую женщину. Женщина смотрит в окно, но не замечает Ахиллеса. Ахиллес припал к стеклу: его случайная попутчица очень похожа на женщину на портрете в его квартире. Ахиллес машет рукой, но женщина этого не видит. Поезд с женщиной отстаёт, и за окном снова проносятся бескрайние поля и зазеленевшие недавно перелески.

КОНЕЦ ФИЛЬМА

Елена Крюкова

Нелинейный Михаил Стригин

Михаил Стригин. Нелинейная любовь. Челябинск, «Библиотека Миллера», 2019

Образная система, ритмическая организация, существование внутри рифмованного стиха — всё это у поэта Михаила Стригина увязывается оригинально и порой неожиданно в целую (и цельную!) философскую систему. Вот это вроде бы не должно удивлять: Стригин, как философ (а он философ!), великолепно представляет себе положение, почти аксиому, о том, что стихотворение есть сгущённая информация. Спрессованная, сжатая подчас до невероятной плотности интеллектуального и эмоционального вещества. Стригин к этому стремится, это видно и слышно в стихах, но делает он это (и это отрадно) не сознательно, не «по плану», а абсолютно естественно: феномен натурального рождения произведения на свет, его зачатия в любви и в тайне здесь неоспорим.

В своей новой книге «Нелинейная любовь» поэт сталкивает нас сразу с неожиданностью названия — самого символа-знака, обозначающего то, что сокрыто под обложкой. Нелинейная любовь — это, по сути, формульное обозначение нелинейного времени. По представлениям древних иудеев, время двояко. Вечное, божественное, Божие время — это «олам», огромная субстанция (нечто вроде лемовской планеты Океан в «Солярисе»), громадный котёл, и времена варятся в этом одном немыслимом котле вечности. Нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего; вернее, они есть все сразу, все вместе. Есть незыблемое время, и Вселенная находится внутри него, как внутри яйца. А рядом — дискретное время, так называемое линейное. Пресловутая стрела времени. Она чётко направлена из прошлого в будущее, и на этой стреле всё уже узнаваемо, всё разложено по полочкам, всё можно вычислить — и события, и даты; невозможны только две вещи: нельзя вернуться в прошлое, и нельзя попасть в будущее. Есть, как буддисты говорят, здесь и сейчас.

Так вот, *нелинейная любовь* Стригина — это грандиозная формула поэзии: и всей поэзии в контексте истории, и конкретно стригинской. Подспудно или явно, но в книге тема времени возвращается рефреном:

Интуитивно чувствуешь, сколько прошло времени,
По привычным нюансам: по сердцебиению,
По дыханию,
По октавам сверчка, пылинки порханию.

Но внутри колышется более тихое —
Паутинка, натянутая портнихами,
Трещинка в монолите течения,
От которой исходит глухое свечение.

Нелинейно и само пространство, где одушевляется старый роддом, что видел на своём веку множество вновь явившихся на свет человеческих жизней:

На впалых щеках старого роддома
Щетиной пророс многолетний мох.
Роддом до бетонных рёбер в груди усох.
Кто-то торопится, ставит диагноз — саркома,
Ему живучесть наших роддомов незнакома.
(За последним — не один ещё вздох.)

Это сопоставление, столкновение времён (*«ему живучесть наших роддомов незнакома…»*), внутри которых здание равно человеку, боль равна судьбе, а человек, соответственно, равен, равновелик времени, одновременно настораживает, даже пугает, и вместе с тем обнадёживает: всё в мире не так примитивно и просто, как нам удобно думать.

Стригин запросто «путает» пространство и время, одушевлённость и неодушевлённость, свет и тишину, цвет и звук; у него звук может поплыть запредельной краской, а тишина обратиться то ли в ветер, то ли в свет, то ли в лёгкое дыхание:

А скорлупа становится плотнее,
Свинцом налившись в вышине.
И тишиной такой в лицо повеет,
Что солнца хочется вдвойне…

И снова время земное становится временем мифологическим, соединяются в незримом объятии привычная земля и мифологический рай, и слишком близко, слишком рядом ставит нас Стригин с мифологемой рая — отнюдь не для того, чтобы мы заново подивились старинной роскошной райской «сказке», а сполна восчувствовали настоящесть и истинность бытия, сгущённого, «залитого» внутрь древнейшего ситуативного иероглифа:

Время призадуматься—
Лист упал в раю.
Спи, родной, укутайся,
Баюшки-баю.

Пусть не обманет чуткое ухо, внимательный глаз и открытое сердце эта традиционная интонация колыбельной, ещё немного—и просто даже лермонтовской ритмики: это стихотворение—опять о времени, но здесь автор впрямую сталкивает время с вечностью:

Время тихо капает,
Плавится свеча.
Распустилась маками
Вечная печаль.

А рай здесь для того, чтобы человек, ощутивший—с болью, горечью и неизбывной печалью—свою временность, сиюминутность пребывания на земле, внезапно и бесповоротно соотнёс себя с вечностью—всё через ту же печаль, ибо, по мысли Фёдора Тютчева, вся подлинная русская поэзия печальна.

Стригин создаёт свой мир—бестрепетно повторим этот трюизм; так говорят обо всех авторах, обо всех художниках, творцах. Здесь не погрешишь против истины: да, каждый человек—простите за банальность—это уникальный мир, это неповторимый Космос; и что сокрушаться, что вчера он родился, а завтра навек уйдёт? Ведь у него всё равно вечность—в хромосомах, в генах. У него в запасе та любовь, что не на фоне быта, не мечтою—в будущем, а опять в сопряжении времён, во временны́х неразгаданных буквицах:

Воспоминанья—руны Бога—
Помогут вычитать любовь!

У Стригина в русской поэзии есть предшественники. Он не отрекается от корней. Он по-пастернаковски подробен, его тоже привлекает «всесильный Бог деталей, всесильный Бог любви», он по-обэриутовски странен и даже парадоксален (а разве сам человек не есть парадокс нелинейного времени?); но его поэтическое мышление—это мышление поэта двадцать первого века, с его тягой к мегаодушевлению, к увеличению образных масштабов, к овеществлению и визуализации образных фракталов, к гротесковым сопоставлениям и контрастам, к ансамблю несочетаемого:

Венеция опять в предчувствии инсульта,
Как будто тромбы—толпы праздные людей.
Качает карнавал строенья, словно судна,—
Десятибалльный ежегодный шторм страстей!

Огни для праздника украли в преисподней,
Мигая, движется упавший Млечный Путь.
В канал стекает вечер, час приходит поздний,
Пандоры ящик собираясь распахнуть.

Кто же такой поэт Михаил Стригин? (Он пишет и прозу, но о его прозе разговор в другой раз.) Перед нами, это ясно, «парадоксов друг». И его поэтику нельзя с ходу обвинить в излишнем интеллектуализме.

Стригин знает цену песне и молитве, мифу и видению, традиции и обычаю. Но он несомненный новатор. Его новации плодоносны. Они идут не только и не столько от его духовных и интеллектуальных поисков (а это есть: куда же он убежит от себя—философа?..), но и от утончённости эстетики, и от истинности и искренности чувства, над которым так часто смеялись в ушедшем веке, к примеру, иронисты и постмодернисты. Он не забывает: искусство—это чувство. Да будет и дальше так.

Поэтому пусть будет—здесь и сейчас, внутри уходящего мгновенья,—у читателя *нелинейное постижение* стригинских любви и трагедии, печали и обречённости, надежды и упрямства, хаоса и Космоса.

Елена Жарикова

Печкины сказки

В доме бабушки моей
Печка русская—медведицей.
С ярко-красною душой,
Помогает людям жить—
Хлебы печь, да щи варить,
Да за печкой и на печке
Сказки милые таить.
Ксения Некрасова

Сказка первая

Друг сердечный—Таракан запечный

Как-то морозным вечером, под самое Рождество, когда покров в сиянии ранней звезды перламутрово светился и снежок под валенком поскрипывал, что твоя капустка квашена, когда дым из трубы печной высоко подымался, аж к самой луне, когда в избе всё дышало чистотой и заботой праздника,—свалился с Печки Таракан. Упал, зашиб плечико, заохал, пополз, ковыляя, в свою щель под старым комодом.

— Ох, тошно мне, горемычному-калечному, и житьё моё никудышное!

— Ишь, занудел, заканючил. Да у кого ж оно лучше?—откликнулась из угла старая Метла, что весь день мела-убирала, пылью дышала, насмерть устала.

— И то верно: всем житьё скверно! Уж как всё мыли, а про меня забыли,—забренчал обиженно старый Умывальник.

— А вот мне любопытно: кругом чистота-лепота, а откель взялся этот пережиток прошлого?—завелась Метла.

— Про то только Печка-матушка ведает. Она тут старше всех, она главная, её и спросим,—брякнул носиком Умывальник.

— Матушка-Печка, молви словечко!—попросил Сверчок-немолчок, золотой смычок.

Печь мигнула угольком, глубоко вздохнула, пыхнула жаром да запахом щей, что томились в загнетке, и повела свои речи…

…Было то аль не было, родимые,—Бог весть. Жили мы тогда скудно-бедно: чего не хватись, за всем в люди катись. По щелям тараканы усатые, в чугуне шти небогатые. Ох-х!—Печка перевела дух.—На Печи бабка глуха, у порога собачка стара. Дедок на лавке ворчит, да Танюшка-сиротка песню в уголку мурлычет.

Вот так же перед праздником весь день хлопотали, устали, притомились да рано спать свалились. Чаяли, что к первой звезде встанут, да куда там—сопят, не ворочаются. А во мне жару ещё осталось—чуть да маленько. Не углядела я, старая, как один бедовый уголёк возьми и прыгни с пода на шесток да с него на пол. А там соломенная лошадка лежала—Танюшка играла да оставила. На самый хвостик малый жарок и попал, огонёк взнялся да дальше—по сухому веничку, по чисту половичку—пополз. А все спят, беды не чуют.

Тем же временем над самыми полатями из щели выполз Таракашечка мало́й. Усиками пошевелил—горячо дело, пропадут все, и он заодно. И хоть дрожал-боялся, да решился Таракашечка на крайнее. Танюшка на полатях спала, веснушки на носу да пшеничны косички, дышала сладко так, тихо. Ну вот, Таракашка лапочки сложил, оторвался со стены и прямо ей на нос угодил. Она чихнула—да проснулась. Глядь, ещё чуток—и сгорели бы! Побудила всех—затушили огонь.

Так Тараканишко запечный всех спас. Эту заслугу ему попомнили и сильно не притесняли с тех пор.

Сказка вторая

Сверчок-немолчок, золотой смычок

Вздохнула Печка так, что облачко пепельное взнялось и растаяло в вечерней тишине, и повела новую сказку…

…Пришла деду Анисиму пора помирать. А все в поле, страда. Один лежит на Печи, охает, угольки считает—сколь жить осталось. Мало выходит.

Откель ни возьмись—Сверчок-немолчок, золотой смычок.

— Ты чего, дедушка, никак Богу душу отдать собираешься?

— К тому, верно, идёт. И то—пожил малость. Девяносто годов мне, пора и честь знать.

—Как же мы без тебя? Кто Танюшке валенки подошьёт, лапотки сплетёт да сказку скажет?

— Ой, родимой, помрёшь—все найдутся: и сказочники, и лапотники.

— Да ведь ты, дедушка, моего золотого смычка не слыхал, верно?
— Век живу — всё слыхал, и твой скрип запечный тоже.
— Э-э, нет, золотой смычок мне совсем недавно полевая мышь подарила, и звук его волшебный больных да опечаленных на ноги ставит.
— Смычок-то твой, небось, соломинка сухая с поля? — вздохнул дед.
— А ты не сомневайся во мне, а послушай.
— Ну, играй, Божья козявочка. Помирать, так с музыкой.

Сверчок-немолчок — прыг на шесток, золотой смычок поднял тонкой лапкой и заиграл. И слышится деду: то ли колосья золотые звенят от ветру, то ли лучи закатные в колокольчиках запутались и колышут их, то ль малиновка крылышками зарю расплескала — и растеклась алая заря дивной музыкой. И чует дедушка: музыка эта словно бы по жилам его потекла, наполнила их тёплой силой, обняла за плечи — и золотым светом избу озарила. Приподнялся дед.
— А и вправду музыка твоя — как вода живая, — согласился дед со Сверчком и поклонился малой козявочке.

А тот в усики улыбнулся и ответил:
— Да ведь смычок мой — соломинка полевая, ветер в ней звучит вольный, и колокольчики звончатые, и тихий сон зари отзывается.

Покачал дед кудлатой головой:
— Так, стало быть, поживём ещё! — и пошёл по воду.

Сказка третья

Танюшка на острове

Танюшка в речке с мостков бельишко полоскала, наклонилась низко и — кувырк! — в речку упала. А взрослых рядом не было, чтобы помочь.

Течение у речки скорое, подхватило Танюшку и понесло. А она не пужается, уцепилась за ветку плавучую, и поверху её несёт. Быстро несёт, к берегу не управить, надо на помощь звать.

Голосок у Танюшки слабенькой, далеко не слыхать. Отчаялась малая, не знает, как выбраться. И вынесло её к острову зелёному безлюдному. Уцепилась она за прибрежный тальник, подтянулась, пригребла к берегу. Выползла Танюшка мокрёшенька. Надо сушиться, костёр разводить.

Глядь — с камышей стрекозы большие, глазастые к ней летят:
— Горемычная, чем помочь?

Так и так, говорит.

Только ветерок подняли вихревой крыльицами — и исчезли, как не было.

Стала Танюшка сухие травинки, веточки собирать для костра, бересты с берёзок прибрежных сняла — а огня нет.

Вдруг — вихрем — туча стрекозья! И несут чего-то: малой горшочек с петелькой подцепили лапками — и несут. Тихонечко спустили его на землю — а в горшочке том уголёк алый с печки. Обрадовалась Танюшка, разожгла костёр и обсушилась.

Повеселела она, да вот как выбраться с острова и до дому добраться? Далеко унесло её течением.

Тут из-под корня камышового мышь вышмыгнула.
— А ты в ямку угольков из костерка положи да водицы туда плесни: такой дым большой кверху подымется — тебя по дыму враз найдут!

Видит девочка — мышь дело говорит. Всё так и сделала. Поднялся дым столбом к чистому небу, понесло дым в сторону родимого дома, увидел дымок дедушка Анисим — поехал ведь на телеге Танюшку искать-вызволять.

Видит: стоит, горемычная, на острове и веткой ивовой ему машет. Дед на что старой, а сметливой: подрубил берёзу длинную береговую да мостик к Танюшке и перекинул. Та по нём и перебралась к спасителю. Только стрекозы её и видели! Скоро уж дома была, простоквашу ела да родным о своём злоключении рассказывала.

А матушка-Печка всё слушала да вздыхала.

Сказка четвёртая

Как Танюшка и Сверчок-немолчок щи варили

Раным-ранёшенько вставала Танюшка, как родна матушка прежде учила. Пшеничны косички расплетёт, расчешет, опять в косу их, под платочек уберёт да мать вспомянет: «Моя ли ты родимая, свеча неугасимая: горела — да растаяла, любила — да оставила». С тем словом уже по избе и хлопочет — да так, словно руки матушкины тут, помогают ей. Обронит ли чашку (сон ведь ещё в одном глазу маячит, уходить не хочет), глядишь — чашка-то цела, словно кто её у полу рукою поймал. Споткнётся ли о веничек — а тут её кто-то под локоток мяконько так и удержит.

Нечего делать — пришлось Танюшке всему после успенья матушки у Печки учиться. Та, бела-добра, никогда не спит, дом бережёт, разве что глубокой ночью задремлет — а всё отдаёт тепло своё, даже если последний уголёк в ней погас.

Дед с бабкой за хворостом в недальний лесок ушли, а Танюшка уже своё проворит: капустки квашеной из подпола, из кадушки кленовой, достала, ключевой водой промыла, дабы лишнюю кислинку снять, и малость сахаром окропила — тоже чтоб скулу набок от кислоты не воротило.

Пост ведь — шти без убоины, значит, надо сыту набирать грибами сушёными да капустным уваром. Коренья с грибами отваривать, капустку с лучком упаривать. Танюшка косу луковую сняла

со стены в чулане, выбрала сухую золотую луковицу. Так-то.

Полезла малая в погреб за репой да за картошкой — а там из тьмы погребной кто-то неведомый горящими глазами глядит, не перемигнёт. Струхнула Танюшка — да вон наверх подалась. Отдышалась от страху, а что делать? Как овощи-коренья доставать? Дома никого, только Метла ворчливая да Умывальник бренчливый, а из тех, кто поживее, — Таракашечка малой да Сверчок-немолчок, золотой смычок.

— Сверчушка-братушка, ты тут?

Вылез Сверчок-немолчок из-за Печки, смычок оправил:

— Звала, Танюшка?

— Братушка Сверчок, там в подполе кто-то страшный сидит, глаза огнём горят.

— Испужалась, родимая? Не иначе Домовой-соседко даёт о себе знать, голоден, вот и зыркает. А так он ничего, смирнай.

— Чем же покормить его, чтобы он не таращил глазюки-то?

— Да вот щец-то сваришь — и поставь ему в плошке. Уж он в полное довольство придёт.

— А коли не угожу?

— Стараться будем.

Вот и стал Сверчок-немолчок помогать Танюшке: то золоты одёжи с лука снимает, а то сушёны грибы замачивает. Упарились оба: хлопотно дело. Однако ж и матушка-Печка пособляет: квашеную капустку порубленную с морковью и репой тушит-томит, коренья с грибами отваривает… Щаной дух-то по избе поплыл да густеть стал — хоть ложкой его ешь.

— Готово ли? — Сверчок спрашивает.

— Пущай ещё потомится, густей да наваристей станет…

Уже и бабка стара и дедушка Анисим вернулись, дровишек лесных да хворосту воз привезли, зашли в избу — не надивятся: какие щи духовитые удались! Однако тож не хотят Домового-соседку обидеть — ему первому плошку налили: угостись, чуда неведома! Плошечку в погреб спустили, поставили.

Наутро проверили — чиста плошка-то! Угодили-таки Домовому-соседушке! Больше он их понапрасну не тревожил: так только, погудит в трубе зимним временем, порой веничек уронит, мышей под полом всполошит…

А ежели опять глазья горящие в темноте покажет, так разуважат его как-нито — свой ведь.

Сказка пятая

Как Белый Лось всех от снежного плена спас

Танюшка-егоза на Маслену неделю так с гор укаталась, что к вечеру квёлая стала, сидит на лавке и в бабкин платок кутается.

Сверчок-немолчок тотчас из щели выглянул:

— Никак хворать вздумала, сердешная?

Бабка Анисья захлопотала, порушку собрала: сухой малины с липовым мёдом кипяточком залила, настояла и пить Танюшке дала. Потом малую на Печь отправила да строго наказала: пятки в шерстяных носках прижимать к горячим кирпичам, сколь терпенья будет. Тогда хворь как рукой сымет.

И слышит сквозь жаркую дрёму Танюшка: то ли котейко в подпечке мурлычет, то ли Печка-матушка новую сказку говорит…

…Проснулись мы как-то зимним временем, а во двор никак — двери открыть не можем, замело напрочь. Толкнули раз и другой — нет, никак не подаётся дверь, крепко, видать, снегом припёрло. День да ночь снежило, а потом вьюжило — света белого не видать! В полночь глухо ухнуло что-то, ровно тяжесть кака рухнула, — и утихло.

Дедко кумекать стал, как выбираться во двор. Поднялся в сенях по лесенке на чердак, к слуховому окну подобрался. Видит: ветром свалило берёзу старую у крыльца, она выход и перегородила. Да и снегу невпроворот. Поди ж ты, кака оказия!

Почесал дедко в затылке, ушанку покрепче нахлобучил, тулупчик плотнее подвязал… Да и ухнул сверху через слуховое окно — прямо в снежное море, в сугробища! Отчаянный, а ведь годов много.

Утонул дедко в снежном море, забарахтался. Хоть и по самые брови снегу — к крыльцу подобрался. Пробует берёзу тягать — та ни с места, здоровущая. Пилить надо и сучья рубить, тогда отодвинуть лесину можно. Отчаялся дед, присел на ствол поваленный передохнуть, глядь — через заборные колья, что едва из-под снега глядят, чуда белая перемахивает, тонкими ногами в снегу вязнет, а брюхом широким по сугробу скользит. Экое диво! Во всю жизнь дедко такова не видал: идёт на него Белый Лось огромадной величины, бородой сугроба касается. Слыхал он от деда своего, что водится чудной зверь в их лесу — снежно-белый Лось, да сам в такое не верил. А Лосина тем временем по снегу словно проплыл — прямиком к деду! — главу могучую в ствол упёр, толкнул — и отбросил ствол берёзовый сажени на три. Дедко старой и ахнуть не успел, как зверя и след простыл! Только позёмка снежная по сугробу закурилась.

Протёр дедко глаза, взял деревянный скребок и ну снег расчищать! Через малое время уже и двери в дом открыть получилось. Да только бабка деда просмеяла:

— Какой ещё такой Белый Лось? Совсем заврался, старой! Почудилось тебе!

А дед с тех самых пор в лесу кормушки для лосей поставил — в благодарность, значит.

Сказка шестая

Как Танюшка с бабкой Анисьей травы целебные собирали

— Бабаня, когда уже травы собирать пойдём?— Танюшка бабку за подол который день теребит.

— Вот погоди, дожжи пройдут, вёдро станет, созреют травушки, в самый сок войдут—тогда и пойдём. Ты ж моя помога главная! Годи ещё пару дней.

И правда—через пару деньков землю высушило, ночью вызвездило, так ясно и хорошо стало. Бабка Анисья две корзины из кладовой достала, малую Танюшке дала.

— Ручонки-то вымой, платок чистой надень и лапоточки покрепше—весь день ходить будем. Матушке-Печке поклонись перед тем, как порог переступить, она нас благословит, чтобы каждая собранная травка впрок пошла, целебную силу явила.

Танюшка всё как следует сделала.

Идут они лесной тропинкой, бабка на любимое место правится, там у неё в глубине леса деляна-поляна любимая, заветное место, где травы, значит, берёт.

Идут-приближаются, как вдруг Танюшка говорит:

— Чёй-то, бабань, гарью больно тянет. Как с горелого места.

Бабка разок-другой шагнула, густоту кустовую раскинула:

— Ахти, леший тя в бок куси! Палестинку-то мою травяную пожёг кто-то!

Вышли на полянку заветную, а она вся черным-чернёшенька, погорела вся. Посередь поляны остов обгорелый могучего древа.

— Бабань, то не люди, это в грозу дерево молоньей зажгло, вот вся полянка и погорела. На что кручинишься? Разве трав мало кругом? Ещё найдём-соберём.

Бабка головой качает, но соглашается. Вышли к речке. Вдоль по бережку иван-чай весёлыми всполохами играет. Собрали старая да малая листья и соцветия. Отдохнуть присели на поваленное дерево, глядь—душица там и сям сиреневыми цветочками блазнится.

Там донника пучок навязали, зверобой не забыли, пижму тож уважили и шишечек можжевельника собрали.

Полны корзинки домой приволокли. Печка-матушка довольна: теперь по избе такой травный дух пойдёт: какие травы на чердаке развесят, там сквозняку больше, какие-то плоды на поду, в малом жару сушить станут. По всей избе волны запахов поплывут.

Бабка вечером, когда Печь выдыхала натопленное тепло, под подмела-вычистила, решёта частые на под постелила и травы-ягоды туда ровным слоем рассыпала. Иные травки пучками на верёвке развесила близ Печи, а больший сбор—на чердак, там всегда сухо и сквозняк, самое то для сушки. Танюшка только глаза прикрыла—и чует, какой дивный дух—колыбельный, многотравный—полнит дом, голову дурманит: чабрец, и мята, и душица, и пижма медовая,—словно лес целебной силой дохнул в избу да и остался здесь.

А матушка-Печка, вдыхая лесные травы, новые сказки придумывала.

Сказка седьмая

Как дедко старóй за грибами ходил

Пошёл дед Анисим с утра по грибы—и пропал. Должон был к обеду явиться, а его и к вечеру нет. Уже и сумерки на кусты пали, и солнышко погасло за синей горой—нет деда.

Переполошились-спохватились, растревожились все домашние: Печка-матушка охает, бабка Анисья горючие проливает, Танюшка слёзки роняет… Не бывало такого, чтобы дед днями где-то пропадал, тем более грибы-то—вот они, полшага от порога: лисички хитрющие в траве перемигиваются, боровик гордо маячит, сыроежка весёлая в лукошко просится. И, словно как на ярмарке, мухоморы голоногие безбоязненно торчат скоморошьими шляпами—не берёт их никто, вот и развелось шутов гороховых!

Аукали-звали дедку до самой потеми, окрестный лес обошли, излазили—нету родимого. Уже и осенняя ночь кусты заволокла, и дождь-скороход по листам зашлёпал, непроглядь—где искать?

Старуха совсем пригорюнилась, платок слезьми измочила. А Танюшка около Печки-матушки совет собрала. Сверчок-немолчок из-за Печи вылез, Тараканишко усиками шевелит—соображает, Умывальник носиком брякнул:

— Ну, родимые, какие будут ваши соображения?

— Рассветёт—тогда и пойдём искать!—отозвалась Метла из своего угла.

— Ему ж тоже ночью и страшно, и холодно,— охнула Печка.

— Сверчушка-братушка, а нет ли у тебя в друзьях проводника какого—чтобы лес знал?

Сверчок-немолчок почистил смычок, так и сяк покумекал…

— Есть! Есть у меня народец такой, что хоть ночью сырой и в непогодь в лесу дорогу знают.

— Кто ж такие?

— Тётушка Сова, пёстра голова, да кумовья-светляки, расторопные смельчаки!

— Оно, конечно, добрая рать, но и мои угольки горящие с собой возьмите, фонарь керосиновый да пирогов подовых не забудьте: дедко-то голодный плутает,—прибавила Печка-матушка.

Тотчас снарядились на поиски: в мешок заплечный пирогов с капустой положили, и угольков из Печи не забыли—в малый горшочек прямо из Печи

накидали, и старый керосиновый фонарь тож взяли. Танюшка в тёплый бабкин платок закуталась.

Бабка на Печи от устали и печали уснула, её будить не стали, конечно, так оставили — дом беречь. Умывальник, понятно дело, тож дома остался, и Таракашечка малой — само собой, а вот Метла на какой-то грех увязалась. И пущай, не жалко!

Достал Сверчок-немолчок скрипочку, только заиграл — видит Танюшка: летит на них из темноты тётушка Сова, пёстра голова, глаза жёлтым огнём горят.

— Ну, чего стряслось, Сверчушка? Ах, дедку искать? И светлякову рать на дело берём? Ну, в путь!

Так и отправились: впереди Сова, пёстра голова, жёлтыми глазищами дозор ведёт, круги охватывает, вслед ей — светлякова неисчислимая рать по кустам вспыхивает. Да так светло сделалось, что грибы в траве видно. А деда пока не найдут.

Совушка обернулась, маячит: стойте, мол, чего скажу!

— Гляньте-ко на поляну! Никак ведьмины круги деда заблудили-запутали!

Смотрят Танюшка и Сверчок на полянку, светляками и луной освещённую: батюшки, и вправду диво дивное! На поляне широкими кругами бледные поганки стоят, да такие здоровенные, издаля на приличные грибы смахивают.

Совушка на коряжку присела, крыла сложила. Умные глаза уставила на Танюшку, остерегает:

— Как увидишь таки круги — ходи мимо! Закружат они тебе головушку, заплутают тебя, забудешь, куда шла да откуда родным дымом пахнет. Видно, дедко ваш в такую ловушку попал. Покличь-ка его ещё — может, рядом где.

Танюшка звонкоголосая стала дедку выкликать. Слушает Сова, Сверчок-немолчок навострил смычок; даже Метла, что весь путь ворчала: мол, насмерть устала, — примолкла. И как будто отозвалось что, да глухо так, ровно из-под земли. Или показалось?

И тут светляки враз замигали — знать, чего-то углядели. Собрались в один светящийся круг, словно место указывают. Сова то место облетела и видит: яма лесная — верно, давно уже охотники на крупного зверя вырыли да забыли. Поверху сеном-травой та яма прикрыта, тонкими берёзками палыми, враз и не разглядишь: ну, валежник всякий, хворост ещё на ней лежит. Закружили ведьмины круги дедку, вот он в ту яму и угодил!

Танюшка подобралась к краю, фонарь поставила, глядь — дедуля в яме кряхтит-охает, живёхонькой, только глаза от голоду и страху ввалились. Вот где Метла-ворчунья-то пригодилась: опустила Танюшка её в яму, ухватился дед за метлу — тут она характер и явила: только сор лесной столбом из-под прутьев! — вынесла деда наверх!

Так-то. Одна ведьмина сила деда с пути сбила, другая — вызволила!

Из угольков печных припасённых костёр развели, деда обогрели, пирогов поели, сил набрались, а тут уже и рассвело.

Добрались до дому — бабка только охнула от счастья, из Печки-матушки щец да каши достала — деда потчевать стала да выведывать: где грибы-то, старый?

Сказка восьмая

Лоскутное одеялко

Бывает, у нас уже в ноябре зима ляжет и такие морозяки завернут — хоть волком вой, носу не высунешь! Вот нынешней зимой такой оборот случился. Оно ведь как: дровишек берёзовых полну поленницу сложили, в подполе овощ на всяк вкус заготовлен, в сенях да в кладовой травки сухие семена роняют, муки вон здоров короб стоит — значит, зиму выдюжат!

— Больно рано нынче морозы-то нагрянули, — ворчала бабка Анисья, карабкаясь на Печь. — Старый, куды тулуп-то девал? Я им укрываться хочу.

Дедко туда-сюда ткнулся — нету тулупа с косматой овчиной. Почесал в затылке — вспомнил: ездил недавно по дрова, берёзу-сухостоину рубил, скинул тулуп, разгорячился, а потом чегой-то домой заторопился, думал, что кинул тулупчик в сани, ан вот забыл.

— Стара башка забывчива, а я по твоей милости зябнуть стану? — ворчит бабка.

Деду совестно: сунул бабке старое свалявшееся одеялко на Печь: укройся, мол, на худой конец хоть этим!

А Танюшка слушала да смекала: надо-ко бабке Анисье тёплое одеялко шить!

Пошла вечером бабка по хозяйству управляться, а Танюшка собрала свою дружную компанию: Тараканишко запечный да Сверчок-немолчок, Метла-зануда да бренчливый Умывальник, — все сообща озаботились: как бы бабке новое одеялко сообразить?

— Давайте-ка лоскутное одеялко для бабули соберём! — предложил Сверчок.

— Ин ладно, оно ж не накладно! — поддержала из угла старая Метла, что весь день мела-убирала, мало-мало устала.

— А на подстёжечку что возьмём? — брякнул Умывальник.

— А мы с барашка Яшки шерсти начешем! — нашлась Танюшка.

Начали мудровать, втихомолку от бабки одеялко собирать, чтобы ей приятну радость сделать. Танюшка раным-ранёшенько, пока дед с бабкой ещё свою молодость во сне видели, пробралась в хлев с гребнем да мешком холщовым и начесала с барашка Яшки много тёплой серой шерсти. Плотно мешок набила — довольнёшенька!

Пока дед да бабка управляться со скотиной ушли, Танюшка весь сундук перерыла, свои платьишки, из которых выросла, достала. Сверчок-немолчок платьишки ловко и бережно распорол (смычок-то у него проворный!), Танюшка лоскуты из них нарезала. Разноцветная гора лоскутков получилась. Чего ж ещё?

— Сверчушка, глянь, как будто мало лоскутков-то? — сомневается Танюшка.

— Маловато будет. Эх, тряхну стариной для души-то родной! У меня ж смычок не только музыкальный, а ещё и… вязальный!

Глядь, а он уж нитку кудельную с бабкиного клубка тянет да споро так вяжет — глазом не уследишь! Навязал ворох лоскутков — да только все серые они…

Как бы покрасить?

Стали кумекать — а Метла, что все углы мела, всё про всех знает, подсказывает:

— Как же, покрасить очень даже можно: полынь бери — будет тебе жёлтый цвет, ежевичку-ягоду коли взять — в синий покрасить можно, а ежели хочешь коричневый — ольховая кора для такого дела годится.

Так и сделали. Травок да кореньев было немало запасено на зиму. Танюшка шасть-верть — и покрасила лоскутки. Вечерком на Печи разложила, теплом Печки-матушки высушила и уж на другой день сшивать вместе стала. Работы — немеряно, как бы к лютым холодам управиться!

И тут на помощь добрая братия пришла: Сверчок-немолчок нитку в иглу вдевает, Таракашечка следит, чтобы не путалась нить, Метла старая подсказывает, чтобы цвет к цвету весело ложились, узорно…

Одеялко вышло — загляденье, всю радугу как есть показало! Тут тебе и речной покой, и небесное облачко, и поляна с ромашками, и луг зелёный! И тёплое оно вышло такое — от барашкиной-то шерсти!

Бабка Анисья ахнула да на лавку упала от такой-то лепоты! Любовалась, головой качала да трогала каждый вершок одеялка — сказка, да и только! А потом на Печку полезла. И то — вечер морозный, надо спробовать, каково под новым одеялком-то спится!

Сказка девятая

Как Танюшка страшного Росомаха встретила

В самую осеннюю стынь, когда последний лист летит охапками в окно, сухой и мёртвый, усаживалась Танюшка ближе к Печке — с вязаньем или ещё с каким рукоделием — и слушала. Порой Печка-матушка долго молчала, только сердито трещала горящей щепой да искры снопом пущала.

Тишь да покой в избе. Дед Анисим на лавке дремлет. Бабка тем временем неспешно по дому хлопочет, Метла-ворчунья ей помогает. Сверчок-немолчок, золотой смычок уснул за Печкой — до весны, Тараканишко в щель забился — неловко ему, вишь, перед всеми разгуливать. Его время — сумеречное.

В такую-то пору самое милое дело — сказки слушать! А Печка молчит. Никак обиделась? Или просто ей глухой осенью скучно стало? Танюшка засмурнела сначала, а потом сообразила:

— Матушка-Печка, а хочешь, я тебе сама сказку расскажу?

Замолчала Печка, даже ветер в трубе гудеть перестал.

— Ну, коли есть чего — сказывай, послушаю.

А Танюшка — петелька к петельке, словно вязанку выводила, — повела свой сказ…

…Иду я раз, Печушка, в чаще дремучей, нынче по осени было. Светляки со мной рядом летят — не страшно, а поверху матушка-Сова, пёстрая голова — следит, чтоб я не заплутала. А в чаще ёлки колючие да кедры могучие. Вот шишки кедровые в корзинку и собираю.

Вдруг Белочка по стволу — рыжая, вёрткая — и прямо ко мне! И так сердито мне цокает:

— Зачем шишку мою берёшь? Мне в зиму запасов не достанет! Зачем в чаще шумишь, зверьё будоражишь? Ты бы, малая, шла отсюда подобру-поздорову, а то злой Росомах рассердится, всем худо будет!

Какой такой Росомах? А сама отвечаю:

— Ладно, мне уже шишек довольно, до дому пойду. Пущай себе твой Росомах не тревожится!

И только сказала — потемнело в чаще, как ночью стало, кедры зашумели вершинами, лист сухой вихрем поднялся, ветер верховой взыграл, такое смятение сделалось! Сойки кричат, кедровки трещат, белки по веткам мечутся, светляки враз куда-то исчезли, а Совушка-Сова в ближнее дупло юркнула — схоронилась.

Что за притча? Испугалась я, на валежину присела одуматься. А Белка цокнула и на вершину кедра метнулась.

Ахти, ёлки-иголки! Сквозь сумятицу эту, как тать нощной, мягко лапами ступая, глазами горя́, Росомах крадётся, да такой громадный — в целую избу!

Как спасаться? Корзинка с шишками покатилась, глаза сами закрылись… А, будь что будет!

А всё ж таки любопытно! Приоткрыла я один глаз. И Росомах страшнючий на меня во все свои зелёные глазюки таращится! Шерсть бурая дыбом на загривке, и зубья жёлтые острые скалит… Нет, лучше не смотреть!

И вдруг словно легко дунуло — прямо около лба. Глаза открыла — а это Совушка-Сова из дупла — мах! — и шумными крыльями прямо на громадного Росомаха замахала. И грозно ка-а-ак ухнет

на весь лес! — аж шишки с кедра посыпались! Пуще, чем от ветра!

И от того маха Совиного Росомах чудом уменьшаться стал, словно таять на глазах, — и вот уже не больше собачки Катайки, той, что у порога у нас в избе лежит.

Тут я уже на него топнула:

— Ишь, михрютка зубастая, недотыкомка серая! Шороху тут навела! А ну!

Только лист сухой взметнулся — и след Росомахин простыл!

— Эгей, косматый! Люби меня — ходи мимо!

Поклонилась я Совушке-Сове, бесстрашной голове — спасла от дремучего чудища! А та и говорит:

— Это у страха глаза велики! А коли не испугаешься, эти злюки сразу меньше собачки становятся!

С тем словом и до дому проводила меня…

…А матушка-Печка всё вздыхала и слушала.

Сказка десятая

Как куриный бог от Кикиморы избавил

По утрам, когда бабка уходила во двор со скотиной управляться, а Танюшка уже уборкой и стряпнёй занималась, когда дед уходил рыбачить на ближнюю речку, а мелкие домочадцы, тараканишки да сверчки, ещё сказочные сны свои досматривали, в доме стояла благодатная тишина. Танюшка тесто обминает — за ночь подошло, Печь растапливает. Поленья крупные берёзовые в горнило укладывает домиком, меж ними кусочки бересты, и заслонки все открыла, чтоб скорей да живей разгорелось. Танюшка знает: когда совсем уж весело дрова затрещат, надо кочергой передвинуть очаг в глубь горнила и потом, когда прогорят поленья, яркие уголья равномерно по поду разложить, а заслонки все закрыть, чтобы жар в Печи накапливался. Матушка-Печка вздыхает широко, новую сказку готовится рассказать Танюшке.

— Ахти, окаянные, кыш, управы на вас нету!

— Чего это бабка с утра пораньше развоевалась так? Просто курам на смех! — засмеялась Танюшка.

А тут уже бабка Анисья в избу входит, руки все в курином пере, и полный подол свежих яиц.

— Танюшка, беда-то кака́! Кто ж то двух курей у нас ночью уволок?! Да столько пера натеребил с других — видно, не давались несушки-то! — а сама головой качает да яйца по штуке в плетёнку выкладывает. — Али вор какой, лиходей лесной повадился? Лиса, что ль?

Бабка Анисья не надивится: сроду лисы из ближнего леса курей у них не таскали!

Поворчала бабка да хлебы в Печь поставила. После и за прялку села: много шерсти с барашка Яшки нынче начесали — надо-ко уже и прясть. Да только что за беда? Путается пряжа, да и только! Чуть было распутает бабка Анисья нитку — опять запуталась! Да что ж за лихо такое?

И Танюшка озаботилась, совет свой малый созвала: Сверчок-немолчок из запечья выбрался, Таракашечка малой из щели выполз, даже ворчунья Метла и бренчливый Умывальник проснулись и свои охи да вздохи на совет принесли.

— Туточки что-нибудь неспроста, — Танюшка говорит. — Вы примечаете, что-то неладное в избе в последнее время творится?

— Верно, кто-то нам козни строит? — задумался Сверчок-немолчок.

— Домовой-соседка вроде давно не шалит, в погребе сидит, запасы наши сторожит, — подала голос Метла.

И вдруг печная вьюшка как загремит! Все аж вздрогнули: да кто ж то шалит неуёмно?

— Надо-к нам, братцы, наблюдать тихонько да словить шалуна-разбойника, — предложил старый Умывальник. — Вывести эту нечисть на чистую воду!

И стали прислушивать да примечать, что́ неладно в избе и во дворе. Днем вроде всё шло своим чередом, а вот к вечеру…

Дед Анисим с рыбалки вернулся не пустой: пару щук поймал! Бабка довольнёшенька, щучью уху готовит, наваристую, душистую. Вдруг кто-то её за юбку сзади — цап-царап! Обернулась — да нет никого! А Танюшка, что на лавке сидела с шитьём, востроглазая, приметила: словно что-то серое, вёрткое, как хорёк, метнулось у подола — и, как облачко зольное, растаяло! Ведь не мышь это, не кошка, не зверь лесной!

— Бабка, куда лапоть-то мой девался? — дед в сенях какой-то утварью шуршит. — Только тут был, а щас нету!

— Да сам, мож, под лавку закинул, а теперь нас баламутишь! — бабка с досадой рукой махнула. — А и Катайка могла затащить куда-нито. Ищи уж!

Собачка Катайка обиделась и клубочком у порога свернулась — сроду она не озорничала.

— А вон в запечье что валяется? — бабка вытащила дедов лапоток и ему бросила. — Совсем, старой, из ума выжил, не помнишь, куда закинул!

— А шапка-то где? — дед руками развёл: да что ж за напасть такая!

Глядит: а шапка на лежанке, на Печи лежит, а на ней, как на перинке, котейко греется. Хватанул шапку, пхнул котейку, тот мякнул с обиды и в подпечье схоронился.

Прямо лихо какое-то! Словно кто озорует! Оно вроде дело пустяшное, а и непонятное!

Дед со двора вернулся и к Танюшке:

— Я тебе тут приберёг штуковину, нашёл нонче, когда рыбалил. Не клевало — камушки перебирал береговые, вот какой диковинный нашёл.

Глядит Танюшка, а камешек-то непростой, в нём дырка сквозная посерёдке. Ишь ты, затейливо!

А матушка-Печка, что весь вечер молчала, тут голос подала:
— Да ведь это, Танюшка, и вправду непростой камешек — куриный бог называется. Силу этот камень имеет и всякому, кто им владеет, благо и добро сулит, а нежить да нечисть всякую — отгоняет.

Танюшка нитку крепкую сквозь дырку продела и на шею камешек тот повесила. Первым делом в курятник пошла. А уж из избы выходя, слышит: опять что-то неладное в курятнике творится! Орут куры, словно кто их ловит да хвосты вырывает! Ну, держись, разбойник!

Подкралась Танюшка и в щёлку глянула. И видит: несушки всполошились, кудахчут, перелетают с места на места, и посередь этой суматохи мечется что-то серое, юркое, да словно и на курицу похожее… Пригляделась Танюшка, и видится ей какая-то маленькая, чуть больше кошки, исхудалая женщина в лохмотьях серых, с куриной головой и ногами.

Ахти, да ведь то Кикимора! Вон оно, лихо-то мелкое, нежить серая!

Танюшка отважилась да дверцу в курятник распахнула:
— А ну, матушка-лиходейка, убирайся подобру-поздорову! — а сама камешек-то словно вперёд себя держит.

Как взвизгнула Кикимора, как вскинулась — только перья куриные вокруг вихрем взметнулись! И пропала, как не было.

И с тех пор более не показывалась, ни кур, ни людей не тревожила, не куражилась вечерним временем, из-за Печки не выглядывала.

Знать, куриный бог, камешек-то этот, тайную силу против всякой нечисти имеет!

Сказка одиннадцатая-двенадцатая, единая, двухчастная

О том, как к зиме готовились да за дровами ездили

К Покрову готовились загодя, оно ведь как: иной раз врасплох ранняя зима завертит, и Печь-матушка не спасёт, коли изба плохо утеплена.
— Печка-матушка, а отчего мороз и метель бывают? — допытывается Танюшка.
— Деды сказывали, что морозы, мол, приносят злые духи. Бегают они по садам да полям и утаптывают пятками снег.
— Оттого и трещит мороз? Им не холодно голыми пятками по снегу? — допытывается малая.
— То ведь бесы, злые духи, они сами сеют холод и тьму, им не холодно, а вот добрым людям… Когда же духи дуют в кулак, поднимается сильный ветер, начинается метель!
— Знаю-знаю, сугробища такие наметает — из избы не выберешься! — кивает Танюшка. — Дедунь, ты меня по дрова в лес возьмёшь? Когда уже соберёшься? Дров-то мало на зиму заготовили!
— Погоди, егоза, всему время. Сегодня избу утеплять будем! Зови свою рать на помогу!

Берись дружно — не будет грузно! Сверчок-немолчок отложил смычок, вместе с Тараканишкой пазы конопатят между брёвнами: весной птички на гнёзда повыдергали мох да паклю, так надо поправить дело. Дед сначала дверь в избу изнутри утеплил, войлоком обколотил, потом взялся завалинку к избе пристраивать. Бабка замазкой щели в оконных рамах замазывает да полосками льняными заклеивает, между рамами мох кладёт сухой, рассыпчатый, а на него то рябинку пристроит, то шишку кедровую — такое загляденье получается! А котейко Уголёк и собачка Катайка щели в полу варом заделывают.

К вечеру только управились — много работы! А Печка трещала, гудела да песню пела:
— Батюшка Покров, покрой нашу избу теплом, а хозяина добром.

Да вот только на Покров снежка не было. Не всякий год случается такое. Легонько дождичек с утра пробрызнул, а весь день тихий да тёплый простоял. Дед подивился и в одной рубахе пошёл во двор лучину щипать.
— Погодим, Танюшка, за дровами теперь по зимнику поедем!

Тёплая выдалась осень, долгая. Однако ж на Фёдора Студита, как полагается, суровые ветры взыграли. Но не страшны ветры люты, что волками голодными воют, коли в избе все щёлочки-углы утеплены.

Бабка обминает тесто да приговаривает:
— Со дня Фёдора Студита станет холодно-сердито!

А Танюшка вязанье отложила, к ветру прислушалась: носится ветер вкруг избы, воет в печной трубе, бьётся в бессилии о закрытую вьюшку.

Через пару дней густой снег пошёл, всю землю укрыл. Морозка окна ожёг, густым кружавчатым инеем наличники изукрасил. Скрепчал снежок, подмёрзла дорога. Дед Танюшке говорит:
— Вот теперь можно и за дровами! Завтра, как развидняет, Карьку запрягу, да поедем.
— Пошто дитя морозить хочешь? — бабка ворчит, чугун в Печь ставит.
— Бабань, так вдвоём же веселей, сподручнее! Мы тебе знаешь каких дров привезём — жарких да звонких! — Танюшка коли чего задумала — не отстанет.

Запряг дед старого Карьку-конягу, Танюшку в дровни усадил, овечью доху в сани кинул, тулуп покрепче подпоясал да по снежку, по лёгку морозцу в лес отправился.
— Дедко, а нам каких дров надо? Всяко дерево сгодится? — Танюшка допытывается.

— Не всяко. Осину брать не будем, недружно горит, больно много золы даёт. Вон, видишь, берёзовый лесок? Туда сперва правим.

— Как же ты, дедуль, берёзу большую рубить станешь? Силы-то хватит? И не жаль тебе—берёзу-то?—Танюшка деда вопросами засыпает.

Уже не рад старой, что егозу с собой взял.

— А ты глянь-ко, в стороне от леска, где ёлка кривая, сухостоина торчит берёзовая. Она уже неживая и высохла хорошо. Лёгкая-звонкая в Печи будет!

И правда, сухая берёза словно сама пала, когда дед подрубать её стал. Сначала сучки обрубил, сделал вязанку—Танюшка помогала вязанку держать, потом ствол на чурочки порубил, в дровни сложил.

— Руби шибчей, в Печке будет горячéй!—дедко рубит, а сам прибаутками сыплет:

— Ой, стужа да мороз, на Печи мужик замёрз!—а Танюшка-то заливается, хохочет!—и не холодно им, разгорячились от работы.

— Дед, а ёлку рубить будем? Смотри, какая разлапистая!

— Что ты! Горит-то она отчаянно, пых—и нету! Да только больше треска да искр с неё, чем тепла. А вон, гляди, лиственницу бурей свалило! С корнем выворотило! Как бы нам с неё немножко веток отрубить?

Изловчился дед—старый уже, а сноровистый,—отрубил с коряжины несколько витых смолистых закорюк.

— Дед, а чего это так рано темнеть стало? Мы ж с тобой сразу по раннему солнышку в лес отправились!

— Ахти, ёлки-иголки! Поспешать надо! Вон кака туча снеговая идёт, не попасть бы в метель-непогоду!—спохватился дед.

В дровни побросали добришко и дровишки—и ну погонять Карьку старого! Да куда там! Туча снеговая враз небо облегла, и словно пуховую перину сверху распороли—повалил снег такими хлопьями здоровущими, что ни неба, ни дороги—рукавицы своей не видать!

— Дедко, скорей погоняй! Пропадём!—кричит Танюшка, а снег ей глаза залепляет да набивается в рот.

Шаленка с головы сбилась, волосёнки растрепались, вцепилась в дедов тулуп, а тот знай Карьку нахлёстыват. Успеть бы!

— Дохой укройся!—дед кричит.—В сани ложись да крепче держись!

И только крикнул—как вдруг ухнуло всё куда вниз, в снежные тартарары, вместе с дедом, Карькой, дохой и дровами! Услыхала Танюшка только, как жалобно заржал старый конёк—а потом проглотила всё снежная тьма.

Пришла Танюшка в себя—что за оказия?! Глухо, тихо, снежно, дедов тулуп рядом, и сам дед не тужит—смеётся.

— Мы это где, деда? А сани и Карька где?

Дед треух поправил:

— Я так смекаю: вывалились мы с тобой на полном ходу из саней да прямиком в овражный сугроб! Хорошо, снег пуховой да овраг неглубокой. Живые да невредимые! Ишь ты, в доху вцепилась как, за собой её утянула,—смеётся дед.—Утихнет метель, выбираться станем.

— Не замёрзнем, деда?

— Не дадимся! Дрова-то нам на что?

Огляделась Танюшка: метель поверху идёт, в овраг не задувает; с одной стороны сугробно, и словно бы снежный козырёк свисает—укромно, как в снежном шалаше. Из-под снега ветки и травки сухие торчат, коряжка какая-то…

— А Карька-то как? Пропадёт теперь?

— Не должон пропасть. Шерсть у него тёплая, мохнатая…а дом кони за версту чуют и приходят, не плутают. Только бы волки не погрызли нашего конька!—а сам уже трубочку берестяную из-за пазухи достаёт, лишайник на коряжинке собирает.

Расчистил место вокруг коряжки-листвяжки, а из холщового малого мешочка, что на поясе носил, добыл кресало и кремень.

Танюшка и глаза вытаращила! Ну дед-чудодей!

А дед давай огонь высекать так, как пращуры его делали. Искры так и полетели на сухой мох и бересту! И вот уже малый огонёк занялся, трут берестяной запалил, дед поверх бересты хворосту подкинул и под кряжик пристроил. Сперва полой тулупа прикрывал да раздувал. А потом огонь уцепился за коряжинку смолистую, окреп, заиграл. И что им непогода с таким-то костерком?! И метель вроде утихать стала…

Танюшка дохой укрылась, шаленкой замоталась, тулупчик свой покрепче подпоясала, из валенок снег вытрясла и поближе к костру подобралась. Не успел огонь разгореться, как слышит Танюшка сквозь метель, словно идёт кто-то, прямо к ним в овраг спускается—белый, громадный. Медведь? Росомах лесной? Или уж сам дед Буран пожаловал?

Дедко присмотрелся к белой глыбище: ахти Господи, да то ж старый знакомец его—Белый Лось! Здоровенный, снежной бородой трясёт, на гривке комья снега намёрзли.

— Милости прошу к нашему шалашу!—только дедко и вымолвил.

А чудо лесное подходит, не боится, колени преклоняет могучие, словно приглашает дедку и Танюшку к нему на горбушку вскарабкаться. Взгромоздились кое-как, в гривку вцепились, страшатся! Дивно им на хребтине дикого зверя сидеть. А он идёт сквозь метель, не колышется, мощно и ровно плывёт. Костерок-то он погасил—только копытцем лягнул!

И до дому доставил деда с Танюшкой живёхоньких! Там уже их и Карька косматый дожидал, сам добрёл к избе сквозь метель.

Бабка, что все слёзы пролила, какие полжизни копила, обомлела при такой дивной картине! А Лосина Белый тихохонько на колени опустился, чтобы горе-дроворубы спустились с могучей спины. И ушёл в белую мглу, даже гостинца не взял. Во как! Это что! Ещё и не такие чудеса в наших Печкиных сказках случаются!

Сказка тринадцатая

Мышь-подпечница

Рано нынче первый снежок упал — только-только ноябрь-студень засвистел ветрами, загудел в печной трубе сердито-порывисто, заставил окна законопатить, укутаться потеплее да к Печке-матушке теплее прикорнуть.

С утра в избе сумеречь, поздно солнышко просыпается, да и не всякий день улыбается. То хмарь, то морось, то мухи белые — не поймёшь, день ли, вечер. А тут вдруг засветлело в избе.

— Не пора ль тебе, дед, валенки доставать? — озаботилась бабка Анисья.

— Рано, старая, погодь. Первый снежок — не лежок, — дед с тёплой лежанки слез, зевнул да на лавку сел.

А Танюшка головёнку конопатую с Печи свесила, уж очень хочется ей по первому снежку порезвиться.

— Дедуль, а мои катанки где схоронились? — спрашивает.

— Поди-ка в сенях, я их полотном обернула, чтоб моль не ела, — бабка Анисья про всё в избе ведает, ну почти как Печка.

Танюшка с Печи кубарем — да в сени! А и правда, вот они, валеночки прошлозимние. Ловкие, удалые да тёплые! Не малы ли стали? Прямо голую ножонку в один валенок и сунула. Да как взвизгнет! Да как подпрыгнет!

— Ой! Там сидит кто-то! За ногу меня цапнул!

Наклонила валеночек, а оттуда Мышь шасть — и в подпечек!

Дед Анисим смеётся:

— Хорошее себе гнёздышко шустрая свила! Только что мышат не вывела!

Осерчала Танюшка на Мышь, вертит валенок: там и сям подпорчен он Мышьим зубом, не годится в носку. Да и выросла у неё ножонка, новые надо.

— Ну так мои, что ль, надевай! — бабка ещё с осени в катанках по избе переваливается, болят у старой ноги-то.

Танюшка скорей в бабкины нагретые валенки впрыгнула да на улицу выскочила. А там приволье, первоснежное раздолье!

А Мышь тем временем в подпечье притаилась и не тужит. Вот ночью Печь после топки остывать стала, а серая подпечница — шур-шур-шур — выбралась из убежища да между заслонкой и кирпичом с шестка на под юркнула. Хозяева спят, а ей-то раздолье! Пока пшённу кашу с тыквой варили, иные крупинки да кусочки из чугуна выпали — а ей угощеньице; а вот и хлебная корочка малая — от вчерашнего каравая отвалилась; а тут вот подсохший кусочек картошки — цельно пированье, да и только!

Тепло старику в ночи на доброй-то Печи — не слышит Мыши. Бабка на лежанке от тепла разомлела, до утра захрапела. А у Танюшки-вострушки сон чуткий, лёгкий. Вот слышит она: шуршит кто-то. Головёнку приподняла, прислушалась: верно, шуршит. Да прям в Печке! Ой, опять Кикимору, что ль, принесло? Или Домовой-соседко по горшкам-чугунам шарит?

Боится Танюшка, а всё ж тихонько спустилась с Печки. А ночь луной богатая, снегом в окно светит, каждую половицу видно. Танюшка заслонку тяжёлую чуть в сторону сдвинула, глядит в щёлку — ах ты, проказница мышатая! Мышь смекнула — и не успела сморгнуть Танюшка, а подпечницы как и не было!..

Танюшка поутру рассказала, чего ночью видела. Посмеялись все, и только: пущай Мыша живёт, для неё в печном теремке завсегда крошка найдётся!

И только серый котейко не шутя осерчал: чего это Мышь по избе шуршит, кусочки подбирает? Глядишь, потомство народит, так все запасы на зиму потравят зубастые-мышастые!

— Чегой-то наш Уголёк смурной такой? Нахохлился, нахмурился — никак к непогоде? — бабка говорит.

А Уголёк хитро не думал: к ночи, когда все уснули, и Сверчок за Печкой умолк, и Печь остывать стала, — прыгнул на шесток, забрался в пустой чугунок, схоронился и глаза погасил — караулит Мышь.

А подпечница к тому времени проголодалась и выбралась из своего укромного местечка. Усиками повела — как будто тихо. А запах какой из устья печного! Бабка на ночь на под остывающий сушить всяку вкусноту насыпала: яблочек резаных, моркови и репы. Вялятся кусочки в печном тепле, ещё слаще становятся. Сытно, вольготно да благодатно, и можно в логово подпечное запасы натаскать, — смекает Мышь.

А Уголёк не дремлет, слышит: разбойница в Печи, что в своём амбаре, разгуливает. Ждёт он: вот наестся Мышь до отвала, натаскает в логово запасов, совсем страх забудет, а он ка-а-ак выскочит!

Совсем измаялся котейко, ожидаючи нужной поры. Слышит, заслонка глухо звякнула: юркнула, негодница, из устья печного вдвое толще прежнего. Попалась!

Напружинился котейка да ка-а-ак выпрыгнет из чугунка! Ахти, страсти! А чугун-то тяжёлый от прыжка котейкина да и грохнулся с шестка, по полу

покатился. А Мышь-пролаза — юрк! — и даже хвостика Угольку не оставила! Улизнула, окаянная!

А всю избу побудил чугунок-то котейкин! Повскакали как встрёпаны.

— А? Чегой-то? Кто грохоту наделал? — дед с досады шапкой в котейку кинул.

Приуныл котейко, сидит у подпечья, где Мышь спряталась, и хмурую думу думает.

Танюшка его оглаживает, успокаивает:

— Не тужи, Уголёк, я тебе сметанки из погреба достану! А Мышь-подпечница пущай себе живёт-шуршит, нам добра на всех хватит!

Сказка четырнадцатая

Далеко ль до весны?

Тянется зимованье — конца-края ему не видать. Словно в одно долгое полотно дни сшиты: то люто вихрит-завывает за окошком, так что кажется — Домовой-соседко в трубе рулады выводит; то морозка все стёкла ожжёт своим студёным жаром — ни света Божьего не видать, ни прохожего-проезжего на дороге, только синее узорочье густо вьётся — всё леса неведомые, всё цветы диковинные, а в них по временам вспыхивает золотым огнём редкое солнце. Смотрит Танюшка на узоры дивные как заворожённая, в бабкину шаль кутается. Продышит малую полынью в серебряном плотном покрове, глазком зыркнет, как синица вострая, в голубую стынь — глядь, а уж затянулось тёплое озерко новым узором, и опять ничего не видно.

Печка-матушка всю зиму спасала, вкруг неё вся жизнь и вилась: с утра затапливать, да хлебы в Печь ставить, да пироги стряпать, когда и кашу пышную пшённую на поду томить. Трещит Печка-матушка в самый мороз ещё веселей, под вечер словно мурлычет, чего — не разобрать. Дедко на Печи сидит, снасти рыболовные чинит, бабка Анисья по избе шуршит, на Катайку, стару собачку, да на Уголька, котейку рыжего, ворчит — всё они к ней под ноги попадаются, полы мести мешают.

— Баба, когда весны ждать? Зима уже надоела — весь хлеб поела!

— Это ты, родимая, у Печки-матушки спрашивай, ей все приметы ведомы.

— Матушка-Печка, молви словечко! — привалилась Танюшка к тёплому печному боку да слушает.

— Танюшка, ты терпения наберись, да присматривай, да примечай. Вот завтра какой день — знаешь? — спросила Печка.

Малая только плечиками пожала: сроду в их избёнке календаря не водилось!

— Э! Аксинья-полузимница завтра. По ней о весне говорят: коли будет завтра тихо да солнечно — значит, и весна будет тёплая да дружная; а коли ветер или сильный мороз — ждать нам поздней весны.

Назавтра Танюшка раньше всех, ещё потемну, встала, умылась, косички заплела и давай в замороженно окно глаза таращить. Вскоре бабка поднялась — с вечера тесто на пирок-сборок ставила.

— Ты чего так рано-то?

— Надо мне, бабаня, сегодня за солнцем примечать, оно весну покажет!

— Чудна головушка, да ведь до весны далёконько! Ещё сретенские морозы ударят через неделю, да марток — наденешь трое порток!

— Не хочу трое порток! — Танюшка насупилась. — Зачем весны долго ждать?

Бабка только головой покачала:

— Ты давай-ка лучше мне сборок помоги стряпать!

Тут Танюшка завсегда помога: хоть крошево сделать, хоть тесто раскатать — всё умеет. И почему такое смешное название у пирога — сборок — тоже знает. Когда к концу зимы запасы всякой снеди истощаются, приходится начинку сборную делать: того чуток, этого кусочек — вот и сборок! До чего вкусный получается! В нём и лучок, и морковка, и репка, и всё что хошь!

Стряпает, косички все в муке, а всё рта не закроет:

— Бабань, пошто Сверчка давно не слышно?

— Не пора ему, значит, песни заводить, спит твой Сверчок до самого тепла.

— И Таракашечка малой?

— Он, небось, тоже в каку-нито тёплу щёлку за Печкой забился и там зимует.

А тут вдруг солнечный зайчик на стене заиграл — и другой вслед за ним! И пошли гоняться друг за дружкой!

Танюшка аж подскочила!

— Ага! Печка-матушка, весна скоро! Пеки скорей пирог-сборок, я с ним весну встречать пойду!

Испекла Печка-матушка такой душистый и румянощёкий пирог, такой сочный да крутобокий, словно само солнце вкатилось в избу! От вкуснющего-то духа даже Сверок-немолчок проснулся за Печью, вылез, приосанился и весеннюю песенку заиграл:

> Ещё чуток — Сверчок на пирог,
> марток на порог —
> и весну встречать,
> добро привечать!

Сказка пятнадцатая

Марток на порог. Кто кому помог?

Казалось, зимней тяготы не переждать: тянется одна вековечная зима, поёт под свои серебряны гусли. Поленница вдвое уже убавилась, вон сколько полешек в тепло ушло — не сосчитать!

А всё ж весна-молодица в двери стучится! Протальник-марток растопил на окне ледок! Уголёк проснулся, шубу свою рыжую распушил, спину выгнул, потянулся и зевнул во всю котейкину пасть! Зажмурился сладко от вешних лучей, заурчал.

— Вот ведь животинка Божия — тоже тепло зачуяла, — бабка Анисья говорит. — Капельник-март чистую радость дарит, песни звончатые заводит!
— Это как, баба? — Танюшка от солнца сощурилась не хуже Уголька.
— А не слышишь разве, как стучит? Ровно гость дорогой, что гостинцы привёз!

И такой начался под окном весёлый перебой капель, так воробьишки растрещались радостно, что даже дед старой отряхнул треух свой да в чулан забросил!
— Ну всё, старая, перезимовали — и тулуп с плеч, и шапку побоку!
— Глянь-ко, лихой какой! То ж марток — наденешь трое порток! Ты на ярмонку-то поедешь, пока дорога крепка ещё, не развезло?
— А вот завтра и соберусь! — храбрится дед. — Ещё таких гостинцев вам привезу!
— Дедунь, меня с собой возьми! — Танюшка канючит.
— Э-э, нет, ты мне туточки нужнее, — бабка не отпускает, — и со скотиной управить, и по дому прибрать, и в стряпне помочь.

Не пустила бабка Танюшку, уехал наутро старый один.
— Свистулек мне привези! — Танюшка кричит, вслед машет.

Не слышит дед, знай Карьку мохноногого погоняет.
— У нас с тобой, Танюшка, забот невпроворот! Весна молодится, а нам трудиться! Огляни-ка двор, избу да огород.

Оглянула Танюшка скромное их царство-государство — руками всплеснула! За всё браться надо: сугробы подтаивают во дворе — убирать, а то грязища будет непролазна; в курятнике, да в коровнике, да в хлеву чистить надобно, на огород навоз таскать, он сгодится землицу удобрить; много свету в избу вошло, углядела, что и Печь белить пора, и занавеси-скатерти стирать…
— Бабань, да тут в один день не справимся! А ну, где мои други-помощники? — и с норовом как топнет! В ладоши ка-а-ак хлопнет!

Топнула-хлопнула — ан не бежит никто! Не торопится пособить.

Растерялась Танюшка. А все при делах. Катайка косточку грызёт в конурке, поварчивает. Котейко на подоконнике зайцев солнечных ловит. Мышь-подпечница гнездо из войлочных клочков и сухих травинок свивает, скоро у неё потомство появится пискливое, прожорливое. А Сверчок-немолчок с Таракашечкой усы из-за Печки высунули — да спрятались опять! Рано, мол, проснулись.
— Да ты не бойсь, — бабка говорит. — И на друзей своих не серчай. Они не только в твоей сказке живут, но и в своих заботах-хлопотах. Ты у Печки-матушки спроси, как теперь быть.
— Матушка-Печка, молви словечко!
— Ох, родимая, трудно мне и слово молвить, и дышать не в силах: видно, с трубой неладно.

Делать нечего: стала карабкаться Танюшка на крышу. Взобралась на самую кровлю — ух, страшно! Бабка снизу глядит, охает, головой качает.

Заглянула малая в печную трубу: и правда, сажей зарос дымоход.
— Слезай, бедовая, какой с тебя трубочист?! — бабка снизу кричит. — Уж как трубу прочистить — и сами справимся! Поди-ка вчерашни очистки картофельны принеси — ведро, не меньше.

Засыпала бабка ведро подсохшей картофельной кожуры в самое горнило — дивится Танюшка!
— Ещё соли давай! Деду я заказала, привезёт. Туес соли тащи!
— Бабань, да ты никак соль с кожурой печь будешь? — выпучила глаза Танюшка, а сама думает: не спятила ли старая?
— Так ещё моя бабка делала. Начнут гореть очистки и соль — особые в них силы есть: тотчас сгорает вся сажа в дымоходе! Труба и прочистится.

Не прошло и часа — вылечили Печку-матушку, вздохнула она свободно:
— Ох, родные, кабы могла — поклонилась! О чём ты, Танюшка, крушилась? О чём печалилась?
— Да ведь моя братия на помогу не идёт!
— А может, им твоя забота тоже нужна? Ты смекай: ищешь помощи — сама помогай! А они тебе друзья верные!

Добрый Печкин совет Танюшка не дослушала, во двор выскочила, соломы из сараюшки принесла да Катайке в конуру постелила. Котейке рыжему частым гребнем шерсть расчесала, молочка налила, а Мышке-хлопотунье горсть зерна бросила. Хотела придумать, как Таракашечку со Сверчком удовольствовать, а те уже выбрались из-за Печки и усы растопорщили: мол, готовы пособить в любом возможном деле!

Ух и закипела работа — аж пыль столбом, а дым коромыслом! Печка хлеб душистый печёт, Танюшка с Катайкой снег во дворе сгребают да в бочку огроменну кидают: стает — будет водица, всем пригодится. Метла-ворчунья все углы вымела, паутину с углов убрала. Уголёк самовар начистил, глядится в него, собой любуется!

К вечеру и дед с ярмонки вернулся — полны сани гостинцев: и свистули глиняны, и кони пряничны, и платок бабке посадский, а Танюшке сарафан, весенними цветами изукрашенный! Всем угодил, да и сам подивился: каково в избе стало чисто, тепло и душевно!

Сказка шестнадцатая

Чудесная свистуля

Дедовы подарки словно красок весне добавили! Заиграла жизнь в избе пуще прежнего! Бабка Анисья платок узорный посадский раскидывает —

не налюбуется! Розовы цветы по красному полю, и завитушки, и листья зелёные — ай, глаз радуется! Потом, правда, в сундук убирает да приговаривает:
— Пущай полежит хоть до Маслёны, ужо надену, покрасуюсь!

Танюшка дарёный сарафан примерит, по избе в лапоточках выписывает, так и сяк повернётся: хороша ли, пригожа ль она в обновке? Дед с бабкой на неё не нахвалятся: и сидит сарафанчик ладно, и цветом баской, весёлый.

Вздохнёт Танюшка, уложит сарафан рядом с бабкиным платком в сундук да скажет:
— А вот, деда, возьмёшь меня на ярмонку — надену!

Печку-матушку побелили, обиходили: стала она дышать горячо и полно! Звонко-весело трещат берёзовы полешки в горниле, томятся в Печи щи капустные наваристые да каша пшённая, а по вечерам, когда последние угольки кочергой расшурует бабка да по поду разровняет, Печка словно теплом всех обнимет и новые сказки сказывает.

Из всех подарков, дедом привезённых, очень уж приглянулись Танюшке три свистули глиняны: расписные, забавные, в виде птичек. Заберётся Танюшка по вечеру на Печь, свистули достанет и пробует, как звучат. До того звонкие — словно птичьи трели в избе раздаются!

Только бабка Анисья ворчит:
— Поди, Танюшка, во дворе свисти, а то в избе уж сильно пронзительно! Только задремлю, а тут ты со своими свистулями!

Особо пришлась по душе Танюшке одна красная свистулька-птичка.

Вот вышла Танюшка на крылечко:
— Куда это Катайка запропала? Не видать нигде. А ну-ка, свистуля, зови Катайку!

Танюшка и дунула в свистулю разок-другой. Такая заливистая трель вышла!

Глядь: Катайка откуда ни возьмись на крыльцо прибежала, заливается, лает радостно и прискакивает!

«Ишь ты! Никак это свистуля мне помогла?»
— Попробую ещё раз! Пущай бабаня кулебяку рыбную испечёт! — и опять в свистулю дунула.
— Танюшка, ты где там? — бабка из избы зовёт. — Я твою любимую кулебяку с белорыбицей в Печь поставила, скоро поспеет!

Танюшка аж подпрыгнула! А ведь свистуля-то непростая! Надо-ко ещё проверить!
— Пущай дедко меня на ярмонку возьмёт на Маслену неделю! — дунула в свистулю, а сама в избёнку: надо ж бабке помочь стол накрыть, а то вечерять пора. И кулябякой как пахнет!
— А ведь и правда: чего малой в глуши-то куковать? — дед Анисим говорит, румяную корку от кулебяки отламывает. — Вот ужо свезу тебя, Танюшка, на Маслену неделю на ярмонку — поглядишь веселье удалое да покрасуешься!

Ахнула Танюшка, свистулю в ручонке зажала — волшебная!

С нею и спать на Печь залезла, спрятала под подушку, не спит, ворочается: что бы ещё такое загадать, чтобы свистуля исполнила?

Поутру бабка Танюшку отправила в курятнике чистить да коровёнку доить. А у малой всё свистуля из головы нейдёт. Что бы эдакое чудесное загадать?
— Стой, Беляна, не балуй, — Танюшка корову оглаживает.

Лушка-телушка в запуске, стоит, рыжи бока раздуты, а Беляна даёт зимой молочка мало, вот Танюшку и посылают к ней: уговаривать да обихаживать.

Подоила Танюшка Беляну, сенца сладкого коровёнкам подкинула да вернулась в избу.
— Бабуль, ты куда подушку с Печи девала? Где свистуля моя? — всполошилась Танюшка.
— Да я ведь подушки все хлопать взялась и постель выбивать-трясти. Тут, по избе, ищи, мож, где выпала твоя свистуля.

Ищет малая свою чудесную свистулю — нету!

Уже и Уголёк ей помогает, и Мышь-подпечница по углам шмыгает: не могут найти! Как есть пропала! Танюшка в слёзы: где моя свистуля?

А Таракашечка малой из щели вылез и говорит:
— Я в избе все щёлки-уголки знаю! Сейчас посмотрю! — и давай по полу рыскать.

Ахти, ёлки-иголки! Стащила бабка подушку с Печи да, верно, стряхнула заодно и свистулю на пол. В уголку за кочергой Таракашечка малой таку большу щель нашёл, что тотчас догадался: в неё-то свистуля и угодила! В подпол попала! Вот где искать надобно!
— Ты чего в подпол полезла? — бабка спрашивает. — Я деда просить хотела, а ты угадала: репы надо достать да моркови. Да смотри тихонько там: ещё чего Домового разбудишь!

Темно в погребе, сыро, зябко. Репа да морковка скоро нашлись, вот они, в ларе, песком пересыпаны. А свистуля-то где? Шарила-шарила Танюшка — нету! Так ни с чем и вылезла из подпола.

Пригорюнилась, на лавку присела, вдруг слышит трель знакомую — да глухо так, как из-под полу! Да кто ж то? Неуж Домовой-соседко в чудесну свистулю дует? А ну как загадает чего?
— Печка-матушка, что делать-то? Эдак начнёт чудить Домовой-соседко — переполоху будет! Мало ли что ему в голову придёт?
— А ты, Танюшка, ему кашки вчерашней в плошке поставь, он и притихнет.

Танюшка так и сделала. Поставила в подполе рядом с огуречной кадушкой плошечку с пшённой кашей. Замолчал Домовой-соседко, не свистит в чудесную свистулю ни днём, ни ночью. И хорошо.

И сколь ни лазила Танюшка в погреб — так свистулю и не нашла. Видно, сильно она Домовому-соседке приглянулась.

А у Танюшки две другие свистули остались! Для забавы да для веселия!

Сказка семнадцатая

Широкая Масленица, мы тобою хвалимся!

Дни весенние весело бегут, резво — подоспела и Маслена неделя. Сугробы осели, овсянки запели, а телушка Лушка бычка принесла! Прибавленье в хозяйстве, и хлопот тож прибавилось.

Танюшка Масленицу пуще всех ждала — дедко обещал её на ярмонку свезти в большое село.

— Деда, а чего на ярмонку повезём? Не пустыми же явимся!

— Ты ж моя перепёлочка! Есть у нас красный товар: гляди-ко, в чулане на полке десяток горшков новых — зимой-то мы с тобой в Печи обжигали, забыла? Ещё посудины всякой наладил из осины, из липы, глянь-ко — и ковшички, и плошечки! А из бересты, помнишь, туеса плели? А лапоточки липовы? Товару столько — кабы в сани вошло!

Уложили всё, что зимой сотворили, в короба большие берестяные, горшочки сеном обложили, дабы не поколотить их дорогою, пирогов бабка в дорогу напекла подовых со всякими начинками — путь неблизкий, десяток вёрст будет. Запряг дед Карьку мохноногого — и двинулись.

Бабка крестит их в дорогу да слезу смахивает. Катайка вослед было побежала, да бабка отозвала:

— Оставайся, Катайка, кто ж без тебя избу сторожить будет?

Полозья по снегу поют-поскрипывают, Карька бежит бодро, по-молодецки, а Танюшка, как синица любопытная, головёнкой в тёплом платке вертит: всё ей любопытно, всё радует! Ёлки мохнаты по краям дороги машут зелёными лапами, заяц на пне сидит, уши насторожил и глазами-угольками прямо на Танюшку смотрит! Потом как скакнёт в сторону да как помчится!

— Прощевай, косой, не ходи босой! — Танюшка вслед кричит. — Деда, а почему так зовётся — Масленица?

— А я так думаю: надо зиму прогнать, весну умаслить! Опять же, неделя сырной называется. Как сыр в масле катаемся, блинами маслеными объедаемся! Эгей, Карюшка, беги шибчей, сердцу будет горячéй!

— Дедунь, мы же не всю неделю там будем? Бабка-то как же дома одна? Не управится! — Танюшка беспокоится.

— Пару дней будем! Товар у нас ходовой — зараз продадим! Да и по ярмонке походим-похороводим!

— А ночевать где же? В санях?

— Да на что ж в санях? Кумовья у нас там, твои крёстные, значит. Ну, вот у них и заночуем! Ой, кума у тебя бойкая! Певунья да плясунья! Шалишь, кума, не с той ноги плясать пошла!

Так, с прибаутками, по мартовскому гладкому снежку да по ясну дню и домчали в большое село на ярмонку!

Весь день, почитай, добирались, только к вечеру к кумовьям подъехали.

Кума Аксинья прямо на крыльце гостей встретила-приветила:

— А вот и гостьюшки дорогие! Милости просим к нам об Масленице со своим добром, с честным животом!

Что и говорить, душевно приняли Танюшку с дедом: Карьку обиходили, накормили овсом, отдыхать поставили. Деда с Танюшкой как дорогих гостей потчевали, на лежанку тёплую спать уложили. А уж угощенье-то какое поставили! У Танюшки и глаза разбежались!

Тут тебе и блинов целый город золотой, сладким маслом залитой! А к блинкам с припёком — и медок с потёком, сметанка густа, и икра красна, и селёдочка!

Кума Аксинья — баба весёлая, шумная, а кум — тот, напротив, суровый, неулыбчивый. В уголку сидит, за всю беседу пару слов и скажет.

— А где блины, тут и мы! — кума хлопочет, блинков Танюшке подкладывает. — Как на Масленой неделе в потолок блины летели! — и прямо с пылу с жару с печи ещё блинков подбрасывает.

Таково блинов наелись, что не поворотиться!

— Ну, Танюшка, держись! Завтра встанем пораньше — да на ярмонку! Будешь наш товар продавать-расхваливать! Ты ж у нас птица голосистая!

Поутру птица голосистая раньше всех встала, косу рыжую крепко заплела, новый сарафанчик с узорочьем надела, платком тёплым подвязалась — и говорит:

— Дедунь, хватит блинками баловаться, пора на ярмонку ехать!

Нагрузили Карьку-трудягу да повезли товар. А на базарной площади уже народищу — у-ух-х! И все нарядные, цветно пиршество прямо! У Танюшки глазёнки разбежались!

Голосит ярмонка со всех сторон: гармошки сыплют заливисто, зазывалы товар нахваливают, кони ржут, коровы мычат, овцы блеют, ребятишки от смеха в снегу катаются!

— Собирайся, народ, у нас ярмонка идёт!

— Сударыня Масленица, мы тобою хвалимся, на санях катаемся, блинами объедаемся!

Глядит Танюшка: с горы огненно колесо несётся! А за ним ещё одно! Ахти, страсти!

Она к деду, в тулуп вцепилась!

— Не боись, Танюшка, это у нас так принято — колёса огненны с горы катать! Это мы солнышку дорогу даём, чтоб такое же горячее катилось к нам!

На прилавочку товар выставили: туеса берестяные, большие и малые — хоть по ягоду ходить, хоть соль хранить; горшочки-махотки пузатые;

посуду всякую деревянную, с узорами, с затеями; бабка навязала варежек да косынок из шерсти Яшкиной—ой, хорошо, богата лавка получилась!

Рядом самовары продают разно-всякие—расписные хохломские, нарядные, медные—на солнце золотом горят! Тут же самоварище семивёдерный пыхтит, из него чай разливают и всех желающих угощают:

— Испей чайку, разгони тоску!

С другого боку—лавка с кренделями, сушками да булками.

— Это мы с тобой, деда, самое баское место заняли. Мимо нас не пройдёт люд: всяк чайку с устатку выпьет и баранчиком солёным закусит али кренделем! А пока пьёт-жуёт-угощается—и наш товар разглядит!

Не успела сказать—а уж народ и подходит!

А Танюшка звонким голосом зазывает:

— А вот к нам подходите, наш товар поглядите! Горшки верчёные, туеса золочёные!

А сбоку баба, тремя шалями закутана, сама краснощёкая, как самовар, коврижки расхваливат:

— Коврижка медовая, на вкус ерундовая! Съешь одну ерунду, заиграешь в дуду!

Танюшка смеётся-заливается: а кто ж ерунду брать будет?! Однако ж к весёлой побасенке народ тянется, пробует, одна за другой коврижечки уходят!

— Дедунь, а можно я хоть мал-мало по ряду пробегусь, гляну, чего есть?

— Беги, егоза, скоро вертайся!

Понесло Танюшку волною веселья. Масленица-объедуха со всех сторон жаркими блинами пышет, пирогами подовыми, ковригами медовыми!

Проходу не дают:

— Далеко не беги, покупай пироги!

— Подходи смелей—покупай, не робей!

— Ой, блинки хороши—для тела, для души!

И на всякий вкус—объеденье, заделье и веселье. Посередь площади—шатёр и балаган. Скоморохи гороховые зазывают:

— У нас представленье—всем на загляденье! Песенки, шуточки, весёлые прибауточки!

Петрушка с огромным носом, в красном колпаке, пищит-верещит, ребят веселит! Остановилась Танюшка, рот разинула: никогда она прежде этой забавы не видела!

Чуток постояла—назад побежала: надо ж деду помочь!

А вслед ей гармошечка сыплет:

Тары-бары-растабары—
Всё хорошие товары!
Пироги подовые,
Яблоки медовые!

Набежали откуда-то ребятишки, ватага гомонливая, с петушками-леденцами, со свистулями да игрушками, потащили Танюшку на гору—на салазках кататься! Закружило веселье малу головушку! Ух, как с горы крутой на салазках разлетелась Танюшка! Бултых в сугроб! Смеху-то!

Ой, дедко-то велел скоро вернуться, а она? Отряхнулась Танюшка, головой завертела: да что ж она так заигралась? Встрёпана, распотевша, побежала искать.

Куды там! Не может Танюшка деда найти! Вроде ряд-другой пробежала, свернула-повернула—а лавочка-то где дедова? Отовсюду—блинны горы, самоварны дымы, лотки с орехами, сайки с изюмом… Жарко веселье, шум-гам-смех! На столб мужик лезет, карабкается, а столб-то гладкий, съезжает мужик, не может добраться до подарка, что на самой-то верхушке. Загляделась Танюшка на миг на забаву, а потом думает: лавочка-то наша была по крайнему рядочку, что около горы, с которой колёса огненны катали парни. Найду!

Успокоилась малость, платок поправила, сбитню из самовара выпила и расспросила: где крайни ряды, где горушка с колёсами? Ей и показали: туда, мол, ступай!

Скоро и нашла деда. А тот уж тревожиться стал, хотел бежать искать Танюшку, да товар-то оставить как? Самое горячее время! Горшочки-махотки в одночасье скупили, туеса берестяные узорные важный человек долго рассматривал да нахваливал, спрашивал, как дед их изготавливает. А девки красны шаленки да варежки враз расхватали!

— Так ты, деда, и без меня справился!

Дедка только руками развёл:

— Да и ты мне хорошо помогла! Чего видела—сказывай!

Танюшка и рассказала про свои забавы.

— А приглядела гостинцев каких?

Всплеснула руками Танюшка: о гостинцах родным-домашним она и не вспомнила!

— Прости ты меня, дедунюшка, давай вместе выберем! И за то прости, что загулялась, тебя растревожила!

— Бог простит, детонька, а я и подавно! Сегодня ведь Прощёно воскресенье! И ты меня прости, коли чем досадил!

— А пойдём, деда, поглядим, как Масленица горит! Это ж мы зиму сжигать будем?

— И всё худое, старое да ненужное! Весне-матушке поможем!

А наутро снарядились, куме да куму поклонились—и в путь обратный! Товар свой весь на ярмонке и продали, а чего не продали—куме задарили! Уважили за хороший приём!

Карька бодро идёт, гостинцы с ярмонки везёт: бабке—новый ухват и кочергу, деду—топор, самовар да балалайку купили, Кирьке сбрую справили, а Танюшке целый короб берестяной всяких игрушек да сластей набрали!

Бабка как с крыльца сани знакомые завидела — разохалась, даже всплакнула. Подарки посмотрела — руками развела: ой, како богатство в избу привалило! А Печка-матушка обогрела уставших, обняла их своим теплом да сказала:
— На Маслёне веселились, блином-мёдом угостились! А теперь Масленицу провожаем, света, солнца ожидаем!

Сказка восемнадцатая

На Благовещенье

Ох уж этот обманщик апрель — опять на Благовещенье морозы возвернулись! Не такие лютые, конечно, как на Крещение, но дедко тулуп надел, когда в дровяник пошёл.

Накануне вечером развели на заднем дворе костерок, дабы свет прославить да нечистую силу отогнать от избы. Танюшка обрадовалась, через костёр, что коза, прыгала, а собачка Катайка звонко лаяла, на её веселье глядючи.

Весь день перед праздником хлопотали, в избе красоту наводили, сообща готовились к Благовещенью: половички вытрясли, бабка Анисья лавки можжевельником натёрла, чтоб нечисту силу отпугнуть, Метла ворчать не стала — мела да убирала, Танюшка занавески снежно-кружевны в горницу повесила… Лепота, да и только!

А ночка-то вышла холодная. В полночь дохнуло студёным ветром с севера. В Печке остывающей словно колыхнулось что-то (али Мышь-подпечница крошечки подбирала на поду?), половицы заскрипели, и засов в двери как будто туда-сюда шатнулся. Танюшка-вострушка всё слышала и бабке наутро сказала.
— То, внученька, нечиста сила зубьями скрежещет, покидать жильё наше не хочет, пригрелись, дурные. А куда им деваться? Праздник святой настаёт, на чистоту всех выводит!
— Бабань, а морозить ещё долго будет?
— Не ругай мороз, будут просо да овёс! Коли мороз на Благовещенье, будет ещё сорок холодных утренников, так моя бабка сказывала.
— Ой, долго! — вздохнула малая. — А дедко далеко ушёл?
— На родник за водою.
— Ты же говорила: на Благовещенье девица косы не плетёт, птица гнезда не вьёт! Нельзя никакую работу справлять!
— Так то не работа, а забота, — улыбнулась бабка Анисья.

Танюшка на крыльцо выбежала деда встречать. Слышит: сороки у старого пня хлопочут-стрекочут больно шумно. Чего случилось-то?

Танюшке всё любопытно. Запахнула тулупчик покрепче и подбежала. Сороки горластые отлетели и давай дальше трещать. Глядит Танюшка, а у пня какая-то птичка малая лежит, трепыхается, пищит, а взлететь не может, кто-то ей крылышко повредил — может, куница или ещё какой хищный зверь.

Как же ей помочь, бедняге?

А тут дедко идёт, под коромыслом клонится. Танюшка к нему:
— Деда, там с птичкой беда! Давай поможем! Может, мы её в избу возьмём?

Дед вёдра поставил, осмотрел пичугу малую.
— А ведь сегодня особый день — для птиц благодатный! Сегодня, коли кто дома птиц держит, на волю их отпускает. Птичий день, значит. Ты платок сыми, тихонечко птицу возьми да заверни легонько… Вы́ходим бедолагу!

Принесли пичужку в избу. Бабка рукой машет:
— Мало нам в доме живности, ещё птаху приволокли! Околеет, праздник испортит!
— Тихо, старая, ей тепло и уход надобны. Танюшка, неси-ка водицы — попоим птицу.

Пташка клювик к плошке склонила, попила, глазок у неё повеселел.
— А это что за птичка, дедко? Как зовётся?

Разглядела Танюшка малую пичугу: пёстро наряжена — к весне, стало быть. Спинка коричневая с зелёным, а головка сине-серая, красивая птаха, а махонькая — с воробья.
— Да то, верно, зяблик, — почесал дед в затылке. — Ты его в шапку мою старую клади, сенца туда малость брось и зёрнышек просяных насыпь али семечек — и на лежанку пристрой, там теплее.
— Зяблик — птица известная, как раз в начале апреля и прилетает, — смирилась бабка. — Жалко тварь Божию, да авось выживет.

На другой день Танюшка проснулась от звонкой трели: зяблик оживился, отогрелся на печной лежанке и песню запел. Свистнет коротко пару раз, а потом трель выдаёт. Завеселело в избе!

Котейко Уголёк уши рыжие насторожил: кто это там с утра его будит?

А зяблик осмелел: и зёрнышки поклевал, и муху проснувшуюся, ещё вялую, проглотил, и из шапки стал выпрыгивать да одним глазом на Уголька дерзко посматривать.

Крылышко у него долго срасталось и как-то кривенько висело первое время. Но ничего — сидит на полатях, трелями бабку радует!

Только когда майским теплом дохнуло в избу, да рамы выставили, да берёза под окном зазеленела, вылетел зяблик, бойко трепеща крылышками, нырнул в голубой простор — только его и видели!

Сказка девятнадцатая

Как Водяной в Никитин день шалил

— Слава Богу, Печке поклон — зиму пережили, — говорила поутру бабка Анисья, сажая хлебы в Печь. — Апрель-снегогон в полну силушку входит, красу на мир наводит, песни играет, сердцу радость открывает.

А Танюшка с лежанки:
— Бабань, отчего красы-то не видно? Грязь во дворе, непролаза, валенки промочила сразу!
— Валенки-то давно забросить пора в чулан — весна на дворе!

Бабка смеётся, руки о фартук вытирает.
— А ты с лежанки слезай, выйди-ко за ворота да оглянись пошире — краса взгляду и явится! Только к речке близко не ходи: весенний ледок хрупок-лёгок, а Водяной в такой день шалит — далеко ль до беды?
— Какой день-то?
— Никитин день, праздник рек и ручьёв. Водяной нынче просыпается, от талой воды сил набирается. Погоди-ко, у меня кака́ травка есть — оберег-то от Водяного!

Но Танюшки уже и след простыл, только дверь в сенях хлопнула.
— Катайка, поди за этой егозой следом, мне всё спокойней будет! — велела бабка.

А Катайка и рада — мигом вышмыгнула в едва притворённую дверь вслед за Танюшкой!
— Дед рыбачит, Танюшка козой скачет! Вечно разбегутся, а я одна тут чугуны ворочай, — ворчит бабка.

Вышла Танюшка за ворота, не надивится: снегу совсем мало осталось, где-то по овражкам, по закраинам виднеются последние клочки залежалые, серые; там и сям вкруг луж, словно солнышки малые, цветочки мать-и мачехи весело играют; в высоте вольной синей словно нежные колокольцы звенят — жаворонок поёт; на пригреве трава проклюнулась — и как она прежде не замечала?

Взобралась Танюшка на кочку-пригорочек, на брёвнышко встала и весну выкликает:

Весна, весна, на чём пришла?
На сошечке, на бороночке,
На овсяном снопочке,
На ржаном колосочке!

А Катайка рядом скачет, заливается, тоже весенней воле радуется!
— А ну, Катайка, давай наперегонки — до речки!

Вязнут Танюшкины лапоточки в мягкой весенней земле, а Катайка скачет легко через лужи и кочки — первая прибежала!

Стоят на бережку крутом невысоком, любуются: лёд давно сошёл, вода полая большая, напиталась талыми снегами, водами речек и ручьёв, разлилась, низкий берег, что против них, подтопила, торчат ивовы кусты из-под воды.

Оглянулись: дедко где-то должен здесь рыбалить. Нет, не видать.

Весноводье широкое кружит бедову головушку! Катайка прыгала по бережку, по краю, да сорвалась прямиком в воду! Плывёт, барахтается, верещит, а выбраться не может! Махонькая она, Катайка, а вода сильная, холодная, течение относит её всё дальше. Бежит Танюшка по берегу вся в слезах, жалко ей старую добрую Катайку! А впереди берега узко сходятся, речка шустрей бежит, как будто воронкой вода закручивается… Ой, пропадёт Катайка!

Танюшка неловко оступилась да упала. Кое-как поднялась, грязнёшенька-растрёпана, слёзы ручьём катятся!

А Катайка-то где?

И видит: закрутило Катайку в самый водоворот, где погибель!

Танюшка к ней бросилась, да до воды не добежала: вдруг словно сильные руки показались из быстрины, подхватили собачонку и на берег кинули — мокрущу, испуганну! Зажмурилась Танюшка от чуда такого, а Катайка отряхивается — брызги во все стороны летят! — и к Танюшке! Спасла сила неведома!

Глядь — а из-за ближней густой ивы дедко Анисим показался: тут-то он рыбку и ловил! Полна корзина, улов богатый, хлещут хвостами — да куда там!
— Дедко, видел, диво какое? Кто это нашу Катайку спас?

Дедко смеётся:
— То, верно, Водяной доброй постарался, иначе кто? В Никитин день он силой своей играет, весноводьем гуляет!
— Водяной? А ты его видел, деда?
— А вот как-нибудь расскажу тебе бывальшину про Водяного! Главное дело — в Никитин день его задобрить: проснулся он от зимней спячки, а ты ему первую рыбку пойманную брось.

Вернулись домой: Катайка мокра, Танюшка грязна, дедко — от богатого лова уставший. Бабка глянула, головой покачала:
— И куды вас понесло? Чуток Водяной не утащил! Ты, егоза, давай на Печь, и Катайку с собой бери! А нам с тобой, дед, до ночи с рыбой возиться!

Сказка двадцатая, последняя

Рождественское

Как-то морозным утром, под самое Рождество, в Сочельник, когда блёстка по покрову играла сокровенными самоцветами и снежок неслышно опускался на притихший простор, когда в избе всё дышало чистотой и заботой праздника, отправился дед Анисим, как обычай велит, к роднику за водой. Ещё прадед ему говорил: вода накануне Рождества — святости полна и целебной силы. Ею умываться будут и хлеб рождественский на этой воде замешивать станут.
— Чудно́-то так! — подивился дед. — У родника ёлки, снежными шалями запушённые, как невесты сказочные убраны. Сам родник словно дымится, и вода, коли на морозе попробуешь, ломит зубы — а тепло по всему телу разливается живое от этой воды.

Набрал старик полны вёдра, да только вздел их на коромысло, выпрямился — видит: из ближнего леска белая громадина выдвинулась. Ишь ты, знакомец — Снежный Лось!

Батюшки светы, да прямо к их избе правит! Плывёт по снегам, как корабль неведомый, холкой да бородой трясёт, шерстища зимняя длинная, тонки ноги из сугроба легко вытаскивает, горбоносую голову высоко несёт. А рога-то не сброшены, здоровенны таки лопаты.

Чего это он? Заголодал али спасается от кого?

Пошёл дед сторожко к избе, и Лось туда же. Глядит дед: припадает Лось на одну ногу, неладно что-то. Ахти, страсти! Да никак волки его тронули, рана на задней ноге рваная! По белой шерсти, словно брусничины, капельки крови стекают. Видать, отбился от волков, ушёл, а нога-то беспокоит — потянулся к людям, к жилью.

— Бабка, гостя встречай! — дедко поспешно вёдра ставит, в избу идёт. — Надо-ко лесному великану помочь!

Бабка на крыльце так и села. Вот так оказия! А Танюшка-егоза сразу сообразила:

— Ну как же, баба! Он нам помогал вон как хорошо, теперь мы должны его выручить! Давай рану обиходим!

Дед принёс соломы большую охапку и сенца самого сладкого. Лось Снежный не тушуется, как к себе домой во двор входит. Даже Катайка на великана лаять опасается, хвостик поджала, за Танюшку прячется.

Бабке доводилось и корову, и телят лечить. Туда-сюда вертанулась — старая, да шустрая — уже и снадобья сообразила: сок свекольный для заживления раны, траву сушеницу — чтоб рана подсыхала да затягивалась, тысячелистник — чтоб не загноилась.

— Ещё золой можно присыпать! — вспомнила Танюшка, как ей ссадины летом лечили. — От нашей Печки-матушки самая целебная зола!

А Белый Лось тихо стоит, не шелохнётся. Дивится бабка Анисья:

— Ишь ты, смирной какой и не боится! — а сама примочки свекольны прикладывает, меняет, мазью из лапчатки гусиной на свином жиру смазывает, золой печной присыпает.

Дед свою рубаху старую на полосы порвал — перевязали рану.

Лосю воды целебной родниковой дали, малость сена пожевал лесной великан, овсом похрустел. Танюшка ему корочку ржаную солью натёрла — протянула, Лось вздохнул и взял корочку большими тёплыми губами. Потом на солому опустился, расположился, как у себя в лесу на полянке, и задремал.

А Танюшка-то рада!

— Это, баба, хороший знак: он у нас защиты ищет в такой день. Всякая Божья тварь в святые дни к человеку тянется, доверяет!

— Пущай отдыхает, а мы пойдём к празднику готовиться!

Много хлопот перед Рождеством, и все радостные, особенные.

— И Печку-матушку по-особому топить следует, — бабка говорит. — Неси-ка, старый, кремень и кресало! А ты, Танюшка, тащи сюда двенадцать лучших поленьев, что мы с тобой с вечера приготовили! И прутик берёзовый сухой принеси!

Сложила малая поленья в Печи, как полагается, домиком, внизу береста и лёгкий хворост. А ещё прежде она приметила: двенадцать дней лежали кремень и кресало под образами, святой силой очищались, напитывались. Бабка на восход трижды перекрестилась, огонь стала высекать. Все даже дышать перестали: огонь-то будет особый, священный. Вот занялся малый огонёк, зажёг прутик, а прутик этот бабка сунула в приготовленные дрова в горниле. Занялся огонь чистый и сильный!

— Баба, что сперва готовить станем?

— Нынче, милая, готовки у нас с утра и до вечера. Последний постный день самый строгий, ты уж, Танюшка, скрепись, вкушать ничего до звезды не будем, а назавтра стол уже скоромный: выходит, нам два стола готовить надо! Помогай, Танюшка! Семья у нас небольшая, да ртов-то вон сколько! — махнула рукою бабка.

— Да ведь они тоже тебе помога! Погоди, бабань, соберём братию!

Долго ждать не пришлось: зараз явились и Таракашечка со Сверчком, и рыжий Уголёк с Катайкой, и Мышь-подпечница из своего теремка вышмыгнула!

— Первым делом сочиво и узвар приготовим, — бабка Анисья обычай строго блюдёт. — Неси-ка, Танюшка, пшенички туес, изюму, маку, орехов да тех яблочек и груш, что мы насушили с осени. Дед, ещё мёду для узвару надобно, доставай, в кладовой на верхней полке стоит.

И пошла у них работа! Мышка маковы зёрнышки перебирает, Уголёк пшеничку в ступке толчёт, Катайка орехи колет, Танюшка изюм моет да сухофрукты замачивает. Дед мёду душистого в здоровенном туесе приволок, на лавку сел, любуется, как работа складно идёт.

— Не сиди, старой, — бабка новы порученья раздаёт. — У курей яичек собери, а потом подои коровушек. Завтра пост кончается, сдобы напеку пышной, масла собьём.

Вскоре задышала Печь запахами сладкими, медовыми. Настоялся-натомился в загнетке узвар, богатый травами и фруктами: тут тебе и мята, и чабрец, и смородинный лист, а уж ягоды всякой! Летом пахну́ло, листом малиновым нагретым, да брусничкой сочной, да клюквой кислой.

А это кто ещё в избу стучится? Что за гость незваный? А это дед приволок из сеней сноп ржаной

богатый! Ишь ты! Перед бабкой Анисьей, что с ухватом да чугунами возилась, шапку снял да поклонился:

— Дай, Боже, хозяюшка, здоровья!

А бабка в ответ:

— Бог в помощь, родимый! А что несёшь?

— Несу в избу злато, чтоб весь год мы жили богато! — дед перекрестился на образа. — И всем желаю счастия, здоровья и многая лета!

После того поставил сноп под образа, в красный угол, железной цепью тот сноп перепоясал и хомут рядом положил. А бабка Анисья чистой белой скатертью всё это добро накрыла. Так обычай велит, чтобы год был урожайный, богатый, чтоб добро в избе не переводилось.

— Ты, Танюшка, не забудь сочивом всю нашу домашнюю братию угостить! — дед говорит. — И коровушкам в ладошке снеси, попотчуй, и барашка Яшку угости, и гостя лесного, что во дворе лежит. Тогда весь год будут они бестревожно жить.

Скоро солнышко за горой погасло. Так, за хлопотами праздничными, и не заметили, как ночь крылами избу приодела, синей позёмкой обвила.

Дабы нечистую силу отвадить от дома, обошли дом и двор с караваем свежеиспечённым, что на святой водице замешен был, с мёдом и маком. Мак Танюшка в хлеву разбросала, а чеснок Уголёк с Катайкой по всем углам разложили, чтобы всяки недотыкомки святому празднику не мешали.

А как свечерело, полетели в небесную синь искры большого костра — зажгли его, чтоб усопших родных вспомнить, чтобы им тоже тепло было в этот вечер. Собрались кругом — и дед с бабкой, и Танюшка-сиротка, и Лось Снежный громадный, и старая Катайка.

Ближе к ночи и стол накрыли в ожидании звезды. Чистой скатертью застелили, сенца сверху положили, на сено узвар и сочиво поставили, Танюшка три калача и щепотку соли положила, большую свечу медовую засветила.

Нарядились все в свои наряды чистые, лучшие, бабка шаль посадску накинула. Всем семейством большим собрались: Таракашечка малой-удалой, Сверчок-немолчок, золотой смычок, рыжий котейко Уголёк, стара собачка Катайка и Мышь-подпечница. Притихли в уголку Метла-ворчунья и Умывальник бренчливый. И всех теплом обнимала Печка-матушка, а Снежный Лось со двора в окошко заглядывал, качал лопатинами своими — тоже, видно, хотел в домашнее печное тепло.

А Танюшка к окну подобралась, продышала средь серебряных узоров тёплый глазок и следить стала: когда же в морозном небе появится чистая и прекрасная первая звезда?

Маргарита Плотникова (12 лет)

Розыгрыш

Мы с моей сестрой Полиной очень любим разные шутки и розыгрыши. Однажды мы решили подшутить над двоюродным братом Павликом, когда он пришёл в гости. Мы стали вместе играть и сказали ему:

— Сейчас ты станешь невидимкой!!!

Накрыли его покрывалом и стали ходить вокруг него, читая разные заклинания.

А когда сняли покрывало, то сделали вид, будто под ним никого нет, громко звали братика, изображали, как мы ищем его.

Конечно, Павлик занервничал, пытался нам сказать, что вот он, здесь. Но мы не обращали на него никакого внимания, ведь он теперь невидимка.

Со взрослыми тоже договорились заранее о розыгрыше. Они с удовольствием включились в игру и делали вид, что не замечают брата, вместе с нами искали его, звали. Тут брат уже испугался.

Мы с сестрой всё продумали и хорошо подготовились. Ещё до прихода Павлика Полина сфотографировала меня одну, чтобы потом показать это фото брату и доказать ему, что он стал невидимкой, раз даже на фотографии его нет. И вот Полина объявила, что хочет проверить, можно ли сфотографировать невидимку, взяла телефон, сфотографировала нас и открыла ту фотографию, которую мы сделали заранее, где я одна. Павлик уже готов был расплакаться.

Мы решили больше не мучить его и «расколдовать». Опять накрыли братика покрывалом и стали читать заклинания. Немного погодя сделали вид, что наконец-то получилось сделать его видимым. Как же он, бедненький, обрадовался.

Через год мы решили рассказать брату о розыгрыше. Он так смеялся, и мы тоже. Этот розыгрыш Павлик точно запомнит на всю жизнь.

Марина Демьянова (14 лет)

Самое лучшее место на земле

У каждого человека есть место, где он родился, где прошло его детство, где живут его родные и близкие. Там ему знаком каждый дом, каждая тропка. Там он встречает рассветы и провожает закаты. Там так прекрасны летние дожди и зимние метели. Там живут самые родные, самые добрые, самые отзывчивые, всегда готовые прийти на помощь люди. Есть такое место и у меня. На тюхтетской земле в селе Леонтьевка начинается моя родина. Самая лучшая родина, которую невозможно забыть.

В Тюхтетском районе пока ещё много сёл и деревень, но многие поселения уже перестали существовать. Моё же любимое село преображается год от года. В нём есть клуб, школа, магазин, библиотека, медпункт и сельсовет. За последние годы центр села преобразился. Стал более современным и благоустроенным клуб. В здании клуба находится библиотека, где можно найти или заказать книги на любой вкус.

В самом центре села располагается школа, она двухэтажная, светлая и уютная, одна из лучших в районе. Школа—дом, в котором мы живём, то место, где мы проводим большую часть своего времени. У моей школы славная и интересная история: от четырёх довоенных начальных школ до современной средней школы был долгий путь длиною в десятилетия. Раньше в ней обучались ребята из двенадцати населённых пунктов, а сейчас только из двух: Соловьёвки и Леонтьевки. Было даже печное отопление, подсобное хозяйство. Держали две лошади для нужд школы, кроликов разводили. Успевали ребята и учиться, и трудиться: каждую осень помогали совхозу в уборке льна.

Со дня основания в школе прошло много различных мероприятий, праздников, соревнований и конкурсов. В них отражалась история страны, её культура. О некоторых из них сейчас уже никто и не вспомнит, а многие прижились и стали традиционными. Школьные традиции—это ниточка, которая связывает поколения учеников и педагогов, сохраняя суть и всё самое лучшее, что делает школьную семью крепче, праздники—торжественнее и ярче, а жизнь в школе—разнообразнее и живее. О том, что в нашей школе жизнь полна и интересна, можно судить по одному лишь перечню традиционных мероприятий: День знаний, День пожилого человека, Осенний бал, День учителя, День матери, Новый год и Рождество, вечер встречи с выпускниками, смотр песни и строя, День Победы, Праздник последнего звонка, День защиты детей, выпускной вечер. Школа гордится своими выпускниками, а они её не забывают. Сейчас в историю школы вписываем свои страницы мы.

Моё село расположено в очень красивом месте. Вокруг раскинулась могучая тайга, где в изобилии можно найти грибы и ягоды, кедровую шишку. В речке можно поймать щуку, окуня, плотву, иногда язя, линя и леща. Погода у нас самая непредсказуемая: летом бывает жара за сорок, комары и прочая кусучая мошкара, а зимой—морозы под пятьдесят градусов, снега столько выпадает, что порой некуда девать.

Но это не мешает оглядеться вокруг и полюбоваться, ведь природа в наших местах великолепна в любое время года. Весной, когда распускаются деревья и всё вокруг начинает оживать, она становится просто неописуемой красоты. Зимой это белоснежные просторы, от которых слепит в глазах. Мне очень нравится в большие морозы выйти из дома и наблюдать такую картину: над каждым домом поднимается из трубы столб дыма, и от этого получается неописуемо прекрасный пейзаж.

Любимым моим временем года всё же остаётся лето. В нашем селе протекают две реки—Четь и Даниловка. Речки не очень полноводные, но всё-таки хватает мест для купания, где в жару собирается толпа детей и взрослых. Очень здорово после купания погреться и обсушиться возле тут же разведённого костра, на котором можно пожарить сало и перекусить с кусочком хлеба. А потом опять—в воду! Летом зацветают десятки видов красивых и ярких цветов, разнотравье радует всеми цветами радуги.

Ну а осень завершает год отливами всех оттенков жёлтого, что особенно красиво на закате солнца.

Вообще-то моё село можно описывать бесконечно, и пока что для меня это самое лучшее и красивое место на земле.

стр. 118 **Ардашев Андрей Александрович**
Владивосток, 1965 г. р.

Родился в городе Шостка (Украина, СССР). Автор четырёх печатных поэтических сборников, в том числе «Русский поэт» и «Ощущение цвета». Член Российского союза писателей. Финалист конкурсов национальных премий «Поэт года 2018», «Поэт года 2019». За вклад в развитие русской культуры и литературы награждён медалью Маяковского и Пушкинской медалью.

стр. 112 **Арефьев Анатолий Евгеньевич**
Назарово, 2002 г. р.

Родился и живёт в городе Назарово Красноярского края. В 2020 году окончил школу с золотой медалью. Продолжил обучение в СФУ по направлению «История». Участник клуба авторской песни «Гитарный круг» (Назарово).

стр. 87 **Баканович Виктор Павлович**
Красноярск, 1949 г. р.

Родился и живёт в Красноярске. Работает стрелком ведомственной охраны на Красноярской железной дороге (станция Красноярск-Восточный). Автор ряда книг прозы, в том числе сборников рассказов «Роковое слово» и «Дачная драма», а также повести «Судьба киллера».

стр. 14 **Беликов Юрий Александрович**
Пермь, 1958 г. р.

Поэт, эссеист, публицист. Родился в городе Чусовом Пермской области. Окончил филфак Пермского госуниверситета. Автор книг «Пульс птицы», «Прости, Леонардо!», «Не такой», «Я скоро из облака выйду». Обладатель Гран-при и звания «Махатма российских поэтов» (всесоюзный фестиваль поэтических искусств «Цветущий посох», Алтай, 1989), лауреат международного фестиваля театрально-поэтического авангарда «Другие» (2006) и литературных премий имени Павла Бажова (2008), имени Алексея Решетова (2013), общенациональной премии имени Антона Дельвига «За верность Слову и Отечеству» (2014). Основатель поэтических групп «Времири» (конец 70-х), «Политбюро» (конец 80-х), «Монарх» (конец 90-х). Лидер движения «дикороссов» и составитель книги «Приют неизвестных поэтов» (Москва, 2002). В начале 90-х входил в редколлегию журнала «Юность». Был собкором «Комсомольской правды», «Трибуны», «Литературной газеты», спецкором «Труда». Стихи публиковались в журналах «Юность», «Знамя», «День и ночь», «Арион», «Дети Ра», «Флорида» (США), «Зарубежные записки» (Германия), «Киевская Русь» (Украина), «Иерусалимский журнал» (Израиль), в альманахе «День поэзии — XXI век», в антологиях «Самиздат века», «Современная литература народов России», «Антология русского лиризма. XX век», «Молитвы русских поэтов». Награждён орденом-знаком Велимира «Крест поэта», орденом Достоевского I степени и медалью «За труды в просвещении, культуре, искусстве и литературе». Член редколлегии журнала «День и ночь».

стр. 41 **Бергин Борис**
Ростов-на-Дону

Родился в Ростове-на-Дону. Учился на физфаке местного университета. Много лет жил на Донбассе, последние годы перед войной — в Донецке. Автор статей о положении русских на Украине, о русской культуре, очерков на политические, исторические, литературные темы. Стихи публиковались в журнале «День и ночь», сетевом издании «45-я параллель», газетах «Российский писатель», «День литературы» и др.

стр. 139 **Бочарова Юлия Александровна**
Москва, 1978 г. р.

Родилась в Москве, в семье рабочего и медсестры. Окончила с отличием два вуза: Финансовую академию при Правительстве РФ и ВГИК имени С. А. Герасимова. Работала экономистом, пишет прозу, пьесы и сценарии. Печаталась в журналах «Москва», «Новый свет», «45-я параллель» (альманах), «Египетские ночи» (спецпроект «Журнального зала»), «Парус», «Дактиль», «Вторник» и др. Победитель литературных конкурсов «Первая читка» фестиваля имени Александра Володина (2021), «Поколение 21» (2021), «Исходное событие — XXI век» (2020), «Монолит» (2019) и др.

стр. 24 **Бурляев Николай Петрович**
Москва, 1946 г. р.

Советский и российский актёр, кинорежиссёр; народный артист РФ. В кино снимался с детства. Актёрский дебют Николая состоялся в начале 1960-х годов, когда он снялся в курсовой работе

Андрея Кончаловского «Мальчик и голубь». Впоследствии снимался в картинах Андрея Тарковского, Григория Рошаля, Юрия Победоносцева и др. Окончил актёрский факультет театрального училища имени Б. Щукина и режиссёрский факультет ВГИКА (мастерская М. И. Ромма, Л. А. Кулиджанова). С 1992 года — генеральный директор киноконцерна «Русский фильм». Президент Международного кинофестиваля славянских и православных народов «Золотой Витязь». С 26 июля 2010 года — член Патриаршего совета по культуре РПЦ. Член Союза писателей России.

стр. 43 **Варданян Артур Эдуардович**
Ереван (Армения), 1974 г. р.

Родился в Ереване. Окончил Ереванский педагогический институт (факультет культуры). 14 лет преподавал режиссуру в Ереванском педагогическом институте. Снял фильмы «Весы», «Люди ночи», «Свет», «Бегунок», которые были удостоены наград международных фестивалей. Выступает в качестве режиссёра, продюсера телевизионных фильмов и сериалов. Участник форума молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья (фонд СЭИП).

стр. 33 **Вершинский Анатолий Николаевич**
Раменское, 1953 г. р.

Родился в селе Семёновка Уярского района Красноярского края, в семье учителя. Окончил с отличием два института: Красноярский политехнический и Литературный имени А. М. Горького. Работал в научно-исследовательской лаборатории, в газете, служил в Советской Армии. Более 30 лет занимается журналистской и издательской деятельностью. Награждён дипломом знака отличия «Золотой фонд прессы». Член Союза писателей с 1985 года. Автор шести поэтических сборников, драмы в стихах «Восточный вопрос», книги исторических очерков «Русская Александрия. Средневековая Русь и Александр Невский». Дипломант конкурса «Лучшая книга 2008–2010».

обл. **Внукова Румяна Анатольевна**
Красноярск

Родилась в Красноярске. Окончила живописное отделение Красноярского художественного училища им. В. И. Сурикова (1990), факультет психологии Красноярского государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева (2005), Творческую мастерскую живописи Российской академии художеств под руководством академика А. П. Левитина (2009). Член Союза художников России с 2000 года.Награждена золотой медалью за серию работ на библейские сюжеты, дипломами Союза художников России за вклад в изобразительное искусство России, стипендиат Министерства культуры в области изобразительного искусства, лауреат премии им. В. И. Сурикова. Участник городских, региональных, всероссийских и международных выставок. Победитель конкурсов живописи и графики в России и за рубежом. Работы хранятся в музейных и частных коллекциях России, США, Германии, Польши, Кореи, Японии, Китая, Швеции, Италии, Израиля, Филиппин, Тайваня, Казахстана.

стр. 37 **Гутов Александр Геннадьевич**
Москва, 1963 г. р.

Выпускник МГПИ имени В. И. Ленина. Филолог. Член Союза литераторов Москвы. Стихи опубликованы в журналах «Дружба народов», «Юность», «Московский вестник», «Арион», «Сибирские огни», «Кольцо „А“», альманахе «База», чешском журнале «Умелек». Повесть «Лёха, Геша, Иванов» опубликована в журнале «Юность», романы «Лабиринт» и «Тени Эзеля» — в альманахе «Подвиг».

стр. 49 **Долматович Евгений Игоревич**
Ярославль, 1986 г. р.

Родился в городе Ярославле, но большую часть детства провёл на Дальнем Востоке. В 2008 году окончил Ярославскую военную финансово-экономическую академию, по контракту был распределён в Калугу, но уже через год попал под сокращение. Публиковался в журналах «Homo Legens», «Урал», «Север», «Уральский следопыт», «Парус», «Опустошитель», «Крещатик», «Новый берег», «Изящная словесность» и др. Также есть публикации в сборниках «Очертания», «Аэлита/010», «Своими именами назовутся», «Город счастья». В 2017 году стал членом Союза российских писателей. Ныне живёт и работает в Ярославле.

стр. 175 **Жарикова Елена Владимировна**
Красноярск

В 1993 году окончила Абаканский государственный педагогический институт. Преподаватель литературы. Руководитель «Литературной гостиной». В 1998 году удостоилась звания «Учитель года» (Шарыпово). Участница и финалист многих литературных конкурсов. Стихи и проза публиковались в литературной периодике. Живёт в Красноярске.

обл. **Исаенкова Виктория**
Красноярск

Член Творческого союза художников России (ТСХР) и Международной федерации художников (IFA) с 2010 года. Выпускница Красноярского художественного училища имени В. И. Сурикова, Красноярского государственного художественного института, Международной академии изящных искусств (Зальцбург, Австрия). Картины находятся в частных коллекциях России, Германии,

Австрии, Швейцарии, Франции, США, Аргентины, Мексики, Кореи.

стр. 144 Кадочников Дмитрий Петрович
Зеленогорск, 1963 г. р.

Писатель и журналист. Член Союза журналистов России с 1996 года. Авторские сборники стихов: «Всё это не случайно» (Зеленогорск, 1997), «Воздушная тревога» (в серии «ДиН библиотека», приложение к журналу «День и ночь», 2020). Публиковался в ряде коллективных стихотворных сборников, издававшихся в Зеленогорске и Красноярске. Соавтор книги «Зеленогорск. Прогулки по любимому городу» (2011). Публикации в журнале «День и ночь».

стр. 119 Комаров Артём
Саратов, 1990 г. р.

Литературный критик, писатель, культуртрегер. Участник Совещания молодых литераторов в Химках (2020). Член Союза российских писателей. Член Союза журналистов России. Главный редактор журнала «Excellent». Публиковался в «Литературной газете», «Новой Юности», «Плавучем мосте», «Нашем современнике», «Волга—XXI век», «Дети Ра», электронном журнале «Свой вариант».

стр. 115 Кравцов Юрий Иванович
пос. Суземка (Брянская область), 1956 г. р.

Поэт, журналист. Родился в Сумской области Украинской ССР. Окончил факультет русского языка и литературы Брянского педагогического института. Директор сельской школы, почётный работник общего образования Российской Федерации, член Союза писателей России. Печатался в журналах «Смена», «Рабоче-крестьянский корреспондент», «Южная звезда», «Воин России» и других изданиях. Автор 10 книг стихов. Лауреат литературных премий имени А. К. Толстого и Н. Рыленкова.

стр. 173 Крюкова Елена Николаевна
Нижний Новгород, 1956 г. р.

Русский поэт, прозаик и искусствовед. Член Союза писателей России с 1991 года. Родилась в Самаре. Окончила Литературный институт имени Горького (семинар А. В. Жигулина, поэзия). Публикации: «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов», «Нева», «Бельские просторы», «День и ночь», «Za-Za», «Сибирские огни», «Юность» и др. Автор более 20 книг стихов и прозы. Лауреат многих литературных конкурсов. Автор и куратор арт-проектов в России и за рубежом.

стр. 74 Кузичкин Сергей Николаевич
Красноярск, 1958 г. р.

Родился в Тайшете Иркутской области. Окончил Высшие литературные курсы в Литературном институте имени А. М. Горького в Москве. Печатался в коллективных сборниках столичных издательств «Детская литература», «Литературная Россия», красноярских писателей, в литературных альманахах и журналах России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Венгрии, Норвегии, Канады. Автор нескольких книг прозы. С августа 2006 года—автор проекта и редактор альманаха прозы, поэзии и публицистики «Новый Енисейский литератор» и журнала для детей школьного возраста «Енисейка». Член Союза писателей России.

стр. 151 Кузнецов Максим Евгеньевич
Красноярск, 1968 г. р.

Родился в Красноярске. Окончил Красноярский политехнический институт. Работал на красноярском ТВ ассистентом режиссёра. Учился на режиссёрских курсах в Москве. Вся его жизнь связана с красноярским кино и телевидением. Несколько лет назад вместе с Геннадием Криком организовал кинокомпанию «Три нити». Автор и режиссёр художественных фильмов «Двое в темноте», «Гаер», «Эпический фейл».

стр. 126 Левенец Анатолий Эдуардович
Лесосибирск. 1964 г. р.

Поэт, прозаик, драматург. Родился в городе Хилок Читинской области (сейчас Забайкальский край). В 1993 году, окончив Лесосибирский филиал Сибирского технологического института, переехал в город Лесосибирск Красноярского края. Первая поэтическая публикация состоялась в октябре 2004 года в лесосибирской газете «Вовремя». В 2008 году опубликовал свои стихи и стихи дочери Ольги, а также часть коллекции охотничьих баек «В лесу, у костра…». В 2010 и 2011 годах опубликовал стихи в альманахе «Перезвон». С 2013 года начал публиковать рассказы в альманахе «Новый Енисейский литератор». Кроме того, рассказы печатались в сборниках «Проза Сибири и Дальнего Востока», «Литература Сибири» (изд. «Буква Статейнова»), в газете «Литературный Красноярск». Работает на Лесосибирском таможенном посту Красноярской таможни (Сибирское таможенное управление) в должности главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля.

стр. 122 Матвеев Анатолий Алексеевич
Калуга, 1957 г. р.

Родился в Калуге. Литературным творчеством занимается с юношеских лет. Пишет прозу, стихи, статьи, сказки. Публиковался в газетах «Жили-были», «Семья», журналах «Очаг», «Куча Мала» и других. Первая книга «Солдатские сказки» вышла в Калуге в 1997 году в издательстве «Облиздат».

В серии сказок «Живые страницы» издательством «Время-Пресс» выпущен ряд авторских сказок и пересказов литературных и русских народных сказок. В 2009 году в издательстве «Аквилегия-М» вышел сборник сказок «Муравьиный слон».

стр. 35 **Молчанов Виталий Митрофанович**
Оренбург, 1967 г. р.

Родился в Баку. Выпускник Московской академии нефти и газа. Лауреат международного фестиваля литературы и искусства «Славянские традиции-2010», лауреат малой международной литературной премии «Серебряный стрелец», победитель IV международного поэтического конкурса имени С. И. Петрова, дипломант V международного конкурса памяти Владимира Добина («Русское литературное эхо», Израиль), победитель литконкурса интернет-журнала «Лексикон» (Чикаго) в 2010 году, победитель литконкурса фестиваля «Гоголь-фэнтези-2009» (Украина), обладатель звания «Стильное перо-2009» по результатам литконкурса фестиваля «Русский стиль-2009» (ФРГ). Публиковался в еженедельнике «Обзор» («Континент», Чикаго), в журналах «Русское литературное эхо» (Израиль), «Дети Ра», «Зинзивер», «День и ночь», «Живой звук» (Москва), «Окна» (ФРГ), в альманахах «ЛитЭра» (Москва), «Гостиный Двор» (Оренбург), «Чаша круговая» (Екатеринбург), в газетах «Зарубежные задворки» (ФРГ), «Южный Урал», «На юго-восточных рубежах» (Челябинск), «Литературная гостиная» (Тверь), «Молодой дальневосточник» (Владивосток), в сборнике «Обретённый голос», в «Антологии русской поэзии XXI века» и др. Председатель Оренбургского регионального отделения Союза российских писателей, член Союза писателей XXI века и координационного совета Ассоциации писателей Урала.

стр. 132 **Пучков Андрей Викторович**
Сосновоборск, 1963 г. р.

Прозаик. Рассказы печатались в альманахе «Енисей», журналах «Сура», «Новый Енисейский литератор», на конкурсной основе вошли в альманахи «ARONAXX 1», «Происхождение мрака», «Алиса», «Видимый свет», «Тайное общество сказочников» и др. издательства «Перископ-Волга», печатались в сборниках «Песня. Том 2» и «Красная незабудка» издательства «Дикси Пресс». Является призёром и лауреатом различных литературных конкурсов.

стр. 45 **Расторгуев Андрей Петрович**
Екатеринбург, 1964 г. р.

Родился в Магнитогорске Челябинской области. Окончил Уральский государственный университет в Свердловске (1986) и Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации в Москве (1999). Кандидат исторических наук. После окончания университета долго жил и работал на Севере, потом вернулся на Урал. Поэт, переводчик, публицист. Автор 8 книг стихов, переводов и литературно-критических статей, многих публикаций в литературных журналах, участник ряда антологий. Лауреат Государственной премии Республики Коми, литературной премии имени Бажова и ряда других литературных наград. Член Союза писателей России.

стр. 6 **Саввиных Марина Олеговна**
Красноярск, 1956 г. р.

Поэт. Публицист. Педагог. Автор более десятка книг стихов, прозы, художественной публицистики. Лауреат премии Фонда имени В. П. Астафьева (1994), Всероссийского конкурса поэзии и малой прозы имени С. С. Бехтеева (2014), X Всероссийского поэтического конкурса «Мечети — Божьи храмы» (2016). Награждена орденом Достоевского I степени и медалью «Василий Шукшин». Обладатель высшей награды Всеславянского литературного форума «Золотой Витязь» (2020). Член Союза писателей России. Заслуженный работник культуры Красноярского края. Председатель издательского совета РИЦ «День и ночь».

стр. 23, 32, 36, 86, 125, 131, 193, 194 **Синяя тетрадь**
Красноярский край

Михайлова Анна (г. Норильск), Майорова Анна (г. Норильск), Ефимов Богдан (д. Тургужан Ужурского р-на Красноярского края), Плотникова Маргарита (г. Красноярск), Войт Полина (Красноярск), Яшина Дарья (Богучанский район, п. Пинчуга), Демьянова Марина (Тюхтетский район, с. Леонтьевка), Грошева Мария (Большемуртинский район, с. Юксеево), Харчёнок Иван (Ужурский район, д. Тургужан)

стр. 120 **Тихонов Александр Александрович**
Омск, 1990 г. р.

Родился в пос. Большеречье Омской области. Живёт в Омске. Заведующий экскурсионным отделом Исторического парка «Россия — моя история. Омская область». Произведения публиковались в журналах «Наш современник», «Роман-газета», «Молодая гвардия», «Сибирские огни» и др. Автор книг стихов «Облачный парус» (Омск, 2014) и «На вечном наречье» (Омск, 2020), романов «Охота на зверя» (М: АСТ, 2016) и «Синдром героя» (М: АСТ, 2017), соавтор научно-популярной книги «Сила Сибири. История Омского края» (Омск, 2016). Лауреат литературных премий имени М. Ю. Лермонтова (Тарханы, 2015), имени Ф. М. Достоевского (Омск, 2015), «В поисках правды и справедливости» (М., 2016), «Русские рифмы» (СПб, 2018).

стр. 7 **Фрейдин Яков**
Сан-Диего (США), 1945 г. р.

Родился в Свердловске, куда его родители были эвакуированы во время войны. Окончил радиофакультет Уральского политехнического института. Кандидат технических наук. В 1977 году эмигрировал в США, где работал исследователем в CWRU (университет в Кливленде) и ряде американских компаний. Автор более 90 научных статей и популярного учебника по датчикам. Автор 60 изобретений. Написал книгу воспоминаний «Приключения изобретателя». Публикует рассказы в русских журналах в Америке, Европе и России. События публикуемого рассказа «Из дня в ночь и обратно» разворачиваются в Красноярском крае.

стр. 101 **Фролов Кирилл Александрович**
Тверь, 1978 г. р.

Родился в Кишинёве. Кандидат филологических наук. Работает преподавателем английского языка и переводчиком-фрилансером. Пишет рассказы, занимается художественными переводами. Публиковался журнале «Волга» (№1, 2014, рассказ «Пыль»); в литературно-художественном альманахе «Литера» (2015, переводы стихотворений американского поэта Майкла Басински); «МК в Твери» (№47, 15–22 ноября 2017, рассказы «Однажды утром» и «Лёгкий человек»).

стр. 39 **Чернец Алексей Витальевич**
Новосибирск, 1970 г. р.

Родился в Новосибирске. Окончил среднюю школу, учился в техническом вузе, работал в НИИ, студент Литературного института имени А. М. Горького (семинар С. Арутюнова). В 1993 году потерял зрение. Публикуется с 2002 года. Печатался в журналах «Встречи» (Барнаул), «Сибирские огни», «День и ночь», в газете «Вечерний Новосибирск».

стр. 19 **Чернявский Александр Александрович**
Красноярск, 1968 г. р.

Российский журналист, политолог. Родился в Красноярске. В 1992 году окончил с отличием Красноярский государственный университет (филологический факультет), получив две специальности: журналиста и преподавателя русского языка и литературы. Работал редактором первой независимой радиостанции Красноярска «Местное время», а также программы «Слово народное». Был сотрудником различных пресс-служб, автором телепрограмм на красноярских телеканалах, руководителем службы информации краевого радио. На данный момент продолжает журналистскую деятельность, часто выступает в качестве политического комментатора.

стр. 14 **Шамир Исраэль**
Израиль, 1947 г. р.

Российско-израильский писатель, переводчик и публицист. Родился в Новосибирске. Учился в Новосибирском университете на механико-математическом факультете, а также на юридическом факультете Новосибирского филиала Свердловского юридического института. В юности примыкал к диссидентскому движению. В 1969 году репатриировался в Израиль. Член Союза писателей России. Автор ряда книг об Израиле/Палестине публицистического и историко-страноведческого характера. Печатался также под именами Исраэль Адам Шамир и Роберт Давид.

стр. 45 **Шомысова Алёна Александровна**
Сыктывкар, 1986 г. р.

Окончила факультет национальной филологии Сыктывкарского государственного университета. Печаталась в журналах «Войвыв кодзув», «Арт», «Юность», в альманахах «Белый бор», «Búzavirágok közt alszom el» («Пӧлӧзнича пӧвстын»/«Среди васильков»), «Seal kaugel-kaugel» («Там далеко-далеко»). Пишет поэзию и прозу. Переводит на коми язык произведения финно-угорских и русских авторов. Переводы опубликованы в альманахах «Черёмуховая речка», «Белые ночи», «Светлые реки». Стихи и рассказы переведены на русский, эстонский, английский, венгерский, мокшанский, эрзянский, удмуртский и ненецкий языки. Автор книг «Дзар» («Свет», 2011), «Чӧв!» («Молчи!», 2012), «Юрсигусь бордъяс» («Крылья стрекозы», 2014), «Кӧчильлы козин» («Гостинец зайчику», 2018). Лауреат литературной премии имени Александра Лужикова (2012). Член Союза писателей России с 2016 года.

стр. 3 **Щербаков Александр Илларионович**
Красноярск, 1939 г. р.

Родился в Красноярском крае. Образование: история и филология, экономика и журналистика. Работал учителем, корреспондентом. Автор двух десятков книг стихотворений, прозы, публицистики: повесть «Свет всю ночь», сборники рассказов «Деревянный всадник», «Лазоревая бабка», «Змеи оживают ночью», поэтические книги «Трубачи весны», «Глубинка», «Горлица», «Жалейка», «Дар любви» и др. Печатался в журналах «Наш современник», «Молодая гвардия», «Уральский следопыт», «Сибирские огни», «Огонёк». Член Союза писателей России. Заслуженный работник культуры Российской Федерации.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

В. Н. Наговицын

РЕДАКТОРЫ

Марина Наумова-Саввиных

Дмитрий Косяков

ДИЗАЙНЕР-ВЕРСТАЛЬЩИК

Олег Наумов

КОРРЕКТОР

Андрей Леонтьев

Журнал издаётся с 1993 года.

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. При перепечатке материалов ссылка на журнал «День и ночь» обязательна.

Учредитель: Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края.
Адрес: 660009, г. Красноярск, ул. Красной Армии, д. 22.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ФС77–42931 от 9 декабря 2010 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Издание осуществляется при финансовой поддержке Агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Александр Астраханцев
Красноярск

Наталья Ахпашева
Абакан

Юрий Беликов
Пермь

Глеб Бобров
Луганск

Елена Буевич
Черкассы

Вера Зубарева
Филадельфия

Александр Кердан
Екатеринбург

Сергей Кузнечихин
Красноярск

Андрей Лазарчук
Санкт-Петербург

Евгений Минин
Иерусалим

Виталий Молчанов
Оренбург

Миясат Муслимова
Махачкала

Александр Орлов
Москва

Олеся Рудягина
Кишинёв

Анна Сафонова
Южно-Сахалинск

Андрей Тимофеев
Москва

Владимир Шемшученко
Санкт-Петербург

Нина Ягодинцева
Челябинск

В оформлении обложки использованы картины Виктории Исаенковой и Румяны Внуковой.

ИЗДАТЕЛЬ
АНО РИЦ «День и Ночь».
ИНН 770 207 0139

Расчётный счёт
4070 3810 4004 3000 0496

В филиале «Сибирский» банка ВТБ ПАО в г. Новосибирске

БИК 045 004 788
КПП 540 643 001

Корреспондентский счёт
3010 1810 8500 4000 0788

Рукописи принимаются по электронной почте:
dayandnight@bk.ru

Адрес редакции и издателя:
660049, г. Красноярск,
пр. Мира, д. 3,
т. +7 950 991 4349

Почтовый адрес:
660133, г. Красноярск,
ул. 3 августа, д. 22, оф. 4

Наш сайт: www.krasdin.ru

Подписано к печати: 8.3.2021
Дата выхода в свет: 27.3.2021
Тираж: 1200 экз.

Цена свободная

Журнал выходит 7 раз в год

Отпечатано ИП Азарова Н. Н. в типографии «Литера-принт»
г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 6, офис 0-10, т. +7 904 895 0340
эл. почта: 2007rex@mail.ru

16+

Румяна Внукова
Озеро

Румяна Внукова
Летний день